М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ, НАБРОСКИ,
СТИХИ

1885—1894

МОСКВА · 1968

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ

Настоящее издание представляет собой Полное собрание сочинений М. Горького. Оно состоит из трех серий: первая — художественные произведения, вторая — литературно-критические и публицистические статьи, третья — письма.

В первую серию входят романы, повести, пьесы, рассказы, художественные очерки, литературные портреты, наброски, стихотворения, опубликованные самим автором и включавшиеся им в собрания сочинений или сборники. В издание входят также произведения: опубликованные самим автором, но не включавшиеся им в собрания сочинений; увидевшие свет после смерти автора; сохранившиеся в архивных фондах писателя. По сравнению с наиболее полным сводом творчества М. Горького — Собранием сочинений в тридцати томах, выпущенным Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и Государственным издательством художественной литературы в 1949—1955 годах,— в настоящее издание включается дополнительно свыше 100 художественных произведений М. Горького, многие из которых были напечатаны в газетах, журналах, альманахах, но никогда не входили в собрания сочинений. Среди этих произведений: рассказы «Соло», «Самоубийство», «Друзья», «Ссора», «Зрители», незаконченная повесть «Всё то же», памфлет «Поп Гапон», очерки «Сан-Франциско», «Лондон», «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», «Музыка», портреты «Савва Морозов», «Иоанн Кронштадтский», «О единице», наброски с натуры «Красавица», «Сны», «На станции», легенда «Слепота любви». Входит в настоящее издание записанная и обработанная М. Горьким «Автобиография Ф. И. Шаляпина».

Тексты художественных произведений дополняются восемью томами вариантов к ним, входящих под особой нумерацией в первую серию и предназначенных для литературоведов-специалистов.

По своему типу Полное собрание художественных произведений является академическим. Произведения, опубликован-

ные Горьким, печатаются в нем, как правило, по текстам последнего прижизненного авторизованного издания. Для произведений, которые включал в собрания сочинений сам писатель, таким изданием является: М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21, Verlag «Kniga», Berlin, 1923—1928, сокращенно — *К* [1]. Тексты большинства произведений, вошедших в него, были тщательно отредактированы автором в 1922—1923 годах. В первом томе специально оговорено: «Настоящее издание просмотрено автором. Почти все рассказы редактированы, исправлен язык. Некоторые значительно сокращены. М. Горький». Позднее на вопрос: «Меняете ли Вы текст при последующих изданиях?» — Горький ответил: «Пробовал сократить текст в 23 году при первом издании собрания сочинений. Работу эту не закончил...» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 26, М., Гослитиздат, 1953, стр. 225).

Тексты «Книги» критически сверены с сохранившимся оригиналом набора для этого издания, правленным автором, и со всеми доступными рукописями, машинописями и авторитетными печатными источниками, к которым имел отношение М. Горький. Большинство рукописей, машинописей и печатных источников с авторской правкой хранится в Архиве А. М. Горького при Институте мировой литературы. Кроме первых печатных публикаций, осуществлявшихся с участием писателя, авторитетными изданиями являются:

1. М. Горький. Очерки и рассказы, СПб., изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, т. I—II, 1898, т. III, 1899; изд. 2, СПб., 1899 (сокращенно — $ДЧ_1$ и $ДЧ_2$). В первый том $ДЧ_1$ входили рассказы и очерки «Челкаш», «Песня о Соколе», «На плотах», «Тоска», «Зазубрина», «Дед Архип и Ленька», «Скуки ради», «Озорник», «Макар Чудра», «Супруги Орловы». Надпись на шмуцтитуле: «Посвящаю эти наброски Александру Ивановичу Ланину. М. Горький». Во второй том $ДЧ_1$ входили: «Коновалов», «Мальва», «Ярмарка в Голтве», «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины», «Дело с застежками», «Бывшие люди», «Емельян Пиляй», «Старуха Изергиль», «В степи», «Ошибка». На шмуцтитуле: «Посвящаю эту книжку Марии Сергеевне Позерн. М. Горький». В третий том $ДЧ_1$ входили: «Варенька Олесова»,

[1] Алфавитный перечень принятых в настоящем издании условных сокращений см. в начале раздела «Примечания», а в томах вариантов к текстам произведений — перед вариантами.

«Каин и Артем», «Дружки», «Однажды осенью», «Кирилка», «О чёрте», «Еще о чёрте», «Мой спутник», «Проходимец», «Читатель». В $ДЧ_2$ рассказ «О Чиже, который лгал...» был заменен рассказом «Болесь», в остальном состав не изменился. На титуле второго тома указано: «2-е издание, исправленное и дополненное».

2. М. Горький. Рассказы. СПб., изд. товарищества «Знание», тт. I—IV, 1900, т. V, 1901; тт. I—IV, изд. 2, 1901, т. VI («Пьесы»), 1903; т. V, изд. 2, 1903; тт. I—IV, изд. 3, 1901; тт. I—V, изд. 4, 1903; тт. I—VI, изд. 5, 1903; тт. I—V, изд. 6, 1903; тт. I—V, изд. 7, 1903; тт. I—IV, изд. 8, 1903; тт. I—VI, изд. 9, 1903; т. VII («Пьесы»), изд. 1, 1906; т. VIII («Пьесы»), изд. 1, 1908; т. I, изд. 10, 1908; т. II, изд. 10, 1911; т. IX, изд. 1, 1910; т. III, изд. 10, 1912; т. IV, изд. 10, 1910 ($Зн_{1-10}$). В этом издании впервые была сделана попытка разместить произведения хронологически. В первый том вошли: «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька», «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Однажды осенью», «Ошибка», «Мой спутник», «Дело с застежками», «Песня о Соколе», «На плотах», «Болесь», «Тоска» (со второго издания в том вошло: «О Чиже, который лгал...»). Во втором издании тома автор восстановил посвящение: «Александру Ивановичу Ланину. М. Горький». Во второй том включены: «Коновалов», «Хан и его сын», «Вывод», «Супруги Орловы», «Бывшие люди», «Озорник», «Варенька Олесова», «Товарищи». Со второго издания тома восстановлено посвящение: «Марии Сергеевне Позерн. М. Горький». Третий том составили: «В степи», «Мальва», «Ярмарка в Голтве», «Зазубрина», «Скуки ради», «Каин и Артем», «Дружки», «Проходимец», «Читатель», «Кирилка», «О чёрте», «Еще о чёрте», «Васька Красный». В том четвертый входили: «Фома Гордеев» и «Двадцать шесть и одна» (том вышел с посвящением: «Антону Павловичу Чехову. М. Горький»). В том пятый входили «Трое» и «Песня о Буревестнике», в том шестой — «Мещане» и «На дне», в седьмой — «Дачники» и «Дети солнца», в восьмой — «Варвары» и «Враги», в девятый— «Человек», «Тюрьма», «Букоемов, Карп Иванович», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Исповедь».

Тексты для I—IV томов этого издания были просмотрены автором, о чем свидетельствуют письма К. П. Пятницкого Горькому. Сообщая о начале печатания второго издания, он писал 11 ноября 1900 г.: «Поправки делаются согласно с текстом прежнего издания, который Вами был просмотрен» (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-11). В конце 1901 — начале 1902 годов

автор заново отредактировал большинство текстов для четвертого издания их «Знанием». 13 (26) января 1902 г. из Олеиза он писал Пятницкому: «Я работаю — с увлечением — над сокращением М. Горького. Первый том — сократил немного. Сокращаю — пятый» (М. Горький, т. 28, стр. 229). Ему же неделей раньше: «Занимаюсь корректурой своих книг» (там же, стр. 224).

3. Дешевая библиотека товарищества «Знание». СПб., 1906, №№ 1—35 (*ДБЗ*). В библиотеку вошли 36 произведений, написанных М. Горьким в 1892—1905 годах.

4. Сочинения М. Горького. СПб., изд. «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XVI—XVII, 1916 (*ЖЗ*). В томе X помещена «Жизнь ненужного человека», в XI — «Городок Окуров», XII—XIII — «Матвей Кожемякин», XIV — «Лето», XV — «Мать», XVI — «Пожар» и другие рассказы, XVII — «Сказки», XVIII — «Хозяин» и «Три дня», XIX — «По Руси», XX — «Детство». Это издание является продолжением знаниевского собрания сочинений.

5. М. Горький. Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, изд. З. И. Гржебина, 1921 (*Гржс*). В однотомник вошли: «Старуха Изергиль», «Мой спутник», «На плотах», «Ярмарка в Голтве», «Проходимец», «Двадцать шесть и одна», «Песнь о Буревестнике», «Человек», «Мать», «Городок Окуров», «Калинин», «Покойник», «Нилушка», «Женщина», «Страсти-мордасти», «Книга», «Весельчак», «На Чангуле», «Рождение человека», «Едут». В предисловии к изданию, датированном 12—XII—19, Горький писал: «Среди всего, что написано мною за двадцать пять лет, рассказы, собранные в этой книге, кажутся мне наиболее удачными».

6. М. Горький. Собрание сочинений. Ред. и комм. И. А. Груздева, тт. I—XXIII. М.—Л., ГИЗ, 1928—1930; тт. I—XXIII, 1930—1931; тт. I—XXVI, изд. второе, дополненное, 1932—1934 ($Гр_1$ и $Гр_2$). В первом томе промежуточного издания 1930—1931 годов сказано: «Настоящее собрание сочинений М. Горького печатается по тексту проредактированного автором берлинского издания 1923 г. с исправлениями по рукописям и предшествующим публикациям». Непосредственного участия в подготовке и выпуске этих изданий автор не принимал. Тем не менее сверить с ними публикуемые тексты было необходимо: редактор изданий И. А. Груздев консультировался с автором.

Произведения, не вошедшие в перечисленные издания, печатаются по текстам прижизненных публикаций, к которым имел

отношение автор, а в случае отсутствия таковых — по автографам или авторитетным копиям и посмертным публикациям.

В результате научной сверки принятого за основу текста с другими авторитетными источниками устраняются опечатки и описки, цензорские искажения, редакторские конъектуры и другие нарушения подлинного текста. Исправления очевидных опечаток и описок в примечаниях не оговариваются. Поправки, внесенные в источник, принятый для печати, документированы, рассмотрены и утверждены специальной текстологической комиссией.

Все тексты печатаются в Полном собрании художественных произведений по правилам современной орфографии и пунктуации, но с сохранением характерных особенностей горьковского написания. Не унифицируется различное написание одних и тех же слов в разных произведениях, сохраняются своеобразные формы согласований, расстановки тире и т. п. Слова, не дописанные автором, дописываются редактором в ломаных скобках; в такие же скобки заключаются и редакторские конъектуры. Слова и фразы (абзацы), зачеркнутые автором, но ничем не замененные и необходимые для связности текста, восстанавливаются в прямых скобках. Авторские подстрочные примечания к тексту обозначаются звездочками, а редакторские — цифрами.

Художественные произведения М. Горького распределяются по томам в хронологическом порядке, по времени их написания или, если дата написания не установлена, по первой публикации. Пьесы выделены в особые тома. Произведения, объединенные самим писателем в целостные циклы, печатаются в виде циклов («В Америке», «Мои интервью», «По Руси», «Сказки об Италии», «Заметки из дневника. Воспоминания», «По Союзу Советов» и другие).

Из двух основных разделов тома в первом (под шмуцтитулом I) помещаются произведения, включавшиеся в собрания сочинений самим автором, а во втором (под шмуцтитулом II) — произведения, опубликованные автором, но не включавшиеся им в собрания сочинений. В других разделах печатаются произведения, не публиковавшиеся автором, незаконченное, наброски, планы, фольклорные записи и т. п., а также Dubia, т. е. произведения, в отношении которых авторство М. Горького не вполне установлено.

В примечаниях к каждому произведению читатель найдет: сведения о первой публикации и авторизованных перепечатках

его; указание на последний авторизованный источник, положенный в основу публикуемого текста; сведения (если таковые имеются) о замысле произведения, времени написания, творческой и цензурной истории текста; характеристики имеющихся рукописей, машинописей и печатных текстов; отзывы самого автора, а также писателей и критиков; высказывания деятелей революционного движения, интересные отзывы читателей в письмах автору; реально-исторический комментарий. Сведения, относящиеся к большинству произведений соответствующего тома, сообщаются во вступительной заметке к примечаниям.

Основные материалы, использованные в комментариях, берутся по преимуществу из следующих изданий:

1. М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1955 (сокращенно — *Г-30*).

2. «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. I—IV. М., изд. АН СССР, 1958—1960 (*ЛЖТ* I—IV).

3. Архив А. М. Горького: т. I. «История русской литературы», М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе. М., Гослитиздат, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому. М., Гослитиздат, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой. 1895—1906. М., Гослитиздат, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., Гослитиздат, 1957; т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. М., Гослитиздат, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными писателями. М., изд. АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. Горький и советская печать, М., изд. АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., изд. «Наука», 1966 (*Архив Г* I—XI).

Полное собрание художественных произведений М. Горького и вариантов к ним издается по решению Президиума Академии наук СССР и Комитета по печати при Совете Министров СССР.

Институт мировой литературы
имени А. М. Горького
Академии наук СССР

I

МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана,— он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво́ молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и всё!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо».— Эге! А тебе что до того? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему

учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько,— он широко повел рукой на степь.— И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился,— дураком.

— Что ж,— он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать всё это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и всё тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» — помыслил я со скуки,— скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем

слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в дырьях, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь,— век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и всё, что кругом моря, знало его,— удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б

не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла́ — это уж как раз!

«И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поездит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

«Наш табор кочевал в то время по Буковине,— это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

«Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как чёрт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок,— важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: „Гей! Поцелуй, кошель денег дам“. А та отвернулась в сторону, да и только! „Прости, коли обидел, взгляни хоть полласковей“,— сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и всё тут.

«— Эх, девка! — охнул он да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

«А на другой день снова явился. „Кто ее отец?“ — громом гремит по табору. Данило вышел. „Продай дочь, что хочешь возьми!“ А Данило и скажи ему: „Это только паны продают всё, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую!“ Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул

зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! „Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: всё поделю с вами, богат я сильно!“ Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

«— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

«— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

«Засмеялся Данило и все мы с ним.

«— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голу́бок ищи — те податливей.— И пошли мы вперед.

«А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

«Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

«Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

«— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

«Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете,

так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

«Радда и говорит: „Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?“ А тот смеется: „Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!“

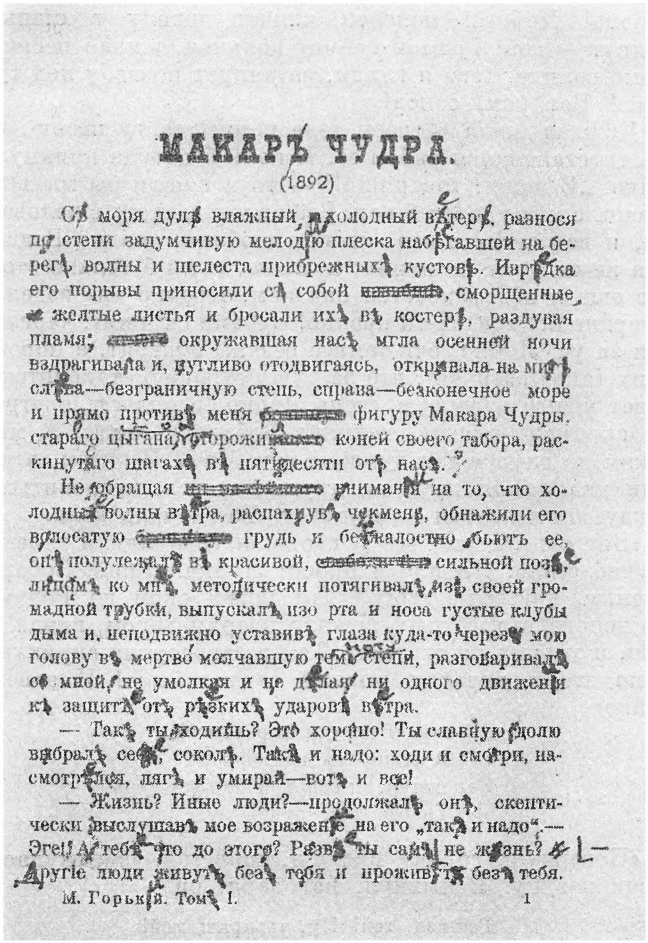
«Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: „А еще говорили, что Зобар умен и ловок,— вот лгут люди!“ — и пошла прочь.

«— Эге, красавица, у тебя остры зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня.— Здравствуйте, браты! Вот и я к вам!

«— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

«Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, всё равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

«Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра



МАКАРЪ ЧУДРА.

(1892)

Съ моря дулъ влажный, холодный вѣтеръ, разнося по степи задумчивую мелодію плеска набѣгавшей на берегъ волны и шелеста прибрежныхъ кустовъ. Изрѣдка его порывы приносили съ собой [illegible], сморщенные желтые листья и бросали ихъ въ костеръ, раздувая пламя; окружавшая насъ мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на мигъ слѣва—безграничную степь, справа—безконечное море и прямо противъ меня [illegible] фигуру Макара Чудры, стараго цыгана-сторожа коней своего табора, раскинутаго шагахъ въ пятидесяти отъ насъ.

Не обращая [illegible] вниманія на то, что холодныя волны вѣтра, распахнувъ чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьютъ ее, онъ полулежалъ въ красивой, [illegible] сильной позѣ, лицомъ ко мнѣ, методически потягивалъ изъ своей громадной трубки, выпускалъ изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставивъ глаза куда-то черезъ мою голову въ мертво молчавшую тьму степи, разговаривалъ со мной, не умолкая и не двигая ни одного движенія къ защитѣ отъ рѣзкихъ ударовъ вѣтра.

— Такъ ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбралъ себѣ, соколъ. Такъ и надо: ходи и смотри, насмотрѣлся, ляг и умирай—вотъ и все!

— Жизнь? Иные люди?—продолжалъ онъ, скептически выслушавъ мое возраженіе на его „такъ и надо“.— Эге! А тебѣ что до этого? Развѣ ты самъ не жизнь? Другіе люди живутъ безъ тебя и проживутъ безъ тебя.

СТРАНИЦА РАССКАЗА «МАКАР ЧУДРА»
С ПРАВКОЙ М. ГОРЬКОГО ДЛЯ ИЗДАНИЯ «КНИГА».

молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

«Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: „В ножи, товарищи!“ — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

«Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: „Спой, Зобар, песенку, повесели душу!“ Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

«Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед!?
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу-луну!

«Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

«— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь да — в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.— Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

«— Это песня! — сказал Данило.— Никогда не слыхал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

«Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

«— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас кинула.

«— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

«— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

«— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило.— Да возьми, коли можешь!

«— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде:— Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку,— вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе,— вот отчего упал Лойко.

«И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: „Смотри за ним!“ И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но всё еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шёпот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но всё ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

«И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко всё видно.

«Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

«Весело мне стало! „Эх, важно! — думаю,— удалая девка Радда!“ Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

«— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

«— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и всё тут.

«— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

«— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

«— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

«— А еще вот что, Лойко: всё равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени,— сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

«Вот чего захотела чёртова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

«— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

«— Слышу! Сделаю,— застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

«Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

«— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и всё тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видать, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

«— Ну! — крикнула Радда Зобару.

«— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще...— засмеялся он. Точно сталь зазвенела,— засмеялся.

«— Так вот и всё дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же,— простите меня, братцы!

«Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

«— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!..— да и умерла...

«Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

«— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: „Надо связать его!..“ Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

«— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

«Было тут над чем плакать, сокол!

«...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и всё, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал

сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

СКАЗКА

I

По деревне ехал царь с войны.
Едет — черной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
— Ты чего,— кричит он зло и грубо,—
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я — твой царь, я в горе и обиде,—
Каково мне глупый смех твой видеть?
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
— Отойди — я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди.

Любишь, так уж тут не до царей,—
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.

Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
— Нуте-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше,— сразу удавите!

Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи,—
Предали девицу в руки Смерти.

II

Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе,—
Ведь весной любви и жизни зерна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нем разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом
Хочется пожить побесполезней.
Все пред неизбежной с нею встречей
Ощущают только страх нелепый,
Надоел ей ужас человечий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной и недужной,
Делает она его умело,—
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит ее людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет — жертву пожалела:
— Ишь ты ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!
— Не сердись,— ответила девица,—

За́ что на меня тебе сердиться?
Целовал меня впервые милый
Под кустом зеленой бузины,—
До царя ли мне в ту пору было?
Ну, а царь — на грех — бежит с войны
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо как будто говорю,
А — гляди-ко, вышло-то как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться,
Видно, я умру, недолюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя —
Дай ты мне еще поцеловаться!
Странны были Смерти речи эти,—
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И, на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
— Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
Ночь — твоя, а на заре — убью!
И на камень села,— ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастия рыдает,
Смерть ворчит: — Иди скорей, иди же!

IV

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим — Искариотом,
Дряхленькие оба, лезут в гору,—
Точно две змеи ползут тихонько.
— Господи! — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
— Господи! — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою в облаке румяном

Возлежит Господь,— читает книгу;
Звездами написана та книга,
Млечный Путь — один ее листочек!
На верху горы стоит Архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
— Прочь идите! Вас Господь не примет!
— Михаиле! — жалуется Каин,—
Знаю я — велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!
— Михаиле! — говорит Иуда,—
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!
И взывают оба они в голос:
— Михаиле! Пусть Господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет —
Ведь прощенья мы уже не молим!
Тихо отвечает им Архангел:
— Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
— Знай,— доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти.
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завыли, зарыдали
И, обнявшись, оба покатились
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти.
И плюют на Каина с Иудой
Синими болотными огнями.

V

Смерть проснулась около полудня,
Смотрит,— а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: — Ишь ты, блудня!

Видно, ночь-то коротка была!
Сорвала подсолнух за плетнем,
Нюхает; любуется, как солнце
Золотит живым своим огнем
Лист осины в желтые червонцы.
И, на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:

— Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют,
И хоронят, и поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего!—
Деспот бьет людей и гонит,
А издохнет — и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор —
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI

Спела песню — начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А — не возвращается девица.
Это плохо. Смерти — не до шуток.
Становясь всё злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней,
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
Как земля голá весною ранней,

Грудь ее обнажена бесстыдно,
И на коже шелковистой, ланьей,
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный Путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана — губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в ее черепе пустом.
— Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?
Точно небом — лунно-звездным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
— Погоди-ко, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу,
А его — подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала — до Смерти недалеко.
Дай еще паренышку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он — хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди,
Вишь, цветут, как огненные маки!
Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась:
— Да, ты будто с солнцем целовалась,
Но ведь у меня ты не одна —
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела много, а уж я — стара,
Каждою минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пора!
Девушка — свое:
— Обнимет милый,



А. М. ГОРЬКИЙ

Нижний Новгород, 1889 г.

Фото Д. Лейбовского.

Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой,
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя, собою радость рада,
И любовь любуется собой!
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит — не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней!

VII

Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно ее мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости, и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
— Что ж,— сказала Смерть,— пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!

С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне —
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.

ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ

— Ничего больше не остается делать, как идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, не ровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось.

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

— Ну что ж, идем на соль!

— Так... иди!.. А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая Одесса — пусть ее черти проглотят! — останется тут,

где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.

— Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдем.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

— Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гро́ши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я — полные хозяева наших шкур...

— Ну ладно, будет! Пойдем!

— Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этою самою солью и сказать ему со всем нашим почтением: «Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в суточки!» И тогда последует...

— Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбачки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому — незадача нам с тобой всю неделю, да и всё тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и, засунув руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

— Ничего!.. Четвертый день ищу, и всё — ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попада-

лись выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и черные... С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли.

Емельян, всегда веселый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

— Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

— Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому — брюхо пустует. Брюхо в человеке — главное дело, и какого хочешь урода найди — а без брюха не найдешь, дудки! А как брюхо покойно, значит, и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...

Он помолчал.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: «Максим, отверни кран!» — и бульбуль-буль — прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-орошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты! — грабь — дери шкуру!.. выворачивай наизнанку. Придет опохмеляться: «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» — «А?.. Что?.. В долг?! Не дам в долг!» — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам». Ха-ха-ха! Я бы его, чёрта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка — вон он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает — почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают,— вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердству-

ет. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьезное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

— Не берешь? Врешь, возьмешь! — Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

— Ну, что ты скалишь зубы-то?.. Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырехглазая!

Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырехглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и черен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаясь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

— Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так...— вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения,— Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

— Всё это так,— перебил он меня, неопределенно махнув рукою.— А вот что я тебя спрошу: ежели бы

нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами,— подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки,— так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту,— укокошил бы его?

— Нет, конечно,— отвечал я.— Никто не имеет права покупать свое счастье ценою жизни другого человека.

— Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось,— наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

— И всяк человек — только разным способом — всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева и, вздохнув, проговорил:

— Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

— Здорово, панове! — окликнул их Емельян,— а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжеванную им былинку и лениво проговорил:

— Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

— Здравствуйте! — сказал он,— где ж вы идете?

— К Очакову на соль.

— Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

— А ну, Никита, подбери кишеню, чтоб ее галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишеню. Емельян скрипел зубами.

— Так вам табаку надо?

— Давно не курили,— сказал я.

— Что ж так? А вы бы покурили.

— Гей ты, чёртов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок! Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! — гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

— Эге, братики, вот как вы просите!.. а ну, что ж, идите!..

Чёртовы хохлы хотели драться, в чем у меня не было ни малейшего сомнения. Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнем глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны:

— Стойте, братцы! Товарищ погорячился — не беда ведь! А вы вот что — дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдем себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита — на Михаила, и оба усмехнулись.

— Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объемистый кисет и протянул мне:

— А ну, забери табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул ее мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал еще мне табаку. Никита буркнул:

— Прощайте!

Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустился на землю и довольно громко прошипел:

— Чёртовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжелым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда желто-лиловых облаков, окаймленных розовым золотом, и, еще более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю ее, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море — тут розоватое, там темно-синее — было дивно красиво и мощно.

— Теперь покурим! Чёрт вас, хохлов, растаскай! — И, покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул.— Мы дальше пойдем или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

— Заночуем! — решил я.

— Ну и заночуем.— И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплевывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

— А клюнуть денежного человека по башке — что ни говори — приятно; особенно ежели умеючи дело обставить,— неожиданно проговорил Емельян.

— Будет тебе болтать,— сказал я.

— Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести! Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска,— хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то — почему же мне не жить? Э? Чёрт вас возьми, дьяволы!

Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

— Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил свое согласие, и Емельян, закурив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца,

лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое — по положению. Вышел я, отсидев срок,— куда теперь? В городе знают; в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошел к одному знакомому темному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнеющий на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: „А ну, мол, Павел Петров, вызволи!“ — „Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку,— коли они одной масти,— помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся“. Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днем сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках — у него все книги были о разбойниках; слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали — и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки — ах ты мне! а в конце книги вдруг — под суд — цап! и баста! всё прахом пошло.

«Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю — ходят темные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу — толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь — Павел Петров даст за нее половину цены,— он, брат, честно платил,— сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и — ничего не осталось! Плевое дело, братец ты мой! То один попадет под суд, то другой угодит туда же...

«Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причем украдено на сто рублей! — Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубье!.. Вот я и говорю Павлу Петрову: „Всё это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук“.— „Гм! как тебе сказать? — говорит.— С одной, говорит, стороны, курочка по зернышку клюет, а с другой — действительно, во всех делах у людей ува-

жения к себе нет; вот в чем суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражею двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?". И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: „Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что".— „Гм! — говорит — это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчету, без помочей? Так, например... Обаимов-то — говорит — с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нем всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?" Я задумался. Обаимов — это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело — дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. „Нужно обмозговать",— говорю. „Не без этого",— отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой всё более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то еще более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звездочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы залег, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню — в конце. Ночь — самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место — лучше

желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом съезде с него доски выбиты,— значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! — и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и всё у меня готово. Раз! — и получи денежки. Так-то. Бац! — значит,— и всё тут!

«Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдешь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

«Вижу: от города идет кто-то — пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет,— всхлипывает... Еще ближе подошел, смотрю — баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идет к мосту прямо и вдруг как крикнет: „Милый, за что?!“ Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. „Что за притча?“— думаю. А она прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь — куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: „За что?! за что?!“—и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу,— сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на нее... И тут, брат, всё и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю — так сердце и ёкнуло: ма-аленькая девчоночка, дите совсем — беленькая, кудряшки на щечках, глазенки большие такие — смотрят так... и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слезы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

«Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: „Кхе! кхе! кхе!“ Как она крикнет: „Кто это? Кто? Кто тут?!“ Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: „Это, мол, я“.—„Кто вы?“ — говорит. А глаза-то у самой во́ какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. „Кто вы?“ — говорит».

Он засмеялся.

«„Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня,— я вам худа не сделаю. Я — так себе человек, из босой команды, мол, я". Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залег тут! А она мне в ответ: „Всё, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда". И так это она сказала, что меня аж озноб взял — серьезно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушенно развел руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чем заговорил — не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался; больше всё насчет того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть — раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что — кто его знает — что? Сердце говорило. Да! А она всё смотрит, серьезно так и пристально, и вдруг как улыбнется!..» — заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатыми кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: „Барышня, говорю, барышня!"— и всё тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами — сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: „Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!" Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не всё еще, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат,— вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?! То-то! А зачем я пошел? Эх ты, жизнь!..»

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встает и говорит мне: „Проводите меня домой". Пошли мы. Я иду — ног под собой не чую, а она мне всё рассказывает, как и что. Понимаешь

ты, она одна дочь была у родителей, купцы они,— ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, ее там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать — как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. „Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь".— „Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!" — „Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!"— пристает она. А я такой оборванный был, однако говорю: „Не надо, барышня". Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: „Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне..." Ну, это наплевать»,— оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

«Ушла она. Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идет. „Ты, говорит, чего тут торчишь, али слямзить хочешь чего ни то?" Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду — рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую — мне всё равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. „Где погуливал?" — спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него — человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему всё, как и что. Слушал он серьезно таково, а потом сказал мне: „Вы, говорит, Емельян Павлыч,— дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!" — Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушел, и всё тут.— Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо — бархатное и звездное. И кругом всё молчало. Шум прибоя стал еще мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.

О ЧИЖЕ, КОТОРЫЙ ЛГАЛ, И О ДЯТЛЕ — ЛЮБИТЕЛЕ ИСТИНЫ

Это очень правдивая история, и я начну ее так.

Вдруг изо всех певчих птиц той рощи, в которой произошел этот любопытный случай, привлекла к себе общее внимание одна, запевшая песни, исполненные не только надежд, но и уверенности.

До той поры все птицы, испуганные и угнетенные внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни, которые только потому и назывались песнями, что их пели; в них преобладали тяжелые, унылые и безнадежные ноты, и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли и даже стали находить в них разные красоты, что, однако, стоило им большого труда.

Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему пессимистические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способные. В другое время на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А они, подмечая это, мрачно распевали:

Карр!.. В борьбе с суровым роком
Нам, ничтожным, нет спасенья.
Всё, на что ни взглянешь оком,—
Боль и горе, прах и тленье...
Карр!.. Страшны удары рока!..
Мудрый пусть им покорится...

Карр... карр!.. Скучная песня!.. Но — сильная, она угнетала всю рощу.

И вот вдруг зазвучали свободные, смелые песни...

Вся роща, много слышавшая песен, встрепенулась, удивленно и тихо шелестя ветвями. И даже соловьи, которые всегда поют недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

— А ведь у этого певца есть искорка!..

И, говоря так, втайне гордились своим беспристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон,
Смущенных холодом и тьмой...
Я вижу мрак,— но что мне он,
Коль бодр и ясен разум мой?..
За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
Душе живой — в ней места нет!
Зажжем сердца огнем ума,
И воцарится всюду свет!..

— Сильно спето! — комментировали соловьи...— Молодо, самонадеянно, немузыкально — но сильно...— и, глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше:

Кто честно смерть приял в бою,
Тот разве пал и побежден?
Пал тот, кто, робко грудь свою
Прикрыв, ушел из битвы вон...
Друзья! И тот пал, кто, боясь
Труда, волнений, боли ран,
О битве судит, погрузясь
В философический туман...

— Гм... у него очень оригинальные взгляды! — отметили соловьи.— Хотелось бы знать, что это за птица!..— полюбопытствовали они.

Друзья! Пусть падшие молчат.
Им очи съел сомнений дым;
В сердцах их честь и гордость спят.
Друзья! Давайте крикнем им:
Прочь! Ваших мудрствований чад
Темнее сделал эту ночь,

И отравляет он, как яд,
Умы и души юных... Прочь!..
Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!

— Это смело! — сказали соловьи.— О да!.. это очень смелая песня!..

Роща слушала и ощущала нечто хорошее и сильное, это ощущение наполняло ее теплом и светом, и даже старые, серыми лишаями покрытые, ветви деревьев зашептали о прошлых днях. То были славные весенние дни, когда в роще только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели свободные и звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким и точно звало птиц попытать силу крыльев — достигнуть его глубины. То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось,— была цель и была надежда достичь ее. И эти дни явились перед рощей и, как звезды, заблистали в тумане, скрывавшем от нее небо.

Птицы встрепенулись и ожили. Где певец? Пусть он примет дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолепная, красивая птица!

Они собрались целой тучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки.

Но когда они прилетели, то увидали, что это просто чиж — самый заурядный, маленький, серенький, с восковым носиком чиж. Он сидел на ветке орешника и был смущен оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и суетящийся, он возбудил во всех недоумение и никому не понравился.

Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!

Когда это кричит орел, сокол, ястреб наконец,— это и красиво и мощно; но чиж — чиж, объявляющий войну богам!.. Тут есть некоторое несоответствие, что-то странное и смешное. И это прямо-таки обидно для всех остальных птиц. Почему именно чиж, а не щегленок, зяблик, снегирь?..

Пораженные и обиженные птицы смотрели на чижа и думали: «Что же теперь будет?»

И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела зажечь море...

Но тут один находчивый щегленок, журналист по профессии, спросил чижа:

— Послушайте-ка, это вы сейчас пели?

— Я...— ответил чиж,— да, это я пел.

— Гм... а чем вы это докажете? То есть мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но...

Чиж вздрогнул, у него встали дыбом перья, и он запел:

Во тьме нами созданной ночи
Проносятся серые совы...
И блещут их мрачные очи,
И злы, и угрюмо суровы!..
И гулко их крики несутся,
Смеются они и рыдают,
Проклятья в них дню раздаются,
А ночь они смехом встречают...
О, если бы мрака оковы
С моей юной рощи упали,
Исчезли бы дикие совы
И соколы только б летали!..
Но соколы — слабы и хилы —
Забилися робко в ущелья
И злятся без чести и силы
Под звуки чужого веселья.
Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют...

Некоторым птицам эта песня показалась личностью, и они засвистали чижу, а щегленок сказал:

— Хорошо, этого достаточно для нас! Но, вот что — скажите: вы, так сказать, будите общественное сознание... гм!.. а какие, собственно, у вас права на это? То есть я хочу сказать — во имя чего поете вы?!

Чиж изумился и молча смотрел на публику.

— Мы, видите ли, хотим гарантировать себя от ошибок, которых, вы знаете, у нас было многонько таки, и с этой целью мы хотели бы знать ваши исходные и конечные пункты,— знать, куда и зачем нас зовут? — поставил вопрос щегленок и, довольный собой, засвистал что-то чужое: у щеглят нет своих песен, как известно.

Чиж встрепенулся...

— Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать, мы должны всегда бороться и всё победить, чтоб оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: всё прошедшее, настоящее и будущее — это мы, а не слепая сила стихий. Путь, по которому нам нужно идти, мне незнаком, но я уверен, что нужно идти вперед. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути! Там вечный, неиссякаемый свет, там неведомые нам чудеса; там мы, великие, свободные, всё победившие птицы, насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь; там мысль наша разрешит всё, и наши чувства, осложненные до чудесного, откроют пред нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она — жизнь, достойная нас!.. Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чем, ибо что есть выше вас?.. Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше — там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда не стоила одной капли сомнения теперь... Научившись так страшно сомневаться во всем, вам пришла пора — уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда — в страну счастья! где ждет нас великая победа, где мы будем законодателями мира и владыками его, где мы будем владыками всего... Туда — в это чудное «вперед»!..

— Вперед! — крикнули птицы, ибо в их сердцах загорелась гордость собой.

Слезы вдохновения и веры наполнили глаза чижа. И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья.

— Позвольте, позвольте!.. Я прошу слова... Слово мне!..

Это кричал дятел с верхушки осины, и когда его услыхали, то ему тотчас же дали слово, потому что он кричал очень громко.

— Милостивые государи и государыни! — заговорил дятел.— Рекомендуюсь: я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках... С фактами в руках, милостивые государи! А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него, а именно они-то и нужны ему более, чем мне; они — всё, милостивые государи, и все мы — не более как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери.

— Рассмотрим беспристрастно, что есть там — впереди, куда зовет нас господин Чиж. Все вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожженное солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит деревня, и в ней живет Гришка, человек, занимающийся птицеловством. Вот первая станция по пути «вперед», о котором так много наговорил здесь господин Чиж!..

— Предполагая, что мы устремимся вперед сообразно его желанию,— в бескорыстии которого я позволю себе усомниться, ибо знаю, что чижи, как и все другие существа, не прочь от популярности, славы и т. п.,— предполагая, что мы благополучно минуем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова — поле,— деревня,— поле... и так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до

той самой рощи, в которой, в данный момент, я имею высокую честь говорить с вами.

— Это ли та страна, в которой, по словам господина Чижа, мы получим награду за наши труды?.. Это ли она?!.

— Я знаю вас, милостивые государи и государыни, я знаю, сколь высоко вы летаете, но... как ни горько мне говорить вам это,— я знаю и то, что никто из вас не взлетал и не может взлететь выше самого себя.

— Попытка господина Чижа завоевать себе ваше внимание путем отуманивания вас блестящими и громкими фразами ясно указывает на степень высоты его мнения о вас, как о здравомыслящих существах! Эта попытка должна быть строго наказана, милостивые государи и государыни!..

И, преисполненный сознания выполненной им общественной обязанности, мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал.

Птицы молча смотрели на чижа и видели, как из его глаз одна за другой скатывались слезинки. О чем он мог плакать, как не о своей вине пред ними?! Такой мизерный, серенький и лживый чиж!

А он понуро смотрел туда вдаль, и его глазки точно прощались там с чем-то.

Молчала роща, и птицы бесшумно разлетались по своим местам. Улетел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением пред его мудростью.

День был такой грустный; он точно расплакаться о чем-то собирался.

И вот чиж, который лгал, остался один. Неподвижный и подавленный, он сидел на ветке орешника, и только одна сойка с любопытством поглядывала на него из робкой, дрожащей листвы осины. Но это ей скоро наскучило, и, насмешливо свистнув, она улетела.

А чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал:

«Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду,— и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»

И, оглянувшись кругом, бедный, маленький чиж нахохлился.

Вот и вся история... Прочитав ее, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слез смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!..

ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Ленька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На темно-коричневом фоне земли их отрепанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один — побольше, другой — поменьше; утомленные, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперек узкой полоски песка — он желтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Ленька лежал калачиком сбоку деда. Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймленный редкими кустами ивняка; из кустов высовывался черный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспаленные глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещренное морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слез.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе

стороны реки, громадная, бурая, сожженная солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видное старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нем вырисовывались три стройные фигуры далеких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрет, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и еще его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Ленька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нем что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но — далеко идти в Россию... Все равно не дойдешь, умрешь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжелый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажненный слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся еще больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

— Идет? — спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

— Нет еще, не идет. Стоит. Чего ему здесь? Не зовет никто, ну и стоит он...— медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове.— Дремал ты?

Ленька неопределенно покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

— Кабы я плавать умел, купаться бы стал,— пристально глядя на реку, заявил Ленька.— Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Ленька недовольно отвернулся от воды.

— А вот что,— заговорил дед, подумав,— давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся...

— Ну-у!..— резонно протянул Ленька.— Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

— А ведь верно! Стащит. Ишь как прет... Чай, весной-то разольется — ух ты!.. И покосу тут — беда! Без краю покосу!

Леньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьезным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чем-то думал, щуря глаза.

— Ведь вот...— тихо и монотонно заговорил Ленька, стряхивая с рук пыль.— Земля эта теперь... взял я ее в руки, растер, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

— Ну, так что ж? — спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слезы в большие сухо блестящие глаза внука.— Ты к чему это? — добавил он, когда прокашлялся.

— Так...— качнул головой Ленька..— К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!..— Он махнул рукой за реку.— И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Ленька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

— Умница ты моя! Правильно сказал ты — пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна.

Эх ты, Ленька, Ленька!.. Кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошел. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал ее.

— Погоди...— высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Ленька.— Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

— А так уж устроено богом, голубь. Всё — земля, а сама земля — пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро...— перескочил дед и тоскливо добавил: — Куда ты тогда пойдешь без меня-то?

Ленька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил ее в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

— Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? — тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

— Говорил уж...— рассеянно и недовольно произнес Ленька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры еще и потому, что зачастую они кончались ссорою. Дед долго говорил о близости своей смерти. Ленька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся — и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Ленька не любит деда, не ценит его забот, и наконец упрекал Леньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

— Что — говорил? Глупенький ты еще, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдешь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их — это так. А милостыню-то собирать не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то?

Никто! Десять лет по миру хожу — знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнет тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек — зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу — сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на темном лице выступили резче.

Ленька не любил его таким и немного боялся чего-то.

— Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты — хилый ребеночек, а мир-то — зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого?.. Господи!.. за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому — дите,— оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих... старых... Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

— Будет, не плачь, дедушка,— глядя в сторону, суровым тоном проговорил Ленька и, повернув к деду лицо, добавил: — Говорили обо всем уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...

— Забьют...— сквозь слезы простонал дед.

— Может, и не забьют. А вот как не забьют! — с некоторым задором вскричал Ленька,— тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Ленька вдруг почему-то осекся и, помолчав, тихонько сказал:

— А то в монастырь уйду...

— Кабы в монастырь! — вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

— Паро-о-ом!.. Паро-о — гей! — сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперед грудь выпячивалась еще более. Белые зубы ярко сверкали в шелковой раме черной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстегнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колес арбы, высоких, стянутых толстыми шинами,— разило сытостью, силой, здоровьем.

— Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

— Здравствуйте! — гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже черный паром, стал пристально оглядывать нищих.— Из России?

— Из нее, милостивец! — с поклоном ответил Архип.

— Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

— И тараканы с голода мрут.

— Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.

— Тут, кормилец, главная причина — земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

— Земля? — тряхнул казак головой.— Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку.

Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьется, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

— Жарко? — оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

— Эге! — ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в нее и повел носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Ленька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.

— Ну, едем! — скомандовал хозяин арбы.

— А ты не везешь ничего с собой попить? — спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.

— Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

— Воды!.. я не о воде.

— А о горилке? Не везу горилки.

— Как же это ты не везешь? — задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

— Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

— А ты, дед, что же не поможешь? — обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

— Где мне, родной! — жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

— И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лег на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперед.

Глядя на воду, Ленька чувствовал, что у него слад-

ко кружится голова и глаза, утомленные быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу.

— Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Ленька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой черной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колеса жалобно скрипели, вилась пыль; дед, тряся головой, не переставая кашлял, а Ленька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»... Снова станичные мальчики будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрет народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда ее, милостыню, здесь денешь? Дома — там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

— Сбирать пойдете? — спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

— Уж конечно, почтенный! — со вздохом ответил ему дед Архип.

— Встань на ноги, дед, покажу, где живу,— ночевать ко мне придете.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

— Эх ты, старый!..— буркнул казак, соболезнуя.— Ну, всё равно, не гляди; придет пора на ночлег идти, спроси Черного, Андрея Черного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду — направо и налево — к небу вздымались такие же кучки. Их зеленая листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

— Ну, как мы, Леня, пойдем — вместе или порознь? — спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Вместе бы лучше — мало больно тебе подают. Не умеешь ты просить-то...

— А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаем...— хмуро ответил Ленька, оглядываясь вокруг.

— Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернется человек да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадешь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

— Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

— А сколько? — равнодушно спросил Ленька.

— Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Леньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

— Эх ты, малыш, малыш! — вздохнул дед.— Так порознь, что ли, идем?

— Порознь...

— Ну... К церкви приходи, буде.

— Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Ленька пошел дальше. Сделав шагов десять, он услыхал дребезжа-

щий возглас: «Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Ленька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревется дедушка.

До слуха его еще долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Ленька подошел к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Ленька положил на нее голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решетчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалеку от него. Плакали по-детски — задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слез лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идет. У нее были большие черные глаза, теперь — обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрепанных и падавших ей на лоб, щеки и плечи.

Она показалась Леньке очень смешной, несмотря на свои слезы,— смешной и веселой... И озорница, должно быть!..

— Ты чего плачешь? — спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё еще потихоньку всхлипывая. Потом, когда

она несколько секунд посмотрела на него, у нее снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Ленька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошел за ней.

— А ты не плачь. Большая уж — стыдно! — заговорил он, еще не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал ее, заглянул ей в лицо и переспросил снова: — Ну, чего ты разревелась?

— Да-а!..— протянула она.— Кабы тебе...—и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

— Ну! — пренебрежительно махнул рукой Ленька.— Баба!.. Как есть — баба. Фу ты!..

Но это не помогло ни ей, ни ему. Леньке, глядя, как между ее тонкими розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до ее волос, но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

— Слышь!..— помолчав, начал Ленька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей.— Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдет!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка — а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечиками:

— Платок... потеряла!.. Батька с базара привез... голубой, с цветками, а я надела — и потеряла.— И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Ленька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от нее, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

— Не плачь!.. может, найдется...— тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся еще дальше от нее, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и черный казак,

колотит ее, а она, захлебываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошел прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против нее, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

— Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой да и скажи всё, как было. Потеряла, мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущенным восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

— Вот и ладно!..— улыбаясь и оживленно продолжал он.— Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Ленька гордо повел плечами, оглянувшись вокруг себя.

— Не надо...— прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

— А то — пойду? — с полнейшей готовностью громко заявил Ленька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нем лохмотья как-то храбро заершились. Он твердо постукивал палкой о землю и смотрел на нее упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слезы, и, снова вздохнув, сказала:

— Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Леньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка:

— Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжелая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже

было низко, и вершины тополей зарделись легким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то еще дальше, но в другой стороне — пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Леньке стало еще скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошел вперед по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шел и чувствовал, что у него в груди сердце бьется так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут ее бить: все богачи — скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Леньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым крупным фигурам и быстро шел к церкви,— крест ее сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему неслся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли ее кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идет к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжелой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

— Что, пуста котомка-то? — спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды.— А я вон сколько!..— И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок.— Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

— Голова болит...— тихо молвил Ленька, опускаясь на землю рядом с дедом.

— Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдем сейчас. Как казака-то того звать? А?

— Андрей Черный.

— Так мы и спросим: а где, мол, тут Черный Андрей? Вот к нам человек идет... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошел к ним вплоть и медленно проговорил в ответ на приветствие деда:

— И вы здравствуйте.

Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Ленька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами вопросительно, казак всё молчал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

— Ну — пойдемте в сборную!

— Зачем? — встрепенулся дед.

У Леньки дрогнуло что-то внутри.

— А надо... Велено. Ну!

Он поворотился к ним спиной и пошел было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

— Чего ж еще!

Тогда дед и Ленька быстро пошли за ним.

Ленька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таман-

скую историю. Там дед стянул со двора белье и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

— Ленька...

Ленька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шел впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

— На́ вот, возьми!.. брось... в бурьян... да заметь, где бросишь!.. чтобы взять после...— чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свернутую в комок.

Ленька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом всё его существо, и подошел ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряженно глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на нее, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Леньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслоненный образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее... Звуки ее рыданий снова ясно раздались в ушах Леньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слез.

В этом почти невменяемом состоянии он пришел позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча

что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

— Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!..— пронзительно взвизгнул дед.

Ленька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

— Брешет Даниловна, чёртова баба! — громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Леньки своим густым и раздраженным голосом.

— А может, они спрятали где? — крикнули в ответ еще громче.

Ленька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то черную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капают на его, Ленькин, лоб маленькие мутные слезы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...

— Оклемался ли, родной?!. Пойдем-ка отсюда. Пойдем,— отпустили, проклятые!

Ленька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжелое и что она вот-вот упадет с плеч... Он взял ее руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.

— Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!.. Ох, господи!.. за что наказуешь?!.

Скрипучий голос деда как-то царапал Леньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше. Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и ее молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы у́же, чем оно

было днем, уже и еще пустынней, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно, задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звездами.

— Пойдем, милый!.. идти надо,— сказал дед.

— Посидим еще!..— тихо сказал Ленька.

Ему нравилась степь. Днем, идя по ней, он любил смотреть вперед, туда, где свод неба опирается на ее широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населенные невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба — сами дадут, без просьб... А когда степь, всё шире развертываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Ленька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещенное луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаенным восторгом,— было страшно, жалко и, возбуждая в Леньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

— Ну, посидим, посидим!..— бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Ленька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

— Ленька!.. Погляди-ка!..— вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее.— В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передергивалось.

Ленька вздрогнул и оттолкнул его руку.

— Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!..— умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

— Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял — вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Леньки.

Перед глазами Леньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Леньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее — заборы, дома, деревья — в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжелый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо темными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздается: «Воришки! Воришки! Воришка, воренок!..» Ленька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а ее синие глазки сверкали зло и остро и кололи Леньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжелая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Леньке почти не видно было лица деда... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав ее образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих.

Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел ее? Он не родной ей...

А дед скрипел:

— Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

— Ну!..— вдруг вспыхнуло что-то в Леньке.— Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!..— взвизгнул Ленька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги.— Вор ты старый!.. У-у! — И, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: — У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая ее мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и ее и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа черных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то еще, молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Ленька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

— Дедушка!..— прошептал Ленька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома.— Идем в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

— Дедушка!..— крикнул Ленька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол.

— Что ты... Боишься...— хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щеткой по сухой земле,— а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивало чаще.

— Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьет!..— задыхаясь, говорил дед.— Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошел!.. Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

— Дедушка!.. прости!..— придвигаясь к нему, взмолился Ленька.

— Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь —вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребенка убил ты меня!.. Верно, господи!.. Правильно!.. Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!..

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Леньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для нее, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнем, то погружаясь в холодный, тяжелый и тесный мрак, странно суживавший ее. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Ленька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рожденного криком деда. Он уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождем головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Ленька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от страха... При синем блеске молнии оно казалось мертвым, а вращавшиеся на нем тусклые глаза были безумны.

— Дедушка!.. Пойдем!..— взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздраженного грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив еще. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чем-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых — он чужой, во-вторых — вор, а в-третьих — умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашелся Ленька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еще ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест.

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Всё это — звуки и запахи, тучи и люди —

было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу,— ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием лупы, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестер,— она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень,— пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

«Вот какая щедрая земля в той стране!

«Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

«Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

«Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

«— Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет.

«Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему,— к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

«Всех, кто видел это, оковал страх,— впервые при них та́к убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд,— не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же—слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

«— Спросим его, почему он сделал это?

«Спросили его об этом. Он сказал:

«— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

«А когда развязали его, он спросил:

«— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

«— Ты слышал...— сказал мудрец.

«— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

«— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

«— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется,— что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

«— Но она не твоя! — сказали ему.

«— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

«Ему сказали на это, что за всё, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

«Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

«Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили,— тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

«— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

«И тут произошло великое. Грянул гром с небес,— хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон,— юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и

похищал скот, девушек — всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

«— Не троньте его! Он хочет умереть!

«И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

«— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

«И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И всё ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец

рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели,— странно запели. Сначала раздался контральто,— он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впереди его...— третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слыхал. Никогда не слыхал...

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь,— красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье...— начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним.

И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

— Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про всё и побила меня, уговаривал всё меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского

молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке,— и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось всё им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Всё стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, всё забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала всё уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе — и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн,— задумчивый, мятежный шум был славной вто́рой рассказу о мятежной жизни. Всё мягче становилась ночь, и всё больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей

становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила,— ничего... Но скучно стало...— всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидала... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого — около Арцер-Паланки, помню,— ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, всё извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

— Погоди!.. А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох всё... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а всё еще в нем горит любовь... И всё просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто

скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он — что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, отправилась ты в Польшу...— подсказал я ей.

— Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка,— он был маленький,— подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, всё равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на всё смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня,— тоже почти тень.

Она продолжала:

— В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка.

Всё шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Всё лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя,— те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

— Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня,— зимой это было,— и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как чёрт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня всё было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и всё хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже,— помню,— дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне несладко! Вот уж несладко!.. Я ведь любила его, этого чёрта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит,— подумала я,— не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидать... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и

говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шёпотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шёпотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат,— сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжко же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он всё говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и всё кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, всё упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только всё барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки,— и, услыхав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» — сказал он.

«Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я всё слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там всё было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в

человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое, однажды, вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь...

Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад,— там были сильные и злые враги, другая — вперед,— там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры.

И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых,— и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

«— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — всё на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

«Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

«— Веди ты нас! — сказали они.

«Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими,— вот как!

«Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

«— Ты,— сказали они,— ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

«— Вы сказали: „Веди!“ — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

«Но эти слова разъярили их еще более.

«— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

«А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

«А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

«— Что сделаю я для людей!? — сильнее грома крикнул Данко.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

«— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был

заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

«И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

«Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко,— кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей всё крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

ОШИБКА

Сельский учитель не у дел, Кирилл Ярославцев, опершись локтями о стол и туго сжав виски ладонями, смотрел тупыми глазами на рассыпанные пред ним статистические карточки и пытался выдавить из своих утомленных работой мозгов представление о том, что же надлежит теперь делать с этими четырехугольными листами бумаги?

Это никак не удавалось ему. В голове глухо шумело, и ему казалось, что она налита чем-то густым и тяжелым, что больно давит изнутри на глаза, стремясь излиться наружу. Цифры с карточек то вдруг исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидетельствовали о чем-то; иногда они уменьшались до крохотных, неясных каракулек и вдруг вырастали в крупные, странные и поджарые фигуры. Ярославцев следил за их игрой и чувствовал, что в нем, где-то глубоко, вырастает и формируется тяжелая и беспокойная мысль. Она еще была неясна ему, но она непременно появится, и тогда ему будет еще хуже и больнее, чем теперь.

Последнее время его стали всё чаще и чаще преследовать эти мысли, гнетущие душу. Окрашивая всё в темный цвет, сырые и холодные, точно осенние тучи, они оставляли за собой на душе ржавчину тоски и тупого равнодушия ко всему. Было что-то роковое в медленности, с которой они формировались в сознании, и никогда и ничем ему не удавалось задержать их рост и развитие. Он делал такие попытки: вставал из-за стола, ходил по комнате и пел или шел к кому-нибудь из знакомых, но они заглушали песню и всюду ползли за ним, не оставляя его и вне дома.

Сначала он упорно боролся с ними, но потом увидал, что эта борьба не влечет за собой никаких последствий,

кроме утомления души, и всегда ведет к тому, что они давят его сильнее, становясь образнее и ярче от его сопротивления им. Тогда он уступал, и уж если чувствовал, что вот они идут, то валился на диван и, заложив руки под голову, отдавал себя во власть им.

Так оставался он часа по два, по три, а иногда и целые ночи, как бы расколотый на две части, причем одна, от времени становившаяся всё меньше, жалобно и беспомощно следила за другой, которою овладели эти тяжелые думы, перетиравшие, подобно жерновам, всё хорошее и светлое, что есть в жизни, и всё, чем наделяет ее мечта, в сухую, бесцветную, едкую пыль.

Он лежал, упорно глядя в потолок да слушая биение своего сердца и звук маятника часов в комнате квартирной хозяйки. Так-так! Так-так! — мерно бил маятник и точно подтверждал своим уверенным и твердым звуком справедливость того, что навязывали думы сознанию Кирилла Ивановича. Наконец он привык к ним и только чувствовал смутный страх, когда они давали знать о том, что идут на него. Потом этот страх временно исчезал, подавленный их работой, и вдруг через некоторое время являлся снова.

Но он являлся уже в новой форме — в форме тоскливой, ожидающей, неотвязной боязни, которая всё возрастала и всё напряженнее ждала какого-то страшного факта. Кириллу Ивановичу казалось, что вот появится нечто суровое и торжествующее, появится, станет у дивана и, грозя, ехидно скажет:

— А ведь я вижу, о чем вы думаете! Вижу. Я всё вижу; самомалейший изгиб вашего мозга мне ясен. Как же вы решаетесь думать о том, что не подлежит ве́дению вашему — ве́дению человека, к жизни непричастного и от нее отторгнутого, а? Как же это вы, государь мой? А вы знаете, что за это вас можно...— и он покажет, что́ за «это» можно сделать с человеком.

Представляя себе такую картину, Ярославцев вздрагивал и жалобно смотрел на дверь.

Дверь была тоненькая и хлипкая, а крючок проволочный. От посещения этого всезнающего существа она не оградит и — ничто не оградит от его посещения. Ярославцеву казалось, что оно проникло бы и сквозь

каменные стены. И в ожидании его он страдал, вздрагивая при каждом шуме, и чувствовал, что эта тоскливая боязнь, с каждым своим возрождением, становится всё сильнее, охватывает его всё крепче и вот-вот она возрастет, поглотит его... и тут уж воображение останавливалось перед чем-то темным, полным леденящего душу ужаса.

«Как избавиться от всего этого? — думал он в более светлые моменты и отвечал себе: — Подчиниться. Пусть оно совершенно охватит меня, и тогда я перестану его чувствовать...»

И в этот раз он тоже хотел было лечь на диван, но вдруг услыхал торопливый скрип двери за своею спиной, быстрые шаги и утомленный голос:

— Вы дома? Ну, наконец нашел одного!.. Ф-фу!

Кирилл Иванович обернулся на стуле и увидал одного из знакомых статистиков, которого в бюро прозвали Минорным. Он сел на стул и, держа в одной руке белую фуражку, другою вытирал со лба крупный пот. Лицо у него было бледно и измято, глаза воспалены, и весь он производил впечатление человека крайне уставшего.

Ярославцев крепко, молча, с удовольствием пожал ему руку. Этот человек своим появлением отдалял приступ дум.

— Бегал по жаре, как сумасшедший,— никого! — говорил Минорный, с неудовольствием поджимая губы, и, зажмурив глаза, нервно провел по ним пальцем, как бы смахивая с ресниц что-то.

— А кого вам нужно? — хотел спросить Кирилл Иванович, но не успел.

— Вот видите что... вы только, пожалуйста, не отказывайтесь... потому что я больше не могу! Две ночи напролет возился, будет! Это свинство со стороны всех. Да, ведь я не сказал вам, в чем дело... Этот... как его?.. Кравцов! Сошел с ума... да! Третий день... Всё, знаете, говорит, говорит, чёрт не разберет, что такое! Впрочем, иногда очень сознательные и умные вещи. Ну, так вот... я был при нем кряду два дня и больше не могу... Страшно устал. Он буен, если ему противоречить, лезет драться. Ерундит страшно! Начал мазать стены вакси... Разделся донага и давай себе чистить щеткой

голую грудь. Воображает себя гением добра и дерется. Смешно и жалко... Бывает доктор. Хлопочут о помещении в больницу, но всё так медленно. А главное, возмутительно формальны и черствы мы все! Приходят, знаете, посмотрят на него в дверную щель, посочувствуют и удерут. Всем некогда, у всех какие-то дела явились. Я больше не могу, уверяю вас! Пойдите вы, голубчик, а? Там теперь Лыжин... Вы, я знаю, мало знакомы были с этим несчастным; но разве это теперь не всё равно? Не так ли? Вы пойдете?

— Да, я — конечно. Я могу — хоть сейчас! — медленно протянул Кирилл Иванович.

— Именно сейчас! — внушительно и торопливо воскликнул Минорный и пояснил: — Этот Лыжин и остался там только на условии, что его часа через два сменят... Вот и прекрасно... идите-ка! Вы сильный, вам это будет нетрудно. И как это я не догадался давеча прямо к вам махнуть?.. Не измаялся бы так... Ну, так вы идете?

— Хорошо... идемте.

Минорный поднялся со стула, быстрым жестом бросил себе на голову фуражку, поправил ее и, отворив дверь, оглянулся на Ярославцева.

Последний задумчиво и медленно натягивал на себя пальто, закусив нижнюю губу и упорно глядя на ноги Минорного.

— Знаете что? — живо заговорил тот.— Ведь вам известна его квартира? Так идите, милый, один, а я домой прямо, а? Хорошо? Ну, и спасибо! Не поверите, ну, чёрт знает, до чего я...

Заключительные слова фразы Минорный унес с собой в глубь сеней, и там они были заглушены тонким визгом двери. От этого визга Ярославцев вздрогнул, скорчил болезненную гримасу и опустился на стул, побужденный к этому гнетущею тяжестью сообщения Минорного.

Как только Минорный сказал фамилию Кравцова, Кирилл Иванович воспроизвел перед собой фигуру человека среднего роста, сухого, угловатого, нервного, с черными, всегда вздрагивавшими усами и с горящим, блуждающим взглядом миндалевидных черных же глаз.

Гиголаттове, грузин, сын крестьянина, один из первых пропагандистов марксизма среди типографской молодежи и рабочих. Был весною 1901 года привлечен по делу рабочих, имевших знакомства с [redacted] революционерами и переписку с Гогиберидзе, Филаретовым, Мосатовым, Здановичем и др.

Об участии в работе, занятий и поведении сужден с участием присяжных заседателей. В течение трех недель его не принимали в больницу, сколько ему ни повторяли дежурные товарищи, потом он разбрасывал увлекательные, читанные [redacted] пропагандистами его сознания, изъятые им. Мне пришлось провести с ним девять дней один на один, это было очень интересно. Несколько раз он пытался убить меня. Он напоминал

МАТЕРИАЛ К РАССКАЗУ «ОШИБКА».
Автограф М. Горького.

По морщинистому белому лбу этого человека страшно двигались густые брови, то всползая к жестким, ершистым волосам, то вдруг спрыгивая вниз и совершенно закрывая впадины глаз. В разговоре он иногда удерживал одну бровь — левую, прижимая ее длинным пальцем левой же руки; это не мешало другой брови всползать к волосам, и тогда всё лицо говорившего перекашивалось и принимало мучительно острое выражение напряженного желания проникнуть куда-то недосягаемо для других, глубоко, и постичь что-то непостижимое никому. Глаза же в это время метали искры, и в них было целое море не то тоски, не то мучительного восторга.

Давно уже все считали его человеком ненормальным, и он каждый день подтверждал этот взгляд, высказывая сегодня желание учиться математике, чтобы постичь тонкости астрономии, завтра — уйти в деревню, чтобы обрести там равновесие души; уехать в Америку и бродить в степях, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочих теории социализма; учиться музыке, ремеслу, рисованию. Необходимость для себя всего этого он доказывал всегда уверенно и ясно, а если его оспаривали — с бешеною горячностью. Главным источником своих желаний он выставлял чувство самосохранения.

«Ничего не делая, погибнешь чересчур глупо для человека. Все скоты делают нечто, я же человек и должен творить!» — вспомнил Кирилл Иванович две его фразы. Принято было называть его «метафизиком» за такие и другие, в этом же роде, речи. Он никогда не умел привести строго логических доводов в пользу того или другого из своих воззрений, поступков, желаний и всегда отделывался краткими афоризмами в догматическом тоне и за пристрастие к таким афоризмам считался человеком, живущим прежде всего для громкого слова. К нему привыкли и не обращали на него особенного внимания. Ярославцев, встречаясь с ним, никогда не пытался представить себе, с кем он имеет дело, вполне полагаясь на чуткость и верность взгляда тех людей, которые дали Кравцову эпитет ненормального и психопата.

Но теперь этот Кравцов вдруг стал мучительно интересен. Дней пять тому назад Кирилл Иванович вместе с ним катался в лодке и ничего особенного не заметил за ним. Они сидели в лодке рядом, и он своим отрывистым стилем, но веско и вполне ясно для него, Кирилла Ивановича, доказывал, что демонизм, символизм и иные болезненные формы мысли есть бешеная, но необходимая реакция против распространения материализма и что кредит материализма скоро и непременно будет подорван в глазах всех мыслящих людей. Кирилл Иванович снова вспомнил металлически звеневшие фразы:

«Причина современного шатания мысли — в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели нас донага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки. Еще мы не настолько психически окрепли, чтоб без вреда для себя до конца выслушивать правду. Кто знает, может быть, высшая истина не только не выгодна, но и прямо-таки вредна нам?»

«А что же теперь говорит этот человек,— теперь, когда он сумасшедший? И что такое быть сумасшедшим?»

Ярославцев вспомнил, что кто-то определил сумасшествие, как преобладание деятельности какого-нибудь одного из свойств психики над всеми другими, а еще кто-то — как поражение памяти каким-либо одним фактом или мыслью.

Ему представилась внутренность какого-то пружинного механизма: массы спиральных пружин сокращаются и расширяются, взаимно сообщая друг другу силу и движение, и из этого движения рождается мысль. Вдруг одна из пружин почему-то начинает сокращаться сильнее других — полная путаница среди остальных, пока они не возьмут нового такта или пока она не возьмет старого такта. Или вдруг в их систему вторгается извне нечто тяжелое, поражающее и падает как раз на ту пружину, что записывает прошедшее, и вот она, пораженная ударом, не может уж больше отметить чего-либо иного и вечно пишет одну и ту же мысль, воспроизводит одно и то же впечатление.

«Всё это очень просто и очень жалко. Зачем нужно, чтоб человек сходил с ума? Разве на его долю мало всех

иных болезней и несчастий?» — подумал Ярославцев и вспомнил, что ему нужно идти туда, к больному.

Но он не встал и не пошел, а продолжал думать, сидя на стуле, в пальто и фуражке.

«А вдруг он стал теперь гением?.. Ведь было доказано, что гении — сумасшедшие. Никто не рассказал, как создаются гении. Может быть, сходя с ума, отдаваясь в рабство идее...»

Кирилл Иванович ощущал в себе желание повторять каждое слово по нескольку раз, но почему-то боялся делать это. Слова казались ему разноцветными пятнами, вроде легких облаков, рассеянных в безграничном пространстве. Он летает за ними, ловит их и сталкивает друг с другом; от этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если ее вобрать в себя вместе с воздухом и затем выдохнуть, то она зазвучит, и от этого получается речь.

— Однако как это всё просто! — Он засмеялся.— Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы,— они глубоко вонзаются в неизвестное,— с удовольствием, щелкнув пальцами, произнес он.

Дверь отворилась, и в отверстие просунулась голова квартирной хозяйки.

— Сидит одетый, смеется и разговаривает сам с собой...Тоже занятие! Самовар подавать, али уходите куда?

Хозяйка говорила ворчливо, а смотрела ласково. Глаза у нее были маленькие, но живые; от них к вискам легли складки тонких морщинок, и это придавало им улыбающийся блеск.

От ее речи Ярославцев почувствовал себя как бы только что возвратившимся откуда-то и очень утомленным.

— Самовар? Нет... не надо! — Он махнул рукой.— Я ухожу... может быть, до утра. Знаете, один мой знакомый сошел с ума. Как вы полагаете, это что такое?

— Чтой-то, господи! Один недавно пристрелился, другой сошел с ума... ну друзья у вас!.. ай-ай!.. Что такое, говорите? Известно что — божья воля.

— Божья воля? — задумчиво произнес Кирилл Иванович и зачем-то снял с головы фуражку.— Это странно, знаете... очень странно... да!

— Который это сошел, русый, трепаный, в серых штанах, или тот — веселый, в золотом пенсне? — спросила хозяйка.

На ее толстом морщинистом лице и в тоне ее вопроса звучало много жалости, отчего Кириллу Ивановичу стало грустно.

— Нет, не эти, а знаете — черный, в крылатке, с тростью и с прыгающими бровями,— серьезно и тихо отвечал Кирилл Иванович и почувствовал, что у него щекочет в горле и на глаза навертываются слезы.

— Не приметила такого. Видно, редко бывал, не встречала. Идите. Да долго-то не надо там торчать... Сам-то вон какой желтый стал! — сурово говорила хозяйка.

Ярославцев снова надел фуражку, встал и молча пошел из комнаты, полный грустного чувства и утомления.

— Дверь-то заприте! — крикнула вслед ему хозяйка.

— Не надо! — печально кивнул он головой.

Было уже около шести часов вечера, но июльский зной еще не растаял — им дышали и камни мостовой, и стены зданий, и безоблачное небо. Пыльные листья деревьев, перевешиваясь через заборы, не шелестели; всё было неподвижно и казалось ожидающим какого-то толчка.

Из открытых окон белого дома хлынула волна растрепанных и негармоничных звуков рояля; они бестолково запрыгали в воздухе. Ярославцев вздрогнул и оглянулся вокруг, желая посмотреть, что сделается с улицей от этого шума. Но всё оставалось неподвижным, а звуки уже исчезли так же бессмысленно, как и явились.

«Кратко бытие звука!» — мелькнула у Кирилла Ивановича посторонняя мысль, и, как бы в виде эха ее, в нем разлилось острое желание взять высоким фальцетом несколько нот — а-о-э-о-а! — как делают певцы. Но он подавил в себе это желание и пошел дальше, наклонив голову под наплывом стаи новых мыслей и стараясь формировать их в слова, сообразно с тактом шагов. От этого каждое слово раздавалось где-то внутри его, как удар в большой барабан. Эти думы в такт шагов вызывали

за собой ощущение приятной легкости и пустоты в груди, в животе, во всем теле. Казалось, что мускулы растаяли от жары и остались только тонкие, упругие нервы, настроенные меланхолически, но выжидательно, как и всё кругом.

«О чем он теперь говорит и как думает? — размышлял Ярославцев о Кравцове.—И что я с ним буду делать? Понимать его, наверно, нельзя... Зачем же я при нем буду?.. И с какими моральными фондами? С любопытством? Сумасшествие — это почти смерть. Если он еще не совсем сошел с ума, то я буду присутствовать при его агонии. Замечательно, почему человек возбуждает к себе больше внимания, когда он погибает, а не тогда, когда он здрав и в безопасности? Иногда мы при жизни совершенно не замечаем человека, нимало не интересуемся им, и вдруг, услыхав, что он при смерти или помер уже, жалеем, говорим о нем... Точно смерть или ее приближение сближают и нас друг с другом. Тут, наверное, есть глубокий смысл... Если только тут нет крупной лжи, исстари привычной нам и поэтому незаметной для нас. А может, наблюдая чужую гибель, мы вспоминаем о необходимости погибнуть и самим нам и жалеем себя в лице другого. В этом есть нечто хитрое и, пожалуй, постыдное... А впрочем, и всё обыденное в этой жизни — хитрое и постыдное... А вот сожаление — жестоко... Жалость и жестокость!.. Да ведь это два совершенно однородные слова!.. Удивительно, как этого до сей поры никто не замечал! Надо написать об этом статью... Пусть одною ошибкой будет меньше».

Вместе с этим открытием Кирилл Иванович восстановил в памяти случай из своей жизни в деревне.

Упала в овраг телка, сломав себе обе передние ноги. Чуть не вся деревня сбежалась смотреть на нее... А она, такая жалкая, лежала на дне оврага и, жалобно мыча, смотрела на всех большими влажными глазами и всё пыталась встать, но снова падала. Толпа стояла вокруг нее и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны. И он тоже смотрел, хотя это было неинтересно и очень грустно. Вдруг откуда-то появился кузнец Матвей, высокий, суровый, выпачканный углями. Рукава у него были

засучены, и в одной руке он держал тяжелую полосу железа. Вот он обвел всех строгим, тяжело укоряющим взглядом черных глаз, нахмурил брови и, качнув головой, громко сказал:

— Дураки! чем любуетесь?

А потом взмахнул своею железиной и ударил телку по голове! Удар прозвучал глухо и мягко, но череп все-таки раскололся, и это было очень страшно. Телка больше не мычала и не жаловалась на боль своими большими и влажными глазами... А Матвей спокойно ушел.

«Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально?»

— Ярославцев! стойте, вы куда? — раздался звучный окрик.

Он вздрогнул: на крыльце хорошенького домика стоял Лыжин, засунув руки в карманы. Ярославцев вспомнил, что тут именно и живет Кравцов.

— Я к вам... то есть к нему...

— Ага! Ну, вот спасибо, что поторопились, а то у меня, знаете, работищи без конца. Это Минорный вытащил меня, соскучившись слушать премудрости Кравцова. Всё, знаете, говорит! Только сейчас задремал. Доктор определил, что пока это не опасно, просто сильное нервное возбуждение, по-моему — тоже. Говорит он, право, не бессмысленнее, чем всегда говорил, но вот много чересчур — это так. Ну, так вы мне позвольте улетучиться. Придет Ляхов, скажите ему: доктор был и рекомендовал кали, кали и кали... До свидания.

Он протянул Ярославцеву руку, тот молча стиснул ее и, задержав в своей руке, шёпотом спросил:

— Отчего это он, по-вашему?

— Отчего? Гм... Как это скажешь? Знаете, всегда ведь он был с зайцем в голове... Захочет пить — давайте из бутылки на окне, это тоже какая-то умиротворяющая специя, вроде кали. Ну-с, иду! Addio!

Он перекинул на руку пальто и пошел.

Ярославцев посмотрел вслед ему и стал соображать, что теперь делать: идти в комнату, где лежит тот, или ожидать здесь, когда он проснется и заговорит? Ему представлялось, что как только Кравцов проснется, так

сейчас же выкрикнет высокую, звонкую ноту, вслед за ней начнет говорить быстро и громко, так, как говорят бойкие бабы-торговки, и это будет походить на барабанную дробь.

Он думал и шел, наклонив голову, не отдавая себе отчета в том, куда идет. Все его думы вдруг как бы сгорели, на душу осыпался их пепел,— осыпался и покрыл ее теплым пластом тихой печали.

Скверный аптечный запах заставил его очнуться. Он стоял перед дверью в маленькую комнату, в ней царил хаос: стулья были сдвинуты на середину и стояли неправильным полукругом перед койкой; на полу валялись рваные бумажки, книги, черепки тарелки, красный вязаный шарф. Перед койкой стоял круглый стол со стаканом жидкого чая. Из-за доски стола не видно было головы человека, спокойно вытянувшегося, вверх грудью, на койке. Одно из двух окон комнаты было завешано синею тряпкой, другое заставлено банками цветов, и сквозь них видны были кусты шиповника, акации и сирени в палисаднике.

Осмотрев всё это, Ярославцев поднялся на цыпочки, подняв кверху указательный палец правой руки, как бы предостерегая от чего-то сам себя, и двинулся к койке, плавно взмахивая в такт своих движений левой рукой. Подойдя к столу, он нагнулся через него и, удерживая дыхание, заглянул в лицо больного.

Оно очень похудело с той поры, как Ярославцев видел его в последний раз, но и только. Вообще же оно было спокойно, как у всех спящих людей. Ярославцев облегченно вздохнул. Он представлял себе, что болезнь наложила на лицо Кравцова какой-нибудь уродливый отпечаток, искривила, изломала его. И он отошел прочь, улыбаясь, в высшей степени довольный своей ошибкой.

Но вдруг, обернувшись в сторону, он увидал, что со стены на него смотрит чье-то искривленное странной улыбкой лицо, бледное, с прищуренными глазами и всё дрожащее от сдерживаемого возбуждения. В уровень с этим лицом была поднята рука с вытянутым указательным пальцем,— она как бы грозила и, вместе с лицом, была полна ехидного торжества.

По жилам Ярославцева пролилась холодная тоска, сжав ему сердце предчувствием чего-то неотразимого, рокового, и, подавленный ею, он тихо опустился на стул. Потом он почувствовал, что под кожей левого бока у него вздуваются и тотчас же лопаются какие-то пузырьки, отчего ему стало тоскливо неприятно. Он снова встал, стараясь не смотреть на ту стену, с которой ему грозили, и с гнетущим ужасом вспоминая, где он видел раньше это исковерканное лицо, в котором есть черты, знакомые ему?

«Неужели это оно,— то существо, которому всё известно?»

Перед Ярославцевым вдруг распахнулась темная пропасть без дна и края, полная бесформенного, гнетущего мрака. Он отшатнулся, крепко зажмурив глаза. Его тянуло вниз, и он почувствовал, что если не откроет глаз, то сейчас же полетит туда и будет лететь без конца, замирая от страха и с каждою секундой всё сильнее ощущая его.

Он дрогнул, быстро взглянул перед собой и вздохнул свободно и легко: он был тут, в комнате Кравцова, и под ногами у него был твердый пол, в чем Кирилл убедился, сильно надавив его ногой. Тогда ему снова страстно захотелось еще раз взглянуть туда, на стену... Осторожно приподнимаясь со стула и в то же время поворачиваясь назад, он увидал его, это лицо; но теперь оно было только жалко и, выражая напряженное и боязливое ожидание чего-то, замерло в этой мине. Он узнал себя.

«Это зеркало... Д-да-а!» — догадался он и увидел, что рама зеркала была сверху, справа и слева закрыта повешенным на него белым полотенцем, а снизу ее скрывали рамки карточек; обои комнаты были тоже белые,— вот почему зеркало было незаметно и так напугало его. Но это открытие не убило в нем тоскливого предчувствия, даже еще принесло с собой нечто, подчеркивающее это предчувствие. Кирилл Иванович, глядя на свое отражение, задумался.

«А ведь это я сам схожу с ума!» — вдруг проникся он весь острою мыслью, вызвавшею во всем его существе тихую, ноющую боль, точно все его мускулы сразу напи-

тались промозглою и влажною сыростью погреба. Ему захотелось кричать, звать на помощь, он чувствовал, что уже оторвался от земли и падает куда-то сквозь палящие зноем слои воздуха. В его груди нестерпимо ныло,— он схватился за нее руками и стал крепко растирать ее,— в голове билась уничтожающая мысль и, не затемняя ее, кружились еще какие-то обрывки мыслей, воспоминаний, целый вихрь, точно в его мозгах всё было разорвано, разбито, исковеркано и в ужасе разбегалось перед этою мыслью о безумии. Он открыл рот, глубоко вздохнул и, вобрав в себя страшно много пахучего воздуха комнаты, напряг грудь, чтобы крикнуть.

— Дурак! Противная рожа! — раздался презрительный и насмешливый голос.— Что ты строишь себе гримасы, когда ты сам не более, как гнусная гримаса природы? Шпион! Ф-фа!..

Кирилл Иванович быстро обернулся с выпяченною вперед грудью. С койки, упершись локтями в подушку и подпирая подбородок ладонями, смотрел на него Кравцов глазами, полными ядовитой иронии и лихорадочного блеска. Усы его ехидно вздрагивали, а брови всползли к щетинистым волосам, стоявшим на голове ершом. Губы были искривлены в сардоническую улыбку; он поводил ноздрями; всё лицо его неустанно содрогалось, образуя тут и там кривые узоры морщин,— он был уродлив и страшен.

«Вот кто сумасшедший! Он,— не я!» — вспыхнул новою мыслью Ярославцев, и эта новая мысль уничтожила ту, которая угнетала его.

Он выдохнул из себя целый столб воздуха и почувствовал, что холод и ужас, сковавшие его мозг, исчезли. Ему было невыразимо приятно смотреть на искаженное лицо Кравцова, и чем больше он смотрел, тем полнее сознавал себя.

«Вот что значит — сумасшедший! — воскликнул он внутренно.— На кого он похож?.. На дьявола, которого один святой поймал в своем рукомойнике и запечатал его там своим крестным знамением!»

Это сравнение еще более подняло Кирилла Ивановича в своих глазах, и он сейчас же, вслед за ним, с глубокою верою в себя и с восхищением подумал:

«Разве это не верно? Разве человек с мыслью, затемненной безумием, способен на такой широкий шаг в прошлое за образом, нужным его мысли?»

А Кравцов всё говорил едкие слова, не сводя с него пылающих глаз.

— Слушай, ты — шпион!

Ярославцев подвинул стул ближе к койке и с приятной улыбкой, протянув руку Кравцову, сказал:

— Марк Данилович, что с вами? это я!

— Ну да, это ты! Я знаю, ты шпион и пришел наблюдать, ка́к я думаю. Ты не узнаешь, не откроешь ни одной моей мысли. А я спасу их всех, я знаю, что им нужно... Я понял!

— Марк Данилович! — убедительно, ласково и радостно говорил Ярославцев.— Разве вы меня забыли?

— Тебя? Забыть? Нет, вас нельзя забыть, вы всюду... Вы — это мухи, вы — это тараканы, клопы, блохи, пыль, камни стен! Вам прикажут — и вы принимаете на себя все формы, воплощаетесь во всё, исследуете всё,— и следите, как, о чем и зачем люди думают. Но вы все-таки слабы! Я же — могуч! Во мне пылает бессмертный огонь желания подвига! И вот я, как Моисей из Египта, выведу вас из жизни, из помойной ямы, где вам так хорошо дышится. Выведу, и придем мы в обетованную страну, где воздух слишком чист для вас и где, поэтому, вы не можете жить. Там я напою моих братий из кастальского источника свободы, и воспрянут души их к жизни творчества... к жизни подвигов... к жизни всепрощения и воссоздания человека! А вы, как египтяне, погонитесь за нами и исчезнете, потонете, захлебнетесь, в море собственной гнусности найдете смерть! Ибо вы в себе носите смерть!

«Это он о чем?» — думал Ярославцев, теряя свою радость под торжественные и громкие речи. Глаза Кравцова испускали острые, светлые лучи, коловшие лицо и грудь тонкими, палящими уколами.

«А! он ведь читал отцов церкви... Августина... и Златоуста... Зачем он это читал? Разве нечего читать кроме? Значит, он давно уж... Очень смешной человек!.. О чем он говорит? Ба! — просиял Ярославцев.— Он меня называет шпионом,— значит, у него мания пре-

следования! Он говорит про себя: „Я как Моисей!“ — значит, у него мания величия! Господи, как всё это просто! Наука! Вот наука! Она всегда как факел. Бедный человек!»

Он почувствовал, что сейчас заплачет от жалости к Кравцову, снова охваченный теплым и радостным сознанием правильности своей мысли.

А с его бедною мыслью творилось что-то странное: то она опускалась в какой-то мрачный ухаб, теряя горизонты; то вдруг поднималась куда-то высоко и свободно, охватывая огромное пространство; то текла медленно и лениво, как бы изнемогая; то быстро стремилась к чему-то, задевая по дороге массу разнородных предметов; и снова точно падала вниз, исчезала. Тогда Кирилл Иванович чувствовал только тревожное биение своего сердца и больше ничего.

Кравцов вдруг весь извился змеей и сел на койке, в одном белье, с раскрытою грудью, возбужденный и мрачно торжественный.

— Ты, слушай! Я пойду и созову всех их в поле. Там соберемся все мы, нищие духом, и грустно уйдем от жизни, нищие духом! Но — не радуйся! И все твои — пусть они не радуются нашему поражению, хотя мы и признаем его, ибо уходим с разбитыми щитами надежд в руках и без брони веры, потерянной нами в битвах. Мы воротимся богатые силой творить и вооруженные крепкою верой в себя, ее же нет крепче оружия! Ты понял? Ты пустишь меня на этот подвиг? Зато я, по возвращении в жизнь, прощу тебя первого. Эй, ты! Пусти меня!

«Кого он хочет спасать и обновлять?» — медленно вертелись мысли в голове Кирилла Ивановича.

Ему уже снова не жалко было Кравцова, он даже немного злился на него за то, что он, не переставая, говорил торжественные слова и они, звеня в голове, мешают уловить некоторую важную мысль. Дело в том, что в голове Ярославцева всё вдруг окрасилось в разные цвета, он ясно почувствовал и видел это: перед его глазами плавали и кружились круглые пятна — желтые, синие, красные. Их было много, все они быстро вертелись, из них выбивалось и никак не могло выбиться

одно, ярко-зеленое и многообещающее. Это непременно что-нибудь о вере. Но голос Кравцова сотрясал воздух, и всё дрожало, сливалось, путалось между собой.

«Ах, как он громко! — с тоской воскликнул про себя Ярославцев.— Чего он хочет? Э, урод! Что такое — вон из жизни?»

Он вспомнил картинку: человек, с дудочкой во рту, стоял на берегу реки и играл на своей дудочке, а к нему со всех сторон бежали крысы и мыши. В этом человеке было что-то общее с Марком Кравцовым. Смешно! И Ярославцев вдруг расхохотался, качаясь на стуле из стороны в сторону.

Больной откинулся назад, оперся спиной о стену и замолчал, наклонив на грудь голову.

— Вот — торжествует Иуда! — громко прошептал он.

Они долго молча рассматривали друг друга, Кирилл — выжидательно и робко, а Кравцов — пытливо и угрюмо. Ярославцев почувствовал, что лучистые глаза больного притягивают его к себе, и, наклонясь на стуле, облокотился у ног Кравцова о койку.

Стало тихо. На улице уже стемнело, от кустов палисадника на стекла окон и подоконники легли вечерние тени. Наконец Кравцов вдруг улыбнулся и тихо сказал:

— А ведь я вас знаю!

— Конечно! — утвердительно кивнул головой Ярославцев и добавил почти шёпотом: — Вы бы говорили. А то очень страшно... уже ночь.

— Говорить? С вами? Ведь я вас знаю! Вы — Ярославцев, статистик? Вам теперь стыдно?

— Мне? Нет, ничего. Но — страшно.

— Да! Это так! Страшно! Бойтесь будущего!

Они оба теперь говорили шёпотом, и оба старались сказать каждую новую фразу еще тише, чем предыдущую. Несмотря на сумрак в комнате, Кирилл еще видел лицо больного и улыбку на нем. Его всё сильнее тянуло к этому человеку с лучистыми глазами.

— Вы думаете, что вашею статистикой и ограничивается всё, да? — внушительно прошептал Кравцов.— Нет, вы ошиблись! Есть еще статистика совести, ею управляю — я! Я не даю пощады — и знаю цену факта! Я вас уже подсчитал!

— Не надо пугать человека! — жалобно попросил Кирилл Иванович собеседника.

— Человека — да, но шпиона — надо! Зачем вы шпион? Зачем вы следите, как я думаю? Боже мой, ведь я только думаю! От этого вредно мне, только мне! Думать — это даже благонамеренно, потому что от дум человек погибает сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!

Шёпот Кравцова вдруг порвался, и металлически звякнуло громкое слово:

— День-ги! А, да! Вы хотите денег за мою свободу думать? Вы продаетесь? Сколько?

— Послушай! — сказал убедительно, но все-таки шёпотом Ярославцев.— Не кричи, услышат! Они всегда близко!

— Услышат?.. А ты тоже боишься? Почему же? Ведь ты мерзавец, и тебе можно говорить громко. Слушай, пусти меня! Я иду делать простое и полезное дело. Оно легально, уверяю тебя. Я хочу вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все-таки самые светлые люди в жизни... Они погибают от тоски одиночества и вашего гонения на них. Они задыхаются в смраде жизни, которым ты дышишь легко. Это твоя стихия — но они... Дай мне спасти их! — крикнул он громко.

Ярославцева охватила волна едкой злобы. Он встал перед койкой и тихо, оскорбительно ясно зашипел в лицо Кравцову:

— Ты не кричи! Я тебе скажу... Ты — сумасшедший, вот что! Понимаешь? Ты со-шел с у-ма! Да... Спасти!.. кого? Я — Ярославцев, Кирилл Ярославцев, а ты — сошел с ума!.. Ляг! Понял?! Ну?!. и всё...

Он снова опустился на стул, тяжело дыша, часто моргая глазами. Кравцов схватил себя за голову и страшно закачался из стороны в сторону.

Снова стало внушительно и пугающе тихо. Взошла луна, в душный сумрак комнаты через окно влился голубой свет и лег полосой на полу.

Вспышка злобы ослабила Кирилла Ярославцева, а страх перед будущей минутой всё рос в нем. В тишине и голубом полумраке комнаты безмолвно совершалось

нечто таинственное и страшное — происходила какая-то разрушительная работа.

На голубую полосу лунного света на полу пали узоры теней от цветов на окне, и вместе это походило на некоторую хартию, исчерченную гиероглифами, говорившими о глубоких тайнах жизни и о бессилии ума перед ними. Кирилл взглянул на это и быстро отвернулся, ощущая в груди какие-то толчки.

— Всё кончается! — тихо прошептал он, и ему стало невыразимо грустно.

Кравцов поднял голову и молча посмотрел на него, двинув бровями. Кирилл вдруг заплакал, обнял его ноги, крепко сжал их и ткнулся в них головой, всхлипывая, как ребенок.

— Мне... страшно...

— Будущего? — тихим и торжествующим восклицанием спросил Кравцов, нагибаясь над ним и весь вздрагивая мелкою дрожью.

— Говорите... говорите! — шептал Кирилл.

— Ага! Я победил еще одного! — тоже шептал Кравцов, отдирая его голову от своих ног.— Это хорошо... Победа... с первого шага!.. Ты каешься, да?.. Садись... иди сюда, я расскажу тебе всё.

Он пытался отнять руки Кирилла от своих ног, стиснутых ими, и поднять его голову, но тот не уступал ему, всё крепче прижимаясь и что-то бормоча сквозь рыдания.

Наконец Кравцов оставил его в покое; наклоняясь над ним, уперся руками в койку и заговорил тихо, но торжественно и важно:

— Ты знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены ею и взяты в плен ее мелочами... Вот о них-то говорю я и это их хочу спасти... Ты понял? Они погибают, ибо гонимы, ибо все смотрят на них, как на врагов, а сами они враги себе. Рассеянные повсюду, они погибают от сомнения и тоски... от невозможности свободно ходить, говорить и думать... И вот их я соберу воедино, и выведу вон из жизни в пустыню, и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь—

будка, а не коммуна, не фаланстер, будка — это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть материала для знания, ибо я знаю всё, плюс — мое знание!.. Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим ее, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбой. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность — творить. «Твори, ибо ты человек!» — прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим свое царство, в котором всё будет в гармонии, то созовем всех шпионов и всех сильных земли, и все глупые народы созовем, и скажем им: «Вот — вы гнали нас, а мы создали вам вечный образец жизни! Вот он, следуйте ему! Мы же, возрожденные из пепла, идем творить, вечно творить... Вот наша задача». И мы, бывшие бедняки, уйдем, обогатив бывших крезов богатством духа и силы жить. Победа!.. Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придет больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный. Ты хочешь быть? — твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они — жалки и бедны! Тогда как ты — со мной, значит — ты объединился с истиной. Ты будешь первый ученик мой — не плачь! Эй, ты, ребенок, ты слаб еще! Ты тоже оскорблен? Ничего! Скоро ты возродишься к жизни новой, к жизни, в которой мы, наконец, будем принимать участие и будем вслух, громко, без боязни говорить о всем, о чем хотим! Ты не веришь мне? Верь!.. Хотя это кажется и несбыточным, но — верь все-таки. Я твой добрый гений, я орел будущего! Ручаюсь тебе, что все слова твоего сердца и ума получат жизнь, их услышат, над ними будут думать, их поймут, и ты получишь должное — славу человека, который жил для жизни и людей. Верь мне, мы напьемся из полной чаши жизни, и все наши чувства будут удовлетворены. Знаешь

ты, что сказал Григорий Богослов о Юлиане, который и есть отвлеченная формула отступления от истины и угнетения веры? И ты, может быть, как все, тоже думал, что Юлиан — это цезарь? Голубчик! Не верь этой пошлой истине, она стара; возьми из нее идею, но забудь о ней. Жизнь — в будущем, и там она наша. В прошлом только идеи, там нет лиц. А мы с тобой — лица и потому возьмем идеи, которые нужны нам для ступенек к лестнице счастья, по которой мы войдем в вечное блаженство, как ангелы во сне Иакова, как творцы жизни, обновители духа!

Его торжественный шёпот превратился наконец в поток слов, всё реже и реже оживлявшийся мыслью, и наконец просто в слова без смысла, связанные между собой, казалось, только единством звука.

— Спасение... Паскаль... пока...

Кирилл давно уже поднял голову и стал перед койкой на колени, всё обнимая ноги Кравцова. Теперь он закинул голову немного назад и с восхищением смотрел в лицо больного, не отрываясь ни на секунду от него.

На полу еще лежала эта голубая хартия луны и теней, но начертанные на ней гиероглифы изменились, стали проще формой, но еще темнее цветом. Вся комната была заполнена волнующимися звуками торжественного шёпота. Тихая и темная ночь смотрела в окно.

Две человеческие фигуры, лицом к лицу друг с другом, не обращали внимания на то, что в дверь поочередно заглядывали то голова женщины в черном платке, то голова мужчины в шапке и с черной бородой. За дверью тоже слышался шёпот. А Кравцов, всё так же упираясь руками в койку, склонился к лицу Кирилла и всё говорил, говорил. Это продолжалось почти до рассвета. И уже когда мгла за окном посерела, он, измученный, свалился на подушку и сразу замер.

Кирилл Иванович быстро встал, пугливо оглянулся и подскочил к нему. Рассветало. Он сдернул с себя пальто, занавесил им окно и, снова подойдя к койке, прошептал:

— Ничего, говори!

Но Кравцов, должно быть, уже не мог говорить; он только кивнул головой и, вздохнув, отвернулся к стене.

Тогда Кирилл сел у него в ногах на койку и, обняв свои колени руками, стал смотреть глазами любви и восторга на созидателя будки всеобщего спасения.

В четырехугольном белом пятне подушки его черная голова сначала выделялась резко, а потом стала таять и растаяла. Тогда на месте ее появилась желтая, безбрежная и сухая пустыня, и в ней всё трупы — много трупов людей, лежащих в разных позах и отдыхающих от утомления в пути. А далеко на краю пустыни сиял кроваво-красный шар, спускаясь куда-то вниз, а с неба падали мягкие и темные тени, окутывая усталых людей... Потом наступила ночь, явился сон, и раздался в тишине пустыни бред спящих. Среди них один человек не спал, стоя посреди спящих, зорко глядя в небо, где было много звезд, а ниже их неподвижно стояли в воздухе три черные точки. Это были орлы пустыни, и человек смотрел на них подозрительно и в ожидании.

И потом Кирилл видел дорогу, заполненную людьми, исходящими из плена жизни. Их было много. Среди них были и дети; они плакали на руках матерей и отцов. А отцы и матери молча шли в пыли и в рубищах, и через их глаза Кирилл видел их души в тоске и в лохмотьях — изорванные, изношенные души много страдавших людей. Впереди всех шел он, великий человек, которого все слушались и на которого смотрели с надеждой, а рядом с ним Кирилл видел себя. Являлась тьма и всё скрывала собой.

Кирилл Ярославцев видел работу созидания будки всеобщего спасения... и снова тьму... И видел торжественное возвращение в жизнь... И снова тьму... И, наконец, только тьму, которой не было края и дна и которая дышала на него — в лицо ему и в душу — печальным холодом. От дуновения тьмы он качался, чувствовал, что вот сейчас он оторвется от земли и полетит куда-то, и жил этим острым чувством, мешавшим ему сделать малейшее движение. И ему было тоскливо-больно, холодно, страшно...

Всё крепче сжимаясь в комок, он широко раскрывал глаза, стараясь увидеть вдали тьмы то, что должно было случиться с ним, ибо он чувствовал, что уже скоро,

сейчас, в будущую секунду явится нечто освободить его из власти ужаса.

Лучи солнца упали ему в лицо. Он вздрогнул, зажмурил глаза и улыбнулся бледною улыбкой больного ребенка.

И затем так же неподвижно, как и раньше, но уже с закрытыми глазами, сидел долго...

Поутру, часов в семь, пришли Ляхов, Минорный и человек в золотых очках и с самоуверенным лицом. Они вошли в дверь тихо, по одному, и за ними в сенях остались какие-то странные фигуры людей.

— Ну, что? Не буянил? — сказал Ляхов, высокий человек с печальным и бледным лицом, Кириллу, который при их появлении спустил ноги с койки и смотрел на них с ясною улыбкой.

Кирилл пожал протянутую ему руку Ляхова и с тихим восторгом посмотрел ему в лицо.

— Вы уже пришли?.. Значит, пора?

— Да...— произнес Ляхов и пристально посмотрел в лицо спящего Кравцова.

— Как же, дождемся, когда проснется? — спросил Минорный господина в очках.

— Я полагаю, прямо так взять и в карету. Идите сюда!

Он махнул рукой к себе, и в дверь вошли двое здоровых ребят в белых фартуках.

— Возьмите осторожно больного!

Тут Кирилл Иванович подошел к койке, стал у ее изголовья так, что закрыл лицо Кравцова, удивленно посмотрел на всех и тихо, но внушительно спросил:

— Куда взять?.. Его взять? Куда взять?

— В дом, конечно,— сказал Минорный.

— В лечебницу,— одновременно произнес доктор и пристально уставился чрез очки в лицо Ярославцева.

Тот крепко потер себе лоб, как бы с усилием вспоминая что-то.

— Д-да!.. В лечебницу!.. А зачем же, собственно?.. И кто вы? — и Кирилл тихонько дотронулся до рукава доктора.

— Я — доктор, заведующий домом для душевнобольных,— сказал господин в очках, не переставая рассматривать его.

«Интеллигентный человек, значит!» — сообразил Кирилл и протянул ему руку.

— Мне приятно видеть вас... и я рад, что вы тоже идете за ним,— сказал он, кивнув на Кравцова.

— Мы приехали в карете,— вмешался Минорный, тоже подозрительно оглядывая Кирилла.

— Ну, это напрасно,— махнул рукой Ярославцев,— мы пойдем все пешком, он — особенно.

— Да ведь он буянить будет на улице! — тихо воскликнул Минорный.

— То есть как это? — удивился Кирилл.

— Да вы что, батенька?.. Образумьтесь! Или вы тоже, как он, с ума сошли?..

— Позвольте! — остановил доктор Минорного.

Кирилл вспыхнул и оглянул всех с улыбкой недоверия, со страхом в глазах. Трое людей стояли и смотрели на него с боязливым любопытством и догадкой. Кирилл то краснел, то бледнел от внутренней работы. Улыбка исчезла из его глаз, и они, странно расширясь, вдруг ярко вспыхнули мыслью.

— Господа! — просительно зашептал он, сжимая руки и хрустя пальцами. — Господа! Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безумным? Это обидная ошибка, господа! Оскорбительная ошибка! Послушайте меня — оставьте его так, как он есть. Дайте ему исполнить задуманное им дело. Это великое, необходимое дело! Вы знакомы с его идеей? Нет? Как же вы, господа, решаетесь на такое отношение к нему?.. Это... странно! Вы послушайте! Я постиг его, я усвоил его идею. Ведь согласитесь, я же — разумный человек. Вот Бабкин засвидетельствует это и Ляхов. Да!.. Как же вы?.. Это возмутительно! Это недостойно вас! Вы вникните в суть его учения: мы подлеем, умирая морально, мы умираем смертью безумия, мы пошло умираем физически. Всё это от тоски по желаниям, от скорби одиночества, от недостатка жизни, в которой нам не дают места. Разве я говорю неразумно? Господа!.. Нам запрещено жить. Почему запрещено, господа? Разве мы преступны?..

И еще скажите, разве он, предлагая нам выйти с ним за границы жизни в песчаные, необитаемые пустыни,— разве он не прав? Он приведет нас обратно сюда... когда мы воскреснем духом. Господа, господа!.. Что вы хотите делать... Ведь так у вас все сумасшедшие, все, кто хочет счастья другим и кто простирает руки помощи... кто горячо жалеет и много любит бедных, загнанных жизнью и затравленных друг другом людей...

Наконец он задохнулся и умолк, обводя всех испуганными глазами, из которых текли крупные слезы. Губы у него дрожали. Казалось, вот он сейчас зарыдает. И у Минорного тоже дрожали губы.

— Вот видите, как оно заразительно!.. а я двое суток...— шептал он доктору.

Тот почесал себе пальцем переносицу, приподняв очки, и, видимо, тоже пораженный, пробормотал:

— Д-да, знаете... Странный случай!

Ляхов стоял и смотрел на всех, странно улыбаясь и всё покусывая себе губу. Все молчали. Кирилл смахивал со щек слезинки, стоял с убитым лицом. В его глазах светилось море меланхолии. Он стоял и обводил глазами комнату. За троими людьми против него стояло еще двое в белых фартуках, и за дверью в сенях виднелись еще головы... И все они упорно и молча ждали чего-то, ждали именно от него, ибо все смотрели в его сторону. Кирилл печально улыбнулся и робко сказал:

— Простите меня, господа! Вы правы, так как вас много! Я не оспариваю ваше право... я ухожу... если могу?

— Подождите минуточку! — любезным жестом остановил его доктор.

— Извольте! — И Кирилл покорно сел на стул, согласно указанию доктора.

Проснулся Кравцов. Он быстро поднялся, сел на койке и, сурово оглянув публику, наполнявшую комнату, громко спросил:

— Вы кто?

— Слушай, Марк, хочешь кататься? — спросил его Ляхов.

— Не обманывай меня, иезуит! Ты хочешь чего-то... Я знаю тебя... и всех вас!.. А! Вы пришли взять меня!..

Но я не дамся без борьбы! Нет!.. Я вас рассею, как пыль!.. Меня взять! Нет!..

На него накинули какой-то длинный мешок. Он барахтался в нем, пока его не спеленали, как ребенка. Вот его подняли на руки и понесли, а он, рыдая и извиваясь всем корпусом, кричал:

— Нет!.. Нет!.. Нет!..

В комнате остался Ляхов. Он подошел к степе, снял с нее какую-то фотографию и, обратясь к Кириллу, который с неподвижною до ужаса сосредоточенностью в глазах смотрел куда-то в угол, ласково сказал ему:

— Ну, пойдемте и мы!

Кирилл покорно встал и, не сказав ни слова, пошел.

— Я ворочусь через час! — сказал Ляхов какой-то женщине, запирая дверь комнаты Кравцова.

— Я ворочусь через час! — как эхо повторил за ним Кирилл Ярославцев, взглянув на него своими мертвыми глазами.

Теперь они оба в лечебнице — Кирилл Иванович Ярославцев и Марк Данилович Кравцов. На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика — нет.

Они встречаются друг с другом на прогулках в саду заведения. Когда Кирилл издали увидит черноусое и всегда пылающее возбуждением лицо Марка, он мелкими шажками бежит к нему и, снимая колпак, тихо шепчет:

— Говори, учитель!..

Кирилл говорит очень мало и всегда не иначе, как робким шёпотом. Если Кравцов ходит, то Кирилл, согнувшись, подпрыгивая, бегает за ним, а если он сидит, то Ярославцев садится у его ног, жалко смотрит ему в лицо и изредка просительно шепчет:

— Говори, учитель!..

И учитель говорит своему ученику возмущенно и строго о гонениях духа и страданиях духа, торжественно и важно о будке всеобщего спасения и с гордостью о самом себе, великом учителе и пророке разбитых жизнью людей.

МОЙ СПУТНИК

Встретил я его в одесской гавани. Дня три кряду мое внимание привлекала эта коренастая, плотная фигура и лицо восточного типа, обрамленное красивой бородкой. Он то и дело мелькал предо мной: я видел, как он по целым часам стоял на граните мола, засунув в рот набалдашник трости и тоскливо разглядывая мутную воду гавани черными миндалевидными глазами; десять раз в день он проходил мимо меня походкой беспечного человека. Кто он?.. Я стал следить за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, всё чаще и чаще попадался мне на глаза, и, наконец, я привык различать издали его модный, клетчатый, светлый костюм и черную шляпу, его ленивую походку и тупой, скучный взгляд. Он был положительно необъясним здесь, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей, криков рабочих, в бешено-нервной сутолоке порта, охватывавшей человека со всех сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все бегали, в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой сутолоки медленно расхаживала эта странная фигура с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая.

Наконец, уже на четвертый день, в обед, я натолкнулся на него и решил во что бы то ни стало узнать, кто он. Расположившись неподалеку от него с арбузом и хлебом, я стал есть и рассматривать его, придумывая,— как бы поделикатнее завязать с ним беседу?

Он стоял, прислонясь к груде цыбиков чая, и, бесцельно поглядывая вокруг себя, барабанил пальцами по своей трости, как по флейте.

Мне, человеку в костюме босяка, с лямкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно

было вызвать его, франта, на разговор. Но, к моему удивлению, я увидал, что он не отрывает глаз от меня и они разгораются у него неприятным, жадным, животным огнем. Я решил, что объект моих наблюдений голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его тихонько:

— Хотите есть?

Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных, здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся.

На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул ему пол-арбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил всё это и исчез, присев за груду товара. Иногда оттуда высовывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок, открывавшей смуглый, потный лоб. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал мне, ни на секунду не переставая жевать. Я сделал ему знак подождать меня, ушел купить мяса, купил, принес, отдал ему и стал около ящиков так, что совершенно скрыл франта от посторонних взглядов. До этого он ел и всё хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимут кусок; теперь он стал есть спокойнее, но все-таки так быстро и жадно, что мне стало больно смотреть на этого изголодавшегося человека, и я повернулся спиной к нему.

— Благодару! Очэн благодару! — Он потряс меня за плечо, потом схватил мою руку, стиснул ее и тоже жестоко стал трясти.

Через пять минут он уже рассказывал мне, кто он.

Грузин, князь Шакро Птадзе, один сын у отца, богатого кутаисского помещика, он служил конторщиком на одной из станций Закавказской железной дороги и жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг исчез, захватив с собой деньги и ценные вещи князя Шакро, и вот князь пустился догонять его. Как-то случайно он узнал, что товарищ взял билет до Батума; князь Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Тогда князь Шакро взял у некоего Вано Сванидзе, парикмахера,— тоже товарища, одних лет с собой, но не похожего по приметам,— паспорт и двинулся в Одессу. Тут он заявил полиции о краже, ему обещали найти, он ждал две недели, проел

все свои деньги и вот уже вторые сутки не ел ни крошки.

Я слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко мальчика,— ему шел двадцатый год, а по наивности можно было дать еще меньше. Часто и с глубоким негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро наверное «зарэжет» сына «кынжалом», если сын не найдет их. Я подумал, что, если не помочь этому малому, жадный город засосет его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности пополняют класс босяков; а тут для князя Шакро были налицо все шансы попасть в это почтенное, но не чтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет, он замялся и сообщил мне, что не пойдет. Почему? Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров, в которых стоял, а когда с него потребовали денег, он ударил кого-то; потом он скрылся и теперь справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за неплатеж этих денег и за удар; да, кстати, он и нетвердо помнит — один удар или два, три или четыре нанес он.

Положение осложнялось. Я решил, что буду работать, пока не заработаю достаточно денег для него на проезд до Батума, но — увы! — оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся Шакро ел за троих и больше.

В то время, вследствие наплыва «голодающих», поденные цены в гавани стояли низко, и из восьмидесяти копеек заработка мы вдвоем проедали шестьдесят. К тому же, еще до встречи с князем, я решил пойти в Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе. Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пешком на таких условиях: если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то сам доведу его, а если найду, мы распростимся.

Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот мы с ним отправились из Одессы в Тифлис.

II

Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника как малого наивно-дикого, крайне неразвитого, веселого — когда он был сыт, унылого — когда голоден, знал его как сильное, добродушное животное.

Дорогой он рассказывал мне о Кавказе, о жизни помещиков-грузин, о их забавах и отношении к крестьянам. Его рассказы были интересны, своеобразно красивы, но рисовали предо мной рассказчика крайне нелестно для него. Рассказывает он, например, такой случай:

К одному богатому князю съехались соседи на пирушку; пили вино, ели чурек и шашлык, ели лаваш и пилав, и потом князь повел гостей в конюшню. Оседлали коней. Князь взял себе лучшего и пустил его по полю. Горячий конь был! Гости хвалят его стати и быстроту, князь снова скачет, но вдруг в поле выносится крестьянин на белой лошади и обгоняет коня князя,— обгоняет и... гордо смеется. Стыдно князю перед гостями!.. Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом крестьянина, и когда тот подъехал к нему, то ударом шашки князь срубил ему голову и выстрелом из револьвера в ухо убил коня, а потом объявил о своем поступке властям. И его осудили в каторгу...

Шакро передает мне это тоном сожаления о князе. Я пытаюсь ему доказать, что жалеть тут нечего, но он поучительно говорит мне:

— Князей мало, крестьян много. За одного крестьянина нельзя судить князя. Что такое крестьянин? Вот! — Шакро показывает мне комок земли.— А князь — как звезда!

Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то оскаливает зубы, как волк, и лицо у него делается острым.

— Молчи, Максим! Ты не знаешь кавказской жизни! — кричит он мне.

Мои доводы бессильны пред его непосредственностью, и то, что для меня было ясно, ему — смешно. Когда я ставил его в тупик доказательствами превосходства моих взглядов, он не задумывался, а говорил мне:

— Ступай на Кавказ, живи там. Увидишь, что я сказал правду. Все так делают, значит — так нужно. Зачем я буду тебе верить, если ты один только говоришь — это не так, а тысячи говорят — это так?

Тогда я молчал, понимая, что нужно возражать не словами, а фактами человеку, который верит в то, что жизнь, какова она есть, вполне законна и справедлива. Я молчал, а он с восхищением, чмокая губами, говорил о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной огня и оригинальности. Эти рассказы, интересуя и увлекая меня, в то же время возмущали и бесили своей жестокостью, поклонением богатству и грубой силе. Как-то раз я спросил его: знает ли он учение Христа?

— Канэчно! — пожав плечами, ответил он.

Но далее оказалось, что он знает только: был Христос, который восстал против еврейских законов, и евреи распяли его за это на кресте. Но он был бог и потому не умер на кресте, а вознесся на небо и тогда дал людям новый закон жизни...

— Какой? — спросил я.

Он посмотрел на меня с насмешливым недоумением и спросил:

— Ты христиэнин? Ну! Я тоже христиэнин. На зэмлэ почти всэ христиэнэ. Ну, что ты спрашиваешь? Видишь, как всэ живут?.. Это и есть закон Христа.

Я, возбужденный, стал рассказывать ему о жизни Христа. Он слушал сначала со вниманием, потом оно постепенно ослабевало и, наконец, заключилось зевком.

Видя, что меня не слушает его сердце, я снова обращался к его уму и говорил с ним о выгодах взаимопомощи, о выгодах знания, о выгодах законности, о выгодах, всё о выгодах... Но мои доводы разбивались в пыль о каменную стену его мирпонимания.

— Кто силен, тот сам себе закон! Ему не нужно учиться, он, и слепой, найдет свой дорога! — лениво возразил мне князь Шакро.

Он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему; но он был дик, жесток, и я чувствовал, как у меня иногда вспыхивала ненависть к Шакро. Однако я не терял надежды найти точку

соприкосновения между нами, почву, на которой мы оба могли бы сойтись и понять друг друга.

Мы прошли Перекоп и подходили к Яйле. Я мечтал о южном береге Крыма, князь, напевая сквозь зубы странные песни, был хмур. У нас вышли все деньги, заработать пока было негде. Мы стремились в Феодосию, там в то время начинались работы по устройству гавани.

Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, мы поедем морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдет мне место дворника или сторожа. Он хлопал меня по плечу и покровительственно говорил, сладко прищелкивая языком:

— Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино будэшь пить — сколько хочэшь, баранины — сколько хочэшь! Жэнишься на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!.. Она тэбэ будэт лаваш печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это «цце, цце!» сначала удивляло меня, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, на Кавказе им выражают восхищение, сожаление, удовольствие, горе.

Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу мы продали в Херсоне. Вместо шляпы он купил себе старую фуражку железнодорожного чиновника.

Когда он в первый раз надел ее на голову — надел сильно набекрень,— то спросил меня:

— Идэт на мэна? Красыво?

III

И вот мы в Крыму, прошли Симферополь и направились к Ялте.

Я шел в немом восхищении перед красотой природы этого куска земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягодами. Знакомство с их питательными свойст-

вами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он со злым юмором говорил мне:

— Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду далшэ? а? Скажи — как?

Возможности что-либо заработать нам не представлялось, и мы, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее. А Шакро начинал уже упрекать меня в лени и в «роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжел, но больше всего угнетал меня рассказами о своем баснословном аппетите. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленким барашкэм», с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилий съедать за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур* шашлыка, «сколки хочишь толмы» и еще много разных кавказских яств и при этом выпивал вина — «сколко хотэл». Он по целым дням рассказывал мне о своих гастрономических наклонностях и познаниях,— рассказывал чмокая, с горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая голодную слюну, в изобилии брызгавшую из его красноречивых уст.

Как-то раз, около Ялты, я нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперед за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда я принес купленное, меня позвал садовник, и я ушел, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли. Возвратившись через час, я убедился, что Шакро, говоря о своем аппетите, не выходил из границ правды: от купленного мной не осталось ни крошки. Это был нетоварищеский поступок, но я смолчал — на мое горе, как оказалось впоследствии.

Шакро, заметив мое молчание, воспользовался им по-своему. С этого времени началось нечто удивительно нелепое. Я работал, а он, под разными предлогами отказываясь от работы, ел, спал и понукал меня. Мне было смешно и грустно смотреть на него, здорового

---

* Ш а м п у р — железный прут, на котором жарят шашлык.

парня; когда я, усталый, возвращался, кончив работу, к нему, где-нибудь в тенистом уголке дожидавшемуся меня, он так жадно щупал меня глазами! Но еще грустнее и обиднее было видеть, что он смеется надо мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому что выучился просить Христа ради. Когда он начал сбирать милостыню, то сначала конфузился меня, а потом, когда мы подходили к татарской деревушке, он стал на моих глазах приготовляться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела, зная, что скупые татары не подадут здоровому парню. Я спорил с ним, доказывал ему постыдность такого занятия...

— Я нэ умею работать! — кратко возражал он мне.

Ему подавали скудно. Я в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, и мои отношения с Шакро всё тяжелей. Он теперь уж настоятельно требовал, чтоб я его кормил.

— Ты мэнэ вэдешь? Вэди! Разве можно так далэко мнэ идти пэшком? Я нэ привык. Я умэрэть могу от этого! Что ты мэнэ мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будыт всэ? Мать будыт плакать, атэц будыт плакать, товарищы будут плакать! Сколько это слез?

Я слушал такие речи, но не сердился на них. В то время во мне начала закрадываться странная мысль, побуждавшая меня выносить всё это. Бывало — спит он, а я сижу рядом с ним и, рассматривая его спокойное, неподвижное лицо, повторяю про себя, как бы догадываясь о чем-то:

«Мой спутник... спутник мой...»

И в сознании моем порою смутно возникала мысль, что Шакро только пользуется своим правом, когда он так уверенно и смело требует от меня помощи ему и забот о нем. В этом требовании был характер, была сила. Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаясь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Он же чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо мной, когда ему этого хотелось. Иногда мы с ним расходились дня на два, на три в разные стороны; я снабжал его хле-

бом и деньгами, если они были, и говорил, где ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то он, проводивший меня подозрительно и с грустной злобой, встречал так радостно, торжествующе и всегда, смеясь, говорил:

— Я думал, ты убэжал адын, бросил мэня! Ха, ха, ха!..

Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не производило всё это никакого впечатления.

— Э, стыхи! Это пэсни, не стыхи! Я знал одного человэка, грузына, тот пэл пэсни! Это пэсни!.. Запоет — ай, ай, ай!.. Громко... очэн громко пэл! Точно у него в горлэ кинжалом ворочают!.. Он зарэзал одного духанщика, Сибырь тепэр пошел.

После каждого возвращения к нему я всё больше и ниже падал в его мнении, и он не умел скрывать этого от меня.

Дела наши шли нехорошо. Я еле находил возможность заработать рубль-полтора в неделю, и, разумеется, этого было менее чем мало двоим. Сборы Шакро не делали экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей всё без разбора — виноград, дыни, соленую рыбу, хлеб, сушеные фрукты,— и от времени она как бы всё увеличивалась в объеме и всё больше требовала жертв.

Шакро стал торопить меня уходить из Крыма, резонно заявляя мне, что уже — осень, а путь еще далек. Я согласился с ним. К тому же я успел посмотреть эту часть Крыма, и мы пошли на Феодосию, в чаянии «зашибить» там «деньгу», которой у нас все-таки не было.

Отойдя верст двадцать от Алушты, мы остановились ночевать. Я уговорил Шакро идти берегом, хотя это был длиннейший путь, но мне хотелось надышаться морем. Мы разожгли костер и лежали около него. Вечер был дивный. Темно-зеленое море билось о скалы внизу под нами; голубое небо торжественно молчало вверху, а вокруг нас тихо шумели кустарники и деревья. Всходила луна. От узорчатой зелени чинар пали тени. Пела

какая-то птица, задорно и звучно. Ее серебряные трели таяли в воздухе, полном тихого и ласкового шума волн, и, когда они исчезали, слышалось нервное стрекотанье какого-то насекомого. Костер горел весело, и его огонь казался большим пылающим букетом красных и желтых цветов. Он тоже рождал тени, и эти тени весело прыгали вокруг нас, как бы рисуясь своею живостью пред ленивыми тенями луны. Широкий горизонт моря был пустынен, небо над ним безоблачно, и я чувствовал себя на краю земли, созерцающим пространство — эту чарующую душу загадку... Пугливое чувство близости к чему-то великому наполняло мою душу, и сердце трепетно замирало.

Вдруг Шакро громко расхохотался:

— Ха, ха, ха!.. Какой тебэ глупая рожа! Савсэм как у барана! А, ха, ха, ха!..

Я испугался, точно надо мной внезапно грянул гром. Но это было хуже. Это было смешно, да, но — как же это было обидно!.. Он, Шакро, плакал от смеха; я чувствовал себя готовым плакать от другой причины. У меня в горле стоял камень, я не мог говорить и смотрел на него дикими глазами, чем еще больше усиливал его смех. Он катался по земле, поджав живот; я же всё еще не мог прийти в себя от нанесенного мне оскорбления... Мне была нанесена тяжкая обида, и те немногие, которые, я надеюсь, поймут ее,— потому что, может быть, сами испытали нечто подобное,— те снова взвесят в своей душе эту тяжесть.

— Перестань! — бешено крикнул я.

Он испугался, вздрогнул, но всё еще не мог сдержаться, пароксизмы смеха всё еще схватывали его, он надувал щеки, таращил глаза и вдруг снова разражался хохотом. Тогда я встал и пошел прочь от него. Я шел долго, без дум, почти без сознания, полный жгучим ядом обиды. Я обнимал всю природу и молча, всей душой объяснялся ей в любви, в горячей любви человека, который немножко поэт... а она, в лице Шакро, расхохоталась надо мной за мое увлечение! Я далеко зашел бы в составлении обвинительного акта против природы, Шакро и всех порядков жизни, но за мной раздались быстрые шаги.

— Не сэрдысь! — сконфуженно произнес Шакро, тихонько касаясь моего плеча.— Ты молился? Я нэ знал.

Он говорил робким тоном нашалившего ребенка, и я, несмотря на мое возбуждение, не мог не видеть его жалкой физиономии, смешно искривленной смущением и страхом.

— Я тэбя нэ трону болше. Вэрно! Никогда!

Он отрицательно тряс головой.

— Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю — почэму? Значит — глупый он, как баран...

Это он меня утешал! Это он извинялся предо мной! Конечно, после таких утешений и извинений мне ничего не оставалось более, как простить ему не только прошлое, но и будущее.

Через полчаса он крепко спал, а я сидел рядом с ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек кажется беззащитным и беспомощным,— Шакро был жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями, делали его лицо детским, робко удивленным. Дышал он ровно, спокойно, но иногда возился и бредил, говоря просительно и торопливо по-грузински. Вокруг нас царила та напряженная тишина, от которой всегда ждешь чего-то и которая, если б могла продолжаться долго, сводила бы с ума человека своим совершенным покоем и отсутствием звука, этой яркой тени движения. Тихий шорох волн не долетал до нас,— мы находились в какой-то яме, поросшей цепкими кустарниками и казавшейся мохнатым зевом окаменевшего животного. Я смотрел на Шакро и думал:

«Это мой спутник... Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему — легион... Это спутник всей моей жизни... он до гроба проводит меня...»

Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырехсот человек, чаявших, как и мы, работы и тоже принужденных удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду — и в городе, и вокруг него — бродили группами серые, удрученные фигуры «голодающих» и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.

Мы пошли в Керчь.

Мой спутник держал свое слово и не трогал меня; но он сильно голодал и прямо-таки по-волчьи щелкал зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас описаниями количеств разной пищи, которую он готов был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного чэлавэка», он, наконец, дошел до того, что не мог уже пропустить мимо себя ни одной особы женского пола, каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не поделиться со мной какой-нибудь практически-философской сальностью по поводу той или другой ее статьи. Он трактовал о женщинах так свободно, с таким знанием предмета и смотрел на них с такой удивительно прямой точки зрения, что я только отплевывался... Однажды я попробовал доказать ему, что женщина — существо ничем не худшее его, но, видя, что он не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готов прийти в бешенство за унижение, каковому, по его мнению, я подвергал его,— оставил мои попытки до поры, пока он будет сыт.

На Керчь мы шли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у нас была всего только одна ячменная лепешка фунта в три, купленная у татарина на последний наш пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это была великая истина: действительно, до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжелый год.

Мой спутник терпеть не мог «голодающих» — конкурентов ему в сборе милостыни. Запас его жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое питание, не позволял ему приобрести такого испитого и жалкого вида, каким они, по справедливости, могли гордиться как некоторым совершенством, и он, еще издали видя их, говорил:

— Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россыя тэсна? Нэ понымаю! Очень глупый народ Россыи!

И когда я объяснял ему причины, побудившие глу-

пый русский народ ходить по Крыму в поисках хлеба, он, недоверчиво качая головой, возражал:

— Нэ понимаю! Какы можна!.. У нас в Грузии нэ бывает таких глупостэй!

Мы пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали, что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был вывезен весь лишний народ — босяки, мы побаивались, что попадем в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьезным осложнениям в нашей судьбе.

Волны пролива всю ночь щедро осыпали нас брызгами, на рассвете мы вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и всё, что удалось заработать,— это гривенник, полученный мною с какой-то попадьи, которой я отнес мешок дынь с базара.

Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять нас гребцами на тот берег, как я ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков, незадолго перед нами натворивших тут много геройских подвигов, а нас, не без основания, причисляли к их категории.

Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на весь мир, решился на несколько рискованную штуку и с наступлением ночи привел ее в исполнение.

IV

Ночью я и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной. Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели... Мне было удобно раскачать кольцо и выдернуть его из камня.

Над нами, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к нам, я прекращал работу, но это было излишней осторожностью; он не мог предполо-

жить, что внизу человек сидит по горло в воде. К тому же цепи звучали беспрерывно и без моей помощи. Шакро уже растянулся на дне шлюпки и шептал мне что-то, чего я не мог разобрать за шумом волн. Кольцо в моих руках... Волна подхватила лодку и отбросила ее от берега. Я держался за цепь и плыл рядом с ней, потом влез в нее. Мы сняли две настовые доски и, укрепив их в уключинах вместо весел, поплыли...

Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал из моих глаз, проваливаясь вместе с кормой, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падал на меня. Я посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услыхал его. Тогда он замолчал. Я видел белое пятно на месте его лица. Он всё время держал руль. Нам некогда было перемениться ролями, и мы боялись переходить по лодке с места на место. Я кричал ему, как ставить лодку, и он, сразу понимая меня, делал всё так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало заботился о том, куда нас несет, стараясь только, чтобы нос стоял поперек пролива. Это было легко установить, так как еще были видны огни Керчи. Волны заглядывали к нам через борта и сердито шумели; чем дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рев, дикий и грозный... А лодка всё неслась — быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Мы то и дело проваливались в глубокие ямы и взлетали на водяные бугры, а ночь становилась всё темней, тучи опускались ниже. Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн, летевших из мрака. Они вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, окруженный разгневанной стихией и оглушаемый ее шумом. Без надежды в сердце, охваченный злым отчаянием, я видел вокруг только эти волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в соленые брызги, и тучи надо мной, густые,

лохматые, тоже были похожи на волны... Я понимал лишь одно: всё, что творится вокруг меня, может быть неизмеримо сильнее и страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не хочет быть таким. Смерть неизбежна. Но этот бесстрастный, всё нивелирующий закон необходимо чем-нибудь скрашивать — уж очень он тяжел и груб. Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в болотной трясине, я постарался бы выбрать первое — все-таки как-то приличнее...

. . . . . .

— Поставим парус! — крикнул Шакро.

— Где он? — спросил я.

— Из моего чэкмэня...

— Бросай его сюда! Не выпускай руля!..

Шакро молча завозился на корме.

— Дэржы!..

Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая по дну лодки, я оторвал от наста еще доску, надел на нее рукав плотной одежды, поставил ее к скамье лодки, припер ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное... Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за веревку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через мою голову, я глотал солено-горькую воду. Она наполнила мои уши, рот, нос... Крепко вцепившись руками в веревку, я поднимался и опускался на воде, стукаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркался в воде, уцепившись обеими руками за ту же веревку, которую я только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, продетая в железные кольца бортов.

— Жив! — крикнул я ему.

Он высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились лицом к лицу друг с другом. Я сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечевки, как в стремена,— но это было ненадежно: любая волна легко могла выбить меня из седла.

Шакро уцепился руками за мои колени и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Я сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за веревки с одного борта, а я так же устроюсь на другом. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через нас, и мы еле держались: одну ногу мне страшно резало веревкой. Всюду в поле зрения рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.

Я повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро еще сильнее стал стукать меня своей головой в грудь. Медлить было нельзя. Я оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за веревки. И тут произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.

— Топишь мэня? — прошептал Шакро и взглянул мне в лицо.

Это было действительно страшно! Страшен был его вопрос, еще страшнее тон вопроса, в котором звучала и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но еще страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!..

Я крикнул ему:

— Держись крепче! — и спустился в воду сам, держась за веревку. Я ударился о что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. Во мне вспыхнуло что-то горячее, я опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда...

— Земля! — крикнул я.

Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с бóльшим чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли кричать громче меня. Шакро завыл, и мы бросились в воду. Но оба быстро охладели: воды было еще по грудь нам, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекатывались через нас.

К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот мы с Шакро стали по ее бортам и, держась за спасательные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.

Шакро бормотал что-то и смеялся. Я озабоченно поглядывал вокруг. Было темно. Сзади и справа от нас шум волн был сильнее, впереди и влево — тише; мы пошли влево. Почва была твердая, песчаная, но вся в ямах; иногда мы не доставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено. На глубоких местах Шакро выл, а я дрожал в страхе. И вдруг — спасение! — впереди нас засверкал огонь...

Шакро заорал что есть мочи; но я твердо помнил, что лодка казенная, и тотчас же заставил его вспомнить об этом. Он замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Я не мог успокоить его — нечем было.

Воды становилось всё меньше... по колено... по щиколотки... Мы всё тащили казенную лодку; но тут у нас не стало сил, и мы бросили ее. На пути у нас лежала какая-то черная коряга. Мы перепрыгнули через нее — и оба босыми ногами попали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли — негостеприимно, но мы не обращали на это внимания и побежали на огонь. Он был в версте от нас и, весело пылая, казалось, смеялся навстречу нам.

V

... Три громадные кудластые собаки, выскочив откуда-то из тьмы, бросились на нас. Шакро, всё время судорожно рыдавший, взвыл и упал на землю. Я швырнул в собак мокрым чекменем и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскакивали. Я засвистал что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отскочили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей.

Через несколько минут мы были у костра в кругу четырех чабанов, одетых в овчины шерстью вверх.

Двое сидели на земле и курили, один — высокий, с густой черной бородой и в казацкой папахе — стоял

сзади нас, опершись на палку с громадной шишкой из корня на конце; четвертый, молодой русый парень, помогал плакавшему Шакро раздеваться. Саженях в пяти от нас земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного, похожего на весенний, уже начавший таять, снег. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч, сдавленных сном и мраком ночи в густой, теплый и толстый пласт, покрывавший степь. Иногда они блеяли жалобно и пугливо...

Я сушил чекмень над огнем и говорил чабанам всё по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.

— Где ж она, та лодка? — спросил меня суровый седой старик, не сводивший с меня глаз.

Я сказал.

— Пойди, Михал, взглянь!..

Михал — тот, чернобородый,— вскинул палку на плечо и отправился к берегу.

Шакро, дрожавший от холода, попросил меня дать ему теплый, но еще мокрый чекмень, но старик сказал:

— Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!

Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костер, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина. Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во всё горло, а старик с серьезным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить, присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и всё покрикивал густым басом:

— Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!

Освещенный огнем костра, Шакро извивался змеей, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, они казались красными, как кровь.

Теперь уже все трое чабанов били в ладони, а я, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что пережи-

ваемое приключение сделало бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение, и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра.

Вот Шакро уже сидит на земле, закутанный в чекмень, и ест что-то, поглядывая на меня черными глазами, в которых искрилось нечто, возбуждавшее во мне неприятное чувство. Его одежда сушилась, повешанная на палки, воткнутые в землю около костра. Мне тоже дали хлеба и соленого сала.

Пришел Михал и молча сел рядом со стариком.

— Ну? — спросил старик.

— Есть лодка! — кратко сказал Михал.

— Ее не смоет?

— Нет!

И они все замолчали, разглядывая меня.

— Что ж,— спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь, — свести их в станицу к атаману? А может, прямо к таможенным?

Ему не ответили. Шакро ел спокойно.

— Можно к атаману свести... и к таможенным тоже... И то гарно, и другое,— сказал, помолчав, старик.

— Погоди, дед...— начал я.

Но он не обратил на меня никакого внимания.

— Вот так-то! Михал! Лодка там?

— Эге, там...

— Что ж... ее не смоет вода?

— Ни... не смоет.

— Так и пускай ее стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят ее с собой. Что ж бы им не захватить пустую лодку? Э? Ну вот... А теперь вы... хлопцы-рванцы... того... як его?.. Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А еще бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба!.. Утонули бы, и — всё тут.

Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на меня.

— Что ж ты молчишь, парнюга?

Мне надоели его рассуждения, которые я, не понимая, принимал за издевательство над нами.

— Да вот слушаю тебя! — сказал я довольно сердито.

— Ну, и что ж? — поинтересовался старик.

— Ну, и ничего.

— А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?

Я промолчал.

— А есть ты не хочешь еще? — продолжал старик.

— Не хочу.

— Ну, не ешь. Не хочешь — и не ешь. А может, на дорогу взял бы хлеба?

Я вздрогнул от радости, но не выдал себя.

— На дорогу взял бы...— спокойно сказал я.

— Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала там... А может, еще что есть?— то и этого дайте.

— А разве ж они пойдут? — спросил Михал.

Остальные двое подняли глаза на старика.

— А чего ж бы им с нами делать?

— Да ведь к атаману мы их хотели... а то — к таможенным...— разочарованно заявил Михал.

Шакро завозился около костра и любопытно высунул голову из чекменя. Он был спокоен.

— Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему... коли захотят.

— А лодка как же? — не уступал Михал.

— Лодка? — переспросил старик.— Что ж лодка? Стоит она там?

— Стоит...— ответил Михал.

— Ну, и пусть ее стоит. А утром Ивашка сгонит ее к пристани... там ее возьмут до Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.

Я пристально смотрел на старого чабана и не мог уловить ни малейшего движения на его флегматичном, загорелом и обветренном лице, по которому прыгали тени от костра.

— А не вышло бы греха какого часом...— начал сдаваться Михал.

— Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам и им. Нам надо

свое дело делать, им — идти.— Эй! Далеко еще вам идти? — спросил старик, хотя я уже говорил ему, как далеко.

— До Тифлиса...

— Много пути! Вот видишь, а — атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?

— А что ж? Пускай идут! — согласились товарищи старика, когда он, кончив свои медленные речи, плотно сжал губы и вопросительно оглянул всех их, крутя пальцами свою сивую бороду.

— Ну, так идите же к богу, ребята! — махнул рукой старик.— А лодку мы отправим на место. Так ли?

— Спасибо тебе, дед! — скинул я шапку.

— А за что ж спасибо?

— Спасибо, брат, спасибо! — взволнованно повторил я.

— Да за что ж спасибо? Вот чудно́! Я говорю — идите к богу, а он мне — спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?

— Был грех, боялся!.. — сказал я.

— О!.. — и старик поднял брови.— Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уж — знакомы будем. Часом помочь друг другу придется... До свидки!..

Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился нам. Поклонились и его товарищи. Мы спросили дорогу на Анапу и пошли. Шакро смеялся над чем-то...

VI

— Ты что смеешься? — спросил я его.

Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали, я был в восхищении и от свежего предрассветного ветерка, веявшего прямо нам в грудь, и оттого, что небо очистилось от туч, скоро на ясное небо выйдет солнце и родится блестящий красавец-день...

Шакро хитро подмигнул мне глазом и расхохотался еще сильней. Я тоже улыбался, слыша его веселый, здоровый смех. Два-три часа, проведенные нами у костра

чабанов, и вкусный хлеб с салом оставили от утомительного путешествия только легонькую ломоту в костях; но это ощущение не мешало нашей радости.

— Ну, чего ж ты смеешься? Рад, что жив остался, да? Жив да еще и сыт?

Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул меня локтем в бок, сделал мне гримасу, снова расхохотался и наконец заговорил своим ломаным языком:

— Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас павэли к этому атаману-таможану? Нэ знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэня утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадыли бы в турму! Панымаишь?

Я хотел сначала понять это как шутку, но — увы!— он сумел меня убедить в серьезности своего намерения. Он так основательно и ясно убеждал меня в этом, что я, вместо того чтобы взбеситься на него за этот наивный цинизм, преисполнился к нему чувством глубокой жалости. Что иное можно чувствовать к человеку, который с светлейшей улыбкой и самым искренним тоном рассказывает тебе о своем намерении убить тебя? Что с ним делать, если он смотрит на этот поступок как на милую, остроумную шутку?

Я с жаром пустился доказывать Шакро всю безнравственность его намерения. Он очень просто возражал мне, что я не понимаю его выгод, забываю о проживании по чужому билету и о том, что за это — не хвалят...

Вдруг у меня блеснула одна жестокая мысль...

— Погоди,— сказал я,— да ты веришь в то, что я действительно хотел топить тебя?

— Нэт!.. Когда ты мэня в воду толкал — вэрил, когда сам ты пошел — нэ вэрил!

— Слава богу! — воскликнул я.— Ну, и за это спасибо!

— Нэт, нэ гавари спасыбо! Я тэбэ скажу спасыбо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было... Чэкмэнь твой,— ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, дал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасыбо! Ты очэнь хароший человэк — я панымаю. Придем в Тыфлыс,— за всё получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу

отцу — вот человэк! Карми его, пои его, а мэня — к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах!.. Очень харашо будэт тэбе жить! Очэнь просто!.. Пей, ешь из адной чашка со мной!..

Он долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить мне у себя в Тифлисе. А я под его говор думал о великом несчастии тех людей, которые, вооружившись новой моралью, новыми желаниями, одиноко ушли вперед и встречают на дороге своей спутников, чуждых им, не способных понимать их... Тяжела жизнь таких одиноких! Они — над землей, в воздухе... Но они носятся в нем, как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодотворной...

Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.

— Я спать хочу! — сказал Шакро.

Мы остановились. Он лег в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, и, с головой закутавшись в чекмень, скоро заснул. Я сидел рядом с ним и смотрел в море.

Оно жило своей широкой жизнью, полной мощного движения. Стаи волн с шумом катились на берег и разбивались о песок, он слабо шипел, впитывая воду. Взмахивая белыми гривами, передовые волны с шумом ударялись грудью о берег и отступали, отраженные им, а их уже встречали другие, шедшие поддержать их. Обнявшись крепко, в пене и брызгах, они снова катились на берег и били его в стремлении расширить пределы своей жизни. От горизонта до берега, на всем протяжении моря, рождались эти гибкие и сильные волны и всё шли, шли плотной массой, тесно связанные друг с другом единством цели... Солнце всё ярче освещало их хребты, у далеких волн, на горизонте, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропадало бесследно в этом титаническом движении водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной целью и вот — достигает ее этими широкими ритмичными ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовых, задорно прыгавших на молчаливый

берег, и хорошо было смотреть, как вслед за ними спокойно и дружно идет всё море, могучее море, уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное сознания своей красоты и силы...

Из-за мыса, рассекая волны, выплыл громадный пароход и, важно качаясь на взволнованном лоне моря, понесся по хребтам волн, бешено бросавшихся на его борта. Красивый и сильный, блестящий на солнце своим металлом, в другое время он, пожалуй, мог бы навести на мысль о гордом творчестве людей, порабощающих стихии... Но рядом со мной лежал человек-стихия.

VII

Мы шли по Терской области. Шакро был растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгребать солому и через полдня сошел, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держидерево, и он сорвал себе мотыгой кожу с шеи.

Шли мы довольно медленно,— два дня работаешь, день идешь. Ел Шакро крайне несдержанно, и, по милости его чревоугодия, я никак не мог скопить столько денег, чтоб иметь возможность приобрести ему какую-либо часть костюма. А у него все части — были сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами.

Однажды в какой-то станице он вытащил из моей котомки с большим трудом, тайно от него скопленные пять рублей и вечером явился в дом, где я работал в огороде, пьяный и с какой-то толстой бабой-казачкой, которая поздоровалась со мной так:

— Здравствуй, еретик проклятый!

А когда я, удивленный таким эпитетом, спросил ее,— почему же я еретик? — она с апломбом ответила мне:

— А потому, дьявол, что запрещаешь парню женский пол любить! Разве ты можешь запрещать, коли закон позволяет?.. Анафема ты!..

Шакро стоял рядом с ней и утвердительно кивал головой. Он был очень пьян и когда делал какое-либо движение, то весь развинченно качался. Нижняя губа у него отвисла. Тусклые глаза смотрели мне в лицо бессмысленно-упорно.

— Ну, ты, чего ж вытаращил зенки на нас? Давай его деньги! — закричала храбрая баба.

— Какие деньги? — изумился я.

— Давай, давай! А то я тебя в войсковую сведу! Давай те полтораста рублей, что взял у него в Одессе!

— Что мне было делать? Чёртова баба с пьяных глаз в самом деле могла пойти в войсковую избу, и тогда станичное начальство, строгое к разному странствующему люду, арестовало бы нас. Кто знает, что могло выйти из этого ареста для меня и Шакро! И вот я начал дипломатически обходить бабу, что, конечно, стоило не больших усилий. Кое-как при помощи трех бутылок вина я умиротворил ее. Она свалилась на землю между арбузов и заснула. Я уложил Шакро, а рано утром другого дня мы с ним вышли из станицы, оставив бабу с арбузами.

Полубольной с похмелья, с измятым и опухшим лицом, Шакро ежеминутно плевался и тяжко вздыхал. Я пробовал разговаривать с ним, но он не отвечал мне и только поматывал своей кудлатой головой, как баран.

Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперед ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Тишина, царившая вокруг, погружала в мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами по небу медленно двигались черные стаи туч. Сливаясь друг с другом, они покрыли всё небо сзади нас, тогда как впереди оно было еще ясно, хотя уже клочья облаков выбежали в него и резво неслись куда-то вперед, обгоняя нас. Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки всё приближались. Падали капли дождя. Трава металлически шелестела.

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром — и тучи дрогнули, охваченные синим огнем. Крупный дождь полился ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю.

Всё дрожало, волновалось. Молнии, слепя глаза, рвали тучи... В голубом блеске их вдали вставала горная цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнии гасли, она исчезала, как бы проваливаясь в темную пропасть. Всё гремело, вздрагивало, отталкивало звуки и родило их. Точно небо, мутное и гневное, огнем очищало себя от пыли и всякой мерзости, поднявшейся до него с земли, и земля, казалось, вздрагивала в страхе пред гневом его.

Шакро ворчал, как испуганная собака. А мне было весело, я как-то приподнялся над обыкновенным, наблюдая эту могучую мрачную картину степной грозы. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной гармонией...

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнившее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горело и в моей груди; и — чем мне было выразить мое великое волнение и мой восторг? Я запел — громко, во всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками... Я — безумствовал; это простительно, ибо не вредило никому, кроме меня. Буря на море и гроза в степи! — Я не знаю более грандиозных явлений в природе.

Итак, я кричал, будучи твердо уверен, что не обеспокою никого таким поведением и никого не поставлю в необходимость подвергнуть строгой критике мой образ действий. Но вдруг меня сильно дернуло за ноги, и я невольно сел в лужу...

В лицо мне смотрел Шакро серьезными и гневными глазами.

— Ты сошел с ума? Нэ сошел? Нэт? Ну, за-амалчи! Нэ крычи! Я тэбэ разорву глотку! Панымаишь?

Я изумился и сначала спросил его, чем я ему мешаю...

— Пугаишь! Понял? Гром гремит — бог гаворит, а ты арэшь... Что ты думаишь?

Я заявил ему, что я имею право петь, если хочу, равно как и он.

— А я нэ хачу! — категорически сказал он.

— Не пой! — согласился я.

— И ты нэ пой! — строго внушал Шакро.

— Нет, я уж лучше буду...

— Послушай,— что ты думаишь? — гневно заговорил Шакро.— Кто ты такой? Есть у тэбэ дом? Есть у тэбэ мать? Отэц? Есть родные? Зэмли? Кто ты на зэмле? Ты — человэк, думаишь? Это я человэк! У мэнэ всё есть!..— Он постукал себя в грудь.— Я кнэзь!.. А ты... ты — нычего! Нычего нэт! А мэнэ знаит Кутаис, Тыфлыс!.. Панымаишь? Ты нэ иди протыв мэнэ! Ты мне служишь? — Будышь доволен! Я заплачу тэбэ дэсять раз! Ты так дэлаешь мне? Ты нэ можишь дэлать иное; ты сам гаварыл, что бог вэлел служить всем бэз награда! Я тэбэ награжу! Зачэм ты мэнэ мучаишь? Учишь, пугаишь? Хочешь, чтобы я был, как ты? Это нэ харашо! Эх, эх, эх!.. Фу, фу!..

Он говорил, чмокал, фыркал, вздыхал... Я смотрел ему в лицо, разинув рот от изумления. Он, очевидно, выливал предо мной все возмущения, обиды и недовольства мною, накопленные за всё время нашего путешествия. Для вящей убедительности он тыкал мне пальцем в грудь и тряс меня за плечо, а в особенно сильных местах налезал на меня всей своей тушей. Нас поливал дождь, над нами непрерывно грохотал гром, и Шакро, чтоб быть услышанным мною, кричал во всё горло.

Трагикомизм моего положения выступил предо мной яснее всего и заставил меня расхохотаться что было моих сил...

Шакро, плюнув, отвернулся от меня.

VIII

...Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, но все-таки неподвижном лице. Недалеко от Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу.

Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над нами

и ругали нас по-своему, мы решили уйти из аула, испуганные всё возраставшим среди аульников враждебным отношением к нам. Отойдя верст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи сверток лезгинской кисеи и с торжеством показал мне, воскликнув:

— Больши нэ надо работать! Продадым — купым всего! Хватыт до Тыфлыса! Панымаишь?

Я был возмущен до бешенства, вырвав кисею, бросил ее в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго пред этим мы слышали от казаков такую историю. Один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нем ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на дороге в станицу. Казаки не однажды строго предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе,— не верить им я не имел основания.

Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощурив глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы основательно колотили друг друга и наконец Шакро с гневом крикнул мне:

— Будэт!..

Измученные, мы долго молчали, сидя друг против друга... Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул краденую кисею, и заговорил:

— За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл? Что тэбэ — жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украл... Работаишь ты, я нэ умэю... Что минэ делать? Хотэл помочь тэбэ...

Я попытался объяснить ему, что́ есть кража...

— Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава, как дерево...— презрительно отнесся он ко мне и объяснил:— Умирать будишь — воровать будишь? Ну! А развэ это жизнь? Малчи!

Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже второй случай кражи. Еще раньше, когда мы были в Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные весы. Тогда мы тоже едва не подрались.

— Ну, идем далшэ? — сказал он, когда оба мы несколько успокоились, примирились и отдохнули.

Пошли дальше. Он с каждым днем становился всё мрачней и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с Гудаура, он заговорил:

— Дэнь-два пройдет — в Тыфлыс придем. Цце, цце! — почмокал он языком и расцвел весь.—Приду домой,— гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду... ага! Есть буду много... ах, много! Скажу матэри — очэнь хачу есть! Скажу отцу — просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл,— разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу — пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ... Вот человэк,— был минэ как старший брат... Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэпэрь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми —вот сколько! Слышишь, Максым?

Я любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие речи были мне и потому интересны, что я не имел в Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась зима — на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся немного на Шакро.

Мы шли быстро. Вот и Мцхет — древняя столица Иберии. Завтра придем в Тифлис.

Еще издали, верст за пять, я увидал столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Я был рад чему-то, Шакро — равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперед и сплевывал в сторону голодную слюну,то и дело с болезненной гримасой хватаясь за живот. Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.

— Ты думаешь, я — грузински дыварянин — пайду в мой город днем такой, рваный, грязный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчера. Стой!

Мы сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-Грузинской дороги дул резкий и сильный ветер. Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню... Я думал о теплой комнате и других преимуществах оседлой жизни пред жизнью кочевой.

— Идем! — поднялся Шакро с решительным лицом.

Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.

— Слушай! ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо... а то узнают мэнэ знакомые, может быть...

Я дал башлык. Мы идем по Ольгинской улице. Шакро насвистывает нечто решительное.

— Максым! Видишь станцию конки — Верийский мост? Сыди тут, жди! Пажалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать...

— Ты недолго?

— Сэйчас! Адын момэнт!..

Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем — навсегда.

Я никогда больше не встречал этого человека — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами,— ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.

II

О МАЛЕНЬКОЙ ФЕЕ И МОЛОДОМ ЧАБАНЕ

ВАЛАШСКАЯ СКАЗКА

У людей очень много грустных сказок; промолчим на вопрос, почему это так, и послушаем одну из них, новую сказку на старую тему, сказку, которую рассказывают на Дунае, голубой реке...

Над Дунаем есть лес, старый, мощный лес. Он начинается с берега и уходит далеко в глубь полей; ветви его деревьев нависли над синими звучными волнами реки, и корни их, узловатые и сморщенные, вода целует и моет, набегая на берег с тихим, ласковым звуком.

Жили в том лесу эльфы и феи, и старые, мудрые гномы построили в нем, под корнями деревьев, дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и всё другое, про что нужно думать, чтобы быть мудрецом.

Ночами они выходили на тенистый берег реки и, сидя на камнях, поросших мягким темно-зеленым мохом, и на старых, поваленных бурею стволах деревьев, смотрели на волны и слушали то, что они шептали, тихо пробегая до моря из непонятной, туманной мглой занавешенной дали.

В том же лесу жила и старая царица фей и четыре ее дочери; а из них самая меньшая была самой веселой, красивой и смелой. Она была очень маленькая, и ее головка, вся в серебряных волнистых кудрях, походила на пышно расцветшую лилию.

Целые дни она бегала по лесу, а когда уставала, то садилась на ветви старого дуплистого бука; он стоял близко к тому краю леса, что выходил в степь. Это было ее любимое место, и с него, чрез пышный полог душистых зеленых ветвей, волновавшийся, как море, чуть над ним промчится ветер,— она видела бесконечную ширь степи, начинавшейся сейчас же за лесом и уходившей туда —

в розовато-голубую даль, где ее край касался мягкой синевы неба.

Она сидела высоко на ветках, ветер тихо качал их под ней, и она пела, нежась на солнце, о том, как хорошо быть феей и жить в старом, тенистом лесу.

Птицы, бабочки и все, кто жил вместе с нею, очень любили ее, и ей жилось хорошо, очень хорошо.

И вот с нею-то и случилась эта грустная история, о которой рассказывали мне дунайские рыбаки.

Был май — славный, веселый май; свежая, ярко-зеленая листва, рожденная им, ликовала; шум ее лился широкой и звучной струей в лазурное, яркое небо, — а в нем тихо плавали белые пуховые облака и таяли в ярких лучах веселого солнца весны.

Фея качалась на ветках могучего бука и пела; старые ветви музыкально и тихо скрипели, и зелень их шумно шептала хвалу песне красавицы-феи:

Хорошо на ветках бука
В ясный майский день качаться
И волной душистой звука
Песни леса упиваться!

Эта была ее любимая и бесконечно длинная песня.

Хорошо веселой белкой
Прыгать с той на эту ветку,
Разрывая белой ножкой
Паука лесного сетку!..

И вдруг до ее слуха донеслась, как бы в ответ ей, другая звонкая и смелая песня:

Хорошо в степном просторе,
Напоенном мягким зноем,
Наблюдать, как в небе-море
Мчатся тучки легким строем!

Фея удивилась и испугалась немного; эта песня прилетела со степи, и тот, кто ее пел, умел петь; звонко и стройно звучал его голос и, точно поддразнивая ее, вызывал на состязание.

Ветра буйного порывы
Степью бешено летят,
Точно в небе крошки-звезды
Погасить они хотят!

Это пел не один из жаворонков и никто из соловьев: она знала все их песни! Кто же это пел? Ей захотелось узнать.

Как красива сеть ветвей
Дуба мощного и вяза!
Есть ли что-нибудь для глаза
Поля голого мертвей?!.

Как серебряные колокольчики, звенел ее голос, когда она пела эту песенку-вызов, и в ответ получила:

Сеть из сучьев черных сплел
Этот старый, хмурый лес,
И лазурный свод небес
Глаз мой в нем бы не нашел.

Это фею рассердило. Разве сквозь ветви деревьев не видно лазурного неба? Тот, кто пел эти песни, никогда не бывал в лесу. А вот что хорошего в бесконечно большом и голом поле,— это трудно сказать и мудрецу! Она громко закричала в степь:

Если по степи проносятся вьюги,
Дико и буйно в ней ветер поет,
Лес в это время в тоске и испуге
Страшно шумит и мне спать не дает!

Когда она прислушалась — в степи кто-то весело смеялся.

— Ах, как это невежливо! — вскричала фея и почувствовала в себе желание победить.

Лесу хвалу я пою!

— запела она звонко. Весь лес до последнего кустика ласково зашумел бархатной листвой, и ее голос жаворонком взвился в небо.

Слушайте, птицы, меня!..

И неугомонно певшие птички замолчали, чтоб послушать и поучиться славить лес.

Песнь моя! громко звеня,
Лейся ты в небо прекрасное!
Солнце! ты песнь мою
Златом лучей облеки
И преврати в огоньки,
Чистые, кроткие, ясные!..
Пусть они песнью без слов
Ночью по лесу летают
И светляками сияют
В зелени мощных дубов!..

И тут она встала на толстый сук бука, вдохновенно закинув голову назад, и, подняв маленькие белые ручки к небу, пела далее:

Мой старый, добрый, чудный лес!
Ты тайны мир, ты мир чудес!
Купаясь в запахе густом
Тобой взлелеянных цветов,
Веселых пташек дивный хор
Тебе хвалы поет!..
Под каждой веткой и листком
Живут букашки, мотыльки...
А меж корнями в мраке нор
Живет суровый крот;
И робкий кролик, и лиса,
И желтый уж, и острый еж,
И резвый эльф, и мудрый гном
В тебе нашли приют!
О лес!.. Всех птичек голоса,
Пускай хоть век они звенят —
За ночью ночь и день за днем —
Тебя не воспоют,
Мой старый, чудный, мощный лес!

Она замолчала,— и, так как она была женщина, она была тщеславна, а потому тотчас же и подумала, что со дня своего рождения лес не слыхал такой красивой и звучной песни, как вот эта, которую она только что

спела. Но не успел еще лес шумом ветвей сказать ей спасибо, как со степи полилось:

Степь родная! От края до края
Ковылем поросла ты седым;
Вольный ветер, с ним нежно играя,
Над тобой мощной птицей летает
И веселые сны навевает...
И плывут, и клубятся, как дым,
Стаи туч с высоты голубой
Далеко, далеко над тобой!..

Маленькая фея белкой взобралась на самую вершину бука и смотрела в степь. В ней догорал день, и ее край, о котором пелось, был окрашен в яркий пурпур, точно там был развешан громадный бархатный занавес и в складках его горело золото. А на пышном фоне этого занавеса рисовалась такая красивая и странная фигура кого-то с длинной палкой в руках и в белой овечьей шкуре на плечах и поясе. Она стояла на одном из тех маленьких холмиков, под которыми живут суслики и кроты, и, простирая руки к лесу, пела. Больше ничего не было видно. А когда песня, звонкая и смелая, была пропета, фее так сильно захотелось посмотреть поближе на того, кто пел ее, что она готова была побежать туда, но, вспомнив рассказы матери о том, что по степи часто ходят люди и что с ними лучше не встречаться, коли не хочешь несчастья,— удержалась и молча, не отрываясь, всё смотрела на певца. А он, кончив свою песню, взмахнул над головой палкой, свистнул и, крикнув к лесу: «Эгой! Прощай!», легкими шагами пошел туда, в степь, откуда выплывали навстречу ему тонкие стаи мутно-голубой мглы,— пошел и снова стал петь:

Тихо ветер тучки гонит,
Тени их на степь упали...
И ковыль головки клонит,—
Это тени стебли смяли.
Тихий шорох ковыля
Плавно льется в небеса,
Точно чьи-то голоса

Шепчут сказки, веселя
Душу юную мою.
Хищный беркут плавно вьется
Там высоко точкой черной,
И оттуда клекот льется,
Клекот мощный и задорный.
Царство силы и свободы —
Степь могучая моя...

Потом слова песни сделались неслышными, в лес летели одни только звуки, и фее было сладко слушать их; а когда и они пропали, потерявшись в безграничной степной равнине, она вместе с ними потеряла и силуэт певца, утонувшего в мягком море мглы. Тогда она задумчиво спустилась на землю и тихо пошла в свой дворец; но то, что раньше интересовало ее,— игры эльфов с мотыльками, и сиянье светляков, и работа меж ветвями домовитых пауков, шорох листьев под ногою, тени мягкие на всем, и согнувшийся дугою погулять идущий гном,— всё это не останавливало на себе ее ясных глаз; она думала о том, кто так много и так славно пел там, в степи, и ей очень хотелось узнать, что это было. Вот она пришла к себе. Ее мать и сестры собирались на свадьбу к одному почтенному кроту и стали звать ее с собой, но ей не захотелось и этого; тогда мать спросила ее:

— Что ты такая грустная, Майя? Ты устала или тебя опять напугали эти старые разбойники — вороны?

— Нет, не это, мама, совсем не это!

И она рассказала всё, что с нею было, а потом спросила, что такое было это.

Сестры ее не удивились ее рассказу, они вскричали:

— Просто это чабан! а ты — дурочка! — и убежали куда-то, смеясь, бросая друг в друга цветами и крича:— Мы вас ждем!

— Да, это только чабан, моя дочка! — сказала фея-мать.— Он еще молод, должно быть, вот и распелся так; когда поживет, так разучится петь.

Она опытная была, эта царица фей.

— Что значит чабан, мама? — спросила Майя.

— Чабан — это тоже человек. Он пасет овец и потому называется чабан. Чабаны, впрочем, все-таки

лучше других людей, не так злы и лживы, как те; должно быть, это потому, что они всё время живут с овцами.

— Он не может ничего дурного мне сделать, мама?

— Он-то? Нет, я думаю, что может, потому что ведь он все-таки человек. Но ведь он к тебе не пойдет, ты к нему — тоже? Не так ли? Тебе нечего бояться, девочка!

И опять скажу: царица фей была редкая женщина; она была умна и хорошо знала людей, но, видно, позабыла кой о чем на этот раз.

Майя замолчала, и они пошли на свадьбу крота. Там было весело, собрался чуть не весь лес; громадная толпа кузнечиков и стрекоз составила очень звучный оркестр и славно играла; эльфы, мотыльки и другие обитатели леса танцевали и пели, а царица фей с дочерьми сидела на пышном троне из тюльпанов, и майские жуки служили ей, поднося то росу с соком фиалок, то молоко из лесных орехов и разные другие кушанья и сласти; мудрые гномы толковали между собой о жизни и других тайнах; мудрейшие еще больше убеждались в том, что действительно всё суета сует и томление духа. Было очень весело!

Жених был приветлив и очень важен, потом — он был неглуп и очень зажиточен. Гости ни на что не могли пожаловаться и с любезными улыбками выслушивали его рассуждения о том, что главное в жизни общества — семья, он это понимает и вот женился, чем в некотором роде оказал обществу услугу, добавив к общей сумме его звеньев-семей еще одну.

Невеста была, должно быть, очень счастлива, потому что всё время молчала, и, когда ее спрашивали о чем-нибудь, она вместо ответа улыбалась такой мягкой и доброй улыбкой.

Майе было скучно. Улучив минутку, она спросила крота, что он думает о чабанах.

— Чабаны?! Скрр!.. брр!.. Я таки близко знаю их! О да, принцесса, я таки имел с ними дело! Они бедны всегда, и поэтому все негодяи и разбойники. О да, это уж верно! Это так! Чабаны?! Огэ! Они не имеют никакой собственности, кроме самих себя; а всякий, не имеющий

собственности,— вор, ибо чем бы он жил, раз он не вор?! Но, впрочем, он может быть нищим, это еще хуже, потому что воровать — это все-таки труд. Один из чабанов раз бросил в меня своей длинной палкой и бежал за мной до той поры, покуда я не убрался в нору; да, это было так!

— Зачем он бросил? — спросила Майя.

— Зачем? Я думаю, просто затем, что я имел неосторожность пройти близко от него, вот и всё, отнюдь не больше. Ведь чабаны — люди, как хотите, и с них спрашивать много нельзя!

Майе стало еще скучней. Всё, что происходило перед ее глазами, было совсем не так интересно, как интересно оно было раньше. Она была очень рада, когда мама объявила, что пора идти домой. И вот они пошли. Светляки бежали перед ними, светя им; лес уже спал, и небо спало, а звезды смотрели с него на землю и улыбались ей задумчиво и тихо.

Потом пришли домой.

Майя легла спать на свою кроватку из ландышей, а когда заснула, то видела бесконечно широкую, сожженную солнцем степь, и там на холмах стояло много чабанов с длинными палками в руках, и ветер играл их черными кудрями; они пели громкую, страшную песнь о свободе и о степи и бегали за кротами, громко крича: «Эгой! гой!» Они были злы и страшны и очень пугали ее, но это не помешало все-таки ей, как только взошло солнце, побежать на свое любимое место и взобраться на ветви бука.

Он был там и пел:

В лесу над рекой жила фея,
В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Смотрели рыбаки, дивились...
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать ее жарко.
А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась

Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем-то смеялась.
День целый они целовались,
А чуть только ночь наступила,—
Пропала красавица-фея,
А с нею и Маркова сила.
Дни Марко всё рыскал по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»
Повесился Марко на горькой,
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.
Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем-то смеется...
Ведь вот как веселье любила!
Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась...
А Марка уж нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!

Это была очень веселая песня, в голосе чабана ясно звучал смех, беззаботный и вольный, как сам чабан.

«Вот странная песня! — думала фея. — У кого он научился петь ее? И фея в этой песне странная, и Марко тоже странный. Почему он повесился, и что это значит — повеситься?» Ей казалось, что это не веселая песня, а очень грустная. Чабан же поет ее так весело... Она смотрела на него через вершины деревьев и хотела, чтоб он подошел ближе.

Но он не шел, а всё пел и в такт своей песне помахивал палкой в воздухе; кончая одну песнь, звонко вскрикивал: «Эгой!» и начинал другую:

А то еще есть песня
О старом казаке,
Что плыл куда-то ночью
На лодке по реке.
Будил он рыб и воду
Ударами весла...

А в сонном небе ночи
Над ним луна плыла.
И нежно там сияли
Красавиц-звезд огни,
И знали всё, что будет
Со стариком, они.

Майя слушала и думала о певце, что, пожалуй, никто другой не знает столько таких песен, сколько он! Какие хорошие грустные песни, и как это верно спето про звезды, которые знают всё, что может быть завтра и дальше вперед! Хорошо слушать такие новые песни... И Майя незаметно для себя по ветвям дерев добралась до самой опушки леса.

А было вот что: в лодку
Русалка села вдруг
И вырвала со смехом
Весло из старых рук...

— продолжал певец и тут остановился, задумчиво глядя вдаль и тихо насвистывая мелодию своей песни. «Эгой!»

Была она красива,
Нага и молода,
С волос ее струилась
Алмазами вода.
Смеясь, она играла
Казацкой бородой
И говорила: «Хочешь
Любить меня, седой?
Но, впрочем, где тебе уж!
Вот ты и дряхл, и стар,
Ты не погасишь лаской
Кипучей страсти жар!
Ты не обнимешь крепко,
Ты слишком слаб, казак...
А ну-ка, поцелуй-ка,
Как я!.. вот так!.. вот так!..»
Она его схватила
И стала целовать,
И стала в уши песни
Тихонько напевать.

Майя слушала и думала о том, как это красиво было: в лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжелыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелеными волосами русалки, а она ласково и нежно пела, и ее песня, наверное, была мягка, как осенний шум волн в камышах, и глаза ее горели так ярко, ярко, как звезды, которые, сияя из густо-синего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку и лодку и тех, что, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!.. И еще была музыка... музыка шёпота волн и звука поцелуев, шелеста дерев на берегах, тонувших в мгле, мягкой и волнистой, и тихих песен русалки... Всё это сливалось и звучало тихим и кротким гимном, которому имя — счастье жить!

А певец продолжает:

Остатки силы юной
Проснулись в казаке...
«Могу!..» — пронесся шёпот
По дремлющей реке.
Он берегов уснувших
Во мгле не разбудил...
Как тучка в небе ясном,
Он, тихо тая, плыл
И замер где-то грустно...
Мир божий сладко спал,
И больше ничего уж
В ту ночь он не слыхал.
Как раньше, катит волны
Красавица-река...
Но средь живых уж нету
Бедняги казака!
Теперь русалки око
Не соблазнит его...
Зарыт бедняк глубоко
И... больше ничего!

Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво

и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего»? Было так много красивого!.. Она смотрела на певца — теперь он был близко от нее — и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя в землю. Ей захотелось поговорить с ним и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:

— Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих веселых песен такие грустные концы?

Чабан встал с земли, подошел к самой опушке леса и, найдя ее в ветвях своими карими глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:

— Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры, я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распеваешь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.

Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он оперся о палку локтем одной руки и, положив на ее ладонь голову, смотрел вверх на ветви, из которых, улыбаясь, смотрело на него ее маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!

— Ты славно поешь! — сказала Майя, вдоволь насмотревшись в его черные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пухом покрытые щеки.

— Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?

Ну, это-то она знала как нельзя более твердо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожицей и всем остальным. Все красавицы знают, что́ они такое, и почти всегда раньше времени знают это; можно думать, что коли бы этого не было, так и еще кое-чего не было бы!

Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.

— А ты злой? — спросила она.

— Я-то? Не знаю... Я — чабан...

— Это я знаю! — торопливо сказала Майя.— Значит, ты добрый?

— Не знаю! — весело тряхнул кудрями чабан.

— Ну, так я не приду к тебе, потому что ты, наверно, злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.

— Э, да ты глупенькая какая! — крикнул чабан.— Как хочешь, не придешь — не приходи, а придешь — я тебя поцелую!

— Не хочу я, чтоб ты меня поцеловал!

— Ну, это ты врешь! Каждая девушка хочет, чтоб ее целовали; разве я не знаю, ты думаешь?

— А я не хочу!

— Теперь — может быть; а через час или завтра и ты тоже захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот то-то же!

Майя задумалась. «Может быть, лучше — поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту — на другой щеке».

— Ну хорошо, я сойду! — засмеялась она и спрыгнула с веток прямо ему на руки.

— Какая ты легонькая! — глядя ей в очи, сказал он и поцеловал ее в губы.

Ох, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потек по жилам к сердцу, и оно затрепетало до боли сильно и сладко.

Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и еще, и еще, и бесконечно много целовались они.

Уж наступал вечер. Заходило солнце: лес темнел, и из дали по степи поползли тени, посланники ночи. Тогда Майя вспомнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого — с чабаном было так хорошо!..

— Ты уж уходишь? — спросил ее чабан.— Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придешь.

— Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью,— сказала Майя.

— А ты разве не станешь думать, когда узнаешь что это?

— Что же думать о том, что знаешь?

— Нет уж, иди. До завтра!

— До завтра!

Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых — сильных и смелых, как ветер степной.

Майя пришла домой и рассказала всё, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала своей матери и сестер такими испуганными и огорченными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали ее. Мать то сердилась, то плакала, и всё говорила: «Что ты сделала, глупая! Что?!.» Сестры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.

— Дочка моя! — плакала мать.— Ты погубила себя!

Сестры убито молчали и тоже плакали.

— Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом, он говорит, что целоваться всё равно нужно; не нынче — завтра, это неизбежно!

— Дочка моя! Ведь он человек!

Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила свое, что целоваться приятно, что чабан так хорош и что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та и другая были правы и, чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда,— они почувствовали себя обиженными и рассердились друг на друга.

— Ты не уйдешь больше из дома дальше вот этого дуба! — сказала мать.

Этот дуб был в трех шагах от маленького теремка Майи; это ее еще сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой темно-зеленый навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сестры ушли во дворец, взволнованно шепча о чем-то между собой. Всё это утомило ее, и она уснула крепко,— в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка,— уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и целовал

ее; у него ярко искрились глаза и зубы блестели, как жемчуг, из-под пушистых и черных усов; ей было так славно! И когда она проснулась, ей — эх ты, как! — захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабане дома!.. Но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было... Вот идет мать. Ее старые, седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вкруг ее головы, следят, как бы не попала пылинка на доброе старое лицо, которое теперь так убито и строго.

— Я пойду в степь, мама! — не то попросила, не то решила Майя.

— Ты не пойдешь, девочка! Ты погибнешь, если пойдешь! — подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и еще о многом, что было и мудро и, может быть, верно, но что совсем не было так приятно, как поцелуи чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока со степи не принеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» — и вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана:

Терять минуты не годится
Тому, кто хочет много жить,
Кто хочет жизнью насладиться!
Тому, кто хочет счастлив быть,
Терять минуты не годится.

О, иди! Я тебя страстно жду!
Поскорей!.. Для тебя я в груди
Много песен веселых найду...
О, иди! Поскорее иди!..

Майя слушала эту песню, и ее сердце повторяло ее. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни — как клекот орла.

— Нет, я пойду! — сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:

— Дочка, не ходи!!.

— Ведь это жестоко, мама! Я хочу — ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!..

— Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого! Не ходи!..

— А я не знаю и пойду!

— Так тогда ты больше не будешь моей дочерью,— вскричала царица, и лес не раз повторил ее крик.

Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб всё шло своим чередом.

Майя испугалась, и когда увидала, что мать уходит от нее, испугалась еще больше. А со степи неслось:

О, иди!.. Счастьем жизнь так бедна!..
Торопись же! Она так кратка!
Нужно пить чашу жизни до дна
Поскорей — не остыла пока!..

Майя посмотрела кругом... Корявые сучья дубов и белые гибкие ветви берез переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и еще чем-то, таким же тяжелым... А там, в степи, просторно и ярко! И оттуда неслась песнь:

О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!
Поскорей!.. Страх и жалость отбрось!
Только сердце свое ты жалей,
Только с ним не пытайся жить врозь!

Майе стало казаться, что лес еще гуще переплел свои ветви и хочет помешать ей уйти и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда!.. Там ждет тебя горе и еще что-то!» Она чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу... но все-таки хотела

и решила пойти. У нее прямо из сердца полилась песня вызова и желания:

Звук этих чарующих песен
Отраду мне в грудь тихо льет.
О лес! Почему ты стал тесен?
Мне страшно!.. Мне больше дает
Звук этих чарующих песен!..
Мой лес! В тебе солнца так мало,
В тебе не умеют так петь!..
Мне скучно! Я жить здесь устала!
Угрюма ветвей твоих сеть...
И солнца в ней мало, так мало!
Я воли хочу, хочу степи!
Мне грудь тяжко давит твой мрак!
Прочь эти зеленые цепи!..
Пусти!.. а не то ты — мой враг!
Я воли хочу, солнца, степи!..

— Майя!! — вскричали сестры и встали все рядом у нее на дороге.

— Дочка! Ты ведь разорвешь сердце мне!.. — простирая к ней руки, горько крикнула царица-мать.

Майя остановилась. Ей холодно и страшно стало, как никогда не бывало прежде. А со степи неслось:

Иди!.. Мое сердце устало
Тебя, моя девочка, ждать!
Хоть счастия в жизни и мало,
Но всё я могу его дать!..

Майя и не посмотрела на мать, и на сестер не посмотрела, бросилась вперед, толкнув их, и ушла, а когда они опомнились, ее уже не было. Глухо гудел лес, и у корней могучего дуба лежала старая царица в короне серебряно-седых волос, широко раскинув руки и не дыша.

— Вот я! — крикнула Майя, подбегая к чабану.— Вот я! Вырвали меня из леса твои песни, и из моего сердца вырвали они всё, что в нем было до той поры, пока я не услышала их, вырвали и породили там что-то

новое и сильное, и вот я бросила и лес, и мать, и всё... и пришла к тебе!

— Ну что ж! Вот и славно!.. Теперь ты свободна, и смотри-ка: вот она, степь, нет у ней края, и вся она — твоя! И я твой, коли это нужно, а ты — моя! А то — так нет здесь ни тебя, ни меня, а есть мы, и ты — это я! Видишь, как славно! Только в степи и хорошо, потому что в ней свобода! Мы будем жить, как птицы; я буду петь тебе свои песни, а ты мне — свои, и обоим нам будет так хорошо, как никому никогда не бывало! И забудь ты то, что осталось там, сзади тебя, и будь моей милой!

— Да! — вздохнула Майя, — я буду твоей милой! Ты так хорошо поешь! А то, что в лесу, я уж забыла. Мне не жалко леса... и мать... и сестер... Только вот там осталась моя постелька из ландышей... ее жалко! Ведь здесь жестко так, — на чем спать стану я?!.

— Э, о чем она! На моих руках будешь спать ты и на грудь ко мне положишь свою головку. Разве это дурно? Вот так, а я буду петь тебе тихо, тихо и баюкать тебя своими песнями. Я много знаю песен.

Он взял ее на руки, и она положила головку к нему на смуглую сильную грудь... Он запел, и солнце смотрело на них с ярко-голубого неба; там не плавали маленькие пуховые облака, оно было чисто, как душа девочки-феи, и только невидимые глазом жаворонки вплетали звуки своих песен в солнечные лучи... и над степью, в безбрежной равнине небес, плавала дивная громкая музыка. Чабан сел в тень от одинокой березы, что, любя свободу, выдвинулась из леса далеко в степь и стояла в ней гордо и смело, тихо качая ветвями под ласками ветра, летевшего со стороны моря по степи... Он, глядя в глазки Майи, играл ее покрывалом из крыльев мотыльков, накинутым на ее плечики, и нежно пел ей:

О цветок мой! Бархат скинь
С утомленных зноем плеч...
Неба свод так чист и синь,
Так прохладна эта тень!
Славно в ней на отдых лечь
В этот жаркий день!

Тонкими серебряными колокольчиками звенел его голос:

Ветер нежен и душист,
Он несет со всех сторон
Тихий шелест, стрекот, свист...
О, как сладко мы уснем!
Сон наш будет тих и чист
Этим чудным днем!..

Майя засыпала под звуки этой песни, засыпала сладким сном счастья и сквозь дымку сна видела, что лучи из глаз чабана прямо в сердце льются ей. Он ее жег поцелуями, и она, не скупясь, отвечала ему. Это было так приятно! И потом она куда-то полетела быстрой птицей, и навстречу ей небо улыбнулось страстною, знойной улыбкой...

А когда она очнулась, уже ночь плыла над степью... Как прекрасны и могучи вы, свобода и любовь! И Майя спела одну старую соловьиную песню, в которой воспевалась любовь,— от себя вставив в нее хвалу свободе. Но вино не смешаешь с огнем, и огонь не заменишь вином!.. Это вышла плохая песня; хвала свободе звучала в ней смело и громко, но эти смелые и громкие звуки шли вразлад с тихой и нежной мелодией хвалы любви. Но чабан целовал ее, она отвечала ему, и никто, кроме птиц, не заметил того, что не ладится песня свободы с песней любви.

Так вот и зажили они. Пели и целовались, чуть только начинался день, и целовались и пели, когда ночь покрывала собою степь, и ходили по степи туда и сюда, свободные и веселые, как птицы. Так вот и жили они. Иногда вечером, когда солнце угасало и тонкой мглой окутывалась степь, эта мгла ложилась и на душу Майи, чуть туманя ясный блеск ее очей; но чабан целовал ее тогда чаще и крепче, и пока он ее целовал, из-за леса являлась луна, обливала всю степь голубым серебром, и мгла таяла и в степи и в душе маленькой феи. Хорошо им жилось!..

Но однажды гроза собралась там, вдали: незаметно она собралась и сначала явилась маленьким темно-

сизым облачком; оно торопливо пробежало над степью, облитой горячим сиянием солнца, и, когда оно бежало, от него ложились тени, они казались степи темной, виноватой улыбкой, точно облако хотело сказать, что оно не по своей воле закрывает солнце и пугает птиц, а уж так ему повелел ветер. Пробежало это облако, и за ним медленно поплыли другие облака, побольше и поменьше его,— они плыли и хмуро смотрели на степь и на Майю с чабаном, что сидели там; а потом они стали собираться в темно-синие, мрачные стаи и закрыли собою всё небо.

Ветер странным порывом промчался над степью в сторону моря, он мчался и выл что-то грозно и дико и гнал пред собой стаю сухих листьев, ковыль робко клонился к земле. Майя испуганно кинулась на грудь чабана, а тот громко крикнул:

— Эгой! — и спросил ее, крепко целуя в щечки: — Чего ты боишься? Это просто гроза собралась. Ты посмотришь, как это будет весело! Ничего нет в свете сильней и красивей грозы. Эх, как она пролетит над степью, сколько золотых стрелок бросит в землю, сколько грозных песен прогудит ей!.. Знаешь ты, почему бывает гроза? Эх ты!.. не знаешь! Это потому, видишь ли, что небо смотрит, смотрит на землю и потом рассердится на нее за то, что она забывает о нем. Оно и жалеет ее и, может быть, любит немного... И вот, когда оно рассердится, то соберет все тучи, какие у него есть, и, вооружив их молниями, с громом пустит их лететь над землей: смотри, дескать, захочу — и вся ты в пыль разлетишься!.. Вот что такое гроза. Теперь ты знаешь?

— Я боюсь теперь! — вздохнула Майя. — Уйдем туда! — и она показала в сторону, где стоял лес.

— От грозы-то уйти! Вот уж сказала! Коли ты не хочешь ее, иди к ней навстречу,— так она скорее минует тебя, а избежать ее — всё равно не избежишь! Да и бояться ее не нужно. Гроза!!. Эго! Что ж такое? Будь тверда, вот и всё!

Но всё, что он говорил, нимало не утешало ее; она боязливо дрожала, обняв его крепко, и не хотела посмотреть туда — в даль, теперь уже матово-черную.

Вот на землю начали падать холодные крупные капли, и там, куда падала капля, вздымался маленький пыльный дымок. Потом прилетело из дали глухое ворчанье, и даль эта вспыхнула синим огнем. И вдруг тучи прянули в небе и с страшным громовым ударом порвались на клочья; в прорыве их, мрак освещая, блеснула раскаленная стрела молнии, ринулась на землю и, не долетев, погасла.

По степи пронесся ропот, широкой и мрачной волною он несся, и лес отвечал ему эхом. И хлынул дождь,— вот он!..

Стрелы молний рвали тучи, но они опять сливались и неслись над степью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой, с ударом грома, что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю; и блестели грозно тучи и казались взгляду ратью страшных, черных привидений, в бархат с золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из злата и калеными из горна были прямо в руки взяты. Привиденья рокотали и гремели, угрожая замолчавшей в страхе степи, и волною беспрерывной и громадной, с море ростом, их проклятья и угрозы неустанно вдаль летели и звучали так, как горы вдруг бы, вдребезги разбившись, пали с грохотом на землю и, во прах ее разрушив, вместе с нею полетели в бесконечное пространство, камень, камень раздробляя,— и звучали так, как небо зазвучало б, изломавшись на куски и с выси синей быстро падая на землю... Вот как тучи те звучали!..

Ужас сердце чует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы молний из рядов своих на землю. Гром гремит, пылают тучи, и огонь их синь и страшен, и дрожит пустыня неба, и земля трясется робко... И на свете нет явлений больше сильных, больше страшных, чем гроза в степи широкой и на море бури бой!..

Степь молчала робко, странно, и над нею всё катился дикий ропот. И, когда чернели тучи, в их огне сверкали сталью нитки тонкие дождя; он струился беспрерывно, и звучал он монотонно плачем горя за кого-то...

Твердо, как скала, чабан стоял в степи, подставив грудь дождю и порывам ветра; и молнии, прядая по

небу, точно не смели пасть на него, точно боялись они разлететься огненной пылью, ударившись в смуглую грудь чабана... А он с улыбкой смотрел на тучи, любуясь их мрачной красотой и силой, и в его черных очах горел огонь зависти им, огонь такой же яркий, как сами молнии. Он забыл и о Майе, что лежала на земле, охватив своими тонкими ручками его ноги и крепко прижав к ним свою маленькую головку,— и о себе, и о степи... Ему самому хотелось летать с тучами и петь громкие песни с ними...

Гроза уж не гудела без отдыха, как раньше, а на минутку, и две, и три останавливалась и, точно присматриваясь к смелому человеку, одному пред нею, глухо ворчала, должно быть, немножко не понимая, зачем он тут стоит и чего дожидается в пустынной степи под дождем... А потом, помолчав немного, снова встряхивала тучами и играла молниями, градом сыпя их на землю, а тонкие нити дождя всё опускались из нее вниз и всё блестели в огне молний и казались сетью из тонких стальных проволок, которую гроза кидала на землю, чтоб та запуталась в ней, и тогда гроза унесла бы ее с собой в страну, где живет Ночь и она сама, где всегда темно и где у грозы уже много натаскано таких, как земля, шаров, которыми она играет, когда ей скучно и нельзя уйти из дому.

А в степи было холодно, темно и мрачно. Когда молнии летели над нею, то казалось, что она тяжело и утомленно вздохнула, и, поднятая вздохом, ее широкая грудь так и замерла в страхе; а когда молнии падали на нее, она со стоном опускалась, ее давила тьма, и над ней монотонно плакал дождь.

Чабан стоял и пел, и в груди его всё горело это могучее, смелое, что позволяло ему одиноко стоять грудью к грозе и не бояться; он всё пел, и раз, когда все тучи сразу вспыхнули ослепительным голубым огнем, он невольно опустил глаза к земле и увидел у ног своих Майю, о которой забыл. Она лежала вся мокрая на мокрой земле, и ее маленькое личико было синим и мертвым, глазки закрыты, и плотно сжатые розовые губки были бледны.

— Умерла! — вскричал он удивленно.— Отчего же?

И наклонился над ней и, взяв ее на руки, прижал к своей груди. Она была так жалка, и в углах глаз ее замерли две слезинки: маленькая, беспомощная, она откинула головку назад, и ручки ее повисли так жалко и слабо.

— Умерла ты, Майя? — тихо спросил он ее и почувствовал, как что-то режет ему сердце острой, невыносимой болью. Он никогда не испытывал такой боли, даже тогда, как, раз упав, сломал себе кость руки,— и эта боль была жалость.

Он даже застонал страшным, рыдающим стоном... и в ответ ему дико и насмешливо захохотал гром прямо над его головой.

Чабан вздрогнул и согнулся,— посмотрел кругом, куда бы спрятать маленькую девочку Майю от грозы, и в первый раз пожалел о том, что не имеет шалаша. И его жалость к девочке перешла в страх за нее. Вот он вскинул на руках Майю высоко над своей головой и с тоской, рвавшей ему сердце так, что он чувствовал, как из этого сердца брызжет внутри его груди горячая кровь,— с тоской и со страхом крикнул изо всей силы:

— Пощади!

Гром хохотал, тучи мчались, дождь всё падал и плакал, степь вздрагивала, а там, вдали, глухо и скорбно рыдал лес... Но в стороне, откуда мчались тучи, мрак становился бледней, и порой там сверкали ласковые голубые улыбки неба.

Чабан стоял и держал высоко над головой маленькую фею, а сам тоскливо смотрел ввысь, где мчались тучи, которым совсем никакого дела не было ни до чабана, ни до Майи. Они пришли потому, что пришли, и уходят потому, что настала пора уйти. Они убили бы его, если б убили, но этого не случилось,— и им нет ровно никакого дела до чабана и Майи; они, может быть, хотят чего-то, но уж не так мало, как чабан и его фея! Они проносятся над землей и веселятся по-своему.

Вот вдали блеснуло солнце с не покрытого тучами неба; там была уже широкая ясно-голубая лента.

А чабан стоял и всё держал Майю, подымая ее к небу и в тоске ожидая, скоро ли и над его головой

блеснет солнце; он даже позабыл и о том, что можно бы пойти к нему навстречу.

Вот оно и блеснуло... и на побитых дождем стеблях ковыля засияли в его лучах алмазы и яхонты капель; и попадали эти лучи на личико Майи и ее грудь... А там, куда умчались тучи, еще гудел гром.

Тогда фея вздохнула и тихо простонала:

— О мама! мама!..

А чабан крепко прижал ее к груди, и ему стало так радостно!

— Так ты жива! Эх, как это хорошо! А я думал, что гром-то убил тебя!

— Я в лес хочу! Здесь мне страшно!..— тихо сказала Майя.

— Да ведь она уж ушла, гроза-то! — вскричал чабан.

— Она опять воротится назад! Неси меня в лес!

— Но как же снесу тебя? Я не пойду туда! Чего там? Деревья, и всё!..

— Нет, скорей отнеси меня! — настаивала фея.

— А я останусь один здесь? — спросил ее чабан и задумался... Тут есть что-то нехорошее!.. Что же в том, что один? Он всегда был один. И степь так близка и родна ему. Но почему же ему не хочется отнести ее в лес?.. А отнести-то очень не хотелось!

— Знаешь,— сказал он,— мне кажется, что, коли я отнесу тебя туда, так это будет похоже на то, как бы я разрезал себя на две половинки и они разошлись в разные стороны,— одна в степь, другая — в лес, вот что! Пожалуй, лучше этого не делать. А? что ты скажешь?

— Но я боюсь здесь! Я хочу в лес! Мне тоже будет скучно без тебя... ты думаешь — не будет? Ах нет! очень будет... но я хочу в лес! Я боюсь здесь!.. какая гроза!!.

— Ну, так как же мы будем? Тебе будет нехорошо без меня, а мне — без тебя. Останься-ка со мной! Что тебе гроза? Как придет она, я запою песню и буду петь до той поры, пока она будет метаться по степи,— вот и всё!

— Ах, разве ты можешь с ней сладить? Она схватит

тебя и со мной и может кинуть так далеко, что мы долетим до моря!

— До моря — это не далеко!..— задумчиво говорил чабан.— Но как же я отнесу тебя, когда мне этого так не хочется!.. Э?!. И потом — здесь я дал тебе счастье, и ты мне, а в лесу... Ну-ка, скажи, что ты видела там?

Тут и Майя задумалась и, немножко помолчав, печально сказала:

— Это так, счастье здесь! но... ведь его так мало! Это я тебе тогда еще, в первый раз, хотела сказать. Оно, пожалуй, только ожидание; вот что твое счастье!..

Им стало грустно после этого; а над ними небо, освеженное грозой, тихо и ласково улыбалось. Чабан посмотрел на него и вдаль кругом себя и нигде не нашел ответа на свои думы.

— Ну, пойдем! Я отнесу тебя до опушки.

Он понес ее молча и смотрел не в глазки ее, как раньше, а в темную, смоченную дождем землю, и она, сидя у него на руках, молчала. В них обоих было что-то новое, чего они не понимали, но что мешало им так весело целоваться, как раньше они целовались.

— Прощай!.. Когда ты выйдешь из леса ко мне? — спросил он, опуская ее с рук на землю у опушки леса, под ветви, осыпанные, точно драгоценными каменьями, каплями дождя, горевшими на солнце и молчаливо отдыхавшими от бури.

— Приду? Не знаю, когда... Когда захочу,— но раньше! — ответила Майя.

— Ну, так поцелуй на прощанье.

Она крепко, крепко обняла его и поцеловала — горьким поцелуем сомнения, а потом пошла в лес, не оглянувшись на него. На нее падали с потревоженных веток холодные крупные капли, и от них ей было холодно. Лес молчал угрюмо и сосредоточенно, тропинка сделалась почему-то более густой, но менее красивой, чем прежде, и цветы были не так красивы, и меньше было их... и всё было странно, не так, как прежде, точно у Майи теперь были новые глаза.

А как просторно там, в степи, и как там ярко! Он, наверно, сидит под ветвями осокоря и думает, глядя вдаль, положив на руки голову. Часто он так сидит и

много думает. Часто, когда она засыпала у него на руках, а он переставал баюкать ее песней, она сквозь дрему наблюдала за ним, и хотя ей казалось, что его сердце не с нею, все-таки хорошо было смотреть в его горячие очи!.. Она шла. Ветви деревьев осторожно дотрагивались до ее плеч и рук и точно хотели сказать ей шёпотом что-то; но она не чувствовала ничего, кроме того, что печаль наполняла ей сердце...

Вот на дороге у ней стала царственно пышная лилия, и отягченная дождем ее серебряно-бархатная пышная чашечка почему-то так грустно качается. И эта лилия так бела, чиста, свежа! И, кажется, так гордится всем этим.

Майя наступила на нее ножкой, стебель жалобно хрупнул... и вот она, эта чистая лилия, лежит в грязи, вся измятая.

Майя посмотрела на нее, и ей стало за что-то стыдно и чего-то жалко.

— Я сделала сейчас так же, как эта страшная Судьба, о которой рассказывал мне в степи он! А вот дворец матери!

Он стоял таким же красивым, как раньше, но в нем было что-то грустное.

— Мама!!.— рыдая, вскричала Майя и смотрела на ступени перед дверями дворца.

Как и раньше, они были обвиты темной зеленью плюща; ярко блестели белые душистые жасмины и желтые азалии на этой бархатной зелени и дышали густым ароматом в открытые окна дворца. В одном из них, из-за цветов, смотрели вниз на Майю ее сестры, и их лица были строги и печальны, хотя и казались тоже чашками белых тюльпанов.

— Мама?!.— спросила сквозь слезы Майя, не входя на ступени.

Лес повторил вслед за нею угрюмо: «Мама?!.» Сестры качнули печально и строго головками; деревья тоже качнули вершинами, и с их ветвей попадали частые крупные слезы.

— Ты убила ее! — сказала старшая сестра.

— Ты не сестра нам больше! — добавили две остальные.

Майя посмотрела на них с холодом в сердце... Мать умерла, значит?.. Умерла?!.

Маленькая фея наклонила головку на грудь, и ей показалось, что маленькая змейка ужалила ее в сердце... «Но ведь мать-то старушка уж была, и умерла ли она оттого, что я не послушалась ее, или оттого, что пришло время смерти,— едва ли знают это сестры!..» Зачем же они говорят так строго и теперь вот смеются над нею там, вверху, меж цветов? Или им оттого, что они сказали ей, стало легче? Что она им сделала дурное? Ничего! Ну, и пусть их остаются себе! Ей их не жалко, потому что они обидели ее, и лес ей больше не нравится.

Майя пошла по лесу к своему любимому буку и забралась в его густую пахучую листву, омытую дождем. Она смотрела в небо; там уже вспыхивали звезды, они были еще малы и тусклы, мигали так грустно; небо было печально; а лес, казалось ей, молчал укоризненно, сухо, сердито... Она была одна и заплакала:

Слезки из ее глаз падали на листок бука, с него — на другой, третий, потом на землю... и, когда она проснулась на другое утро, под буком из травы выглядывали анютины глазки, а со степи над лесом плыла песня:

Э! Э!.. Почему тебя нет?
Давно уже солнце блестит,
Но нынче я им не согрет,
И сердце в груди моей спит!
И что-то в нем петь не дает...
Эгой!.. Как тот жалок, кто ждет!
Э! Э!.. Кабы я да умел
По ясному небу летать,
Я много бы огненных стрел
У грома старался отнять
И той, что вчера целовал,
Из них бы корону сковал!..

«Вот он уже и поет! Как грустно звучит его голос сегодня! Отвечу ему...» — подумала она и запела:

Весь покоем и мглой
Лес угрюмый объят...
Лишь деревья листвой

Тихо, нежно шумят.
Вот в просвете меж туч
Пышных, темных ветвей
Солнце бросило луч
В скрытый тенью ручей.
Оживлен, освещен
Этим ярким лучом,
Загорелся весь он
Разноцветным огнем,—
Точно гном-чародей
Щедрой дланью своей
Бросил в этот ручей
Драгоценных камней!..

— Эгой!!.— радостно неслось со степи.

Лентами песни твоей
Сердце себе я украшу!
Солнце сияет светлей,
Слушая песенки наши!
Эх, как я жадно ловлю
Трель твоих маленьких песен!
Степи простор стал мне тесен,
Вот как тебя я люблю!!.

А она продолжала:

Я дыханьем цветов
Ароматным дышу,
И тебя я спешу
Целовать!
«Понеси ты ему
Сладкий наш аромат!» —
Мне цветы говорят,
Я иду!..

И в две минуты она была уже у опушки.

Он кинулся к ней навстречу, и ей показалось, что от его поцелуя всё небо вспыхнуло мягким ярко-розовым огнем. Сладко это было!..

И снова зажили они. День за днем жизнь бежала, и, когда они привыкли друг к другу, им стало скучно. Чабану хотелось всё ходить то туда, то сюда, а у Майи ножки болели от этой ходьбы.

И меж ними легла однажды тень, незаметно для них. Всякий знает, как бывает это; что ж говорить много!

Раз они сидели рядом друг с другом и молчали. День был такой яркий, молодой, сильный. Степной богатырь был этот день! Им было грустно. Майя посмотрела в очи чабана и увидала, что темны они, эти очи, и черные брови над ними сурово сдвинулись.

— Что ж ты не скажешь мне ничего? — спросила она тихо и тихо стала играть его кудрями.

— А что бы сказать тебе? — двинул он плечами.— Сказал бы я тебе, что меня вон туда тянет, где так мглисто и мягко, вон в ту даль, где видно, что лучи солнца прямо на землю упали такими широкими лентами... Вот это я сказал бы тебе, да ведь ты не пойдешь со мной далеко; ножки заболят твои! Ну, а без тебя как же?

Он замолчал, и Майя молчала, печально понурив головку... А вот степь так разговаривала тысячью голосов сразу.

— Ну, и еще мог бы я тебе два-три слова сказать, коли бы ты не обиделась на меня за них.

Она ласково посмотрела на него.

— Как не видал я тебя, так и тоски во мне не было. В ту пору свободен я был и не хотел ничего, и не жалко мне было никого; славно было! Жил, да пел, да из конца в конец рыскал по степи, а по ночам смотрел в небо и думал, кому и на что нужно, чтоб в нем столько звезд горело? или о том, что там, выше неба, есть? И хотелось мне тогда многого... И знать я хотел, и делать всё,— а теперь вот, как ты со мной, уж и нельзя жить мне так, как я хотел бы и как раньше жил, потому что уйти одному — обидеть тебя, а я тебя и люблю и жалею; вон ты какая красивая и молоденькая! А уж коли любишь и жалеешь или хочешь и боишься чего-нибудь, так ты и несвободен!.. Вот что я сказал тебе! И мне больно за то, что всё это правда...

И чабан замолчал, глядя вдаль и печально кивая головою чему-то.

В душе Майи стало холодно, когда она услыхала его речь, и из глаз ее тихо закапали слезы.

— Ты говоришь — это правда, и я скажу то же. Как жила я в лесу, плохо разве было в нем для меня? Вот уж нет!.. И это ведь ты, коли не забыл, выманил меня оттуда своими песнями! Я пошла, потому что думала — здесь с тобой лучше. Я пошла — и потеряла мать, сестер, мой дом, всё!.. За что отдала я их, скажи-ка? Не за те ли минутки, когда поцелуи становятся так жарки, что даже больно?!. Дорого заплачено, коли так!.. А всё, что я узнала от тебя, лучше бы и не знать, потому что обо всем этом думается!.. Ты говорил мне о Судьбе и о Смерти... ну, что в них хорошего? Кабы я не знала, что они есть, мне было бы веселее; оттого что, если умеешь думать, совсем не лучше жить!.. Вот и я сказала тебе кое-что и, может, больше бы сказала, кабы могла вынуть из груди сердце и поднести его на руке к твоим очам: посмотрел бы ты, что в нем есть! Умен ты, а вот скажи — зачем всё это у нас вышло?

Он сам думал о том же... А зачем, в самом деле? Столько ли они оба получили друг от друга, сколько отдали друг другу?

На первый вопрос ни сам чабан, ни степь, ни небо, которые он грустно осматривал,— не отвечали, а на второй уже было отвечено и им и Майей.

— Эх, как хороши, покойны и сильны эти две — бескрайная степь и бездонное небо! Нет, моя горлинка, мудреца, который сказал бы — зачем; нет такого, я думаю; а как посмотреть попристальнее, так, может, и еще многого чего нет!.. Виноваты ли мы друг перед другом? Нет, я думаю! Ляг же ко мне на грудь, а я обниму и поцелую тебя!

Майя посмотрела на него. Хорош он был раньше, сильный и смелый, с ясным челом и огненными глазами! хорош и теперь — исхудалый немного, задумчивый. И глубок, как небо, стал взгляд у него. Она обняла его и, положив ему головку на грудь, сказала:

— Спой мне одну твою прежнюю песенку! Давно уж не пел ты.

— Не поется теперь мне; не поется, голубка! Видно, уж спеты все мои песни!.. Знаешь что? песни-то ведь были не мои, чужие всё песни,— все их поют, слышал я, и вот сам запел... А они, может быть, только так... и, может быть, в них есть вредное для сердец.

Говорил он и грустно качал головой; а она плакала, потому что что же еще оставалось ей?..

Так и зажили они. Так зажили и, глядя один на другого, становились всё больше лишними, всё больше мешали друг другу и больше понимали и видели... И всё больше чабану хотелось идти куда-нибудь далеко, далеко, где бы не было ничего такого, что он знал или что мог себе представить, а Майя хирела и бледнела с каждым днем и всё думала: «Зачем?.. зачем?..»

А осень приближалась. Всё чаще грозы пролетали над степью, и всё чаще и мрачнее хмурилось небо, дни становились короче, чаще тени ночные... И порою в них Майя видела седую голову своей матери, мать печально качала головой, и страшной тоской светились ее старые очи... и лес золотился на солнце, надевая пурпурный осенний убор.

Чабан всё сидел рядом с Майей и жадно посматривал вдаль и молчал; а иногда вдруг обнимал маленькую фею и так целовал ее, что она чуть не задыхалась в его руках. И всё хирела, хирела Майя.

Раз как-то утром,— совсем уж осеннее то было утро, пасмурное, и тучи низко нависли над землей, тяжелые, хмурые — вот-вот упадут на степь и покроют ее толстым пуховым сизым покрывалом,— вот этим-то утром проснулась Майя и сказала чабану:

— Умираю я, милый! да, умираю!..

Горем и радостью вместе блеснули чабановы очи, и он поднял ее с земли.

— Полно, голубка! — сказал он в тревоге.

— Нет, умираю!.. Умерло лето, и я вслед за ним! Неси меня к лесу скорее!

Он взял ее и понес.

Темен и мрачен был лес; уж не шептал он, как прежде, бывало, так нежно и мощно в одно время, и когда-то ярко-зеленая листва его зарделась осеннею краской, и много этой листвы попадало к корням.

Тихо в нем было, стояли деревья, молчали и думали думы про лето; и тучи повисли над их вершинами низко, низко и плакали о чем-то мелким и частым осенним дождем.

У опушки остановила Майя чабана и сказала тихо:

— Положи меня на землю!

Он положил ее, а сам сел рядом.

Порыв ветра прилетел со степи и много листьев сорвал с деревьев; они посыпались, крупные и красные, на головы Майи и чабана; деревья зашумели — монотонно они зашумели,— и был ли это их привет Майе или смеялись они над нею и укоряли ее, нельзя было разобрать.

— Прощай! — сказала она чабану.— И ты, лес, прощай! Прощай и солнце там, за тучами! И вы, тучи, прощайте! вы пугали меня раньше вашей буйной отвагой, но теперь я знаю, что вами правит ветер, а им — еще что-то, и над всем царицею — Судьба, и она, наверно, тоже у кого-нибудь в неволе, может быть, у Смерти, что хочет взять меня... Но, наверное, и Смерть не свободна! никогда она не складывает рук, всё работает и работает... Зачем?.. Ну, прощай же, еще раз, мой смелый! Теперь ты снова свободен, как орел; но зачем тебе это? спрашивал ли ты себя?.. Прощай! Буду ли я пеной в море, или голубою мглой на горах, или вечерней тенью степной,— я всегда буду помнить о тебе. Прощай! поцелуй еще раз!..

И, когда он ее целовал, она умерла.

Лежала она под деревьями, и они глухо роптали на что-то; и была она такая маленькая и спокойная, личико ее сделалось бледнее лилии... И тучи еще ниже опустились над степью и лесом и еще пуще заплакали... а у чабана пало сердце в груди и тоской, тоской переполнилось оно...

Он смотрел на нее,— она не была уж так хороша, как живая, но дороже была ему теперь, и больше любил он ее в эту-то грустную минуту. Да, больше он любил ее, потому что потерял... и ныло его сердце, и плакало... и злоба закипела в нем горячим ключом.

Он запел, в последний раз, может быть:

Пусть бы тот, кто первый влил
В чашу жизни страсти яд,
Сам бы чашу эту пил
Долго, долго, бесконечно!..
И, желая смерти, жил,
Жил бы вечно!

И по лесу зазвучало гулкое эхо: «Жил бы вечно!..»

Но это что же за песня?!. Чабан уж видел, что это не песня, и ему чего-то жалко и стыдно стало.

Взмахнув над головой своей длинной палкой, он свистнул тихо и жалобно, пошел вдаль, навстречу тучам — и пропал там.

А фея всё лежала на опушке леса, и мокрые листья всё падали, падали на нее... К вечеру солнечный луч проскользнул между тучами и не видал у опушки ничего, кроме высокой кучи красных и желтых листьев; а над нею, на черной и мокрой ветке дуба, сидел зимородок и посвистывал грустно и тихо. Тогда солнечный луч снова спрятался; стало темно,— и веселая маленькая фея Майя так и осталась под осенними листьями...

Вот и всё.

В тот вечер, над Дунаем, на сваленном бурею мшистом дубе сидели три мудрые гнома и говорили о смерти веселой Майи. Они уже знали, что она умерла, так как они знают всё, что где-либо случается, и знают даже немножко из того, что может случиться завтра; говорили они,— и один сказал так:

— Вот и вся жизнь маленькой Майи! Что ж! она получила, сколько могла; право, ей не на что жаловаться.

— Мне кажется, что любовь называют наслаждением потому только, что это уж очень сильная боль, и мне не жалко фею, как ничего не жалко,— потому что всё глупо! — сказал немного погодя второй, который был помудрее первого.

А третий, набрав в руку камешков, задумчиво бросал их в речные волны и смотрел, улыбаясь, как от камней расходятся по воде круги и пропадают, стертые течением; он ровно ничего, ни слова не сказал, хотя думал

не меньше, чем товарищи, и еще больше морщин, чем у них, резало его чело. Он ничего не сказал.

Он-то и был мудрейший.

Ну, вот я и рассказал эту сказку. Не новая эта сказка, и, может быть, она самой жизнью давно уже написана в твоем сердце; да ведь говорят, что и нет ничего на свете такого, чего бы уж раньше не было!..

...А рассказать-то мне так хотелось!

НА СОЛИ

I

— Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдешь работу. Всегда найдешь... Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нем не настоишь. Бегут оттуда люди... не дюжат! Вот ты и повози денек. По семь копеек с тачки дадут, чай... На день-то ничего, хватит.

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолически замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня; он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.

— Коли не дюжишь... приходи сюда отдыхать... Расскажешь... Тут недалеко, верст пяток... Да... Вот поди-ка!

Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом «на соль». Было жаркое августовское утро, небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле на желтом берегу лежали белые пятна,— то Очаков; сзади — курень утопал за буграми ярко-желтого песка, сильно оттененного аквамариновой водой моря...

Я очень много наслушался в курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его.

Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажен по двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канав-

ками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом — она сгребалась в кучки. Сгребавшие ее женщины, с лопатами в руках, по колена топтались в блестящей черной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на черном, блестящем фоне жирной, соленой и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погибели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед. Колеса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращенных к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колес грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих-возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя на высокой куче соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик,— высокого роста, черный, как уголь, мужчина, в синей рубахе и белых широких шароварах,— во всё горло командовал ввозившим по доске вверх тачечникам:

— Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тобя в становую жилу! Кол тебе в глаз! Куда ты прешь?!. куда?!. Ах ты, чёртов ноготь!..

Затем раздраженно вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль, изо всей мочи стукая по ней лопатой. Рабочие автоматично ввозили тачки кверху, так же автоматично опрокидывали их по команде «направо! налево!» и, с усилием расправляя спины, тяжелым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожавшим и вязнувшим в черном жирном иле доскам снова за солью.

— Возись проворней, черти! — покрикивал им взад кладчик.

Но они возились так же молчаливо-пришибленно, и только их хмурые, усталые и истомленные, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздраженно подергивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи; передние тачки уезжали, задние вставали, и двигающая их сила, в лице отрепанных и грязных босяков, тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо шестнадцатипудовой тачки снова на доску.

А с безоблачного, подернутого знойным туманом неба жаркое южное солнце всё с большим усердием раскаливало землю, точно ему непременно сегодня и во что бы то ни стало нужно было убедить ее в своем жарком внимании к ней.

Посмотрев, стоя в стороне, на всё это, я решил попытать счастья и, приняв возможно более независимый вид, подошел к доске, по которой рабочие шли с опорожненными тачками.

— Здравствуйте, братцы! Помогай бог!

В ответ получилось нечто совершенно для меня неожиданное. Первый — седой здоровый старик, с засученными по колена штанами и по плечи рукавами рубахи, обнажавшими бронзовое, жилистое тело,— ничего не слыхал и, не сделав ни движения в мою сторону, прошел мимо. Второй — русый молодой парень, с серыми злыми глазами,— зло посмотрел на меня и скорчил мне рожу, крепко ругнув вдобавок. Третий — очевидно, грек, черный, как жук, и кудрявый,— поравнявшись со мной, выразил сожаление о том, что у него заняты руки и что он не может поздороваться своим кулаком с моим носом. Это у него вышло как-то неподобающе желанию равнодушно. Четвертый насмешливо крикнул во всё горло: «Здравствуй, стеклянные зенки!» и сделал попытку лягнуть меня ногой.

Этот прием был как раз тем, что в культурном обществе, если не ошибаюсь, называется «нелюбезным приемом», и этого никогда не случалось со мной в такой резкой форме. Обескураженный, я невольно снял очки и, сунув их в карман, двинулся к кладке, намереваясь

спросить у кладчика, нельзя ли поработать. До места кладки я еще не успел подойти, как он окрикнул меня:

— Эй, ты! Чего тебе? Работы, что ли?

Я сказал.

— А ты на тачках работаешь?

Я сказал, что, мол, возил землю.

— Землю? Не годится! Земля — совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. Пшел к свиньям на хутор! Ну, ты, кикимора, вали прямо на ноги!

Кикимора — оборванный сивый геркулес, с длинными усами и сизым прыщеватым носом,— ухнул во всю грудь и опрокинул тачку. Соль посыпалась. Кикимора ругнулся, кладчик переругнул его. Оба довольно улыбнулись, и оба же сразу обратили на меня свое внимание.

— Ну, чего ж тебе? — спросил кладчик.

— А ты, кацапе, мабудь вареники исті до соли прійшов? — подмигивая ему, говорил Кикимора.

Я стал просить кладчика принять меня на работу, уверяя его, что я привыкну и что стану возить не хуже других.

— Ну, здесь прежде, чем привыкнешь, хребет себе вывихнешь. Да ин бог с тобой, ступай! Первый день больше полтины не положу. Эй! дайте ему тачку!

Откуда-то вынырнул малый в одной рубахе, с голыми ногами, перевязанными до колен грязными тряпками, скептически посмотрел на меня и сквозь зубы проговорил:

— Ну, иди!

Я пошел за ним к груде тачек, наваленных друг на друга, и, подойдя, стал выбирать себе полегче. Малый чесал себе ноги и молча осматривал меня.

— Чего ты взял-то? Али не видишь,— у ней колесо кривое,— проговорил он, когда я, облюбовав себе тачку, взял было ее,— и, равнодушно отойдя в сторону, он лег на землю.

Я, выбрав другую тачку, стал в ряд и пошел за солью, чувствуя, как какое-то неопределенное, тяжелое чувство давит меня, не позволяя мне заговорить с товарищами по работе. На всех физиономиях, несмотря на усталость, искажавшую их, ясно выражалось глухое,

пока еще скрываемое раздражение. Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колесами тачек, на «рапу», этот скверный, жирный и соленый ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнущие раны,— на всё окружавшее их. Эта злоба была видна по косым взглядам друг на друга, по забористым, ядовитым ругательствам, изредка вырывавшимся из воспаленных жаждою глоток. На меня никто не обращал внимания. Только входя в квадрат и расходясь с тачками по крестообразно разложенным доскам к кучкам соли, я почувствовал удар по ноге сзади и, обернувшись, получил прямо в лицо злое восклицание:

— Подбирай пятки, длинный чёрт!

Я поспешно подобрал пятки и, поставив тачку, стал лопатой насыпать в нее соль.

— Полней насыпай! — скомандовал мне геркулес-хохол, стоявший рядом со мной.

Я насыпал,как мог, полно.В это время задние скомандовали передним: «Вези!» Те поплевали на руки и, кряхтя, двинули тачки, снова сгибаясь чуть не под прямым углом, и, выдвинув корпуса вперед, как-то странно вытянули шеи, как будто бы это должно было облегчить труд.

Заметив все эти приемы, я точно так же елико возможно согнулся и вытянулся вперед; приподнял тачку,— колесо пронзительно завизжало, кости ключиц заныли, напряженные до последней возможности руки задрожали... я, шатаясь, сделал шаг, два,— меня мотнуло влево, потом вправо, дернуло вперед... колесо тачки съехало с доски, и я полетел в грязь прямо лицом. Тачка назидательно стукнула меня по затылку ручкой и потом лениво повернулась вверх дном. Оглушительный свист, крик, хохот, приветствовавшие мое падение, точно еще больше забивали меня в теплую жирную грязь, и, барахтаясь в ней, тщетно пытаясь поднять увязшую тачку, я чувствовал, как что-то холодное и острое режет мне грудь.

— Эй, друже, а ну — помоги! — обратился я к хохлу-соседу, хохотавшему во всё горло, взявшись за живот и покачиваясь из стороны в сторону.

— О, трясца твоей матери!.. Тю-тю-тю, дурню?.. Выдыбай на доску! Карету-то гни налево! Тю!.. А щоб тобі рапа засосала!..— и он снова грохотал со слезами на глазах, хватаясь за бока и охая.

— Пошел, чёрт, по бревнам!..— сокрушенно махнул рукой, глядя на меня, передний седой старик и, крякнув, повез тачку.

Передние тачечники уехали; те, что были сзади меня, стояли и довольно недоброжелательно смотрели на меня, вспотевшего от усилий вытащить тачку и покрытого толстым слоем грязи, стекавшей с меня. Помочь никто не хотел. А с кладки доносился голос кладчика:

— Что застряли, дьяволы? Собаки!.. свиньи!.. Аль дальше с глаз — дольше день?! Лешие!.. черти!.. Вези, анафемы!..

— Прочь с дороги! — гаркнул хохол сзади меня и двинул тачку, чуть-чуть не задев меня по голове ее крылом.

Я остался один, кое-как вытащил тачку и, так как соль из нее высыпалась и она была вся облеплена грязью, повез ее, пустую, вон из квадрата, намереваясь выбрать себе другую.

— Что, брат, упал? Ничего, спервоначалу это со всяким бывает!

Оглянувшись в сторону, я увидал за одной из кучек соли на положенной в грязь доске парня лет двадцати, присевшего на корточки и сосавшего себе ладонь. Он смотрел на меня из-за руки добрыми, улыбавшимися глазами и кивал мне головой.

— Ничего, брат! Это с непривычки бывает. Что у тебя с рукой-то? — спросил я.

— Да вон сцарапал, а рану-то разъедает; не высосешь, так бросай работу, болеть будет здорово! Вали, вали, поезжай, а то кладчик заругает!

Я поехал. Со второй тачкой у меня сошло благополучно; вывез и третью, и четвертую, и еще две. На меня никто не обращал внимания, и я был очень доволен этим вообще очень грустным для человека обстоятельством.

— Шабаш! Обедать! — прокричал кто-то.

Все, облегченно вздохнув, пошли обедать; но и тут никто не проявил ни оживления, ни радости отдыху. Всё

делалось как-то подневольно, с худо скрытым отвращением и злобой. Казалось, никто не видел в отдыхе ничего приятного для своих наломанных работой костей и разморенных зноем мускулов. У меня сильно ныла спина, ноги и руки в плечах, но, стараясь не давать другим заметить этого, я бодро пошел к котлу.

— Погоди! — остановил меня старый угрюмый босяк-рабочий, в синей рваной блузе и с таким же, под цвет блузе, синим запойным лицом, украшенным хмуро сдвинутыми густыми бровями, из-под которых дико и насмешливо сверкали красные, воспаленные глаза.— Погоди! Тебя как зовут?

Я сказал.

— Так! Дурак был твой отец, коли дал тебе такое имя. У нас к котлу Максимов не пускают в первый день работы. Максимы первый день на своих харчах работают. Так-то! Вот кабы ты Иван был или еще как — другое дело. Меня вот Матвеем зовут, ну — я и пообедаю, а Максим пусть посмотрит. Пшел от котла!

Я удивленно посмотрел на него и, отойдя в сторону, сел на землю. Меня сбивало с толку такое отношение ко мне, отношение, мной не вызванное и до сих пор не испытанное. Раньше и позднее мне случалось не один десяток раз входить в артель, и всегда я сразу вставал на простую товарищескую ногу. На этот раз всё было как-то невероятно странно, и, несмотря на тяжесть и остроту моего положения, мое любопытство было затронуто очень глубоко. Я решил поискать ключа к этой высоко интересной для меня загадке и, решив, наружно спокойно посматривая на обедавших, стал ждать начала работы... Нужно узнать, почему ко мне так относятся.

II

Вот они пообедали, порыгали и стали закуривать, расходясь от котла. Геркулес-хохол и малый с перевязанными ногами подошли ко мне и сели так, что загородили собой от меня ряд тачек, оставленных на доске.

— Ну что, братику? — спросил хохол.— Покурить хочешь?

— Давай! — сказал я.

— А разве у тебя нет своего табака?

— А был бы, так я бы и не спросил.

— Ото верно! На, покури.— Он подал мне свою трубку.— Что ж ты, будешь возить?

— Да, буду, пока могу.

— Так! А ты откуда сам?

Я сказал.

— Эге! А что, это далеко?

— Тысячи три верст.

— Ого! Добре далеко. А чего ж ты сюда пришел?

— Да как и ты же, всё равно.

— Ага! Так тебя, значит, тоже за воровство из твоей деревни выгнали?

— Как так? — спросил я, чувствуя, что сел в лужу.

— Да я потому пришел сюда, что меня за воровство деревня вон выгнала, а ты говоришь, что пришел, как и я же...— И он захохотал, довольный своей ловкостью.

Его товарищ сидел молча и подмигивал ему глазом, хитро улыбаясь.

— Погоди...— начал я.

— Некогда годить-то, братику! — работать надо. Пойдем-ка, становись сзади меня на мою тачку; у меня хорошая, верная тачка. Пойдем!

Мы пошли. Я хотел было взять его тачку, но он торопливо сказал:

— Погоди, я сам отвезу. Давай твою, а мою в нее положим, она прокатится, отдохнет немного.

Эта любезность показалась мне подозрительной, и, идя рядом с ним, я пытливо рассматривал лежавшую кверху колесом его тачку, желая убедить себя, что мне не подстроено какой-нибудь каверзы, но не усмотрел ничего, кроме того, что я вдруг сделался предметом общего внимания, почему-то скрываемого, но неумело; я ясно замечал его в частых подмигиваниях в мою сторону, в кивках головой и в подозрительном перешептывании. Я понял, что нужно смотреть в оба, и насторожился в ожидании чего-то, что должно быть, судя по началу, очень оригинально.

— Приехали! — сказал хохол и, сняв свою тачку, поставил ее мне.— Насыпай, брат!

Я посмотрел кругом... Все усердно работали, и я стал насыпать. Ничего не было слышно, кроме шороха соли, сбрасываемой с лопат, и эта тишина тяжело давила грудь. Я подумал, что мне, пожалуй, лучше уйти отсюда.

— Ну, берись! Чего заснули?! Вези! — скомандовал синий Матвей.

Я взял за ручки тачку и, с усилием приподняв ее, двинул вперед... Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть руки к себе. Боль повторилась, но вдвое сильнее: я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемленную в ручках тачки. Скрипя зубами от злобы и боли, я осмотрел ручки и увидал, что они были с боков расколоты топором и расперты щепочками. Это было сделано очень незаметно и очень умно. Рассчитывалось, что когда я сильно сожму ручки, щепки выскочат из щели, и дерево, сомкнувшись, защемит мне кожу. И этот расчет оправдался. Я поднял голову и посмотрел кругом. Крики, хохот и свист летели мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые, торжествующие рожи. С кладки доносилась циничная ругань кладчика, но никто не обращал на нее внимания,— все были заняты мной. Я смотрел кругом тупо и бессмысленно и чувствовал, как внутри меня всё сильнее вскипает обида, желание мести и ненависти к этим людям. А они, собравшись толпой против меня, сыпали насмешки и ругательства. Мне страстно, до боли страстно захотелось оскорбить и унизить их.

— Мерзавцы! — вскричал я, протягивая к ним сжатые кулаки, и так же цинично, как ругали они меня, стал ругать их, идя к ним навстречу.

Они как будто дрогнули и, смутившись, подались назад. Только геркулес-хохол и синий Матвей, оставаясь на месте, хладнокровно стали засучивать рукава рубах.

— А ну, иди, иди!.. а ну, ну!..— тихо и радостно бормотал хохол, не сводя с меня глаз.

— Дай ему тютю, Гаврила! — советовал ему Матвей.

— За что вы меня обидели?! — кричал я.— Что я вам сделал?!. За что?!. Разве я не такой же, как вы, чело-

век?!.— Кричал еще какие-то жалкие, нелепые, злые, бессмысленные слова и весь дрожал дрожью бессмысленного бешенства, в то же время зорко следя, как бы не совершили надо мной еще какой-либо остроумной выходки.

Но глупые, бессмысленные физиономии смотрели на меня уже не так безучастно, и по некоторым из них скользнуло как бы сознание вины передо мной за эту злую шутку. Хохол и Матвей тоже подвинулись назад. Матвей стал одергивать блузу, хохол полез в карман.

— Ну, за что же? За что?!.— спрашивал я их.

Они тупо молчали. Хохол вертел сигарку и смотрел себе в ноги. Матвей вдруг очутился сзади всех; остальные пошли было к своим тачкам, угрюмо почесываясь и не говоря ни слова. К группе шел кладчик, громко крича и грозя кулаками. Всё это произошло так быстро, что бабы, огребавшие соль шагах в двадцати от нас и, как я заметил, бросившиеся на мой крик, подошли уже тогда, когда ребята стали расходиться к тачкам. Я оставался один, с горьким чувством незаслуженной и неоплаченной обиды. Это усиливало обиду и боль. Мне хотелось ответа на мои вопросы, хотелось возмездия. Я крикнул им:

— Стойте, братцы!

Они остановились, хмуро глядя на меня.

— Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же быть у вас совесть!

Они молчали, и это молчание как бы отвечало мне за них. Тогда, немного успокоившись, я начал говорить им. Я начал с того, что я такой же человек, как и они, что мне так же хочется есть, что для этого я так же должен работать, что я пришел к ним, как к своим, родным мне по положению людям, что я считал их не ниже и не хуже себя...

— Все мы равны,— говорил я им,— и должны понимать друг друга и, поскольку это каждый умеет, помогать друг другу.

Они внимательно слушали, толпясь вокруг меня, но избегая моих взглядов. Я замечал, что мои слова действуют на них, и это вдохновляло меня. Взглянув кру-

гом, я еще более убедился в этом. Чувство радости, острой и яркой, охватило меня, и, бросившись на кучу соли, я заплакал. Заплачешь!..

Когда я поднял голову, кругом не было никого. Работать кончили, и возчики, разбившись на группы по пять-шесть человек, сидели там, около кладки, рисуясь на розоватом фоне соли, освещенной лучами заходившего солнца, большими, неуклюжими, грязными пятнами. Было тихо. С моря веяло прохладой. По небу плавно двигалось маленькое белое облачко; от него отрывались тонкие, прозрачные дымки и исчезали, расплываясь по голубому фону неба. Это было очень грустно...

Я встал и пошел туда, к кладке, с твердым намерением проститься и уйти в рыбацкий курень. Когда я подошел к группе из хохла, Матвея, кладчика и еще троих солидных пожилых босяков, они поднялись ко мне навстречу, и, прежде чем я успел заговорить с ними, Матвей протянул ко мне руку и сказал, не глядя на меня:

— Вот что, друг! Ты пойди от нас своей дорогой, куда тебе надо. Да! А на дорогу мы вот собрали тебе малость грошей. На-ка, возьми!

В его горсти лежали медяки, и рука его дрожала, когда он протягивал ее мне. Я растерялся и, ничего не понимая, смотрел на них. Они стояли, понуро опустив головы и молча, ненужно и нелепо оправляли свои отрепья, одергивались, переминались с ноги на ногу, поглядывали по сторонам, всем, каждым движением и жестом, выражая крайнее смущение и желание кончить скорее со мной.

— Я не возьму! — сказал я, отталкивая руку Матвея.

— Нет, уж ты возьми, не обижай нас. Мы что ж? Мы ведь, коли по совести говорить, ничего такого... Мы, брат, понимаем, что обидели тебя; но только разве это верно, коли рассудить правильно? Совсем, брат, неверно. Потому главная причина — жизнь! Какая жизнь наша? Каторжная! Тачка — шестнадцать пуд, рапа ноги рвет, солнце палит тебя, как огнем, целый день, а день — полтина! Али этого мало, чтобы озвереть?

Работаешь, работаешь, заработок пропьешь — опять работаешь! вот и всё. И как годов с пять проживешь этим манером, так и того... облик человеческий и утратишь,— зверюга, да и шабаш! Мы, брат, сами себя еще больней обижаем, чем тебя, а мы всё ж ведь друг друга знаем, ты же — чужой человек... Чего тебя жалеть-то? Так вот так-то! Говорил ты там... разное, ну-к что ж? Оно, конечно, это ты там ловко всё... правильно, надо быть... только не к разу... не в строй. Ты не обижайся... шутки ведь... Все-таки у нас сердце... Д-да! Ну, и иди себе, куда хочешь, с твоей правдой, а мы останемся здесь с своей. Возьми на, гроши-то! Прощай, брат! Мы пред тобой не виноваты, и ты пред нами — тоже. Плохо вышло у нас, это верно. Ну, да ладно! Хорошее-то не про нас. А оставаться тебе здесь не рука. Какая ты нам... пара? Мы, брат, друг к другу пристрочены вот как, а ты так себе привалился... слегка... Ничего у нас не может выйти... Ну, значит, и отчаливай! Вали своей дорогой!.. Прощай!

Я посмотрел кругом, убедился, что все согласны с Матвеем, и, вскинув на плечи котомку, хотел идти.

— Погоди, человече! Дай и я скажу слово!— остановил меня за плечо хохол.— Коли б кто другой, а не ты это был, так я бы проводил его кулаком в боки. Чуешь? А ты вот идешь себе свободно, да еще и гроши на дорогу мы тебе давали. Говори спасибо за то нам! — И он, плюнув в сторону, стал вертеть кисет вокруг пальца, победоносно поглядывая вокруг, точно хотел сказать: дивуйтесь-де, какой я умный!

Подавленный всем этим, я поторопился проститься с ними и пошел берегом моря назад к куреню, в котором ночевал. Небо было чисто и знойно, море пустынно и важно, к ногам моим, шумя, катились зеленые волны... И мне было невыносимо больно и стыдно за что-то. Медленно и убито шагал я по горячему песку берега. Море спокойно блестело на солнце, волны толковали о чем-то непонятном и грустном...

Когда я подошел к куреню, мне навстречу встал знакомый рыбак и торжествующим тоном человека, предположения которого оказались верны, произнес:

— Что, брат, али солоно пришлось?

Я промолчал, взглянув на него.

— Ишь ты! Пересолено малость! — уверенно произнес он, оглядев меня.— Есть хошь? Иди, ешь кашицу! Там ее до чёрта наварили... половина, поди-ка, осталась. Иди, дуй на ложку! Ха-арошая кашица... с камбалой, с севрюгой...

Минуты через две я сидел в тени за куренем, весь грязный, очень утомленный, очень голодный, и ел, с тоской и болью в сердце, кашицу с севрюгой и камбалой.

МЕСТЬ

ПАРАЛЛЕЛИ

I

Бом!.. Звук слетел с колокольни и поплыл ущельем, грустно тая в нем. Вслед за ним — другой, третий... и медная волна звона полилась туда, к угрюмым горным вершинам, спокойно и важно смотревшим в глубокое, синее, безоблачное небо.

На самой высокой из гор лежала пышная шапка снега, и теперь, озаренная прощальным лучом заката, она блестела ярко-красным золотом. Но он, этот последний луч, всё бледнел — и ущелье, с разбросанными по бокам его серыми саклями, становилось всё мрачнее и мрачнее. По дну его быстро бежала, высоко взбрасывая брызги, маленькая горная речка; холодной сталью блестела во мраке ее вода, и шум течения был не жив и весел, а безнадежно грустен, и порой в нем слышались шипящие, злые звуки. Они сливались с звоном колокола, звон заглушал их...

На вершине горы уже угас закат, и ущелье стало похоже на громадную пасть, раскрывшуюся, чтобы проглотить угасающий день. А маленькая грузинская деревенька, спрятанная в нем, еще не спала; порой из нее долетали голоса людей и блеяние овец... И когда старый Максим Буадзе, притаившийся высоко над нею за камнем, слышал их, он нетерпеливо щелкал пальцем по блестящему стволу своего ружья и кидал из-под густых седых бровей острый взгляд туда, вниз, на деревню, откуда лился медный звон и шипящий говор реки. Время казалось ему нестерпимо длинным, и он готов был думать, что этот день нарочно так медленно гаснет,— он хочет помешать ему, старику, уплатить старый долг, долг крови...

Но нет! ничто не помешает. Он решил и дождется своего, хотя бы ему нужно было для этого неделю проле-

жать тут, в камнях, над пропастью и узкой тропинкой, лентой окаймившей ее крутой край. Когда тот, проклятый, поедет по ней в горы, он, старик, крепко сожмет в руках свое доброе ружье и пустит ему в левый бок, прямо в сердце, одну пулю. Этого достаточно, чтобы тот упал с лошади в пропасть, и ни одной кости не останется целой от дьявола.

Романоз Гватуа! Старик Максим представил себе, как крикнет этот Гватуа, убийца его сына, как он закинет голову назад и полетит в пропасть... непременно полетит — тропинка так узка здесь! Он радостно улыбнулся и стал снова пристально смотреть вниз сквозь колыхавшуюся дымку вечерней мглы. Там из саклей выходили люди, такие маленькие, смешные, и один за одним шли к церкви, убедительно громко звавшей их.

А река всё шипела, и тьма, сгущаясь над ней, едва позволяла сквозь свои волны видеть ее серебряную ленту. Старый Максим последил за ней глазами, пока она не потерялась среди камней, и, сняв шапку, стал на колени.

— Господи! — сказал он вполголоса.— Ты знаешь, зачем я пришел сюда, и я это знаю. Не мешай мне, господи! Что должно быть, то будет, и помоги мне, коли милость твоя со мной! Ты ведь знаешь и то, как я любил своего сына, молодца Вано, и ты видел, как он лежал на земле весь в крови, а я плакал над ним, а разбойник Романоз убежал в горы с тем кинжалом, которым заре-зал моего сына. Ты видел всё это и не мешал никому! Не мешай же и теперь мне, господи! Ты справедлив, и всегда будешь справедлив; и когда я, старик, приду к тебе — это уж скоро,— ты осудишь меня, как справедливый! Завтра праздник твой — и ты прости меня!

И он, постояв еще немного на коленях, надел папаху, взял в руки ружье и снова стал пристально смотреть вниз.

Над ущельем вспыхивали одна за другой звезды; небо опускалось ниже и принимало мягкий, бархатный колорит; из-за покрытых снегом горных гребней выплывала луна, и они блестели голубым серебром; крепкий кизиль тихо шептался ветками с ветром; звон умолк; последний удар колокола долго плавал по ущелью, ища

места, где бы умереть; хмурые скалы отталкивали его, и он наконец пропал, потерявшись в изгибах и трещинах гор. Кто-то внизу заиграл на чангури; кто-то тоскливо и ласково запел... и в уши старого Максима вливались то нежные трели металлических струн, то тихие просьбы и жалобы певца. Он пел мягким и гибким голосом о чем-то, чего ему было так жалко, что́ он потерял, и плакал, и просил отдать ему. Он пел о своем молодом сердце, изъеденном скорбью и болью,— а струны дрожали и пели с ним вместе, то вторя ему еле слышно, то покрывая его громким, страстным звоном. Там, внизу, стало уж так темно, что не видно было ни ленты реки, ни бледно-серых пятен саклей на темно-коричневом фоне скал,— ничего, кроме двух желто-красных огней, испуганно дрожавших глубоко во мраке.

Старый Максим, выдвинувшись из-за камней, приподнялся на руках и, задерживая дыхание, стал слушать.

— Это он поет! Это его голос, лисий, хитрый голос; он мягчит души тех, кто слышит его переливы и выкрики, а потом становится сух и остр, как звук удара кинжала о кинжал. Это он, Гватуа, поет. Скоро ли ты пойдешь? скоро ли ты пойдешь, проклятый?! — шептал Максим и скрипел зубами, напрягая зрение и стараясь сквозь мглу различить извивы тропинки, по которой ходят из деревни туда — кверху.

Там — внизу — перестали петь и играть. Песня оборвалась на половине; последняя нота ее была высока и хотела быть еще выше, но у певца недостало желания или голоса, и она порвалась как-то сразу, без эха, точно упала в быстрые струи речки и они захлестнули ее своей пеной. Струны чангури задумчиво подрожали еще немного — и тоже умолкли.

Послышался смех, ржание коня, громкое сердитое «гей!», глухо повторенное несколько раз ущельем... По камням твердо застучали копыта лошади, слышалось ее дыхание и шорох маленьких камешков, скатывавшихся в пропасть. Вот он едет! Это он, он! Старик схватил ружье, лег, положил ствол на камень и замер, считая — вот он сейчас поворотит раз, потом еще, и поедет назад, и опять вперед, вверх, и еще,— эта

тропинка то и дело кружится то туда, то сюда, и каждая ее линия до поворота не больше тридцати шагов коня. До той поры, как он поравняется с дулом ружья, можно еще прочитать две коротенькие молитвы... И старик, быстро сбросив с головы папаху, стал вполголоса читать, смотря в небо и соразмеряя слова молитвы с топотом ног коня...

— Вот он!..— Молитва кончена... Руки старика крепко стиснули ружье, и он наклонился вперед, страстно желая скорее увидеть убийцу его сына. Вот он!..

— Нельзя любить человека без того, чтоб не болело его сердце...— пел всадник, вдруг вынырнувший из-за угловатого большого камня на повороте тропинки. Его конь медленно и ровно отбивал копытами и фыркал, тряся головой; густая грива взметывалась вверх и снова тяжело падала на красивую выгнутую шею. Всадник сидел в седле ловко и небрежно. Он закинул голову вверх, смотрел в небо, где много звезд сверкало ласково и ярко, и тихо пел, одной рукой держа повод, а другой отбивая такт по ножнам кинжала.— Что ты плачешь, сердце? Давай-ка полюбим другую...

Старик смотрел, стиснув зубы и постепенно наводя ружье на красивую, залитую лунным светом фигуру убийцы своего сына. Дикая радость давила ему сердце, хотелось закричать, броситься на него и кусать, рвать, мучить этого красавца, любимца женщин, такого смелого, гордого, сильного. Вано был такой же, как он.

— Э, вот ты как важно качаешься в седле! Погоди-ка еще немного. Ну, ближе, ближе!.. Проклятый!..— шептал Максим.

А тот ехал и пел:

— А если и эта обманет, мы найдем себе третью...

Старик Максим кошкой выпрыгнул из-за камней на тропинку, прямо к голове лошади, и гаркнул, взбросив ружье к плечу:

— Гамарджоба, Романоз! Что, попал, проклятый!..

Как подстреленный пулей, взвился на дыбы оглушенный и испуганный конь; дико крикнул всадник; камни из-под ног коня шумно покатились в пропасть, а за ними, жалобно заржав, сам конь и прижавшийся к его шее, крепко обвив ее руками, Романоз.

Старик не успел спустить курка. Он отнял ружье от плеча, дотронулся рукой до лба с нависшими на него густыми прядями волос и пошел к краю тропинки. По крутому обрыву еще катились камни, и среди их шороха был слышен тихий, болезненный полустон, полуржание коня. Луна и звезды сияли всё так же покойно и ясно, хотя они всё это видели. На краю тропинки стоял старик Максим, опираясь на ружье, и смотрел туда, вниз. Там было страшно темно. Из склона обрыва выступали острые углы камней, кое-где между ними росли тощие кусты, и потом всё это сливалось в один глубокий, бездонный мрак,— а из него тихо, тихо всплывал кверху полустон, полуржание коня. Из деревни доносился ропот речки, но теперь он был глух,— это его сдавила ночь; и больше нигде ничего не было слышно — ни звука.

— Вот и всё! — тихо сказал старик и вздохнул, вскинув ружье на плечо. Потом он положил его на землю, встал на колени и громко проговорил:

— Благодарю тебя, боже, что ты не попустил меня замарать мои руки в поганой крови моего врага и сам наказал его, бросив туда — вниз! Он весь расшибся теперь. Благодарю тебя, боже, господин мой!

И затем уже он пошел вверх по тропинке в горы. Облитая мягким, серебряным светом луны, его высокая фигура была обаятельно красива, и гладкий ствол ружья холодно блестел. Старик покойно и бодро шагал с камня на камень и скоро пропал среди них. Еще немного позвучали его шаги, а потом и они пропали... И всё стало мертвенно тихо, а глухое ворчанье речки еще более оттеняло эту тишину. Лучи луны упали на тропинку, пройдя сквозь ветви кизиля и цепкого держидерева, что росли меж камней, и от этого на камнях нарисовались кружевные тени; они ползали, точно живые, взад и вперед по тропинке, чуть только ветер качал ветками... И вот, еще раз, последний раз оттуда — из пропасти, до краев наполненной мраком,— наверх, где мрак был не так густ, всплыл тихий звук... полустон, полуржание разбитого об острые камни коня.

II

— В Алёшки! В Алёшки!

Это кричат лодочники, перевозящие из Херсона кладь и людей в Алёшки — двенадцать верст по Днепру и извилистому, поросшему камышом притоку его, Конке.

— В Алёшки! В Алёшки!

Последние лучи солнца на минуту окрасили в пурпур вершины тополей на том берегу — против города, скользнули по быстрым волнам реки — и исчезли. Небо стало мутным. Мягкий, тонкий мрак вечера плыл из дали и нежно ложился на город, реку, деревья за ней,— а на городском берегу спешно убирали свой товар торговцы овощами. Большие корзины ярко-красных помидоров вперемешку с темно-лиловыми бадаржанами, зеленью петрушки, моркови быстро сносились торговцами в кучи; под ними обнажались грустные черные пятна земли; берег пустел; лодочники зазывали пассажиров; от берега то и дело отплывали лодки, полные людей и корзин; в воздухе носился говор, шум ударов веслами по воде; одна за другой лодки терялись за поворотом реки,— и вместе с мраком на всё ложилась печать утомления.

В городе начинали зажигать огни, они вдруг и весело вспыхивали то там, то тут,— и в небе одна за другой разгорались звезды.

На берегу почти убрались; еще несколько темных фигур торопливо бегали взад и вперед, но вот и они исчезли, точно проглоченные мраком.

Четверо лодочников остались без работы. Трое из них сидели в лодке — один на корме, двое других посреди лодки, на скамейке, лицом к реке. Они пели что-то задумчиво и нехотя... Один пел, другой в это время молчал, а когда первый умолкал, иногда обрывая песню на полуноте, второй подхватывал звук и продолжал петь, тихо и меланхолично, и так же странно и устало переставал; тогда пел снова первый, и песня вилась мягкой, непрерывной лентой над холодно блестевшими матовой сталью волнами реки, и волны, плескаясь о берег, сонно вторили ей.

Третий, тот, что сидел на корме, закурил папиросу. Ее огонек то вспыхивал, то угасал, и когда он вспыхивал, то освещал толстый красный нос, угреватые щеки и густые рыжие усы курившего.

Четвертый стоял на берегу в стороне от них, опираясь на весло, и смотрел на город. Фонарщик вынырнул из тьмы и быстро зажег фонарь; полоса света упала прямо на фигуру лодочника. Это был низенький коренастый человек лет сорока пяти, с толстыми руками, голыми по локоть, в красной рубахе с расстегнутым воротом, открывавшим волосатое сильное тело; на голове у него была надета старая соломенная шляпа, и из-под ее оборванных полей он зорко смотрел в улицу, уходившую далеко в город и бедно освещенную. По ней, направляясь к берегу, шел легкой торопливой походкой какой-то человек и на ходу весело посвистывал. Вот он спускается по лестнице к берегу — и лодочник двинулся к нему навстречу.

— Со мной пожалуйте, ваше степенство! По знакомству!

— Изволь! Мое степенство по знакомству поедет с тобой; только поскорее.

— Будьте довольны; не раз езжал с вами!

— Да? Ну хорошо.

Пассажир легко впрыгнул в лодку. Лодочник оттолкнул ее от берега, неуклюже ввалился на нос и сел в весла, поплевав на руки. Лодка скользнула вперед, пассажир качнулся; весла мерно ударяли по воде, и она тихо журчала под носом лодки. На реку от деревьев пали длинные задумчивые тени, и лунный свет, чередуясь с ними, лежал мягкими, серебряными бликами. Лодка вплыла в узкий приток, окаймленный по берегам длинными стеблями тихо шуршавшего камыша, и почти что бесшумно скользила по сонной воде. Гребец далеко назад закидывал весла, с них в реку падали капли воды с тихим, славным звуком. Небо смотрело на землю миллиардами веселых звезд, а их отражения на гладкой, зеркальной воде впереди лодки сияли так грустно и слабо. Но всё кругом было так ласково, тихо и мягко. Пассажир снял шляпу и, раскинувшись на корме, полугрезил, полудумал. Эта река и камыш по ее берегам, а за

ним темные, пышные деревья так хороши, облитые чудным, приветливым светом луны! Новорожденная ночь так свежа и ясна; тени, брошенные ею на всё кругом, тихо колышутся; вольно и легко дышит грудь, и не хочется думать ни о чем, кроме того, что хорошо. Жизнь... вот она, жизнь! Тихо скользит лодка по сонной волне, нежно баюкает душу шелест камыша — и всего одна доска отделяет пловца от дна реки. Это так просто, и из этого следует, что нужно как можно больше жить, и совсем не следует заботиться о том, чтобы дольше прожить. Лучше выпить одну бутылку шампанского, чем пять — красного вина...

А гребец смотрел на красивое, белое и тонкое лицо мечтавшего барина и усердно греб, то и дело поворачивая лодку то вправо, то влево. Этот приток разделялся на несколько излучин, образовав островки, сплошь заросшие кустарником, а из чащи подымались к небу громадные факелы тополей, и печальные осокори грустно опускали к земле свои гибкие ветки.

Пассажир думал о том, что он молод и любим, что он едет на свидание с той, которая его любит и нетерпеливо ждет в маленьком, утонувшем в зелени сирени и акаций домике, где всё так уютно и красиво, где в открытое окно льется запах цветов из сада и смотрит бархатное, темно-синее небо! Она сядет к нему на колени и, обвив его шею своими пышными, белыми руками, будет любовно смотреть ему в глаза и задумчиво в тьму сада и в небо... а потом она вздрогнет под наплывом чего-то так сладко грустного и крепко сожмет его в своих объятиях, а он будет ее целовать, целовать...

Есть люди, которым всё это смешно. Да, есть такие люди... они несчастны, они жалки. И, может быть, они смеются только потому, что слишком сильно желали испытать всё это и им не удалось. Ах, тогда они дважды жалки!..

— Ну вот, приехали! — громко сказал лодочник и, перестав грести, снял одно весло с уключины и взял его в руки.

— Вот это скоро! Спасибо! — ответил пассажир и, достав из кармана деньги, оглянулся кругом.

— Это что?! — удивленно спросил он.

Лодка неподвижно стояла среди широкого озерца; спокойная вода, матово-черная, холодно блестела; кругом по берегам сплошной стеной стояли деревья, и, где на воду падали от них тени, там она казалась бездонно глубокой. Было тихо. Не шелестел камыш, не журчала вода под лодкой; откуда-то неслся звон; удары колокола были слабы, чуть слышны, они вздохом пролетали над водой и умирали в темной массе неподвижно стоявших деревьев; было страшно тихо. Пассажир вздрогнул.

— А город? город?! — спросил он неестественно громко.

Берега повторили «город?!»

Лодочник встал, держа в руках весло.

— Город еще далеко, барин. Нам туда незачем. А ты вот что: молись-ка богу, готовься... Вот я тебя ахну по башке-то и шабаш. Ну!

Он поднял весло на плечо. Звук его голоса был глух, но решителен и тверд.

Барин слабо опустился на скамью и, тихо ахнув, схватил голову руками.

— Ну, ну! Скорее, коли хочешь помереть по-христиански! Греха-то на тебе сколько? Помнишь? Молись! Живо!

Барин вздрогнул и приподнял голову. Всё кругом было страшно тихо, неподвижно, всё умерло; звуки колокола еще вздыхали и плыли над водой один за одним — и вот умер последний.

С весла капала вода... раз... два... и точно отсчитывала последние минуты человеческой жизни.

Лодочник стоял в суровой, выжидающей позе и, одной рукой держа весло, другой равнодушно чесал свою бороду. Он так и смотрел палачом и судьей вместе.

И кругом — ни звука!

Барин застонал, простирая руки к черной и мрачной фигуре с веслом на плече, стоявшей перед ним.

— Послушай, за что?.. Возьми у меня деньги, всё... не убивай!.. возьми...

Стон тихо пронесся над водой и пропал бесследно во мгле и молчании.

Лодка закачалась с боку на бок. Это лодочник переступил с ноги на ногу. И вот он заговорил так же глухо и спокойно:

— Али сказать зачем, проклятая ты душа? Катюшку-то помнишь? горничная у твоей матери была? помнишь, пакостник? Кто ей ребенка-то сделал? Ты! А Катька-то дочь мне. Понял? Ага, анафема, догадался! Готовься, говорю, скорей, а то вот бацну, да и всё тут. Не пикнешь!

Барин в ужасе смотрел прямо в лицо говорившего, спокойное, холодное лицо с оскаленными зубами. Оно было бы не так страшно, если б на нем отпечаталось то, что было в словах,— злоба и насмешка.

Барин задрожал и заплакал, свалившись в ноги лодочника. Лодка заколыхалась, и от нее по воде пошли круги... казалось, вода улыбается широкой, темной и страшной улыбкой. Лодочник сел и, положив на колена весло, смотрел на червем извивавшегося в ногах его человека и слушал его жалкие мольбы и рыдания.

— Оставь меня жить! Ведь коли убьешь — узнают, и сам пропадешь. Оставь!.. Я отдам тебе всё, что у меня есть... И потом приди... еще дам... сколько хочешь!.. Ты знаешь, я богат... оставь меня!.. Не убивай, голубчик!..

— А дочку мою как же теперь? Она теперь с господами офицерами по ночам гуляет. Вчера ей морду в кровь разбили. Это как? Кто ее в такое место загнал, где всякий ей может морду бить?! А? Собака ты паршивая!..

Затем всё умолкло.

Молчал барин, лежа на дне лодки; молчал лодочник, с усмешкой глядя на него.

Барин лежал неподвижно; лодочник повертывался из стороны в сторону, и лодка колыхалась, а по воде плыли к берегам эти темные, холодные улыбки... и на берегах зашумели деревья, а вода вдруг покрылась рябью, и эта рябь казалась гримасой, которую сделала вода, чтоб не разразиться громким смехом.

— Эй, ты! Будет нюнить! Сколько с тобой денег-то?

Барин быстро встал на колени и, рванув у себя из кармана белый бумажный сверток, стал, лихорадочно дрожа и задыхаясь, совать его в руки лодочника.

— Вот! Возьми!.. Тут всё... покуда... семьдесят три рубля... Вот еще кольцо... часы... вот это — серьги... я в подарок вез... возьми, голубчик!.. Но, ради бога, оставь меня!.. Мне так хочется жить!.. Родной мой!.. а?.. оставишь?

— Молчи! Деньги я возьму, а это — на вот! Дрянь всё!.. Куда их денешь? Али я вор? Воровскими делами не занимаюсь, сбытчиков не знаю, сунулся продать — и пропал. Так-то...

— А деньги?.. Деньги берешь?!. Значит, я останусь... не убьешь... А? Хороший мой, скажи скорей!.. Не мучь!..

— А Катька? — спросил лодочник.

«Катька?..» — вопросительно повторили деревья с берегов.

Вода улыбалась и гримасничала... Вопрос о Катьке остался без ответа.

Барин снова грузно опустился и лег на дно лодки, схватив руками голову.

Лодочник взял весло, посмотрел на него и поплевал на руки... Затем он посмотрел на барина и широко улыбнулся... Ловкое, сильное движение — и оба весла в уключинах; взмах — и лодка тронулась. Вода судорожно всколыхнулась; раз, два, три... весла снова мерно забили воду, и лодка стрелой помчалась по водной глади... а вода журчала тихо и весело.

Барин не шевелился.

— Ну, вот что, друг! Ты вставай-ка! пора уж, ладно! Не бойсь, ничего не будет — это я шутил всё. Али ты думаешь, человека так вот и можно убить! Нет, брат,— это дело большое; не наших рук дело. А что я напугал тебя,— прости! Беднота всё наша да житьишко поганое, дуй его горой! А ты, одначе, здорово напугался, а? Ха, ха, ха!..

Смех — добродушный, громкий смех веселого человека.

Барин вскочил и сел на скамью, изумленно глядя на лодочника. Тот бросил весла и хохотал, упираясь в бока руками и закинув голову назад.

— Слушай!..— тихо сказал барин.— Так ты это...

— Ну чего? Известно — шутил. Разве человек человека может изничтожить? Ни в каком разе! А сорвать

мне с тебя следовало. И ежели бы я к тебе пришел, дал бы мне пятерку — и прощай! А я вот догадался, семьдесят три рублика получил! Их, семьдесят-то три рублика, в десять месяцев не заработаешь, по нынешнему времени. А что Катька, так разве беда, что она с офицерами? Вот уж! есть чего тоже! Еще мне же лучше: придешь к ней — «Катька, мол,— ах ты, шкура барабанная!» Сейчас она мне: «Извольте, тятенька, красненькую». А?!. А что ты ей попользовался, так разве кому от этого горе? Вот уж! Я, брат, сам их сестре спуску не давал...

Барин смотрел,— и едкое чувство обиды и желание возмездия наполняло его. Он пожалел, что с ним нет ничего — ни палки, ни револьвера. Он бы уничтожил этого мерзавца.

А этот мерзавец торжествовал, и каждое его слово и движение ярко рисовало его торжество.

— Вот он, город-то. Приехали! Ну, куда пристать?

— Куда-нибудь! скорее! — коротко и громко скомандовал барин.

— Сейчас готово будет!.. Пожалуйте с богом, господин!..

Лодка толкнулась о берег. Барин встал и спрыгнул на землю. Лодочник приподнял шляпу и серьезно и покойно пожелал ему счастливого пути. Барин смотрел на него и злобно шептал: «Уезжает!.. уезжает!..»

— Мерзавец! — вдруг крикнул он лодочнику, отскочив подальше от берега.— Подлец! Дочь свою, дочь продал за семьдесят три рубля. Жулик!..

Лодка медленно отплывала, и из нее раздался равнодушный голос:

— А ты бы пораньше, друг милый, начал ругаться-то. Это бы еще туда-сюда, а теперь-то что ж тут мудреного и какие смыслы?

Барин зло и громко кричал:

— Найду тебя, найду, убийца! Всю полицию на ноги подыму!

С реки донеслось:

— Ладно, ладно! Вали, посмотрим! Старайся, брат! А пока прощай!

«Прощай!», выкрикнутое громко, долго носилось в воздухе.

Барин постоял и, нахлобучив нервным движением шляпу на лоб, быстро зашагал в город, весь утонувший в темной зелени садов.

На реке всё было тихо; в городе, далеко где-то, жалобно выла собака; темные длинные тени лежали на земле, и яркий свет луны облил серебром острые вершины тополей.

Подул легкий ветерок... река покрылась тонкой, частой рябью, и мягкий шум деревьев широкой волной пролился в воздухе — влажном и свежем.

III

ОТРЫВОК ИЗ ОДНОГО ПИСЬМА

Да, ты спрашиваешь, в каких отношениях я нахожусь в данное время с Варварой Васильевной. С удовольствием сообщаю: я с нею всё порвал.

Вышло это очень оригинально, и я думаю, что для тебя небезынтересно знать подробности. Я расскажу тебе всё, и расскажу не без наслаждения, потому что, как ты знаешь, самая великая победа — победа над самим собой.

Вот слушай!

Ты видел меня в то время, когда я играл перед нею роль объекта, на котором она изощряла свое остроумие,— и фона, на котором ее величественная, спокойная фигура рисовалась как нельзя более выгодно. Ты знаешь, что я увлекался ею. Я говорю — увлекался, и очень серьезно. Я ее просил, молил, убеждал, доказывал... Она слушала, холодно улыбалась и молча обтачивала холодные, острые иглы различных сентенций, которые потом прехладнокровно, «с милой улыбкой на бледном челе», втыкала мне в сердце.

Я страдал, насколько это принято среди порядочных людей, и показывал ей, что страдаю, опять-таки настолько же, отнюдь не больше.

Я страдал, терпел и в глубине души был уверен в победе. Эта уверенность поддерживалась во мне до боли раздраженным самолюбием. Оно развивалось с каждым свиданием и понемножку топило в себе то, что я тогда

называл любовью к ней. Топило любовь, и из праха любви возрождался, сначала незаметно для меня, новый феникс — желание отплатить ей тою же монетой.

Вот он сформировался вполне, и всё уступило ему.

Я, конечно, не мешал. Скажу больше — я был очень рад, ибо нельзя не радоваться возможности сбросить с себя цепи, пусть даже это — цепи любви: они ведь только в стихах, да и то очень редко, именуются сладкими... Человек всегда хочет быть свободным, раз он действительно человек, а не временно исполняющее должность такового существо, знакомое с употреблением брюк и дара слова и, в силу этого знакомства, ловко умеющее скрывать истину.

Ну так вот, я был рад и употреблял все нити моего ума на сплетение сети, запутавшись в которой, царица моего сердца могла бы познать личным опытом, сколь сладко быть игрушкой в руках себе подобного.

Я думал, думал усердно, и ты увидишь, что далеко не безуспешно.

Я продолжал относиться к ней более внимательно и нежно, чем прежде, ловко и приятно щекотал ее самолюбие; постепенно делался ее всё более необходимою вещью и в то же время по отношению ко всем другим держался более гордо и независимо, чем всегда. Это не могло не заставить ее думать кое-что в высокой степени выгодное для меня и обеспечивающее мне успех. Я видел, что она становится со мной на более близкую ногу и начинает немного щадить меня. Раза два в разговорах с ней наедине я подметил, что ее взгляд, обращенный на меня, мягок, пожалуй, нежен, и в отношениях со мной проскальзывает эта женская, хитрая осторожность, вытекающая из некоторого беспокойства — неопределенного, туманного и своим появлением предупреждающего нас о скорой сдаче крепости. Я усердствовал. Она колебалась... Но всё имеет свой конец. И вот я перехожу к сути события.

Мы с ней сидели в саду у пруда, в беседке. Ночь только что наступила. Дело было в июне... Соловьи и луна, тени, запах цветов — всё это имелось налицо и в количестве гораздо большем, чем было нужно по ходу дел.

Я говорил, и говорил хорошо, страстно, много... Я вошел в роль, как говорят. Если не ошибаюсь, у меня на глазах сверкнули слезинки, что, конечно, не осталось не замеченным ею. Я говорил, говорил, говорил... и, предвкушая победу, говорил еще. Но я сидел в полуаршине от нее и длани к ней не простирал.

Наступило время встать на колени — и я встал.

А когда наступило время взять ее ручку и поцеловать почтительно и вместе с тем страстно,— то я взял ее ручку и поцеловал ее почтительно и вместе с тем страстно.

Я ни на шаг не отступил от установленного веками шаблона, ни на шаг — вплоть до конца, друг мой!

И, наконец, я замолчал, конечно, трепеща в ожидании, и из-под ресниц незаметно наблюдал за ней. Она была взволнована, прерывисто дышала, у ней вызывающе страстно сверкали глаза... Ура!..

И вот она протянула ко мне свои красивенькие ручки — они слегка дрожали — и шёпотом, таким, знаешь, страстным шёпотом заговорила:

— Иди ко мне, иди, мой милый, хороший, дорогой!.. Иди скорей!.. Иди же... я тебя люблю...

Тут я встал с колен. Она обняла меня, плотно прижалась к моей груди и всё шептала, задыхаясь от волнения:

— Иди... иди!..

Тогда я разжал ее руки, крепко обвитые вокруг моей шеи, поднял рукой за подбородок ее голову и прямо в лицо, громко засмеявшись, спокойно сказал:

— Не хочу!

И, повернувшись к ней спиной, ни разу не оглянувшись... ты понимаешь?.. ни разу не оглянувшись назад, громко насвистывая, медленно ушел по ярко освещенной луной дорожке сада.

Я слышал, как она упала с глухим стоном, полным ужаса.

Хорошо?

Ну, теперь я сообщил тебе всё интересное.

Да, еще!.. Моя Бетти ощенилась, и я теперь обладаю парой малюсеньких, милых, толстомордых бульдогов.

Прощай! Твой...

РАЗГОВОР ПО ДУШЕ

ИСТОРИЯ МАЛОВЕРОЯТНАЯ, НО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНАЯ

На одном берегу реки — реки Времени, милостивые государи и государыни,— стояла в величественной позе Добродетель, а по другому — нервно расхаживал Порок.

Добродетель, точно статуя из самого твердого мрамора, была холодна и солидна, а Порок — так низок и настолько пропитан ядом всяческой гнусности, что мухи, укусив его, тотчас же умирали, отравленные.

Добродетель стояла и погружалась в кисель самоуслаждения, а Порок ходил взад и вперед по берегу и размышлял о лучших способах учинения поступков, кои бы поддержали его реноме.

И в общем всё обстояло благополучно.

Перед ними протекала река Времени, и в мутных волнах ее барахтались и дрыгались объекты, на которые направлялись деятельность Порока и взоры Добродетели. На поверхности волн бесчинствовали поклонники Порока, под ними захлебывались любители Добродетели, а между ними иногда мелькали объекты, еще не успевшие приобрести себе каких-либо взглядов и убеждений и только широко таращившие глаза и разевавшие рты, оглушенные шумом и полные желания скорее к чему-нибудь приспособиться.

Порок действовал, а Добродетель созерцала и, вслух сочувствуя погибавшим в когтях Порока, втихомолку искренно и безжалостно презирала их:

«Ах, как они пошлы! Фу, как они слабы!.. Не могут противиться Пороку! Пороку,— фи!»

И она незаметно делала презрительную гримасу.

А Порок расхаживал и распевал:

Жизнь — мгновение...
Ощущение —
Суть и смысл жизни всей.
Всего менее
Преступление
Порицать нужно в ней!
К чёрту проповедь любви!
Разве нам она понятна?..
Жизнь — минута — и живи
Тем, что просто и приятно!..
Только начал жить, ан глядь —
Уж Плутон вблизи затопал...
Торопись цветы срывать!..
Кашку слопал — чашку об пол!
Право, проще сей морали
Ничего нельзя сказать;
< . . . . . >[1]
Чтоб другие не орали!
Без сомнения,
Поучения
Можно слушать, друзья,
Тем не менее,
Ощущение —
Суть и цель бытия!..

Он пел, и его слушали. Добродетель негодовала и разражалась сразу двумя тысячами стихотворений всех размеров и родов, в коих воспевалась близость ее торжества и угрожалось Пороку окончательным поражением. Были стихи иронические, безграмотные, саркастические, этические, лирические, звучные, длинные, короткие... Но Порок хоть бы поперхнулся и мало того, что в свободное от непосредственных и специальных занятий время с удовольствием читал все эти стихи, но еще сам критику на них писал, в коей сообразно с настроением изрыгал хулу или расползался в похвалах и неизменно замечал, что чистой эстетики побольше бы надо подпускать, тогда бы, дескать, сильнее вышло.

[1] Здесь, видимо, пропущена одна строка.

Видя, что стихи не берут, Добродетель пускала в дело прозу и в толстущих книжищах снова доказывала, как дважды два четыре, несокрушимо верно близость и необходимость своей победы над ним, гнусным Пороком.

А он — ничего, и книги читал; конечно, те, которые менее скучно были написаны, и, читая, очень одобрял.

— Ничего,— говорит,— написано веско и убедительно, кое-что можно и мне к сведению принять! — И принимал, чёрт его возьми! Книга-то вся — все восемь тысяч страниц — против него написана, а он — глядь! — из нее новый план действий извлек и таким образом еще пополнил инвентарь ухищрений, направляемых им на пагубу человеческих душ.

Итак, вот как обстояли дела вплоть до того события, о котором я,— с искренним почтением ко всему, что такового достойно,— буду иметь честь ниже рассказать вам, милостивые государи и государыни!..

Однажды он, то есть Порок, занимаясь своим делом и напевая любимую свою песню, действовал в отведенном ему судьбою месте.

Одетый по последней парижской моде, с букетом камелий в руке, он был приличен, но, конечно, все-таки был гадок, а она, то есть Добродетель, была суха и величественна в своей римской тоге, немного уже ветхой.

Ей вообще невесело живется, но в этот день ей было скучно более, чем когда-либо. Ее адепты всюду терпели горестные поражения; те же, которые умели и успели избежать таковых, благородно ретировались с поля битвы, шалаберничали и ныли, не имея возможности сделать что-либо иное по причине отсутствия в них живой души.

И вот, обуреваемая грустными соображениями о тщете своей борьбы с Пороком, Добродетель вслушивалась в звуки гимна своему сопернику и грустно глядела на его изящно-пошлую и нагло-красивую фигуру.

Но вдруг она ощутила в себе зарождение некоторой новой мысли, мысли странной, несообразной с ее достоинством, не гармонировавшей с ее деятельностью, даже противной ее сущности и формулированной ею, наконец, так: «А не поговорить ли мне с ним по душе? Ведь, в сущности, я никогда не говорила с ним по

душе-то. И может быть... кто скажет, что может быть?.. Я заговорю с ним... да, я заговорю!.. Скажут, что это постыдно для меня... Но боже мой!.. Разве впервые услышу я обвинение в неустойчивости и слабодушии?..»

— Милостивый государь! — крикнула она на тот берег.— Послушайте!..

Милостивый государь только что выпил бокал шампанского за свое здоровье и намеревался выпить еще бокал.

— Сударыня! — галантно раскланялся он.— Чем могу служить?..

— Я бы хотела... то есть нет!.. Вернее сказать, я хотела бы...

— Бокал шампанского, сударыня?..

— Милостивый государь!.. прошу вас не оскорблять меня такими подозрениями! — гордо подняв голову, заявила Добродетель.

— Сударыня!.. Извините!.. Ваше прославленное великодушие позволяет мне надеяться, что вы мне извините?.. Но, право, я предложил вам бокал с таким же уважением, с каковым имею честь предложить вам теперь целую бутылку.

— Я не пью, милостивый государь... Разве вы не знаете, что я не пью?..— строго сказала Добродетель.

— Знаю, ах, знаю!.. И искренно сожалею об этом, сударыня, ибо вы лишаете себя одного из высоких наслаждений. И удивляюсь вам, ибо, имея дело с людьми, нельзя не напиваться вдребезги — так тошно и тяжко общение с ними!

— Позвольте! Я хочу говорить с вами серьезно, я хочу говорить с вами, как с силой, которая...

— Всегда к вашим услугам, сударыня! всегда к вашим услугам...

— Не перебивайте!.. Которая — имеет в жизни почти такое же значение, как и я, и которая борется со мной. Но почему?.. Вот этот вопрос я хотела бы беспристрастно и всесторонне обсудить с вами и, обсудив, может быть, прийти к какому-либо соглашению...

— Сударыня!.. Клянусь торжественно моим торжеством, которое, в скобках сказать, порядочно таки надоело мне, вам пришла в голову идеально добродетель-

ная мысль. Ф-фу!.. Как бы это славно устроить маленькие каникулы! Века твердо стоим мы с вами на своих постах и никогда не воспользовались минутой отдыха... Всё борьба, борьба... да из-за чего же, смею спросить?!

— Позвольте, отнеситесь серьезно к тому, что я нашла нужным сказать вам! — строго заметила Добродетель.

Но Порок вдруг вскипел — с ним произошло что-то странное, и он очень гордо и веско заговорил:

— Нет-с, позвольте! я хочу высказаться, чёрт побери!..

— Милостивый государь! Вы ругаетесь... — укоризненно сказала Добродетель.

— Да, я ругаюсь! Я — будь я проклят, ругаюсь, я хочу и буду ругаться!.. И я хочу высказаться!.. Я имею право высказаться... Я возмущен, я оскорблен, я, наконец, требую внимания к себе! Предполагается, может быть, что я не чувствую оскорблений?.. О!.. я...

— Позвольте, милый мой Порок,— что вы хотите сказать всеми этими воплями и восклицаниями?.. Уверяю вас,— ничего нового для меня вы не скажете. Как и вы, я исполнена горечи, как и на вас, на меня клевещут, как и вас, меня оскорбляют и унижают...

— Э, сударыня!.. Вот оттого-то вас и не любят люди, что вы слишком пристрастны к длинным речам!..

— Позвольте! Будьте же благоразумны и хладнокровны!..

— Я... хладнокровен?!. Чёрт бы побрал все окружающие меня нелепости!.. Я исковеркан этой жизнью, вот что. И я устал... да!.. Я, говоря откровенно, давно уже усомнился в разумности нашей вражды, я давно уже хотел предложить вам перемирие для того, чтобы обсудить: зачем нам нужно топтать в грязь друг друга? Кому это доставляет удовольствие? — Но что-то мешало мне сделать это, и вот я от дум и тоски стал почти таким же рефлектиком, как и мои приверженцы — люди. Я глубоко несчастлив, сударыня... Сколько в моей жизни горечи и боли, о!..

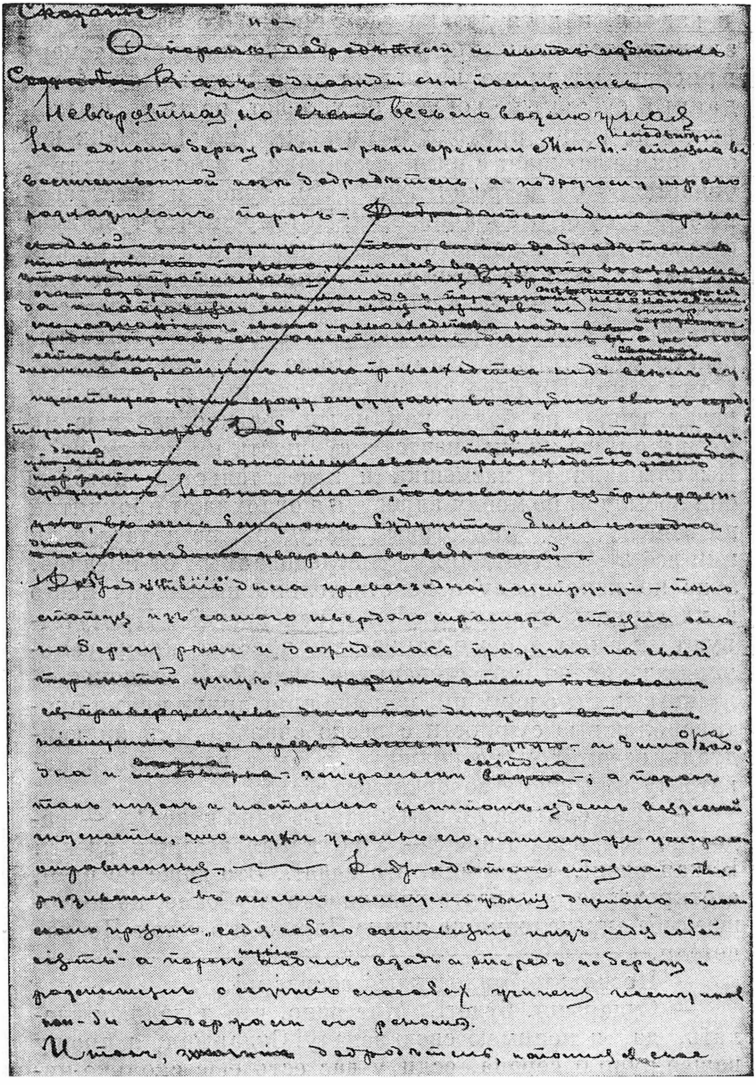
— Но послушайте же, наконец! — прервала Добродетель минорные излияния своего врага.— К чему поведут ваши жалобы? Вы хотите сострадания? Но ведь

будем откровенны до конца — вам должно быть известно, что я не умею сострадать иначе... как на словах... нужно ли вам такое сострадание!.. У меня есть основание думать, что я при создании моем была награждена всеми необходимыми для меня, как для Добродетели, свойствами, но очевидно, что с течением времени и в борьбе с вами — эти свойства измельчали, утратились, и в данное время я гораздо более фантом, чем нечто, действительно существующее... Где же искать причину такого грустного явления?.. В отношениях людей ко мне и нигде более! Эти отношения...

— Стойте, сударыня!.. Не говорите мне об этих отношениях! Я постиг их личным тяжелым и горьким опытом, я знаю их! — Лучшие качества мои влагал я в почитателей моих, и они изменяли мне, уходя к вам, как изменяют вам, уходя ко мне! Разве я теперь тот Порок, что был когда-то?!. Разве это пошлое, низкое, грязное, мелкое — я? Сударыня, где мой Нерон? Где Калигула? Где Борджиа?!! Где маркиз де Сад? — Где они, гении порока? — Их нет, сударыня!.. И их не будет больше! И я не могу больше создать их, как по неимению старых сил в самом себе, так и потому, что нет форм, в которые я мог бы отлиться, нет людей, способных быть великими в пороке и в добродетели. Я ограблен людьми, сударыня! Как и вы, я ограблен ими! Лучшие качества наши, лучшие деяния свои они испортили, лишив их художественной цельности и законченности своей проклятой склонностью к рефлексу. Они вертятся от вас ко мне и от меня к вам, и сам чёрт не разберет, кто из них порочен и кто добродетелен! Проклятые аналитики!.. — и, задыхаясь от гнева, Порок умолк.

Тогда заговорила Добродетель.

— Я, несмотря на мою узость и ограниченность, все-таки понимаю вас, милостивый государь, и согласна с вами. Как вы спрашиваете: где ваши лучшие люди? — так и я спрошу: где великий гражданин Брут? Где справедливый Аристид? Где блаженный Августин, человек, влагавший в каждое слово своей речи всё свое страстное сердце? Где великие люди добродетели? Где цельный человек? — Тени вокруг меня витают, холодные, бескровные тени, а не люди! Они каются и плачут, плачут



«РАЗГОВОР ПО ДУШЕ».
Страница чернового автографа.

и каются, и хотя делают это хорошо, но разве в этом заключается служение мне?.. Какие поступки теперь приобретают право на эпитет добродетельных?.. Если данный субъект не ворует, не убивает, не лжет, не клевещет и если, проходя мимо ревностно творящих всё это, он не вступает с ними в компанию, а молча отворачивается,— он добродетелен!?. Но, тупой и бесстрастный, почему он отворачивается? Потому ли, что чувствует отвращение к подобного рода деяниям и к людям, кои творят их, или же потому, что, втайне завидуя их умению, боится вступить в ряды их по отсутствию в нем сил на всё скверное, на преступление?.. Это вопрос, милостивый государь!.. И не ясно ли, что не мы правим людьми, а они нами? Не ясно ли, что мы для них не более как развлечение, не более как нечто, разнообразящее их распатанную жизнь, нечто, в сущности им ненужное?.. Вы слышали те насмешки и издевательства, которые они посылают по моему адресу, а я оглохла от проклятий по вашему, но, милостивый государь, не делается ли ими всё это по традициям, унаследованным от предков, а не по искреннему и действительно имеющему место в их сердцах чувству любви и ненависти?.. Присутствуют ли в них вообще какие-либо чувства, кроме самоуслаждения во всех степенях и видах? И, наконец,— нужны ли мы с вами им, как две друг другу прямо противоположные сущности с резко очерченными индивидуальностями? И не должны ли мы с вами пойти навстречу имеющему совершиться факту...

— И не слиться ли нам с вами в одно целое?.. — радостно вскричал Порок.— Ура! какая великая идея!.. Какая идея!.. Сударыня, это идея!.. Это даже не идея, а откровение, а... нечто грандиозно глубокое, не имеющее себе определения на языке Порока и в устах Добродетели.

— Позвольте, милостивый государь!..

— Сударыня, будет!.. Мне ясно, что я должен сделать, да, я понимаю свою задачу! Сударыня, я прошу вашей руки и сердца, если у вас есть еще сколько-нибудь сердца!.. Сударыня... да?..

Пораженная Добродетель отшатнулась в сторону и в ужасе воздела руки к небу.

— Милостивый государь!.. — едва нашла она в себе сил прошептать в ответ Пороку.

— Решено, сударыня?.. Уф!.. Какая прекрасная перспектива открывается перед нами этим браком!.. Соединенные узами, мы почием на лаврах и с усмешкой будем взирать на человечество, уже окончательно освобожденное от представления о хорошем и дурном, о злом и добром, на человечество, блуждающее по лесу недоумения и свободно совершающее всё, что ему угодно. Сколько в первое время будет трагикомических курьезов! Сколько замкнутых сердец распахнется, и сколько извергнется низменных желаний, скрывавшихся до сей поры за заслонкой совести! Добрый и злой дружно поедут в паре к заветной цели — к покою ума и души. Весь земной шар обратится в один грандиозный свинятник и наконец успокоится! Успокоимся и мы с вами в объятиях друг друга и пребудем до века покойны и счастливы! А с другой стороны, пожалеем же и человеческое сердце, расколотое надвое и утомленное борьбой белого с черным. Пожалеем его, сударыня!.. Слишком долго оно воюет само с собой, слишком мало смысла и толку в этой войне,— пожалеем его, сольемся во единое, нераздельное существо и, уничтожив долгим, страстным поцелуем черное и белое, создадим одно необъятное, всепроникающее серое!.. Сударыня, да?..

Добродетель безмолвствовала. Оскорбленная сначала предложением Порока, она постепенно утопила это чувство в море утилитарных соображений и к концу речи Порока уже не чувствовала ничего, кроме желания — как можно прочнее гарантировать себя от возможных в таком важном вопросе ошибок.

— Милостивый государь! прежде чем принять ваше предложение, я считаю нужным всесторонне осветить его себе и вам.

— Вы просите неделю на размышление? Гм,— простите, но у меня слишком много данных сомневаться в том, чтобы из ваших размышлений вышло что-либо пригодное. Добродетельные размышления!?. Э!?.— и Порок скептически улыбнулся...

— Нет, милостивый государь, все-таки!.. Вы, конечно, уже знаете, что на иной брак, кроме законного, я не могу согласиться...

— Гм... чёрт меня возьми! Однако это выходит у вас классически глупо и шаблонно... Падите хоть на сей раз в объятия Порока без излишних церемоний!.. Ведь вы падете, и я паду, и не будет ни вас, ни меня,— будет один общий кавардак представлений — и только! Мы как бы выходим из жизни, предоставляя людям ведаться самим с собой, как им будет угодно. Вы справляетесь о вещах, положительно не стоящих внимания. Еще справку о материальной обеспеченности я допускаю, но взгляд... Гм... гм... — Тут Пороку пришла на ум блестяще порочная мысль, и он вдруг заключил Добродетель в свои грязные или, вернее, пошлые объятия.

— Милостивый государь! — в ужасе вскричала Добродетель, испуганная неожиданным оборотом дела.

— Сударыня, вы, кажется, хотите остаться добродетельной? — убедительно ворковал Порок и, ошибкой поцеловав ее в нос, отплюнулся.

— Гнусный!.. Пошел прочь!..— рявкнула Добродетель и вырвалась из объятий Порока.

— Итак?.. — хладнокровно спросил Порок, мало смущенный этой сценой.

Добродетель, сверкая глазами, гордо молчала.

— Значит?!. — усмехнулся Порок...

— На ваш пост, милостивый государь!.. — властно сказала Добродетель.

— Так на кой же чёрт вы завели эту идиотскую беседу, сударыня?..— злобно крикнул Порок...

— Вы забываетесь!..— грозя ему пальцем, отвечала Добродетель.

— Ну... и что же теперь?.. Будем снова канителиться?..Хорошо,— будем канителиться...Пусть будет так,— но это глупо и ненужно. Люди, если мы сами им не поможем прийти к одному знаменателю, не дадут нам покоя,— они будут истязать и насиловать нас. Нам нужно слиться, нам нужно слиться в едино,— это мое мнение. Но — до свиданья!.. Я иду!..

И он ушел на свой пост, а она осталась стоять на своем. И когда он шел, то напевал про себя вполголоса:

Жизнь — мгновенье...
Ощущенье —
Суть и смысл жизни всей.
Всего менее
Преступленье
Порицать нужно в ней!..

Кругом всё было тихо... Изумленно мигали звезды в небе, и порой мимо их во все лопатки пробегали куда-то тучи. И когда они пробегали, то звезды стыдливо скрывались за ними, и луна, широко раскрыв рот, смотрела на землю, и ее физиономия была гораздо глупее, чем когда-либо. А в морщинах неба появились крупные капли пота, выступившего от напряженного ожидания конца этой грустной сцены, и, холодные, тяжелые, падали на землю и на мое чело. А я сидел в кустах моей фантазии, и сердце мое сочувственно сотрясалось по адресу жалкого Порока и бедной Добродетели. И вот я решил сообщить вам, милостивые государи и государыни, о их печальном положении и, в свою очередь, в ваших сердцах вызвать сочувственное сотрясение по их адресу и тем напомнить вам о необходимости для жизни поступков цельных, крупных и дело жизни оживляющих.

НИЩЕНКА

— Теперь я пойду прогуляться! — вслух произнес Павел Андреевич, бросил перо, зевнул, вытянулся в кресле и меланхолично засвистал.

Ему хорошо поработалось, он чувствовал себя бодрым и довольным. Завтра он скажет в суде две пустяковые речи, затем выступит еще два раза — и сессия кончена. Можно будет взять маленький отпуск и поехать в Крым посмотреть на ласковое море и знойное южное небо... У него есть уже репутация талантливого оратора и хорошего законоведа; он вправе ожидать в близком будущем назначения в прокуроры, и жизнь ему не кажется ни утомительной, ни дурной; она скучна, если смотреть на нее слишком пристально, но зачем же нужно именно так смотреть? Едва ли что-нибудь, кроме миллиона терзаний, даст такое отношение к ней, к этой жизни, которую так много раз пытались разгадать и не разгадали; и едва ли разгадают когда-либо...

«Наша жизнь вся сполна нам судьбой суждена!» — незаметно для себя сбился Павел Андреевич на философию Ламбертучно и, просвистав опереточный куплет в неподходяще минорном тоне, улыбнулся, снова зевнул и, встав с кресла, крикнул:

— Ефим!

Затем умеренно самодовольно оглянулся вокруг себя.

Его рабочая комната, обставленная комфортабельной мебелью без бьющего на эффект шика, а с солидной красотой и удобством, теперь богато залитая молодым ярким солнцем последних дней апреля, смотрела на него своими стенами и украшениями так ласково и светло, что еще более усиливала в нем хорошее, теплое ощущение сладости бытия.

— Ефим! — снова позвал он.

— Я здесь!

Из-за тяжелой коричневой портьеры, пышными складками закрывавшей дверь, высунулась пушистая седая голова, и на Павла Андреевича выразительно уставилась пара добрых старческих глаз, тонувших в кудрявой серебряной бахроме бороды и бровей.

— Иду гулять, братец; часам к семи приготовь самовар. Больше ничего.

— А ежели кто спрашивать вас будет?

— Скоро приду. Но некому.

— А может, гости придут?

— Ну, какие же к нам с тобой ходят гости, Ефим?

— Точно, что не ходят!

— Так что же ты спрашиваешь?

— А для порядку. Это уж так всегда в хороших домах лакей спрашивает у бар, коли они изволят куда отлучаться.

— Ага, вот что! — И, добродушно-скептически улыбнувшись, Павел Андреевич надел пальто и вышел на улицу.

Чисто выметенная и еще сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной и немного тяжелой красотой. Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко розоватый оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий философски сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплоть друг к другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно.

Павел Андреевич шел и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. Странное племя! Жизнь учит их и учит так жестоко, а они все-таки продолжают бесноваться, не умея найти себе надлежащей точки опоры, не умея привести свои способности в гармонию с своими желаниями...

Думая так, механически и безмятежно, он не заметил, как вышел на набережную улицу.

Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестевшей в лучах солнца, далеко на горизонте медленно опускавшегося в нее. Река, как и отраженное в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не видно было на ее полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомленная этим размахом, покойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река... Хорошо бы плыть свободной птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!..

— Голубчик, барин! Хри-ста ради, копеечку на хлеб пожалуйте! Работы нет, целый день не евши... Истомились... Ваше благородие, будь милостив бога для!..

Павел Андреевич вздрогнул и обернулся.

Ноющие голоса — надтреснутый тенор и хриплый безнадежный баритон — без пауз рвали воздух и резали уши Павла Андреевича.

Перед ним стояли двое — парень лет под двадцать, с топором в руке и с рваной шапкой в другой, в женской кацавейке с торчащей из многочисленных дыр грязной ватой, и мужик лет пятидесяти, в полушубке, в лаптях, с коричневым грязным картузом, засунутым за пояс. На лице парня, землистом, голодном и сухом, застыла жалобно-жадная мина, он ухитрился выразить вместе ожидание подачки и просительное подобострастие. Мужик, всё лицо которого было завешано упавшими на лоб жесткими волосами и свалянной в жгут бородой, упорно смотрел в землю и безнадежно гудел, как-то лениво вытягивая из себя звуки. Парень же пел свою просьбу быстрым речитативом, точно боясь, что не дослушают его и не успеет он достаточно высказать все причины, которые заставили его нищенствовать.

— Будет! — громко и недовольно сказал Павел Андреевич и быстро опустил руку в карман.

Но тут случилось нечто странное, ошеломившее его чуть не до потери сознания.

— Барин, миленький! Не давай им!.. не давай!.. Они уж тридцать пять копеек набрали... Ишь, жадеры!..

Баринушка, мне!!. Голубчик, подай маленькой девочке на хлеб, Христа ради!..

Павел Андреевич почувствовал, что кто-то крепко вцепился в его руку, опущенную в карман, вцепился, тормошит ее и звонким дискантом воет жалкие и в то же время страстно просительные слова.

Это был какой-то маленький грязный живой комок, голова его глубоко воткнулась в складки шинели Павла Андреевича, и этот комок так быстро, точно вьюн, кружился и извивался на одном месте, что положительно не было возможности подробно рассмотреть, что это такое... Три голоса наперебой ныли и оглушали его, вызывая в нем острое раздражение.

— Молчать! Пошли прочь! — крикнул он.

Но его властный окрик мало подействовал.

— Эх, барин! — глубоким вздохом возгласил баритон, извлекая этот возглас из самых недр своего нутра.

— Кормилец ты наш! — подхватил высоко и колоратурно тенор.

— Врут они, баринушка, не верь! Они уж тридцать пять копеек собрали!.. А вот как ко всенощной ударят, на паперть пойдут, там еще с эстолько награбастают... Жадеры окаянные!..

— Прочь, говорю!..— еще раз зычно гаркнул Павел Андреевич, крепко выругался и тотчас же смущенно оглянулся.

Но набережная была пуста, и никто не мог видеть его раздражения. Тогда сильным движением он оторвал от своей шинели впившийся в нее цепкий комок и поднял его рукой до своего лица... Но тут же, пораженный, быстро опустил руку, отчего существо, бившееся в ней, покатилось на тротуар, все-таки не переставая просить звенящим, тонким дискантом.

Павел Андреевич закрыл на секунду глаза, глубоко вздохнул, сунул в одну из простертых к нему рук какую-то мелочь и, замахав рукой в ответ на благодарные пожелания, звучавшие как-то странно-тоскливо и вымученно,— наклонился над запутавшимся в лохмотьях существом как раз в то время, когда оно, точно резиновый мяч, отскочило от мостовой, причем груда

навешанной на нем грязной рвани, встряхнутая быстрым движением, сделала ее похожей на уродливую большую ночную бабочку.

— Голубчик, баринушка, и мне копеечку!.. Дай Христа ради...— снова волчком завертелось у него в ногах крохотное создание.

— Погоди, погоди!..— немного растерянно бормотал Павел Андреевич, пристально рассматривая ее.

Это была маленькая светлолицая девочка лет шести-семи, подвижная, как ртуть, и невероятно оборванная. Лохмотья, подпоясанные рваной красной тряпкой, совершенно скрывали под собой ее фигурку, только маленькая головка, высовываясь из них, давала возможность отнести ее к классу людей. Именно эта головка и поразила Павла Андреевича, знатока красоты и поклонника всего изящного. Детски маленькая, она, несмотря на грязную тряпку, покрывавшую ее, а может быть, благодаря именно этой тряпке, резко оттенявшей цвет и изящество личика, была разительно красива. Тонкие и мелкие кольца кудрей, выбиваясь из повязки, падали на лоб и щеки и трепетали на них, позволяя просвечивать сквозь себя живому ярко-розовому румянцу. Маленький, точно резцом выточенный носик, с нервно раздутыми от возбуждения ноздрями, розовыми и прозрачными, нервно вздрагивавшие пунцовые губки, маленькие и пышные, круглый с мягкой, милой ямкой подбородок и большие синие бархатные глаза — всё это в целом и ее лохмотья — делало ее странно похожей на маленькую кучку мусора с расцветшим в центре ее обаятельно и капризно красивым цветком. Но она, не переставая, звенела своим тонким дискантом, звенела жалкие и гадко-льстивые слова — и этим нарушала иллюзию.

— Погоди же, погоди!..— уже раздражаясь, говорил Павел Андреевич.

Ему хотелось, чтобы она замолчала, не суетилась так и дала бы возможность подробно рассмотреть ее. Он медленно шел вдоль тротуара и, не сводя с нее глаз, думал о том, чем бы это заставить ее замолчать... Подать ей? Она будет благодарить. Повести ее к себе? Вот нелепость!.. И, думая так, он в восхищении повторял про

себя: «Но как она красива! Ангельски, именно ангельски красива!»

— Барин! Голубчик, подай!.. Мать дома больная, братишка грудной еще, по-дай Хри-ста...

— Стой же, погоди. Я тебе дам, понимаешь? Дам! Много дам. Помолчи. Погоди. Скажи мне прежде — ты откуда? Чья ты? Кто твой отец, мать? Давно ли ты это... то есть просишь?

С ее поднятого кверху личика детски доверчиво смотрели ему в лицо синие глазки и как-то невольно вызывали у Павла Андреевича некоторые смутные, незнакомые ему чувства и располагали его к исключительным поступкам. Он оглянулся вокруг... Улица была пуста, и вечер понемногу окутывал ее своей мягкой тенью. Тогда он взял девочку за руку и пошел, стараясь соразмерять свои шаги с ее торопливой, вертлявой походкой. Это ему плохо удавалось, и он сам как-то прыгал, то опережая ее, то отставая; а она семенила около него, дергая его руку и громко, на всю улицу рассказывала:

— Я ведь здешняя. Мы там живем, внизу, в слободе. Отец-то помер. От водки это. А мамка тоже померла, оттого что он ее бил уж очень. Я с теткой Нисой теперь и живу. Она говорит мне: «Коли ты, говорит, постреленок, мало насбираешь, я те за вихры отвожу». Тетка-то Ниса говорит... Сердитая тоже. Барин хороший...

— Погоди же, я сказал — дам! Но ведь ты говорила, что дома мать у тебя и брат больные...

— Это тетка Ниса велит, чтобы жалобней было. А как не жалобно, не будут подавать, говорит. «Ты, говорит, дьяволенок, смотри у меня, мало не приноси. Ври, говорит, во всю мочь... И чтобы жалобнее... а то и не станут подавать...»

Тонкий, звенящий дискант ребенка всё сильнее возбуждал в нем странные, непривычные мысли. Он шагал медленно, задумчиво, плотно закутавшись шинелью, и, вслушиваясь в музыку ее речи, подумал, что ей, должно быть, очень холодно в этот свежий весенний вечер, и, машинально взглянув на ее ноги, почувствовал, что его неприятно укололо где-то. Грязные, стоптанные башмачишки на ее быстро и гулко топавших о мостовую

ножках широко улыбались всякий раз, когда она высоко подымала ногу, улыбались, и эта улыбка открывала маленькие голые и мокрые пальцы, покрасневшие от холода. И как она грязна и оборвана!.. Он поднял голову и посмотрел вдоль улицы.

Два ряда домов, больших и холодных, неприветливо смотрели темными пятнами окон на него и его спутницу. В их взглядах было что-то ироническое и строго определенное. И казалось, они были недовольны им, Павлом Андреевичем, за то, что он позволял так громко звенеть этой маленькой нищей.

Павел Андреевич, приведенный в состояние какого-то тоскливого гипноза ее говором, чувствуя себя утомленным и разбитым, вдруг почему-то подумал, что если бы кто-нибудь из знакомых встретил его в этой компании, то... было бы очень нелепо. Его и так незаслуженно считают мизантропом только за то, что он не хочет близких знакомств, тогда как он не хочет их совершенно не из человеконенавистничества. Просто потому не следует ставить себя с людьми в так называемые близкие, дружеские отношения, что такие отношения ведут за собой нелепую обязанность выслушивать от них массу рассказов о разных пошлостях, об интригах, о здоровье и характере их жен и других мелких житейских событиях, до расстройства желудка включительно. На что нужны эти пустые и пошлые разговоры? Всё это неважно и ненужно. Покой, созерцание, иногда любопытство, но любопытство без страсти, без самозабвения,— вот нормальная жизнь. Внутренний мир современного человека настолько сложен и разнообразен, что, изучая его, можно совершенно и полно удовлетворить тщеславную жажду ума больше знать. А мир внешних явлений — он слишком нервозен и слишком скоро утомляет человека, который хочет жить просто и спокойно. Чем больше изолирован человек от других людей, тем он счастливее, ибо счастие — это покой, не больше. Зачем же нужна эта ангельски красивая девочка в лохмотьях ему, Павлу Андреевичу, товарищу прокурора и человеку с установившимися взглядами на жизнь? Она — пролог к тяжелой и глупой драме, которую он не хочет видеть.

Они уже знакомы ему, эти простые драмы, и даже надоели. Ее жалко; но что же дальше? Чем он мог бы помочь ей? Уж, конечно, не деньгами, которые проглотила бы тетя Ниса. Другого же выхода он не видит... Чего ж она звенит ему в уши свою унылую комариную песню? Зачем всё это надо? Фу, как всё это ненормально и глупо!..

Выпустив руку девочки из своей, Павел Андреевич вынул портмоне и задумался. Сколько ей дать? Рубль мог бы временно облегчить ее положение, но он может развить аппетит тети Нисы и через три дня ухудшить это положение.

— Те, двое-то, жадные... тридцать пять копеек уж есть, а они еще всё просят. Кабы я насбирала тридцать-то пять копеек, так домой бы пошла! — говорила девочка укоризненно и серьезно.

Павел Андреевич заметил, что глаза ее блестят не по-детски сухо. Ее маленькая фигурка, сжатая холодом, стала еще меньше, а лохмотья как-то странно заершились. Она стала похожа из избитого совенка с выщипанными перьями. Он представил себе ее ночью одну, идущую по холодной молчаливой улице, среди подавляюще больших домов. Это была очень печальная картина... Что же ему с ней сделать? А он вновь почувствовал себя обязанным что-то сделать. Человек филантропического темперамента живо бы нашел выход из этого затруднительного положения; просто человек — не заметил бы ее, а он вот потерялся.

Его стало разбирать зло на себя; но в это время он увидал, что стоит у крыльца своей квартиры, и подумал, что самое лучшее — оставить ее ночевать в комнате Ефима, а наутро, может быть, что-нибудь и придумается.

— Ты пойдешь ко мне! — сказал он зябко прижавшейся к двери девочке, дергая ручку звонка.

Она не удивилась, ничего не сказала и даже вперед его юркнула в дверь, под ноги Ефима.

Павел Андреевич усмехнулся на молчаливый вопрос своего слуги, разделся, скомандовал своей гостье: «Разденься!», Ефиму: «Умой ее!» — и, крепко потирая немного озябшие руки, вошел к себе в комнату и сел за стол в глубокое мягкое кресло.

Перед ним урчал и фыркал самовар, из отверстия в крышке с легким свистом вылетала струйка пара. В этом свисте Павлу Андреевичу послышалось что-то насмешливое, а в глухом урчании воды — нечто недовольное.

Он облокотился на стол руками и, закрыв глаза,— любимая привычка,— представил себе свою гостью одетой в чистое платье, причесанной и умытой... Это было идеально красиво.

— А куда же прикажете ее деть? — спросил Ефим, просовывая голову в дверь.

Павел Андреевич обернулся к нему:

— А как ты думал, Ефим, куда ее?

— Да ведь как же иначе?.. Напоить чаем и домой отправить. Я отведу,— решил тот.

— Гм! — снова задумался Павел Андреевич.— Хорошо, пусть будет так.

И он стал наливать себе чай. Он любил вечерний чай. Под меланхолические песни самовара, в этой залитой розовым светом лампы комнатке так славно думается и дышится. Всё так тепло, мягко, родственно... И так тихо, сладко-тихо... Но сегодня вот в его квартире новые звуки: это тонкий голос гостьи в комнате Ефима. Она всё что-то рассказывает там без устали, и изредка глухой бас Ефима коротко перебивает ее. Что ждет завтра эту девочку? Что ждет ее через десять лет?..

«Однако в какое добродетельно-минорное настроение погружаюсь я! О чем, собственно, можно тут думать? О помощи ей? Близоруко и неумно. Их тысячи, этих уличных детей, и чье-либо единичное усилие не улучшит их положения. Это обязанность общества, если ему угодно. И потом, в ней, наверное, есть уже инстинкты, которых не победишь воспитанием и которые со временем могут развиться. Бог с ней, с этой девочкой!.. В лучшем случае она будет кокоткой, если она умна, конечно...»

Но Павел Андреевич чувствовал, что как бы он ни думал,— ему сегодня почему-то плохо думалось, такими всё избитыми, общими местами, ни одной своей, оригинальной мысли... Почему бы это? Как бы он ни думал, ему не исчерпать этого вопроса о девочке, что-то остает-

ся, уклоняясь от определения словами, что-то такое смутное, неприятное... Не зарождается ли это сознание обязанности по отношению к ней, все-таки же человеку? Едва ли, едва ли... Едва ли и существует такая обязанность. Законы общежития, нравственности и вообще всевозможные законы — это скорее всего искусственные логические построения, прекрасно доказывающие хорошие чувства и намерения их авторов — не больше.

— Ефим! — позвал Павел Андреевич.— Ну, как она?

— Уснула, Павел Андреевич! — умиленно сообщил Ефим.

— Уснула?! Гм!.. Как же теперь?

— До утра уж, что буде. Утром я ее и справлю. Что ж она? Спит, не мешает. Всё щебетала. Тридцать пять копеек, говорит... Видно, тридцать пять копеек для нее сто рублей. Умильная девочка! Тридцать пять копеек кто-то, вишь, набрал.

— Да, да, я это знаю. Ну, пусть ее спит там! — рассеянно заметил Павел Андреевич.

— Вот, вот! Пускай ее с богом! А мне бы, Павел Андреевич, уйти надо, позвольте! — сказал Ефим.

— Ну, а девочка как же?

— Что ж она? Спит. Я ведь ненадолго.

— Ага, иди, иди. Можешь. Скорее только, а то она проснется, и я не буду знать, что делать.

— Что ж еще делать? Ничего не надо делать. Я кухарке скажу, коли что...— немного удивленно произнес Ефим и скрылся.

Павел Андреевич закурил папиросу и лег на диван. Самовар затих. Теперь вся комната была наполнена стуком маятника столовых часов.

«Нужно переменить эти часы, у них слишком стучит маятник...» Но здесь Павел Андреевич поймал себя на очень странном ощущении. Это была какая-то боязнь думать; нечто совершенно новое. Где-то в нем шевелилось смутное, незнакомое чувство, назойливо требовавшее формулировки.

«Пустяки это! Всё пустяки!» — мысленно отмахнулся он. Но, полежав немного, он почувствовал, что ему необходимо встать и пойти посмотреть, как она, эта девочка, спит там.

Он встал, пошел и, проходя мимо зеркала, увидал на своем лице сконфуженную и растерянную улыбку. Ему стало больно от этого.

«Как я сегодня глуп!» — попробовал он урезонить себя, но не достиг цели.

Вот перед ним кровать Ефима, завешанная ситцевым пологом. За этим пологом слышится ровное, глубокое дыхание. Павел Андреевич снял со стены лампу и, раздвинув полог, стал смотреть.

Гостья спала вверх лицом, широко и свободно раскинувшись. Ее кудри осыпали своими кольцами всё личико, и полуоткрытые губки, улыбаясь, показывали маленькие белые зубы. Крохотная грудь подымалась и опускалась так ровно, и вся она, хорошенькая и миниатюрная, была так одинока, жалка...

Павел Андреевич нахмурил брови и быстро отошел. А когда он лег на диван, то почувствовал, что его настроение надолго испорчено и, кажется, это еще не всё... «Может быть, это приведет меня к тому, что я покаюсь в эгоизме, к великому удовольствию господ идеалистов и прочих любителей сентиментальности?» — холодно и едко спросил он сам себя. «Покаюсь и смиренно займусь добродетельными волнениями о ближнем и судьбах его?» Он чувствовал, как думы оставляют тоскливый и злой осадок. И, как ни старался, не мог забыть о том, что в его квартире, кроме его уравновешенной, покойной жизни, есть еще жизнь — в зародыше, маленькая пока жизнь; в будущем она будет грязной и тяжелой историей, может быть, очень длинной... Хорошо, коли тупой, растительной, но если проснется сознание?.. Будет бесконечная, мучительная борьба, и кончится она падением. «И, может быть, я же, тогда уже прокурор, как дважды два четыре, докажу господам присяжным необходимость засадить эту девочку в тюрьму. Какая ирония!»

Он закрыл глаза и, убавив огонь в лампе, неподвижно вытянулся на диване.

Одна за другой мысли рождались и роились в его голове, и, когда он с усилием оттаскивал их от себя на минуту, он казался себе бессильным, жалким, порабощаемым чем-то, виноватым в чем-то. И вся эта путаница

ощущений была так туманна и смутна для него. «Зачем я привел эту девочку? — тоскливо спрашивал он себя.— Ведь десять человек подали и прошли мимо нее, и, наверное, это были люди менее установившиеся и более чувствительные, чем я. О, наверное! Зачем же именно я должен болеть за нее?» Но тут ему стало смешно над собой... «Спрашивать так — это спрашивать, зачем кусок карниза упал на голову именно этого человека? Эта девочка — тоже случайная шутка судьбы...»

У него выступил на лбу холодный пот, и что-то давило на легкие, мешая дышать. Он сбросил пиджак и жакет, расстегнул ворот рубахи и снова закрыл глаза.

Когда он раздевался, то заметил, что портьера на двери странно колыхнулась, но не обратил на это внимания. Поглощенный своими думами и меланхолическим полумраком комнаты, он лежал с закрытыми глазами, и время, казалось ему, тянется невыносимо медленно, несмотря на торопливое тиканье часов...

Вдруг ему почудился какой-то шорох... Он полуоткрыл глаза и вздрогнул, увидав, что спущенная с петель и совершенно закрывавшая дверь портьера тихо колеблется, отводимая в сторону маленькой детской рукой. Не шевелясь, Павел Андреевич наблюдал полузакрытыми глазами, удерживая дыхание, стараясь ни звуком не выдать свое присутствие в комнате. На темном фоне портьеры показалась золотистая головка его гостьи, осторожно повертывавшаяся, осматривая комнату. Синие детские глазки были широко раскрыты, серьезны и не по-детски решительны. Розоватого света лампы было достаточно много для того, чтобы ясно видеть каждую черточку лица. Напряженное внимание сделало его менее красивым, но как-то более фантастичным и приковывавшим к себе. Несколько кудрей капризно поднялись надо лбом и образовали из себя ажурную корону. Чисто умытое личико было бледно, несмотря на розоватый свет лампы, мягко и ласково освещавший его, и глаза казались Павлу Андреевичу гораздо более красивыми, чем раньше.

Вот она осторожно подняла правую ножку, босую и грязную, но тонкую и красивую, подняла и сделала шаг к столу, где стояла лампа и масса безделушек. Потом

сделала еще шаг и повернула головку в сторону Павла Андреевича... Тут она вздрогнула и сделала быстрое движение к двери, взмахнув руками и простерев их перед собой, точно собираясь бежать. Павел Андреевич постарался дышать ровно и так громко, чтоб она слышала его дыхание.

Она неподвижно стояла с полураскрытыми губками и с выражением детского испуга на своем ангельском личике смотрела в его сторону и вслушивалась.

Грязное платье было ей и узко и коротко, ноги по колена были видны из-под него, и руки далеко высовывались из рукавов; застегнута была только одна пуговица, у талии, и белая тонкая шейка с частью груди была открыта.

Павел Андреевич пожелал тихонько исчезнуть, оставив на сцене только свои глаза.

Но она, очевидно, убедилась в его крепком сне и в три быстрых и гибких, как у котенка, движения очутилась у стола. Здесь она положила локотки на его край и, подперев ладонями головку, улыбнулась такой большой и светлой улыбкой — и зачем-то высоко поджала под платье левую ножку. Затем выразила на своем лице удивление и удовольствие, закачала из стороны в сторону головкой и, осторожно взяв в ручку пресс-папье, изображавшее медведицу с двумя медвежатами, подвинула его к себе, наклонила над ним головку и, точно не решаясь более дотрагиваться до него руками, вертела головкой из стороны в сторону, осматривая его с выражением восхищения на лице, улыбаясь и что-то тихо, тихо шепча своими пунцовыми маленькими губками, а ее кудри дрожали и падали на стол. Потом она благоговейно и осторожно отодвинула от себя пресс и взяла пепельницу; повторив над нею так же тщательно процедуру осмотра, она отодвинула и ее, и так перебрала на столе все вещи и, вздохнув, снова поставив локти на стол, стала смотреть... Потом вдруг о чем-то вспомнила,— отшатнулась от стола и, оборотясь к Павлу Андреевичу, пошла к нему своей неслышной, эластичной походкой котенка.

Павел Андреевич изумился и как-то застыл. Но его изумление чуть не выразилось криком, когда она подо-

шла к стулу, на который он сложил свое платье, начала рыться в нем и наконец, бросив его, села на пол почти в ногах у Павла Андреевича.

Он ничего не понимал. Ему теперь нельзя было видеть, что именно она делает, и он едва удержался от желания повернуться и принять такое положение, которое бы позволяло ему наблюдать за ней. Его как-то жгло любопытство.

Послышался звон монет, падавших откуда-то на ковер.

Павел Андреевич вздрогнул и понял...

Первым его желанием было встать и помешать ей; но что-то помешало ему самому сделать это. Он лежал и слушал, как монеты терлись в ее руках одна о другую.

«Ворует!.. воровка!!.» — произнес про себя Павел Андреевич и почувствовал, что эти два слова неприложимы к девочке с золотыми кудрями, маленькой уличной нищей красавице. Он слушал, и мысли одна за другой кололи ему мозг, как иглы...

Он услыхал тихий шёпот:

— Это гривенник... и это гривенник. И это... и это; только это большой. Тут уж есть и тридцать пять, и больше есть! О-о-о!.. Вот теперь ну-ка!.. Еще, может, мало тебе?!. жадера ты старая!..

Павел Андреевич почувствовал, что ему невыносимо тяжело и что эта сцена должна быть кончена. Но как, как? Проснуться ему? Это испугает ее до сумасшествия...

Вдруг в комнате Ефима послышался шорох и шаги. Павел Андреевич вздохнул свободно и легко.

— Ну и штучка! — послышался изумленный возглас Ефима.

Девочка не слыхала ни шагов, ни шороха, но она услыхала восклицание.

Вскочив на ноги, она бросилась к двери, и вслед за ней, предательски звеня, покатились серебряные и медные монеты. В дверях стоял Ефим с испуганным лицом. Она попала прямо в его простертые к ней навстречу руки.

— Дяденька!..— вскрикнула она умоляюще тоскливо.

— Ах ты, дрянь!..— густо зашептал Ефим.— Воровка ты!.. А?!. Я те!..

Павел Андреевич решил, что пора выступить на сцену и ему.

— Ефим!..— крикнул он, встав с дивана, и, подходя к двери, строго спросил: — Это что за возня?

— А... ворует, Павел Андреевич!.. — растерянно забормотал Ефим, крепко держа девочку в своих руках и как-то странно и недоумевающе переводя глаза с нее на Павла Андреевича.— Ворует... А...

Девочка вся дрожала в испуге и волнении и крепко жалась к нему, стараясь не видеть барина.

— Ее пригрели, можно сказать, а она... на-ко вот!..— говорил Ефим.— Обокрасть хотела! Такая-то малюсенькая! А?!. Ребенок, а тоже поди-ка!.. человек вполне. Ах ты... ты... ты... девчонка скверная! Ух ты... ты... ты!.. Ах, ах!.. Да разве можно в таком малом возрасте воровать?!.

Павлу Андреевичу страстно захотелось, чтоб это скорее кончилось... И тоном полного равнодушия, с странной торопливостью, удивившей Ефима еще более, чем самый тон, он заговорил:

— Вот возьми рубль, найми извозчика и отвези ее домой. Скорее!.. Слышишь? Живо собирайся и — марш! Отвези и отдай! И не говори ничего там дома у нее... Или нет, скажи всё; да, лучше скажи, всё как есть и скажи! Ну, ступай же, ступай!

Ефим замолчал и, как-то особенно внимательно посмотрев на барина, надел свою шубу и стал торопливо кутать молчавшую и всё пугливо жавшуюся к нему девочку — в ее лохмотья.

— Ну, идем! — сказал он, кончив одевать ее, и быстро вышел из комнаты, тихонько толкая девочку вперед себя.

Павел Андреевич всё еще стоял в дверях.

— Извозчик!..— донеслось до его слуха с улицы. Прогремела пролетка и остановилась у крыльца. Потом опять загремела, глухо, протестующе...

Тогда Павел Андреевич вошел в комнату, прибавил света в лампе и сел к столу, где за пять минут перед тем маленькая девочка рассматривала его вещи. Павлу

Андреевичу казалось, что они приняли для него какой-то новый, чуждый ему отпечаток. Он сидел и сосредоточенно-мрачно смотрел на них.

— Это долго не забудешь, чёрт возьми! — вполголоса проговорил он.— О да, очень долго!

Он встал с кресла и взволнованно подошел к окну.

Ночь была темна и тиха. Дома напротив окна, одетые тьмой, были мрачно-холодны.

— Как это странно!.. Как это гадко! — угрюмо прошептал Павел Андреевич и прислонился лбом к холодному и влажному стеклу окна. Он чувствовал себя разбитым... Он давно уклонялся от жизни, и ему казалось, что он достиг этого, что жизнь никогда не сумеет задеть его, нарушить его безучастное отношение к ней, что он гарантирован от тех тяжелых дум, волнений, которые остались там, далеко назади, и которые некогда волновали его... И вот они снова врываются... уже ворвались в его душу!..

— Да неужели же нельзя быть свободным? Не чувствовать себя обязанным что-то делать, чем-то волноваться — нельзя? Хорошо. Но если так — это рабство! — Он вытер рукой влажный лоб и прошелся по комнате.— Может быть, это у меня нервы? Только нервы? И... скоро пройдет?..

Часы тикали быстро и резко — тик-так, тик-так! В комнате было пусто, холодно и как-то особенно тихо. Так тихо никогда не было в этой комнате.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ

Николай Петрович Дудочка считал себя философом, и это обстоятельство было одной из причин его воскресных прогулок по кладбищу. Он знал троих философов, выработавших себе некоторые особенности: Бенедикт Спиноза любил наблюдать жизнь и нравы пауков и весело смеялся, когда они пожирали друг друга; аккуратность Иммануила Канта служила лучшим средством для проверки часов кенигсбергских обывателей; а товарищ Николая Петровича — Акакий Двоеточие, землемер по профессии, но по призванию тоже философ, всякий раз, когда говорил о чем-нибудь мудром и высоком, задумчиво дергал себя за левое ухо и во время пауз глубокомысленно высовывал кончик языка, чем как бы дразнил и слушателя и те вопросы, о которых говорил.

Николай Петрович тоже приобрел себе особенность — прогулки по кладбищу в воскресенья от двенадцати часов утра до трех дня.

Случилось это так:

Однажды он, не зная, на что бы убить свободное время, пошел гулять по городу и незаметно для себя, увлеченный своими думами, очутился на ниве мертвых.

Это было весной. Кустарники и деревья, густо покрывавшие старое, тесно засеянное могилами кладбище, только что оделись в пышные свежие одежды; их гибкие ветви ласково осеняли камни памятников и поросшие шёлковой зеленью холмы; солнце сияло так молодо и ясно... а когда над могилами проносился легкий и душистый весенний ветер, трава и листья меланхолично вздыхали, точно сожалея о тех, что лежат в земле и никогда уж больше, никогда не увидят весны и не послушают ее музыки. Тяжелые памятники, теряясь

в зелени, смотрели из нее так хмуро и сосредоточенно и, казалось, были недовольны тем, что эта веселая весна не оставляет в покое и кладбище, отнимая у них ту солидную важность и тоскливую красоту, которая так полна осенью гармонии с голыми сучьями дерев, желтым листом, опавшим на землю, и с серым, печальным небом. Теперь все они лишились цельности, и это весеннее, яркое небо, и веселая зелень, и рой бабочек, порхающих повсюду, всё, что принесла с собой весна,— отталкивает их на задний план, тушует собой и как-то обворовывает их.

Николай Петрович ходил по кладбищу и думал о равнодушии природы, о жалкой участи людей, о вечном покое смерти и обо всем, что вызывает в уме вид массы могил, облитых живыми лучами весеннего солнца. Ему понравилось это печальное место; оно так сильно волновало мысли и заставляло так грустно и глубоко задумываться; понравился ему и самый характер дум, и, наконец, он сам себе понравился, как человек, умеющий подумать о жизни и притом думающий совершенно в духе времени.

Он не любил читать, но пессимизм, тот, что встречается в обыденной жизни, по большей части надутый или рисующийся, редко умный и искренний и никогда философский,— был знаком ему и нравился своим фрондерством.

Покойный Акакий Двоеточие говорил ему, что пессимизм — это единственная умная теория в свете и что всяк, кто не пессимист,— трус и идиот: «Ты, братец мой, вникни только: всю жизнь насмарку! понимаешь? Всю жизнь! Вот что такое пессимизм! Самый, братец ты мой, высокий скачок человеческого ума, ибо дальше отрицания жизни никуда не пойдешь. А коли там разные эти говорят, что, дескать, все должны жить для жизни, плюнь им в рожу! Никакого, братец мой, толку из этой жизни не может быть; я, Акакий Двоеточие, в том тебе порука! Выпьем-ка еще!..» Они выпивали,— и бедняга Акакий допился наконец до белой горячки, чем закончил свою жизненную карьеру и дал лишний предлог своему товарищу чаще посещать кладбище.

Потом он уже настолько привык, что то воскресенье, в которое почему-либо ему не удавалось совершить своей прогулки, казалось ему потерянным. Ему было болезненно приятно сидеть где-нибудь в тенистом уголке на могиле, думать о том, кто лежит в ней, и день за днем восстановлять пред собой его жизнь. Выходили грустные истории, и чем более логично они были построены, тем более Николай Петрович нравился себе и тем дальше уходил от здоровой жизни в мир болезненно тоскливой фантазии, в мрачно красивый мир, заслонявший собой ту простенькую жизнь, что проходила перед его глазами в течение недели, от одного воскресенья до другого. Служба, товарищи, женщины, всё понемногу теряло в глазах Николая Петровича свою цену, рисуясь ему мелким и смешным...

Над ним стали смеяться, заметив, что он избегает общества, о нем заговорили, что он хочет пойти по стопам пьяницы Двоеточия, зашибленного жизнью, безвольного, жалкого человека, смеялись, клеветали, но, как всегда это бывает, никто не догадался серьезно заглянуть в его внутренний мир; он обозлился, и скоро вышло как-то так, что он остался совершенно одинок и еще более полюбил свои экскурсии в область пессимистических предположений и картин. И, всё более влюбляясь в себя, гордясь своим исключительным положением, он потерял наконец интерес ко всему, что выходило из рамок его меланхоличных фантазий. В этой жизни, среди людей, не связанных друг с другом ни солидарностью целей, ни взаимным уважением и верой друг в друга, так легко и быстро можно погибнуть и потеряться, раз сам недостаточно стоек и не имеешь никого, для кого бы твое существование было ценно и важно.

День, в который Николай Петрович был очевидцем исключительного факта — факта, чуть было не выбившего его из пессимистической колеи и о котором он после рассказывал, скрывая свое смущение за скептическим тоном и улыбкой, этот августовский день был сух и жарок.

Сняв шляпу и обмахиваясь ею, Николай Петрович ходил по извилистым дорожкам кладбища и, в сотый

раз прочитывая надписи на крестах и памятниках, грустно улыбался им, как старым знакомым. Бывшие люди, лежавшие мирно и покойно под этими крестами и памятниками, были наделены Николаем Петровичем сочиненными им биографиями, и он расхаживал, ничуть не убавляя мрачных красок и тоски, а еще более увеличивая их. У него прогрессировала страсть к творчеству несчастий и бед, коими он уснащал и без того, наверное, не очень светлую жизнь своих упокоенных объектов.

На кладбище было тихо и пусто. Деревья и кусты замерли в знойном воздухе и, не шевеля листвой, стояли и, казалось, так же как и Николай Петрович,— думали о смерти, несчастиях, горе и о прочих неприятных вещах. Трава на могилах, покрытая пылью, тоже грустно склонила стебли...

Николай Петрович проходил мимо богатого мавзолея, обнесенного вычурной решеткой, с клумбами цветов, разбитыми в ней. Цветы заставили Николая Петровича улыбнуться.

«Цветы на могиле!— думал он...— Тот, кто посадил их тут, посадил, несомненно, с добрыми намерениями; но их присутствие от этого не стало более уместным. И мне кажется, что они как бы говорят тому, кто лежит там, в земле, дающей им сок жизни: „Смотри, ты умер, но это нам ничуть не мешает цвести!“ И ничему не мешает твоя смерть. Ты, может быть, что-то думал о себе, чем-то считал себя? Напрасно. Был ты — была жизнь, и нет тебя — есть жизнь. И твое присутствие или отсутствие в жизни не дает ей никакого особого колорита. Может быть, ты предполагал, что ты был нужен кому-то и что кто-то будет сокрушаться о тебе? Я часто хожу мимо твоего места и никогда не видал, чтоб трава вокруг решетки твоего памятника была смята. Очевидно, никто не бывает у тебя, дружище!.. Может быть, ты куда-то порывался, когда жил,— и это сделало твою жизнь мучительной и беспокойной?.. Э, лучше бы ты помнил всегда о том, что все порывы ввысь только ускоряют тот день, в который мы отправляемся вниз, в землю, где так сыро и холодно и куда не следует торопиться, раз ты появился на свете, ибо все равно не избежишь того, что неизбежно...»

Николай Петрович вздохнул и огляпулся.

Кладбище в этот знойный день было настроено в унисон с его миросозерцанием. Безмолвное, пустынное, подавленное зноем, оно смотрело каждой деталью своей в жаркое небо так сосредоточенно-мрачно и неподвижно, точно говорило ему: «Всё созданное и одушевленное тобою принадлежит мне. Ты все-таки хочешь создавать? Спасибо за хлопоты; но, право, не знаю, нужны ли они тебе и мне».

«Старая игра в создание и разрушение — жестокая игра!» — думал Николай Петрович; но мирился с ней,— она необходима. Мы так легко миримся со всем и так быстро привыкаем ко всему, что давно бы уже привыкли к мысли о бесцельности бытия, если б подобная мысль не оскорбляла наше тщеславие.

«А! вот она, могила известности! Ну что, старый идеалист? Каково тебе там?— остановился Николай Петрович перед свежей могилой, покрытой венками.— Отдыхай от своей трудовой жизни, за которую тебе заплатили этими пошлыми венками и — только! Твои похороны помпой и пышностью, которой они были обставлены, доставили много развлечения обществу, и твоя смерть дала готовую тему для разговоров и газетных статей на три дня. Это всё. Немного мало за сорок лет работы, немного мало!.. И до сей поры никто не позаботится привести в порядок твое последнее место на земле...»

Николай Петрович пошел дальше, кивнув могиле головой. Он помнил человека, что лежит в ней. Больной, иссохший старик с лихорадочно возбужденной речью и не по-старчески энергично сверкавшими глазами, вечно о чем-то хлопотавший, что-то отстаивавший, кого-то проклинавший,— был ему совершенно непонятен. «Какие пружины им двигают?»— спрашивал себя Николай Петрович, когда видел, как тот злился, радовался, тосковал и всячески сокращал свои дни. И ему казалось, что этот старик, несмотря на всю красоту и цельность его внутреннего мира, недалек. Неужели он не понимает, что все его хлопоты — жалкий пуф? Разве он считает себя способным перестроить жизнь? Перестроить жизнь — это значит, по крайней мере, создать нового

человека... И он про себя улыбался скептически, когда слышал об удачах или неудачах этого старого чудака.

Месяца полтора тому назад этот чудак отошел в царство теней. Над его могилой поговорили об его заслугах и — покончили с ним. И из всего, что говорилось о нем, самой красивой и искренней речью была речь какого-то пьяного молодого человека.

— Прощай, брат!— сказал он.— Прощай, старый вояка! Ты оставил после себя гораздо больше торжествующих врагов, чем опечаленных друзей. Эт-то хорошо! Эт-то очень похвально!..

Николай Петрович вспомнил эту маленькую, но верную характеристику покойного и печально улыбнулся. В ней всё, до последней буквы, было верно... Врагов осталось больше, друзей — меньше... Много врагов имеет только хороший и честный боец.

Дорожка, по которой шел Николай Петрович, повернула за большой мраморный памятник, и из-за него прямо на Николая Петровича вышли два мужика. Они смущенно посторонились, прижимаясь к решетке памятника и, молча, вопросительно посмотрев в лицо встретившегося барина, пропустили его мимо себя.

— Спросить бы у него...— услыхал Николай Петрович возглас вполголоса.

— Ну, чего? Говорю, знаю где! Видал я, как хоронили-то.

«О ком бы это они?»— подумал Николай Петрович и пошел вперед. Но через минуту он ощутил в себе желание узнать, кого они ищут, воротился и тихо пошел по дорожке вслед за ними. Впереди его, шагах в десяти, сквозь ветви кустов и меж памятников, тихо плыли две серые, отрепанные фигуры, то и дело оглядываясь вокруг себя и останавливаясь.

— Вот она!— донеслось до ушей Николая Петровича довольное восклицание.

«А, это плотники, очевидно!— подумал Николай Петрович и тотчас же вспомнил, что сегодня воскресенье.— Так они пришли просто смерить ограду...» Но это заключение не убило в нем интереса к двум му-

жикам. Он прибавил шагу и, подойдя ближе, увидал, что две серые фигуры стали на колени на сухие комья глины у могилы старого чудака, стали и истово крестятся, то и дело склоняя головы к земле.

— Ба!.. Вот как!— воскликнул Николай Петрович. Он почувствовал, что что-то острое, приятное кольнуло ему сердце, подошел ближе и стал в двух шагах, за кустами, позади молившихся мужиков. Они молились усердно и долго.

— Го-осподи!— вздыхал один, постарше, в дырявом расстегнутом полушубке, седой, грязный и лохматый,— вздыхал и, подымая голову к небу, долго смотрел туда.

Другой, молодой парень с сухим и хмурым лицом, молился молча, и всякий раз, когда он склонялся в землю, русые подстриженные в кружок волосы встряхивались и падали ему на лоб и виски. Он отводил их левой рукой, не переставая креститься правой.

Осеняя их тенью, клен простирал над их головами свою вычурную листву и стоял неподвижно, замерев в зное летнего дня. Кругом всё молчало и было как-то особенно строго, пустынно...

Николаю Петровичу захотелось увидать их лица, и он было сделал движение, чтоб обойти могилу и стать против них, но в это время старший вздохнул и, проговорив вслух: «Упокой, господи, душу его с угодниками твоими!» — кончил молиться и сел на землю, боком к могиле и в профиль к Николаю Петровичу. Младший тоже сел рядом, положив свой картуз на могилу, рядом с поблекшим венком живых цветов. По левой щеке старшего, обращенной к Николаю Петровичу, медленно стекала мутная слеза; она не отражала в себе лучей солнца, бивших прямо в старое, морщинистое лицо. Лицо младшего было сосредоточенно и сухо, лоб разрезан глубокой, вдумчивой морщиной; он вытащил из кармана своего серого суконного пиджака засаленный кисет и медленно свертывал папиросу. Старый, обняв руками колена, молча сидел и покачивался взад и вперед.

— Вот, значит, на этом самом месте и того...— заговорил он, вздыхая.

— Как бишь ему фамилия-то была?— спросил младший, не подымая головы.

— Фамилия?— Старший поднял голову кверху, зачем-то плотно сжал губы и стал расчесывать пальцами свою лохматую бороду.— Позабыл я фамилию. Мудрена была. Нам что фамилия?! Радетель был покойник, и-их какой! Как раз он земского агента за страховку расчесал! бра-ат ты мой!.. беды! «Вы, говорит, что? Трутень вы, значит, вот что! Крестьянство, говорит, своих денег не должно ждать!..» Ах ты, господи, сколько в нем души к крестьянству было!..

Старик умиленно замолчал и провел заскорузлой ладонью по лицу.

— Один раз и я его тоже видал...— закуривая папиросу, заговорил молодой.

— Видал? — оживился старый.

— Как же, возил его из волости на станцию. Седой, строгий. «Как, говорит, живете?»— «Эх, мол, барин, даже отвечать трудно на это. И самим непонятно, как живем. То есть коли мы, мол, в этот год с голоду не околеем все как есть, запишите — великое чудо случилось! Хлеб у нас, мол, такой, мыши и тараканы не кушают, вот как!» И расписываю ему, значит. А он молчал, молчал да и говорит: «Ну, ты, говорит, не очень куксись; оставь жалобы-то для баб. Хоть оно, говорит, и так, однако, говорит, и вы сами тоже не без греха. Гляди, говорит, в оба, а зри в три. Учись, разум тебе для того отпущен». И пошел, и пошел!.. И так это всё у него просто, складно, понятно. Ах ты, думаю! Остановил лошадей, слушаю: «Ты чево, говорит, не едешь?»— «Да вот, мол, не слышно вас от колес-то, потому гремят». Засмеялся. «Ах вы, говорит, младенцы!» Потом хлопнул меня в спину и говорит: «Приходи ко мне, в городе будешь. Я тебе расскажу, коли слушать хочешь...»

— Ну, и был ты?— спросил старик.

— Нет, не был. А к дому подходил раз, это точно. Подошел, вижу, карета стоит у крыльца; постоял, посмотрел. Боязно. Чего я ему? Потом еще кто-то приехал, тоже как бы очень важный господин. Еще, еще... Я и ушел.

Он кончил разговор; докурив папиросу, бросил ее на землю и сумрачно посмотрел на могилу.

— Н-да, был старатель для крестьянства. Теперь, брат, не попрыгаешь далеко-то, потому липнились!— проговорил старик и снова закачался.

Оба замолчали. В их позах много было такого грустного, потерянного, и по лицам, задумчивым и сиротски печальным, то и дело пробегали тени дум. Серые фигуры стали как-то еще больше серы, неуклюжи, и их молчание казалось Николаю Петровичу невероятно красноречивым. И, несмотря на то, что их губы не разжимались, ему казалось, что двое сирот всё еще говорят о своем «радетеле», говорят теми же уродливо скомпонованными фразами и тем же маловыразительным тоном, которым говорили две-три минуты тому назад.

А кладбище сосредоточенно и бесстрастно молчало, всё облитое зноем и пустынное, несмотря на то,что было густо заселено. Кресты, памятники и зелень деревьев— всё кладбище было давно знакомо Николаю Петровичу; но теперь оно, казалось ему, приобрело какую-то новую холодную и жестокую черту, резко изменившую его общую физиономию. Ему казалось, что каждый кусок креста и угол памятника, выглядывавшие из зелени, и сама эта зелень, мертво неподвижная,— всё дышало в жаркое ясное небо холодом смерти и ироническим отрицанием всего живого, чувствующего и жаждущего жизни.

Николай Петрович глубоко вздохнул и потер себе лоб ладонью. Ему захотелось поговорить с сиротами, но в это время старший из них повернул лицо к товарищу и снова заговорил:

— Тоже вот на земском однажды телешевского барина разнес он, ах ты, б-боже мой, как... Тот, значит, говорит: «Не родится хлеб, ну, так пусть овес сеют!» Это про нас-то. А он встал и давай его шпынять. «Вы, говорит, я, говорит, крестьянство, говорит,— все люди! Одинаковые люди, вот как!» Да еще и это не так, а «мужик, говорит, наш кормилец, и мы, говорит, его неоплатные должники. Потому, говорит, кабы не он, так вы бы, говорит, первый живот-то себе туго-натуго подпоясали; потому корму вам нет, коли мужика нет!» Чудесно

он его расколол. Тот так и загорелся со зла-то. Н-да! Человечек был, царствие ему небесное!..

И, крестясь, старик любовно посмотрел на могилу.

— Евстратова Николку в люди вывел, какой парень-то стал, банка! Приезжал прошлым годом к отцу-то, студент совсем как есть. «Через два, говорит, лета доктором буду»,— сообщил младший и снова стал вертеть папиросу.

— Школа тоже...— снова начал было старый, но, махнув рукой, замолк.

Николай Петрович чувствовал, что у него устали ноги, ему захотелось сесть. Сделав движение, он задел рукавом пальто за сучок. Раздался жалобный треск. Сироты дрогнули и, повернув в его сторону головы, подозрительно и пристально посмотрели на него, отвернулись; младший задымил папиросой, громко сплевывая слюну и равнодушно посматривая по сторонам, старший ткнулся подбородком в свои колени и, похожий на ком темно-серой высохшей грязи, сделался неподвижен.

Николай Петрович закрыл глаза и попытался восстановить тот взгляд, которым они оба с минуту смотрели на него. Холодное любопытство и жесткое недоверие светились в глазах младшего, а старший смотрел своими красными маленькими слезящимися глазами равнодушно и как-то снисходительно. Николай Петрович решил, что пора ему уйти отсюда.

— Тоже венков наложили ему. Ишь!.. Пойдем, Ефим!..— сказал старик, подымаясь на ноги.

— Айда!— коротко ответил тот и тоже встал с земли.

Затем, обнажив головы, они снова начали молиться. Младший молился молча, старший, захлебываясь, шептал что-то.

— Ну, прощай! — встал на колени молодой и поклонился в землю.

— До будущего разу!— прошептал старый.

Николай Петрович молчал и смотрел им вслед. Они шли качающейся, медленной походкой по извилистой дорожке и, ни разу не обернувшись назад к могиле, пропали.

Николай Петрович подошел к месту, где они сидели, посмотрел на могилу и на покрывавшие ее венки и улыбнулся. Венки были смяты, сухи, пыльны, жалки и как-то пошло смешны. Николай Петрович чувствовал себя скверно, недовольный их видом и еще чем-то. Но ему не хотелось разбираться в себе.

— Ба! Что ж такое? Ну, это исключительный факт. Исключительный факт, и только!..— и, пожав плечами, он быстро пошел к ограде кладбища.

После, рассказывая обо всем этом, он начинал так:

— Однажды я наблюдал очень красивый, исключительный факт...

СОН КОЛИ

I

Сначала Коля лежал в своей постельке смирно, но потом, почувствовав, что ему не хочется спать, сбросил с себя одеяло и, облокотившись одной рукой на подушку, другой раздвинул кисейный полог над собой и внимательно осмотрел комнату. В ней было много лунного света, вливавшегося через открытое окно; оно выходило в сад, и прямо перед ним стояли стройные клены; тени от их узорчатых листьев ползали по подоконнику, по полу и мягко колебались на пышных складках белой кисеи полога.

— Мама!— тонким, звенящим голоском тихо крикнул Коля и посмотрел в окно.

Тихо покачивая ветви кленов, теплый и мягкий ветер вносил в комнату запах только что расцветших яблонь, вишен и жасминов, а сквозь узор кленовых ветвей просвечивали темно-голубые кусочки неба с золотыми блестками звезд на них.

— Ма-а-мочка!— убедительно протянул Коля, сел в постельке и попытался стряхнуть с полога тени. Это ему не удавалось: они прыгали и снова ложились на старое место. Коле стало скучно дергать полог и ждать маму.

— Ня-ня!.. ня-ня!..— капризно затянул он.

В соседней комнате послышалось мягкое шуршанье ковра, и в открытой двери показалась мама. Лицо у ней было скучное и недовольное.

— Ну, чего тебе? Спи!— вполголоса сказала она, подходя к кроватке Коли.

— Я не хочу спать, мамочка!— просительно заявил Коля.— Лучше бы я сел к окну и стал смотреть в сад!..

— Пожалуйста, оставь эти выдумки! Спи знай. Уже скоро одиннадцать часов.

— Но если мне не хочется?!— спорил Коля.

— Считай до ста, захочешь. Ложись-ка, я тебя одену.

Она свалила его на бок в постельку, окутала плотно и крепко мягким одеялом и, задернув полог, неслышно отошла прочь.

Всё это Коле не понравилось. Визит мамы был как-то странно тороплив; она забыла поцеловать своего Колю, и он не уловил ласкового взгляда, который всегда сопровождал поцелуй. Это было грустно. Отвернувшись лицом к стене, Коля свернулся калачиком и, натянув себе на голову одеяло, стал усиленно дышать. От этого ему стало жарко и как-то еще более скучно... Тогда он сбросил одеяло и прислушался.

Клены под окном шептали, и где-то далеко звучала трещотка ночного сторожа... Вот и все звуки.

«Легла мама или нет?»— подумал Коля и, тихонько отдернув полог, посмотрел в смежную комнату.

Постель мамы, широкая и вся в кружевах, была приготовлена, но мама еще не легла.

«Она молится!»— решил Коля. Снова свалился на подушку и, напрягая слух, попробовал разобрать в шелесте ветра с листьями кленов тихие звуки молитв мамы... Ничего не было слышно.

— Ма-ма! ты что делаешь?— тихо спросил он, не подымая головы от подушки.

Ему не ответили.

— Мамочка... мне страшно!— крикнул Коля, на самом деле ощущая страх и чуть не выскочив из-за полога на пол.

— О, боже! вот несносный мальчишка!— громко прошептала мама, быстро подошла к нему и строго, вполголоса, заговорила:

— Ты что, хочешь рассердить меня? Это гадко! Спи! и молчи! А то я завтра...

Но тут Коля почувствовал себя обиженным ее тоном, быстро ткнулся в подушку и беззвучно заплакал.

Сквозь слезы он слышал, как мама всё еще строго говорила ему что-то о папе, о капризах, дурных мальчиках, семи годах и наконец ушла, поцеловав его в шейку, но таким холодным, торопливым поцелуем, который еще более обидел его.

Тихонько всхлипывая, Коля лежал и думал, что последнее время все в доме — и папа, и мама, и няня — такие скучные, буки, и не любят его больше. Никто ничего не говорит, и никто не хочет приласкать его. А что же он сделал дурного? Только разбил папин бокал, отломил уши у зайчика на его столе в кабинете и пролил чернила на диване в гостиной...

И няня стала тоже сердитая и скучная, не говорит сказок и всё переспрашивает: «а? а?»...

Почувствовав, что подушка мокра от слез и щеке от этого холодно, Коля тихонько поворотил подушку на другую сторону и решил, что и сам он, проснувшись завтра, не будет ни с кем говорить... Пусть его спрашивают, как он спал, что видел во сне... он будет молчать. Пусть!

В комнате мамы что-то зашуршало. Коля вздрогнул, плотнее завернулся в одеяло и закрыл глаза.

Прошло несколько минут, в течение которых он почувствовал, что скоро заснет, и, снова свернувшись в калачик, повернулся на бок лицом к двери в комнату мамы.

Было так странно тихо... Мама, должно быть, закрыла окно в сад.

«Господи благослови!»— мысленно произнес Коля и, сквозь сон подумав, какое завтра за обедом будет пирожное, тихонько зевнул.

— Милый... Наконец-то!.. Я ждала, ждала!..

Коля вздрогнул и открыл глаза.

Ему показалось, что тишина комнаты вылетела в окно, а шелест деревьев из сада превратился в шёпот многих людей и наполнил собою всё кругом, его и мамину спальню. Голоса, разнообразные по тембру, но все одинаково нежные по тону, сливались в славную, звучную музыку и рассказывали какую-то непонятную, но ласковую сказку, перебивая один другого и утопая один в другом.

— Вот и начинается сон!— подумал Коля и немного раздвинул кисею, чтобы посмотреть, что делается в комнате.

В ней, как и раньше, было много голубого лунного света, и мягкие пятна теней от листьев всё так же без-

звучно и медленно ползали по полу, по стене и по ковру около кровати мамы. Казалось, что эти мягкие красивые тени и породили музыкальный шёпот, убаюкивающий так нежно и ласково маленького мальчика, обиженного мамой...

Коля сквозь сон улыбнулся и, сделав отверстие в пологе шире, приник лицом к переплетенной крестами тесьме своей кровати.

— Скоро ли кончится это мучение?!— тоскливо и страстно раздалось в маминой комнате восклицание вполголоса.

Коля снова улыбнулся... Точно, это сама же мама и говорит.

— Э, подожди, еще немного! Всему придет конец. Ведь можно ждать, когда мы знаем, что впереди нас счастье!..

— Это говорит тоже как кто-то знакомый,— подумал Коля,— как Степан Никитич, вот кто!— И по пути Коля вспомнил этого славного Степана Никитича, который однажды подарил ему, Коле, резинового паяца, смешно пищавшего и лазившего по ниточке.

— Ну что, как он? Всё так же сладок?

Коля откинулся в глубь кроватки и стал усиленно тереть кулачками слипшиеся глаза.

В комнате мамы стояла сама она, красивая больше чем когда-либо, вся в белом, пышными складками облекавшем ее; распущенные черные, шелковисто блестевшие волосы живыми вьющимися локонами падали ей на спину и плечи и, мешаясь с одеждой, смотрели из складок, как змеи, такие же гибкие и тонкие; ее голые руки, голубоватые и прозрачные от лунного света, были так красиво вскинуты кверху и положены на плечи большого человека с громадными усами и длинными, откинутыми назад и спускавшимися до его широких плеч, пышными прядями волос на его склоненной к маме голове. Оба они стояли боком к Коле: мама, положив руки на плечи большого человека, который был бы совсем такой, как Степан Никитич, если б Степан Никитич не уехал из города давно уже, а он, этот человек, одной рукой обнял маму за талию, а другой — гладил ее по голове и играл ее волосами.

Они оба были так красивы, с ног до головы утопавшие в лунном свете и в пятнах теней, и оба говорили о чем-то так быстро, тихо и хорошо!.. Он наклонялся иногда и целовал маму в лицо, причем его усы мешались с ее локонами, а длинные волосы падали маме на руки... Он был похож на разбойника, о котором говорила однажды мама,— и страшен, и хорош, и огромный так же, как тот разбойник...

— Дорогой мой!— говорит ему мама.— Я без тебя так исстрадалась!..

А он прижимает ее к себе и берет на руки, и целует ее, целует так крепко и шепчет ей что-то...

Теперь Коле видны их лица.

Он, должно быть, очень добрый. У него большие глаза, и они так ласково и ярко светятся из-под густых приподнятых бровей... Мама у него на руках такая маленькая, как девочка... Она положила свою голову ему на плечо, их волосы смешались, и глаза мамы, большие и черные, смотрят ему в лицо, точно рассыпая из себя искры.

Ветер шепчет за окном, и кругом всё так хорошо, как хорошо бывает только в сказках и во сне...

Жадно наблюдая, с застывшей улыбкой на личике, Коля вдруг ощущает желание принять участие в этом сне...

— Мама!..— громко воскликнул он, сильным движением вставая в кроватке на ноги и простирая к ним руки.— Мама! Скажи ему, чтоб он так же поцеловал и меня!.. Я очень хочу!

Происходит что-то странное... Мама змеей соскальзывает с его рук на пол... Он одним движением исчезает куда-то. Коля чувствует на своем лице дыхание мамы, ее дрожащие руки у себя на плечах и слышит, как она прерывисто и испуганно говорит ему:

— Что ты? Что?.. Тебе приснилось что-то?.. да? Это тебе приснилось! Это сон, мой мальчик!.. Милый мой мальчик!..

Она целует его горячими как огонь губами и укладывает его, в то время как он бормочет ей:

— Да, я знаю, это сон... Но он такой ласковый... Я бы очень хотел, чтоб он поцеловал меня, мама!

— Он ушел, милочка! Его уж нет! Здесь никого не было... Это сон только! Спи, господь с тобой! Спи!..

Но в это время Коля слышит в соседней комнате стук и глухой сдерживаемый кашель. Он радостно улыбается и кричит:

— Вот он!.. Он!.. Это вы?.. Это он, мамочка! Покажи мне его... я очень хочу! Вы сон? да? Пойдите ко мне! Пожалуйста! Я очень люблю вас!.. Мама, скажи ему!..

— Голубчик мой, тебе приснилось!..— растерянно говорит мама и вся дрожит, оборачиваясь назад...

А в дверях стоит он и красивой улыбкой улыбается ей и Коле.

— Да? Я тебе нравлюсь, милый маленький мальчик?..

Он говорит это так звучно, тихо и, говоря, кивает своей большой головой. Его густые, пышные и длинные волосы встряхиваются и еще красивей рассыпаются по плечам.

— О! какой вы!.. Совсем как Степан Никитич!.. А кто вы? Вы давно пришли?.. Откуда пришли вы? Из сада? Вы ведь сон?

Стоя в кроватке с рукой, простертой в воздухе по направлению к окну, Коля очень хорош в своей длинной тонкой рубашке, открывавшей его грудь, с русой курчавой головкой и с выражением восхищения и любопытства на румяном детском личике, с широко раскрытыми голубыми глазами!

— Да, я сон, мой маленький красавец! я сон, и пришел издалека через вот это окно!— говорит большой человек, уже подошедший вплоть к кроватке Коли и положивший свою руку на его кудрявую головку.— Я тебе нравлюсь? Да?

— О!..— хочет сказать что-то Коля и, не найдя слов, протягивает ему свои губки, смешно сложив их в поцелуй.

— Милый мой мальчик!..— в один голос говорят они оба, сон и мама, стоявшая всё время, пока Коля говорил с новым знакомым, молча и смотревшая то с восторгом и боязнью на Колю, то с боязнью же, но вместе с тем с какой-то просьбой в лицо этого сна...

Сон крепко обнял Колю, поднял его из кроватки на свои руки и так ласково и крепко поцеловал его, что Коле стало даже больно.

— Что вы хотите со мной делать?— любопытно спросил Коля, доверчиво глядя в его глаза и тихонько щупая руками большие рыжие усы, щекотавшие ему грудь.

— Я сяду рядом с тобой под окно и расскажу тебе славную сказку, вот и всё!

— Ах! Как хорошо!— вскричал Коля.

— Тише, милый! Тише!..— вздрогнула мама, делая движение к нему, и, обращаясь к человеку, взявшему Колю на руки, заговорила:

— Ты простудишь его у окна... возьми хоть одеяло и закутай его. Ах, господи!..— воскликнула она тоскливо.— Как странно всё это! Что будет дальше?.. И потом — ему нужно спать. Но вдруг он завтра всё расскажет?! Что это...— и, заканчивая свои восклицания вопросительным взглядом в лицо большого человека с рыжими усами, она положила свою руку на его плечо.

— Э, не смущайся! Это сон — и только!

Сопровождая свои слова улыбкой, он сел в кресло к окну, и, быстро окутав молчавшего в очаровании Колю в теплое, мягкое одеяло, сказал, обращаясь к нему:

— Ты хочешь, я расскажу о себе? Да?

— Да!— тихо сказал Коля, глядя ему в глаза и уклоняясь от усов, теперь щекотавших ему шею и щеку.

Мама подвинула к креслу маленькую табуретку и села на нее, положив свою голову к ножкам Коли и глядя в лицо человека, хотевшего что-то рассказать и пока удобней усаживавшегося в глубокое кресло.

— Вот слушай!— начал он, гладя Колю по голове.— Я сон — и пришел к тебе оттуда, из вон той дали, что виднеется сквозь ветви деревьев... Ночью, когда в синем небе зажгутся веселые звезды, мы тихо слетаем к детишкам на землю из выси лазурной... Свиваясь в гирлянды, летим мы над садом и смотрим в окошки — не спят ли где добрые дети. И если головку ребенка мы видим, парим мы над нею, и в этой головке родятся такие картины, которых ни в жизни, ни в сказках создать невозможно!..

— Мой милый поэт!— тихо прошептала мама.

Коля вздрогнул. Убаюканный тихим покачиванием и музыкой рассказа, он полудремал, полудумал образами, мысленно рисуя себе, как в бездонном небе в лучах голубой луны легкие и чистые, как иногда бывают облака летом, хороводами кружатся чудные сны и тихо, тихо поют, посматривая на землю, где спят большие люди и маленькие дети...

Шёпот мамы разбудил его и прогнал все образы, нарисованные им в небе, просвечивавшем сквозь ветви деревьев сада... Он посмотрел на нее сонно мигавшими глазами и, улыбнувшись, крепко прижался головой к широкой, сильной груди рассказчика.

Тот, не переставая, говорил ему сказку, покачивая его и поглаживая рукой по голове. Коля снова стал слушать и рисовать себе свои картины...

Луна сквозь ветви деревьев щедро обливала их группу своим мягким светом, и пышные тени фантастично осыпали их своими узорами... Большой человек сидел в кресле, вытянув ноги и склонив свою голову над золотистой головкой ребенка, прижавшегося к его груди. Он тихо и внятно говорил, и его большие, висевшие вниз концами усы от этого дрожали. Иногда Коля открывал свои глазки и, бессознательно счастливо улыбаясь, взглядывал в склоненное над ним лицо.

Каждый раз, как он это делал, мама, сидевшая у них в ногах и прижавшаяся щекой к руке рассказчика, лежавшей на его колене, тихо целовала эту руку.

Коля засыпал... И видел, будто бы он вмешался в хоровод снов, чудно кружившихся в воздухе... вмешался и летает вместе с ними высоко в небе среди разноцветных ярких звезд, которые улыбаются ему и осыпают его своими лучами, грея его каким-то особенно приятным теплом...

II

Папа Коли, маленький, бледный и сутулый, сидел за столом и, медленно прихлебывая из стакана свой утренний чай, меланхолично смотрел перед собой странно сосредоточенным взглядом, который точно проникал сквозь стену комнаты и там, за ней, впереди, видел

нечто такое, что сделало еще резче морщины на его лбу и, опустив углы губ, придало лицу выражение тяжелое и больное.

Глубоко впавшие в орбиты глаза были красны и сухи. Волосы на голове, светло-русые и жидкие, причесаны небрежно. Пиджак смят и плохо вычищен... И весь Колин папа производил впечатление человека только что чем-то измятого и больного.

Иногда он как-то смешно поводил носом, то опуская его на жидкие усы, то подымая верхнюю губу и зачем-то проводя по ней кончиком языка.

На столе, задом к нему, стоял самовар, и из-за него ему не было видно лица своей жены, низко склоненного над книгой.

Она вся была в белом утреннем костюме, широком и свободном, облекавшем ее волнами складок и эффектно оттенявшем золотисто-смуглую кожу ее рук и шеи и блестящие локоны, рассыпанные по плечам.

Самовар потухал, и его прерывистая песенка походила на песнь комара... В комнате,— большой, светлой, со столом посредине, за которым сидели они двое, с большой стеклянной дверью на террасу и в сад,— было скучно и тихо. Чинно стоявшая по стенам мебель смотрела как-то холодно, и от темных гравюр по стенам веяло тоже чем-то холодным и скучным.

— А Коля всё еще спит?— спросил папа и, немного перегнувшись на стуле, посмотрел на склоненную голову жены.

— Должно быть!— коротко ответила она, не взглянув на него.

Он принял прежнюю позу, хлебнул из стакана, пошумел ложкой и застучал пальцами по столу.

— Долго он сегодня спит!— снова заметил он.— Мне бы хотелось посмотреть и поцеловать его перед уходом на службу. Ты что читаешь, Соня?

— Лоти.

— А... Это хорошо?

— Очень.

— Не люблю я французов. Они расплываются в описаниях внешнего и не умеют быть психологами. А этот— таков же, конечно?

— Это Лоти.

Она отвечала ему всё так же, не подымая головы и не глядя на него. Последний ее ответ заставил его как-то убито тряхнуть головой и завозиться на стуле.

— Ты, кажется, скоро совсем не будешь говорить со мной? Да?— тихо и покорно спросил он.

— Не знаю.

Ее короткий и сухой ответ остался без возражения. У него передернулось лицо и еще ниже опустилась голова.

Прошло несколько минут. Самовар тоскливо запищал раз-два и умолк. За дверью послышались шаги, и в комнату вбежал румяный и свежий Коля, оставив на пороге согнутую темную фигуру няни.

— Папа! Здравствуй!..

И прежде, чем просиявший папа успел приподняться на стуле навстречу ему, Коля уже был у него на коленях и целовал его в щеку.

— Ну, ну-ну, как ты спал, Колечка? Скажи-ка.

— О! папа!..— вдруг сделался серьезным Коля и, подняв торжественно и важно кверху правую руку с вытянутым пальчиком, заговорил быстро и сбиваясь:

— Превосходно!.. И какой я видел сон!.. Ах, это в первый раз еще!.. Сам сон приходил ко мне и говорил о себе! Ты понимаешь?! И тебя, мама, видел... Здравствуй! Я позабыл поздороваться с тобой... Это ничего? Прости! Ты рассердилась?.. Ты смотришь так строго... да ты уже рассердилась! Ну, ма-а-мочка!.. Не надо сердиться! а?..

Он соскочил с колен отца и подбежал к ней.

— Поцелуй меня!

Она наклонилась к нему и поцеловала его в лоб, оттолкнув одной рукой книгу, а другой оправляя на нем рубашку. Лицо у нее было утомлено, под глазами темные пятна, и взгляд сверкал сухо и решительно.

— Другой раз ты не забудешь поцеловать меня,— попомни! А теперь пей чай и брось свои глупые сны. Пей скорей и пойдешь гулять со мной. Садись!

— Нет, я расскажу, мамочка!.. Это и тебе понравится... Такой сон!..

Коля возбужденно хлопнул ручкой по коленке и приготовился говорить.

— Не нужно, я говорю тебе! Не нужно. Я не хочу слушать!— строго сказала она, блеснув на него глазами и нервно стуча крышкой чайника.

— Ну, как это можно запрещать ребенку рассказывать о снах?— заметил протестующе папа и, обращаясь к Коле, боязливо склонившемуся над столом, добавил:

— Говори, дружок, я тебя слушаю! Говори, это наверное будет интересно и маме. У нее болит голова, и она немножко сердится. Говори!

Мама сделала резкое движение стулом и громко и твердо произнесла по адресу мужа:

— Вы, Павел Егорович, хотите, чтоб он рассказал? Да?

Павел Егорович изумленно поднял кверху брови и дернул себя за ус.

— Ты сегодня, Соня, невероятно нервна; тебе бы лучше лечь в постель. Чем может волновать тебя желание ребенка рассказывать? Фу, боже мой, ведь это же абсурд!

Она гордо подняла голову и насмешливо улыбнулась в лицо мужу.

— Вы собственно скажите одно: хотите ли вы, чтоб он рассказал вам этот сон?

— Ну да, я хочу этого! Но не понимаю, почему тебя это так злит; не понимаю!.. Нужно бы сдерживать себя при ребенке. Дети ведь право же не виноваты в том, что боль от укола булавки или боль головы...

— Оставьте вы ваши нотации для себя, для лакея, няни или кого-нибудь там!.. а сами уж слушайте. Расскажи свой сон, Коля!

Она едко засмеялась и, откинувшись на спинку стула, уставила глаза в лицо мужа с мстительным выражением и с нервно сжатыми губами.

— Ну да, конечно, говори, Коля, и мы с тобой успокоим маму. Говори, мой мальчик!— стараясь не встречаться с взглядом жены и для этого нагибаясь к Коле, кротко сказал Павел Егорович, вытирая платком потный лоб,

Коля смущенно посмотрел на маму и, боязливо улыбаясь отцу, начал:

— Видишь ли что, папа... Видишь ли, как это было... Я сначала долго не спал и рассердил маму немного... А потом стал засыпать... засыпать... и вдруг слышу, что в спальне мамы шепчут... так тихо, тихо... и много. Я тогда взял и посмотрел из-за полога... И увидел сон, который был совсем как Степан Никитич... Помнишь, который бывал у нас когда-то давно? Вот совсем, как он! И усы, и одет так же... И большой. И он обнимал маму и целовал, и она его... А потом я сказал, что тоже хочу...

— Хорошо, Коля, будет. Я знаю этот сон. Я его видел много раз. Да... Ты пойди к себе... Возьмите чай для Коли, няня! Иди к себе... да...

Медленно потирая лоб и растерянно улыбаясь, Павел Егорович смотрел, как няня, нахмуренная и мрачная, подошла к столу, взяла в одну руку чашку с чаем и сдобной булкой на блюдечке, другой рукой взяла Колю, который сжался в маленький комок и боязливо, из-под бровей взглядывал на мать, тихо смеявшуюся металлически звеневшим смехом, покачиваясь на стуле,—смотрел, как они вышли, и, когда затворилась дверь, перевел свой растерянный взгляд на жену, отвечавшую ему вызывающе звучавшим смехом и холодным блеском презрительно прищуренных черных глаз. Она покачивалась на стуле и ритмично отбивала такт пальцами по краю стола. Павел Егорович молчал, и постепенно его лицо выразило горький упрек.

— Вы мне скажете что-нибудь?— спросила его жена, перестав смеяться и еще более щуря глаза.

Павел Егорович оперся рукой о стол и странно закачался.

— Скорее, пожалуйста! Я иду гулять,— спокойно добавила она и, поправив рукой платье, заложила одну ногу на другую. Теперь ее спокойная и холодная поза была еще более вызывающа, и вся она сама сделалась так красива, горда и сильна своей красотой, что, казалось, вся комната изменилась вместе с нею и стала просторней, светлей и живей.

Павел Егорович коротко вздохнул и начал говорить тоже спокойно, но нервно теребя рукой лацкан пиджака и часто дотрагиваясь до ворота рубашки, точно желая расстегнуть его.

— Послушай, Софья Петровна! Зачем эта поза, этот вызов? Ведь всё это только бравада! Только бравада, ненужная, но тяжелая. Ты думаешь, я верю в твое спокойствие и в нем могу видеть сознание тобою твоей правоты? Это смешно! Ты права, пока ты только не любишь меня; но никто из людей и сам бог не оправдает тебя за твою ненависть ко мне и за то оскорбление, которое ты нанесла мне! За что?! Разве я вызвал, заслужил его?.. Я не вызывал и не заслужил. Я сказал тебе: ищи исхода, но сделай это честней и чище. Уходи и оставь мне сына. Ты не ушла... И, приведя в свою комнату любовника, стала целоваться с ним на глазах ребенка — сына... Зачем же ты это делаешь? Зачем? Зачем ты не хочешь сделать всё это просто, честно, а делаешь так вот грубо, грязно и холодно? Какое право имеешь ты оскорблять человека?! Слишком много животного влагаешь ты в свои отношения ко мне и ничего, ни капли духовного!.. Смотри: мне больно, я истерзан, измучен, убит!.. Всё, что хочешь дурного и страшного, ты сделала со мной... Тебе надо знать это? Изволь! Я говорю!.. Ты довольна?.. Да?..

Он, бледный и дрожащий, но всё еще сдерживающий себя, хотя говорил уже тоном горечи и иронии, посмотрел ей пристально в глаза, а она в ответ ему только тихо, утвердительно кивнула головой и, не сказав ни слова, поправила платье, всё продолжая смотреть в его лицо с тонкой саркастической улыбкой.

— Ты довольна?.. а!.. Ну, хорошо! Теперь я кончил. Другой бы на моем месте кричал, бесновался, ругал и даже избил бы тебя!.. но я знаю, что твое самолюбие не тронешь этим. Оно выше... я это знаю! Но я не хочу, кажется, даже не могу ненавидеть тебя и потому прошу уйти от меня скорее, или я уйду. Прощаясь же с тобой, я скажу тебе одно только... Я не хочу обидеть тебя этим, я только предупреждаю тебя: ты слишком женщина! Это может погубить тебя. Это качество грубо и животно. Ступай куда-нибудь... Нет, я сам уйду!..

Он быстро сорвался с места и пошел к дверям, хрустя пальцами, с мертвенно-бледным лицом и трясущимися губами.

— Постойте! Я тоже хочу и буду говорить! — остановила она его, быстрым движением оборачиваясь на стуле.— Постойте! Сядьте!

Она говорила так властно и с такими гордыми, торжествующими глазами, что он почти против своей воли остановился и сел, шепча тихо и измученно: «Скорее!.. Скорее!..»

— Да, я очень скоро кончу с вами! — вздохнула она глубоко и свободно.— Вы спрашиваете: «За что?» — За мою юность. Это всё — только моя маленькая месть за мою загубленную вами юность,— не больше. Я вас ненавижу и готова разорвать, замучить за то, что имела терпение прожить с вами восемь лет и теперь, подарив вам лучшие силы моего духа и тела, я люблю другого... а он, хотя и отвечает мне тем же, но допускает в отношениях ко мне снисходительные ноты, которые злят меня! Это он делает потому, что я старше его. Я не хочу этого и не могу уничтожить это!.. Я хочу взять столько, сколько даю... а даю я всю себя! Вам я никогда не давала всю себя, никогда! Слышите! Да. Я тоже страдаю. Причина моего страдания — вы, и я мщу вам! В вас нет поэзии, силы, размаха, вы патетичны и смешны!.. Вы жалкий, жалкий! А когда вы ухаживали за мной, вы были интересны и новы. О, тогда вы были совсем не то, что теперь!.. Где это старое? Вы тогда лгали. Вы обманули меня, сумели заинтересовать вашей ложью и съели мою юность. Восемь лет, что я жила с вами, я не жила. Не было поэзии, не было жизни, были только речи пустые и потому звучные. И еще были попытки навязать мне ваши воззрения, ваши думы, ваше пошлое я! Всё было дуто, ложно. Вы ограбили, обманули меня! Разве этот жалкий, маленький вы — тот человек, что обещал мне жизнь? Что дали вы мне? Где поэзия жизни в сожительстве с вами?.. Нет ее. О, как я вас ненавижу и как мне мучительно горько бывает в те моменты, когда человек, которого я люблю, не замечая того, показывает мне, что я старше его и что во мне меньше энергии и жизни, чем в нем!.. Я рада, что сделала вам больно; наконец таки! рада! рада!.. Я все-таки сумела пробить броню христианской морали, в которую вы облеклись. Ну, будет! Идите! Я не всё сказала... но будет! Я, впрочем,

не лишу себя удовольствия еще раз поговорить с вами на эту тему. Идите... Идите!..

Он пошел к двери, качаясь из стороны в сторону, как пьяный. Она смеялась вслед ему тихим злым смехом, и, когда звуки его неровных шагов замерли где-то в комнатах, она встала, взяла свою книгу и вышла на террасу.

Там, вдохнув глубоко свежий, душистый воздух, она посмотрела на сад, облитый яркими лучами весеннего солнца.

Клены, вперемежку с липами, дышали густым и свежим ароматом весны и тихо покачивались от легкого, еле заметного ветра. Их молодая, ярко-зеленая листва и синее глубокое небо над нею, куртины цветов перед террасой — весь сад ярко и внятно говорил о весне, этой чудной весне, воспеваемой всеми и никем не воспетой... Она сама всегда так чарующе красива, что совсем не нужно и смешно говорить об этом кому-либо, кроме нее самой...

Софья Петровна села в плетеное кресло, пододвинула себе под ноги скамейку и, положив на колени книгу, стала читать.

Из глубины сада до ее слуха долетел звонкий голос Коли. Он спрашивал няню:

— А разве птички не могут заплутаться в небе? Оно ведь такое большое!..

УБЕЖАЛ

Прошлявшись весь день по городу, голодный и озябший, Рыжик к ночи зашел на какой-то двор, загроможденный грудами старого леса, и, найдя между бревен и досок уголок, показавшийся ему достаточно незаметным для ночных сторожей и полицейских обходов, сунул в него свое отощавшее от голода и расшатанное четырехмесячною болезнью тело, загородился от ветра досками и, пытаясь забыть о голоде, резавшем его внутренности, сжался в плотный маленький ком и задумался.

За четыре месяца, проведенные им в тошнотворных желтых стенах больницы, в борьбе с тифом и культурой в лице доктора и условиями больничного лечения, он привык думать подолгу и помногу, и эти думы, оставляя в его груди скверный и горький осадок, создали ему острое и злое настроение и какой-то вызывающий, воинственный тон по отношению ко всему существующему.

Этот тон и настроение прежде всего привели Рыжика к ссоре с больничной прислугой, затем вчера, по выходе из больницы, к более важной для него ссоре с нужным человеком Мишкой Ефрейтором, одним из пособников по сбыту краденого. Рыжик пришел из больницы прямо к нему с целью взять маленький аванс в счет будущих операций с чужой движимой собственностью, но Мишка, посмотрев на худую, иссушенную тифом фигуру старого клиента, отнесся к нему скептически, заявив, что едва ли можно будет скоро получить с него сумму, которую он просит, потому что, на его, Мишкин, взгляд — Рыжиково дело плохо, здоровье-то всё вышло да, надо думать, и уменье с собой унесло.

Это оскорбило Рыжика, хотя в другое время он не оскорбился бы гораздо бóльшим.

— Ну, и что ж ты полагаешь? Не гожусь я, что ли, больше?— задорно и зло блестя глазами, спросил он Мишку.

— Не то, чтобы... а все-таки...— неопределенно ответил тот, уставив свои маленькие глазки в закопченный потолок принадлежащего ему кабака.

— Нет, ты скажи мне, по-твоему, мне теперь на печку, и всё уж? — допрашивал Рыжик, чувствуя, что в его груди что-то клокочет и просится из нее на волю потоком злых ругательств.

Мишка открыл ящик с «выручкой» и молча зазвенел медяками. Рыжик крепился и ждал... Но, глядя на сытую, крепкую фигуру Мишки, тепло и чисто одетого, на его красное, здоровое лицо, до глаз заросшее черной кудрявой бородой, и на эти глаза, маленькие, острые, сверкавшие спокойно и довольно из-под красиво нахмуренных черных бровей,— Рыжик ощутил в себе настоятельную потребность сказать этому сытому человеку что-нибудь злое и обидное.

— Поди ж ты вот! — начал он, глядя в угол и как будто думая вслух.— Одному человеку воровство впрок, а другому кости сушит только.

— Это ты про кого?— спросил Мишка, пытливо оглядывая клиента.

— Говорю-то про кого? Про одного знакомого... А ты думал, про тебя? Похоже, значит!

И, произнеся это, Рыжик зло усмехнулся в лицо Мишки. Мишка спокойно смерил взглядом стоявшего против него длинного и худого человека в рваных лохмотьях, с зеленым иссохшим лицом и невольно вздрогнул. Тот смотрел на него упорно, и его глаза сверкали так ярко, точно хотели что-то сжечь, а стиснутые зубы, резко обрисовав худобу щек и острые скулы, придали лицу какое-то непримиримое и хищное выражение.

— Гм!— буркнул Мишка и, побуждаемый желанием отделаться от посетителя, протянул ему руку с медяками и заговорил:— Возьми вот! А из больницы ты рано вышел. Плох.

— Это тут сколько?— нервно отрывая от своей рвани лохмот, спросил Рыжик.

— Тут-то?.. Полтина...

Тогда Рыжик, не протягивая руки к деньгам, громко засмеялся и, весь трясясь от смеха и обуревавшей его злобы, стал выкрикивать звонкими, высокими нотами:

— Спасибо! Оставь себе на саван!.. Жидомор ты!.. Хапуга!.. Грабитель!..

С каждым резким словом его как-то встряхивало, и, выкрикивая одно и то же слово по нескольку раз, наконец крича что-то совсем уже несообразное и непонятное, он стал перегибаться через отделявший его от Мишки прилавок с очевидным намерением вцепиться Мишке в бороду...

Если б в тот момент Мишка догадался спросить Рыжика, что обидного видит он в предложении полтины, Рыжик не сумел бы ответить на этот вопрос и, смущенный им, наверное бы успокоился. Но Мишке, брезгливо смотревшему на своего разбитого болезнью клиента, не пришло в голову такого вопроса, и, не ощущая в себе ничего, кроме настоятельной потребности поскорее отделаться от Рыжика, он отвечал на его ругань суровым и холодным тоном сытого человека:

— Ну, ты, брат, вот что,— сказал он Рыжику, когда тот перестал уже кричать и, задыхаясь, кашляя и скрипя зубами, упал на прилавок,— ты уходи прочь. Слышишь?! Пшел!.. Орать тут нечего. Думать — думай, что хочешь, но про себя, а орать ты не можешь. А ежели ты не уйдешь, можно вытолкать в шею... а то — так полицейского пригласить...

— Полицейского?!.— прошептал Рыжик, пораженный. Мишка Ефрейтор, старый, известный полиции покупщик краденого, человек, судившийся у всех мировых города,— позовет полицейского для того, чтоб отправить в часть его, Рыжика, делавшего с ним, этим Мишкой, большие дела!.. Полицейского, их общего врага!!.

Мишка спокойно задвинул «выручку», повторил Рыжику еще раз: «Пошел вон, ну!» — и, скрестив руки на груди, оперся спиной на полку с бутылками, сурово поглядывая на Рыжика.

Рыжик был ошеломлен его спокойствием. Он растерянно оглянулся вокруг себя.

Кабак был пуст и еще холоднее и спокойнее своего хозяина смотрел на Рыжика закуренными и закопченными стенами.

— Уйду! Давай мне полтину! — глухо сказал он Мишке.

— Ну, я, брат, тебе не должен,— зевнув, ответил тот.

— Как это?— спросил Рыжик и, поняв ответ в угрожающем движении, сделанном Мишкой к нему, махнул рукой и, шатаясь, пошел к двери.

— Подлец ты, Михаил!— обернувшись в дверях, простился он с старым товарищем и, хлопнув во всю мочь дверью, ушел.

Эта сцена на несколько времени подавила его злобное настроение. Он долго ходил по городу, разыскивая товарищей, никого не нашел и наконец, снова разозлившись, усталый, голодный и иззябший, забился в штабель леса, намереваясь переночевать в нем.

Сквозь щели между досками ему было видно матовое зарево от городских фонарей; лохматые, тяжелые тучи, слабо освещенные им, быстро бежали куда-то, гонимые сырым и холодным осенним ветром. От ударов ветра в доски штабеля по пустырю носились гулкие звуки...

Стараясь как можно плотнее закутаться в свои лохмотья, Рыжик вертелся с боку на бок и, чувствуя, что голод с каждым часом всё сильнее режет ему внутренности, прислушивался к боли и думал. Никто из товарищей за четыре месяца его болезни не пришел к нему справиться о его положении, никто, точно их и не было на свете!.. А они были. И с поразительной ясностью перед ним вставали их отрепанные волчьи фигуры, одна за другой, со всеми особенностями физиономии, речи и специальности каждого. Каждый из них почему-то представлялся ему «за своим делом».

Вот Курдик — специалист по просушке белья. Тонкая фигура на пораженных ревматизмом длинных дрожащих ногах, хищно согнувшись, тихо крадется вдоль забора к веревкам с развешанными на них простынями, рубахами и платками...

Курдик пропадает в какой-то странной мгле, и на смену ему выступает мрачный конокрад Алешка. Он

стоит около чьей-то лошади и, нахлопывая ее рукой по крупу, глухо сипит: «Тпру, голубушка, тпру!.. Хо-хо-хо, милая!..» И вдруг его мощное тело вваливается на лошадь, он бьет ее и исчезает с ней, оставляя за собой хриплый рев и гул от ударов лошадиных копыт... Рыжику кажется, что эти звуки раздаются где-то в его голове, ему делалось больно, и он вздрагивал от холода и страха, что с ним снова начинается бред, долго возился в своей норе, и, когда, усталый, снова укладывался,— пред ним вставала другая фигура старого товарища... Все они были так или иначе обязаны ему, и, казалось ему, гораздо больше, чем он им. Пьяный солдат Савелий, с разбитой в драке с полицейским физиономией, глухо бормочет: «Никогда я тебя, Рыжик, не забуду, что ты меня выручил,— никогда!..» Рыжику даже кажется, что он чувствует удар руки Савелия по его плечу...

«Эх вы, люди!..»— думает он, вспоминая, сколько ему стоило выручить Савелия из рук знакомого полицейского, заставшего неосторожного и неповоротливого солдата за исследованием прочности замка у одной лавки. Сколько он тогда заплатил хожалому!.. Теперь бы эти деньги!..

Ветер поет свои скучные осенние песни, и Рыжику кажется, что и ветру обидно и горько за людей, которые не умеют платить старые долги...

Затем мысль его прерывается, и вот он в больнице... Скучные желтые стены и утомленные, серые лица сиделок и прислужников сливаются перед ним в один тоскливый фон, и на нем разительно резко рисуется некоторый обидный и горький эпизод...

Это было, когда он уже выздоравливал. Он лежал с закрытыми глазами и услышал, что к койке его подошли двое:

— Ба! Эта подозрительная личность, кажется, хочет ожить!— сказал один из подошедших.

— Совершенно верно-с! Температура понижается, уже тридцать восемь и три. Они живучи-с! Настоящие волки...— почтительно ответил другой...

И, пошуршав какой-то бумагой над головой Рыжика, они отошли от его койки.

Рыжик почувствовал, что каждое слово падало

куда-то внутрь его маленьким и острым куском льда. Как они говорят о нем?.. Как о собаке...

И ему вспомнилась его собака... Это была славная большая черная собака, Гуляй, не подпускавшая к себе никого, кроме своего хозяина. Хорошо иметь собаку... и привыкает скоро и не требует с тебя почти ничего; не то, что человек. Где-то теперь эта собака?..

Ветер выл, носясь по пустырю, и, налетая на груды старого леса, громко стучал досками.

Рыжик высунул голову из своего убежища и, посмотрев вокруг себя, тяжело вздохнул.

Было так темно, страшно и холодно... И до утра, должно быть, еще долго...

Где-то очень близко раздался рокот трещотки ночного сторожа. Рыжик дрогнул и снова забился в доски.

«Чего он прет сюда? чего? пустырь ведь... что тут есть, опричь дерева?.. А лезет, чёрт!.. Эх, люди, люди!..»

Рыжику показалось, что сторож уже пронюхал его и идет затем, чтоб прогнать... будет кричать и ругаться, может, засвистит даже...

«А что ж такое пустырь? Если у меня своей квартиры нет, я имею полное право ночевать на пустыре».

Трещотка нахально звучала, всё приближаясь.

«Ежели собаки при нем нет, то он не учует меня. Не учует ни в каком разе. А вот ежели собака... Экая робкая мысль у меня пошла после болезни-то!.. Что ж такое сторож? Стучит — ну и стучи! Разве это может помешать мне? Пожалуйста, стучи! Вот он прет, дьявол!.. Ишь ты!.. ну, повалил!.. И собака...»

Сторож был близко. Слышались тяжелые шаги и ласковое повизгиванье собаки...

Рыжик ощутил тревогу и вместе с ней прилив горячей злобы. Ему захотелось даже вылезть и стать прямо нос к носу со сторожем... Трусы они, эти сторожа!.. Но его тело, изломанное холодом, голодом и болезнью, отказывалось повиноваться воле, к тому же послышалось рычанье собаки, и уже на этот раз где-то совсем рядом.

Сторож постукал палкой по доскам и крякнул внушительно, глубоким басом.

«Должно быть, здоровый, дьявол!» — тоскливо подумал Рыжик и осторожно завозился, стараясь глубже

забраться в свою нору; но, сделав неловкое движение, толкнул одну из досок, загораживавших впадину, где он лежал; раздался шум, грозное рычанье, и прямо перед собой Рыжик увидал темную морду большой собаки. Он видел только круглый лохматый кусок, но ему казалось, что на нем он различает оскаленные зубы и злые, горячие глаза.

— Пшла прочь!!.— заорал он благим матом и, попытавшись вскочить на ноги, больно ударился плечом и головой.

Собака отскочила, испуганная его криком.

Рыжик сел на корточки и без дум, одеревенев от тучи смутных чувств, над которыми преобладал страх, застыл в своей позе, точно ожидая, что будет дальше.

Несколько секунд длилось невероятно долгое молчание, нарушаемое подозрительным рычанием собаки.

— Ну, вылазь!— раздался глухой, сиплый голос, и вслед за ним собака снова сунула свою морду.

Услыхав голос человека, Рыжик как-то сразу встряхнулся и пришел в себя.

— Вылазь, говорю!— нетерпеливо и грозно командовали ему.

Но теперь его не смущал этот тон. Всё равно вылезть придется.

— Вылазь, ч-чёрт, а то свистну! — крикнул в третий раз сторож.

— Сви-и-стнешь?!— переспросил Рыжик.— Ну, это, брат, ты погоди! Не имеешь права. Я и сам могу тем же ответить!— заговорил наконец Рыжик уверенным тоном, даже с оттенком некоторого задора.

— Полицию свистну! Лезь, чёрт!..

— А-а, полицию!..— протянул Рыжик.— На что? Чтобы больного человека в часть забрала? Изволь. Если на тебе нет креста, то изволь! Но собаку убери, в пасть ей я не полезу.

—Гуляй, прочь! — гукнул сторож.

Собака отскочила, громко рыча; но Рыжик не вылезал.

— Ну, что ж ты, проклятая харя, не лезешь?!. а?!.— торопил сторож.

— Лезу, лезу! погоди. А где это ты, мил человек, собаку взял? э? Чья это собака?— спросил Рыжик, высовывая голову и пристально рассматривая собаку, сидевшую у ног сторожа.

— Да ты полезешь?!. али тебя огреть палкой?!.

— Погоди, не зевай!— пренебрежительно ответил Рыжик.— Чего разорался? Али не узнал я тебя, думаешь? У меня, солдат, память-то подлиннее твоей. И я тебя сразу по голосу узнал. И хоть рыло твое не вижу, но знаю, что это ты.

С этими словами Рыжик, согретый вдруг вспыхнувшим в нем чувством надежды на помощь со стороны старого товарища, неуклюже вывалился из своей норы.

— Гуляй!— стал он манить собаку, щелкая пальцами и причмокивая губами.— Али не узнал хозяина? Гуляй! по-оди сюда, собака!

Гуляй лениво поднялся и, замахав хвостом, посмотрел на сторожа, точно желая спросить его о чем-то.

— Что за человек? Кто таков?— тоном некоторого беспокойства заговорил сторож и, ткнув собаку ногой, стал поправлять громадный овчинный воротник тяжелой серой шубы, делавшей его похожим на неуклюжий громадный пень.

— Сс-кажите, как мы стали богаты и важны! уж и не можем узнать старых товарищей!.. Гуляй, подь сюда! Ах ты, проклятая собака!..

Но собака не шла к Рыжику. Отойдя в сторону, она села на землю и, не обращая внимания на своих хозяев, стала усердно чесаться.

Это возмутило Рыжика. Он поднял с земли сухой ком грязи и с ругательством бросил в нее. Рыча, собака отбежала дальше.

— Да это ты, что ли, Григорий?— угрюмо спросил сторож, высунув голову из воротника.

— Признал, значит? Покорно благодарю! — сыронизировал Рыжик.— Как, братец мой, в сытом-то виде мы слабы на память! а?

— А говорили, что ты умер!— тоном почти сожаления заявил сторож.— В больнице, дескать, от тифу...

— Ан я вот не умер. Н-да. А ты как это в чин попал? а?

Рыжик стоял, глубоко сунув руки в рукава своей рвани и, весь сжавшись под ветром, плотно прижимался к бревнам, точно боясь, что ветер собьет его с ног. Громадная фигура товарища, закутанная в теплую тяжелую шубу, производила на него странное впечатление. Что-то горькое и злое ныло в голодном нутре Рыжика и рождало в нем желание поколотить эту тушу. Это желание было так сильно, что на некоторое время скрыло за собой и чувство голода и зародившуюся надежду на помощь. Молча Рыжик смотрел на неподвижного и пораженного встречей старого товарища и, чувствуя, как ему с каждой секундой всё сильнее хочется чего-то острого и потрясающего, не знал — что бы ему сказать.

— А говорили — умер, дескать...— начал сторож, смущенный странным молчанием и чувствуя, что надо что-нибудь говорить.— Как же ты это, брат, теперь? а?

Расстроенные болезнью и наточенные злобой нервы Рыжика стали чутки, как туго натянутые струны. Его еще пуще злил какой-то странный, виноватый тон товарища, и, не видя в нем ничего, что бы говорило, что ему приятна встреча с ним, Рыжиком,— он сразу возненавидел его. Ему еще сильнее хотелось сделать что-нибудь такое вредное для Савелья, собаки, всего мира...

— Ну, как же ты — рад, что видишь меня?— спросил он, едко усмехаясь.

Савелий как-то глупо завозился на месте.

— Я-то? Я рад. А что ж ты теперь?.. как?

Дальше он не мог сказать ничего, почувствовав себя в опасном положении, и вдруг, вдохновленный этой опасностью, заговорил быстро и придвинувшись к Рыжику:

— Вот что, браток! Ты лезь опять туда... а я пойду. Потому мне нельзя, обход скоро пойдет. А к утру я за тобой зайду... И мы, значит, поговорим обо всем... а то я, видишь ты, сторож... и, значит, обязан, коли что, сейчас забрать и представить в часть. Служба, браток; ничего не попишешь!..— И, тяжело вздохнув, Савелий замолчал.

Рыжик не откликнулся ни звуком.

Наступила скверная, тяжелая минута, усиленная еще тем, что ветер, завывавший на пустыре, вдруг

замолчал, точно желая яснее расслушать всё то, что будет сказано дальше. Тучи, тяжело двигавшиеся по небу, на минуту разорвались. Молочные и холодные лучи луны любопытно глянули на пустырь и, осветив мутным светом двух людей, молча стоявших друг против друга, собаку в стороне от них и тяжелые, громадные кучи дерева,— снова скучно спрятались за тучами.

— Гуляй! поди сюда! Гуляйка!— крикнул Рыжик сардонически звенящим голоском. Ему было приятно молчать; он понимал, что это молчание очень мучает Савелия.— Гуляй!..

Собака двинулась к нему, виляя хвостом и в то же время посматривая на нового хозяина. Ее новый хозяин нетерпеливо мялся на месте и боязливо оглядывался вокруг себя.

— Видишь ли ты,— заговорил он тоскливым тоном и как-то глухо, нехотя,— в сторожа я попал. Такое тут дело вышло, и попал я, значит... Так вот теперь и наблюдаю. Служба, брат!.. Тру-удно! Потому — чуть что, и слетишь... И то насилу, насилу приняли. Кто таков? Солдат — Савел! А, известен! Невозможно! Ну, а Антип Митрич говорит: «Иди, говорит, сторожи мои штабеля, три рубля в месяц, и помогать дворнику. И харч хозяйский». Пошел, потому — надоело это мне, цыганить-то. И караулю, значит.

— Гуляйка!.. У, чёрт лохматый! Узнал хозяина!.. а-а, шельма!.. Узнал!..

Рыжик ласкал подошедшую к нему собаку и, вскользь бросая взгляды на смущенную и убитую его поведением красную усатую рожу Савелия, наслаждался. От холода его трясла дрожь, но он точно не замечал этого, согреваемый своей маленькой местью и не пытаясь даже плотнее завернуться в свои лохмотья.

— Мил-лая собака!..— чмокал он губами, гладя Гуляя, довольно равнодушно относившегося к его ласкам.

— Ах ты, господи!— вздохнул Савелий и, передвинув рукой шапку на голове, снова начал вяло и скучно говорить: — «Будешь, говорит, исправен, похлопочу, чтоб тебе участок дали. Рублей, говорит, двенадцать наберешь. Но, говорит, смотри! Помни, кто ты». Ну, я

и того... Ты бы, брат, улез в дыру-то до утра. Как я кончу дежурство, так и того... а теперь опасно мне. Обход должен сейчас поехать. Лишусь я через тебя места и прочее такое! Плюнь, брат! Улезь!

Рыжик, слыша его просительный и боязливый шёпот, ликовал.

— Гуляйка! Милая собака! Небось, ты вот меня за три целковых не продашь? а? У, ты!..

Савелий понурил голову и стал тыкать палкой в землю.

Рыжик продолжал:

— Друг ты мой, Гуляй! Собака ты, но супротив тебя человеку не устоять. Душа у тебя есть. Жалеешь ты меня? Вижу, жалеешь! потому — и я ведь собака...

— Собака и есть!— вдруг вскинул головой Савелий.

— Ну?

— Собака, мол, и есть! Тебя честью просят, не подводи человека, а ты — свое. Чёрт паршивый! Лезь, коли хошь!

Рыжик не ожидал такого взрыва, не приготовился к нему и был поражен им.

— А как не хочу?!— нашел он вопрос.

— А, так я тебя силком засуну али в полицию сведу. Понял? Ты что думаешь? Мне, брат, всё равно. Я Мишку Косого прошлый раз отправил. И очень были мной довольны. Что я могу делать, коли с вашим братом сладу никакого нет!

Савелий воодушевился. Он почувствовал на своей стороне силу и еще что-то, поддерживавшее его.

— Дурак, говорил тебе — лезь! Вон обход едет! слышь? Лезь, чёрт! заберут! А то сам сейчас засвищу! Ну!..

Но Рыжик не полез. Он почувствовал, как что-то горячее и удушливое хлынуло ему из груди к горлу, крякнул, заскрипел зубами и вдруг истерично закричал:

— Не хочу! Не лезу! Гуляй! Пшел сюда! Я — твой хозяин! Гуляй! давай воровать! Смотри, солдат, тащу! Хочу доску спереть у тебя, солдат! Что ж ты меня не хватаешь?! а? Ну, свисти! Свисти, подлец! Мерзавец ты! Узы его, Гуляй! Рви его!! рви его, Иуду!!.

Рыжик пришел в исступление. Он начал дико кричать и, вцепившись в шею собаке, пытался бросить ее на Савелья.

Собака громко завыла, вертясь в его руках, и вдруг вцепилась ему в ногу.

Дико вскрикнув, Рыжик, как сломанный, свалился на землю и, воя, как волк в капкане, стал кататься по ней.

Разозленный Гуляй метался вокруг него, пытаясь вцепиться ему в горло, а солдат растерянно стоял и, нелепо размахивая палкой по воздуху, резко свистел, закинув голову в небо.

Послышался топот лошадей, и на пустырь выехали две серые конные фигуры.

— Что такое?— торопливо спросила одна из них, спрыгивая на землю и обращаясь к Савелию, еще не успевшему перестать свистеть.

Савелий тупо оглянулся на Рыжика, откатившегося к стороне. Над ним уже склонился другой полицейский и поднимал его с земли.

— Что за шум? Ну!— повторил свой вопрос полицейский, встряхивая Савелия за шиворот.

— Человек пришел...— забормотал Савелий.— Пришел и прет доску. Я, значит, и засвистел... Господи!..— вздохнул он убито.

— Человек пришел!..— передразнили его и, сунув кулаком в лицо подведенного Рыжика, слабо всхлипывавшего, добавили:— Разве это человек? У ты, м-морда! Веди его!

Савелий неопределенно махнул рукой и не тронулся с места.

— Веди его, говорят!— крикнули ему.

Тогда он подошел к Рыжику и, взяв его за рукав, глухо сказал:

— Пойдем!

— Смотри, чтобы не убежал!— напутствовали его полицейские и, сев на лошадей, скрылись в ночной тьме.

Рыжик шел и молча всхлипывал, то и дело наклоняясь, чтоб дотронуться до ноги.

Шли какой-то пустынной улицей, среди заборов, из-за которых на улицу простирали свои голые ветви

уродливые деревья. Улица была узка, и ветви висели над ней частой сетью. Казалось, что много длинных и тонких рук протянулись друг к другу и пытались сцепиться в крепком рукопожатии, но ветер, качая их, не позволял им сделать это, и деревья тихо и жалобно скрипели. Сквозь узоры ветвей видны были фатально плывшие в небе тучи, и их медленное, тяжелое движение было так тоскливо и бесцельно.

Вдали виднелись темные силуэты каких-то построек, и жалкие огоньки фонарей, мерцая кое-где средь них, делали ночь еще тоскливей и мрачней.

— Вот тебе, проклятый!— радостно взвизгнул Рыжик, взмахнув рукой в воздухе... И вслед за его визгом раздался жалобный визг Гуляя.

Савелий остановился.

— Что это ты собаку-то?..— угрюмо спросил он, посматривая искоса на Рыжика.

— К-камнем ттрахнул! Попал хорошо. Что, дьявол, воешь? Вой, вой! Я выл. И еще бы завыл, но больше голосу нет.

Рыжик захохотал дробным, металлическим смехом и грузно опустился на землю.

— Дальше я не пойду. Устал я и иззяб. Здесь я издохну. Дальше ни-ни! будет.

Он вытянулся на земле и замолчал, скорчившись в странный, лохматый ком.

Савелий тоже стал, молча оперся на палку и уставился на него глазами, переминаясь с ноги на ногу и желая сказать что-то.

Где-то неподалеку приютился Гуляй и тихо взвизгивал.

Минута за минутой, медленные и тяжелые, проходили в молчании и точно камнями ложились на Савелия. Он, стоя над Рыжиком, сопел и, сгибаясь над ним, наконец осторожно дотронулся до его плеча.

— Пойдем, брат!— сказал он, точно выдавив из себя эти два слова.

— Куда?— не поднимая головы, спросил Рыжик.

— В участок,— тихо прошептал Савелий.

— Н-не хочу!— двинулся Рыжик.— Не могу. Бывал уж я там... А ты пошел прочь. Пошел прочь!—

звонко выкрикнул он, садясь на земле и показывая рукой куда-то вдаль.— Пошел!— настойчиво повторил он, видя, что Савелий не двигается с места.

— Не могу я уйти,— заговорил Савелий, вздыхая.— Невозможно это. Нужно тебя представить. Ты не сердись на меня, брат! Что ж такое? Там тепло, и сыт будешь. А то вон ты какой больной. Помрешь еще на улице где. Разве долго?

— Э-эх ты, Иуда!.. Иуда ты предатель! Товарища продал! Как собаку бы тебя камнем хватил, но сил нет. Оз-зяб я... и хвор, это верно. А хватил бы... ох, как бы хватил, кабы сила! Но ты... подлец!— И Рыжик снова вытянулся на земле.

— Эх, брат! — заговорил Савелий.— Непонимающий ты. Какая наша жизнь? Волчья жизнь! Хорошо это? Ну скажи! Вот то-то!— уверенно кончил он, видя, что Рыжик молчит.— Рад я, что могу по-человечески пить, есть, а ты всю жизнь мог мне нарушить... Ну, вот оно и вышло так...— И он снова замолчал, не умея сказать, как это вышло.

— Ну, а я?— ехидно спросил Рыжик, посмотрев на него, и закашлялся. Он кашлял долго, извиваясь змеею на холодной земле.— Ну, а я?— еще задыхаясь от кашля, повторил он.

Его вопрос, резко прозвучав в холодном осеннем воздухе, замер, покрытый тоскливым скрипом деревьев.

Савелий молчал и думал.

— А ты!.. судьба уж такая у тебя!— произнес наконец он, смущенно тыкая палкой землю.

— Су-удьба!.. Нет, не судьба, а потому, что ты мерзавец. Нет никакой судьбы, мерзавцы только есть! Понял?!— вдруг крикнул он.

Снова наступило молчание. Гуляй, перестав выть, подошел к Рыжику, лежавшему среди улицы, и глухо заворчал.

— Пшел!— крикнул на него Савелий и замахнулся палкой.— Слушай, Гриш, пойдем!

— В участок-то?— спросил Рыжик.

— В участок!

— Больше ничего мне и невозможно уж? а?.. Эх ты, подлец!..— почти простонал Рыжик.

Савелий молчал.

— Хошь, я уйду? Навсегда уйду, чтоб уж с тобой и не встречаться нигде, окромя Страшного суда? Хошь?!— вдруг вскочил он с земли и стал против Савелия.

— Нельзя этого сделать, браток! Никак это невозможно! Должен я представить тебя. Уж ты не спорь, пожалуйста. Что поделаешь? Жизнь у тебя такая. И никуда от нее не уйти тебе!— философски убедительно говорил Савелий и даже легонько хлопнул по плечу собеседника.

— Не уйду? никуда не уйду? Ой врешь, уйду! От всех вас уйду, и ничего вы с меня не возьмете. Да!

— Нет, брат, такого места, Гриша, куда так совсем уйти можно. И не ищи!— вздохнул Савелий.

— А в реку ежели?— стуча зубами, еле выговорил Рыжик.

Савелий вздрогнул.

— Это что же? Это уж совсем швах дело!— быстро заговорил он.— Разве можно это говорить? Пустяки это, браток!

Говоря так, он ощущал безотчетный страх, усиливавшийся по мере того, как он присматривался к лицу Рыжика, синему, с оскаленными и стучащими зубами, острому и почему-то решительному до ужаса.

— Идем! — вдруг дернул его за рукав Рыжик и бросился бегом вперед.

— Ну вот, давно бы!— радостно крикнул Савелий и, путаясь в длинных полах своей шубы, поспешил за ним.

Рыжик, длинный и худой, бежал и над чем-то смеялся. Громадный и тяжелый Савелий, громко стуча сапогами по мостовой, пыхтел, как паровик, и еле поспевал за ним.

Смех Рыжика звучал неприятно, как смех сумасшедшего, и производил на Савелия угнетающее впечатление. Но довольный, что всё обошлось хорошо, он пытался не отставать от товарища, частыми, но мелкими шагами летевшего вперед.

— Стой, Гриш! Не туда! Налево надо! Налево!.. чудак ты, налево!

— Врешь ты всё!— снова захохотал Рыжик, прибавляя шагу.

— Гриш, голубчик, али ты бежишь? Эй, брось! Невозможно это!.. Как же я-то? Пожалей, чай!— жалобно взывал Савелий вдогонку товарищу.

Пустынная улица была совершенно спокойна. Длинный ряд заборов, деревья за ними и тьма. Две людские фигуры и собака, бежавшие посредине ее, не могли возбудить ни в ком интереса к себе.

Савелий кричал, и сердце его замирало от страха, что Рыжик убежит от него.

И вдруг он вспомнил, что сейчас они выбегут на берег реки к яру и что Рыжик может прыгнуть в нее. Это придало ему быстроты, испугав его до онемения.

Но Рыжик был уже далеко от него. Его длинная фигура, согнутая, точно переломленная посредине, всё более и более глубоко ныряла в тьму, и вот она пропала.

Савелий задыхался.

— Убежал!..— звонко раздалось в воздухе последнее Рыжиково слово.

Послышался злой, резкий смех и через секунду звучный всплеск воды.

...Расставив руки и задыхаясь от усталости, Савелий стоял на краю обрыва и тупо смотрел вниз. Там было темно и страшно тихо. Черная, холодная вода текла медленно и бесшумно, так медленно и бесшумно, что казалось — она неподвижна; а когда редели тучи, видно было, как ветер покрывал воду мелкой рябью... но тучи снова наползали друг на друга, и вода снова казалась неподвижной, черной, страшной.

Савелий долго смотрел на нее. Наконец он вспомнил, что надо сделать,— крикнул, запрокинув голову к небу, «Караул!» и тотчас же, не давая замереть отзвукам своего крика, быстро сорвал с шеи свисток и разорвал тишину тоскливой осенней ночи отчаянным свистом...

— Человек... в реку прыгнул!..— заорал он, видя, что из тьмы уже появляются бегущие люди, и, схватив рукой первого, кто подбежал к нему, растерянно забормотал:

— Рази я виноват?.. а?..

ПРОБУЖДЕНИЕ

Сквозь белый тонкий полог, закрывавший широкую кровать с мягкой периной, нежившей члены, он нетерпеливо наблюдал, как по маленькой, уютно убранной комнатке с одним окном, закрытым коричневой гардиной, и освещенной стоявшей на столе лампой с розовым абажуром,— двигалась стройная фигура, медленно раздевавшаяся и аккуратно раскладывавшая платье по стульям.

Сверху лился глухой гул, еще больше раздражавший чувство своим определенным вызовом и призывом. И в подмывающих звуках, лившихся сверху, и в запахе постели, и в розовом полумраке, нежно окрашивавшем белый полог кровати, можно было бы утопить тысячи благородных доводов рассудка. Он очень последовательно вспомнил о сутолоке ощущений, порабощавших его там, наверху, и насмешливо отодвинул их далеко, далеко назад, всё более стараясь проникнуться забвением и негой, оковывавшими его.

Вот на мгновение весь гул наверху покрылся густым, бархатным звуком контральтовой ноты, загудел еще бешеней и смолк, точно рядом прыжков опустившись куда-то глубоко, глубоко. Полилась мощной страстной волной песня, вся из тоскующих удалых звуков... Ноты то, пополняя одна другую, просили чего-то, то рыдали отчаянно и громко, вдруг рвались куда-то вверх и тихо спадали оттуда и ползали по коридору, точно ища место, где бы можно скрыться и умереть...

И вдруг целой толпой грянули по зале и коридору, запрыгав в маленькой комнатке трескучей, задорной песней ничем не сдерживаемого чувства, животного и животно-красивого, и вызовом смелым всему, что могло бы сдержать его.

Взвизги и выкрики, аккомпанемент гитары и бубна и снова протяжно-жгучие, зовущие и насмешливые ноты — всё это прыгало, кружилось и разжигало страсть.

— Спаси, господи, раба Ивана и Марфу и младенца Костю! Господи, спаси и помилуй меня, подлую и скверную рабу твою, и не дай умереть без покаяния в грехах моих!..

Этот звучный, глубоко скорбный и приниженный молитвенный шёпот, больно резнувший ухо томившегося в ожидании человека, заставил его вскочить и, отдернув полог, замереть, точно оглушенного чем-то тяжелым, сразу упавшим на него откуда-то сверху.

Лампа обливала мягким розовым светом коленопреклоненную среди пола фигуру женщины с накинутым на голову и рассыпавшим по плечам свою бахрому черным платком. Рабский страх и глубокая, горячая вера освещали лицо, страдальчески вздрагивавшее, на щеках сверкали маленькие слезинки, тихо катившиеся по ним, и вся поза была ярким, до ужаса правдивым выражением мучительного сознания своей греховности, своей гнусности и покорности всему, чему будет угодно свершиться. Она не крестилась, ее руки беспомощно висели по бокам туловища, и она обеими ими перебирала и щипала рубашку, может быть, понимая, что такая рука, как ее, недостойна слагать знамение креста. Склоненная голова подымалась изредка, и глаза взглядывали туда — в угол, где еле виднелся маленький образок, и, взглянув, тотчас же угнетенно опускались вниз.

Это сознание своего падения и беспомощности заставило его вскочить с постели в диком ужасе пред внезапно вставшим лицом к лицу с ним и сразу осмысленным человеческим страданием, так оскорбительно скрывавшимся под всеми этими гнусными атрибутами торговли человеческим телом,— вскочить и, подняв ее за плечи, смотреть в ее глаза с целым роем болезненно ярких мыслей в голове, щемящей душу тоской и огнем бесконечно горького стыда на лице и молчать, не находя в себе силы выразить что-либо из всего, переполнявшего сердце и голову.

— Это нехорошо, послушайте, мешать,— сказала она ему, недовольно хмурясь.— Ну, да на вас грех, идите!— и она толкнула его.— Ну что же вы?

— Слушай,— вдруг сорвалось у него.— Ведь ты сознаешь? Понимаешь? Ведь это тебе больно, грязно, оскорбляет тебя? Так зачем же, зачем ты здесь? Ну, зачем? А? Ведь это — помойная яма, мрак, грязь, отвратительная, ужасная грязь, и ты видишь, ведь вот видишь же ты всё это! Ты молишься, называешь себя подлой, скверной, но ты не такая, как все, ты лучше, ты сознаешь, ты веруешь в бога... зачем же всё это? зачем?.. О, как это стыдно!..

Он упал перед ней на колени и ткнул свое лицо в ее ноги.

— Прости!.. Прости!.. Я не думал... я не мог... чтобы здесь понимали, молились, верили...— глухо бормотал он.— Я думал и был уверен, что уже всё умерло, а что еще живо, то изломано, утоплено в вине, спит и никогда не проснется!.. О, да нет, я не думал и этого, ничего, ничего я не думал!.. Слушай, прости меня! Я не виноват! Все так... о, какая мука и боль!..

— Голубчик! Чего ты?!— до слез изумленная и испуганная, говорила она ему, дрожа всем телом.— Ну, перестань, милый, и успокойся!— И она целовала ему лицо, поднимая его с пола за голову и плечо.— Это припадок у тебя. Ничего, это бывает, это пройдет! Ах, дура я! вот довела!.. Ну, ляг скорей; выпей и ляг!

Он лег, оглушенный и уничтоженный ее словами, так просто и ясно показавшими ему пропасть между ними. Он пил и думал, что надо успокоиться, а затем уже... Что затем?.. А она, сидя на краю кровати, задумчиво и молча гладила своей маленькой пухлой рукой его голову и, играя волосами, по временам взглядывала ему в лицо, добродушно и просто улыбаясь.

— Слушай!— беря ее за руку, начал он.— Вспоминаешь ли ты иногда о твоем отце, матери, деревне, детстве твоем и другом хорошем в твоей жизни?

Она вдумчиво улыбнулась и тряхнула головой, но вдруг нахмурилась и неприязненно строго произнесла:

— Ну будет лясы-то точить! замолчи!

Он замолчал, чувствуя, что ему невыносимо стыдно.

— Уйду! Нет, вон, вон отсюда! Как?! Уйти?!—упрекнул он себя и, сев на постели, вдруг заговорил задушевным, теплым тоном, глядя ей прямо в глаза и полный сознания необходимости уяснить ей ее положение. Он говорил о семье и ее радостях, о муже, добром молодом малом, любящем ее так хорошо, крепко, о маленькой комнатке, где всё так уютно, чисто и заработано честным трудом и где пара маленьких ребятишек ползают и кричат ей «мама! мама!» и бормочут свои славные, ребячьи слова, рисовал ей ее самоё, озабоченную и честную работницу, окруженную подругами, такими же, как и она, женами и матерями... рисовал, беспощадно ярко сгущая краски, и, увлекаясь нарисованной им картиной, еще более жестоко начинал дополнять, входя в самые мизерные детали семейной жизни и умея везде открыть ей крупицы хорошего, человеческого, в лучшем смысле этого слова, обливая всё это искренним чувством сознания совершаемого им добра и уважения к себе за победу над собой и за эту проповедь при таких исключительных и странных условиях, в этой цинически приспособленной обстановке, полной грязи, смрада и отвратительной насмешки над любовью к женщине...

Он сам увлекся нарисованной им картиной, и вот он видит ее здоровой, серьезной женщиной, с засученными по локоть рукавами у печки, а около нее ребята прыгают и радостно орут во всю силу своих легких, такие красивые, чумазые, живые... Дверь отворяется, это муж; вот он любовно хлопает ее по плечу, и она улыбается ему, так чисто и женственно улыбается!.. Вот он ласкает ребят, и они прыгают у него на руках... «Ну-ка, женка, обедаем, что ли?» Она торопливо...

Невыносимо острая боль в боку, в который медленно впилось что-то острое и холодное, заставила его резко крикнуть и прыгнуть с постели. Он подбежал к столу, отвернул винт лампы и быстро оглянул бок.

В одном месте рубашка плотно пристала к телу; он дернул ее и, снова заскрипев зубами от боли, увидел большую медную булавку, воткнутую в нее. Ничего не понимая, он вытащил эту булавку, оставив на рубашке маленькое пятно крови, и вопросительно смотрел на нее.

— Что, больно?— хрипло спросили его из-за полога кровати, теперь плотно задернутого.— Ничего! Съешь на здоровье!

Он понял, кое-как оделся и пошел. А вслед ему, из маленькой комнатки, понеслись удушливые рыдания, тонувшие в удалом шуме, наполнявшем сплошной волной коридор.

. . . . . .

Она перестала плакать, потому что больше не было слез и ее рыдания точно скипелись и отвердели в ее груди, давя ее невыносимой тяжестью. Она встала с постели, машинально оделась и вышла в коридор, а затем на балкон, закрытый стеклянными рамами, пыльный и грязный, и села на кучу дров в углу его. Она чувствовала себя разбитой и умирающей.

До этой ночи она шла своей дорогой, грязной и трудной, шла без всяких желаний чего-либо и только иногда, скуки ради, вспоминала, что где-то, в стороне от ее пути, есть нечто другое; но каково оно там, это как в тумане рисовалось ей. Да и некогда было, в сущности, думать ей о таких ненужных и не идущих к делу вещах. И зачем думать существу, которое продается и покупается? Незачем думать.

И вдруг несколько солнечных лучей показали ей своенравно и капризно далеко назади такое хорошее, светлое, теплое, к чему, однако, воротиться ей было бы уже поздно... а впрочем, ее и не пустили бы. Люди не охотники понимать и прощать, хотя тут всё так ясно и едва ли есть нечто такое, что бы нуждалось в прощении.

Дуньке надоело сидеть в углу и стало холодно без движения. Она подошла к раме, за которой ветер завывал свои убийственно грустные песни, и надавила пальцем одно стекло. Оно зазвенело и упало. Ветер бросил в отверстие кучу снега и полетел по коридору. Она выдавила еще стекло. Ей положительно нравилось выдавливать их; это как будто бы облегчало ее тупую и неподвижную тоску. Но она иззябла и, закутавшись в шубенку, пошла. Ей представился зал, где теперь должны быть все так пьяны и безобразны...

— Анафемы!— прошептала она и толкнула дверь в каморку, где был сложен всякий хлам. Она вошла и задела ногой что-то, издавшее такой скверный металлический звук. А, это жестяная бутыль с керосином. Сев в угол на кучу матрацев, она схватилась за голову руками и стала качаться из стороны в сторону. Так тошно, больно и обидно было ей, а перед глазами носилась маленькая светлая комнатка, здоровый, добрый муж, пара ребятишек и сама она — жена и мать...

Плакать бы еще... Но слез не было. А чувство щемящей тоски всё усиливалось, и к нему подмешивались маленькие злые нотки.

— Эх вы, черти, распелись там!..— проговорила она вслух и больше не нашла у себя никаких слов для выражения своей тоски и своего зла. Всё качаясь из стороны в сторону, она затянула вполголоса тоскливую песню, слышанную ею как-то раз, затянула так, без слов, одну мелодию и, пропев начало, бросила.

Ветер всё выл жалобно и странно, а осколки стекол, оставшиеся в рамах, тонко звенели и дребезжали от его ударов. Ей становилось холодней и хуже, тяжелей,— одной в этой каморке, полной старого хлама, негодного к употреблению.

«Умереть бы...— подумалось ей.— Но это так страшно!..» Она вспомнила безобразное зеленое, с оскаленными зубами, лицо одной подруги, отравившейся назад тому с месяц... Вспомнила и, вздрогнув, встала.

Тут ее нога опять задела за жестяную бутыль, жесть как-то вызывающе зазвенела.

Тогда в голове Дуньки родилась блестящая мысль...

«Я вам отплачу!..»— радостно улыбнулась она и стала торопливо шарить в кармане платья.

Чиркнула спичка и осветила старые стулья, столы, перемешанные с уродливыми растрепанными матрацами.

Дунька взяла в руки бутыль с керосином и, всё еще радостно улыбаясь, начала плескать из нее вокруг себя... Затем осторожно поставила ее на пол и, торопливо одну за другою зажигая спички, бросала их на мочала...

. . . . . .

Теперь к диким песням ветра присоединился звон колокольчиков и бубенцов в упряжке пожарных лошадей, крики пожарных солдат и каких-то усердных людей, разрушавших тяжелыми баграми старый хмурый дом, ласково объятый пламенем, окрасившим в ярко-розовый цвет снег и физиономии публики, жадно смотревшей на пожар.

— Бргись!..— ухарски вскрикивали, немного рисуясь своим молодечеством, бравые усатые солдаты, подвозившие воду.

Старый дом кряхтел и разрушался, огонь весело потрескивал и лизал своими языками его видавшие виды ребра,— и все были очень довольны: публика — красивой картиной, пожарные — случаем поразмять кости, огонь — возможностью заявить о своей силе, старый дом — концом своей жизни, порядком таки надоевшей ему. Впрочем,его хозяин, старый добряк, Исай Петрович Царский, был недоволен.

— Злой человек, ваше благородие, тут есть, его поганых рук дело, ваше благородие!— жаловался он частному приставу, и от огорчения у него смешно прыгали губы.

ГОРЕМЫКА ПАВЕЛ

ПОВЕСТЬ

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоразумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение,— если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать свое дитя на попечение общества, а что они решили именно так, на это указывало пришпиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещен, зовут Павлом»,— последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завернутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул ее изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская — темная и довольно свежая,— чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья березы; на них уже было много

желтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой — очень часто — они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений,— днем шел дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахроме лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил ее в рот и стал сосать, всё еще молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю a priori, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, темное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звездами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моем месте, сделал бы, я твердо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел наконец иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго: через полчаса к нему подошел человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большой двигающийся пень,— подошел, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточенно плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным рокочущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.

— Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и... опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горчайшим пьяницей и горячим приверженцем трехэтажной эрудиции.

— Тащи его в часть!

Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни,— и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понес было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щечку ребенка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щелкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобрать, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определенного.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая черная борода

тряхнулась и отодвинулась к ушам,— и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!.», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

— Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!..— как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарем, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

— Не хочешь, значит? Ах ты... комар!

Но тут «комар», очевидно, убежденный, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза — от недоумения или оттого, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дернул соску вон и затем озабоченно и пристально всмотрелся в лицо ребенка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

— Чши-и... чши и-и...— зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребенком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребенок кашлял всё громче.

— Эх ты, братец ты мой!— сокрушенно вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам ее мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то черную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростертых над ней и улыбавшихся ей живыми, трепещущими лучами своих ярких звезд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса темных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой

«Самара» 1894. №№ 80, 82, 83, 86, 87, 90, 92, 98, 100, 104, 108, 111, 112, 116, 118, 121, 125, 127, 129, 133, 136, 139, 141, 143 и 152

ПОВѢСТЬ.

Родители моего героя были очень скромные люди и, по своему развитию, стояли ниже уровня, на котором стояли окружающие их люди, и потому, вполнѣ естественно, остались совершенно незамѣтными обществу. Положивъ свое тѣло подъ наборъ одной изъ самыхъ глухихъ улицъ города и благоразумно скрывшись во тьмѣ ночной, очевидно не имѣя въ своихъ сердцахъ ни гордости своимъ произведеніемъ, ни столько стыда, сколько нужно для того, чтобъ создать изъ своего сына существо, на родителей его не похожее.

Послѣднее соображеніе, — если только они имъ руководствовались въ ту ночь, когда рѣшили передать свое дитя на попеченіе общества, — что они рѣшили именно такъ, на это указывало приколотое булавкой къ тряпкамъ, въ которыя они его окутали, лаконическое сообщеніе на клочкѣ почтовой бумаги: "Крещенъ, зовутъ Павломъ", — послѣднее соображеніе, говорю я, рисуетъ родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громаднаго большинства отцовъ и матерей заключается именно въ томъ, чтобъ всячески предохранить своихъ дѣтей отъ тѣхъ привычекъ, предразсудковъ, думъ и поступковъ, на которыя они, родители, затратили весь свой умъ и все сердце.

Младенецъ Павелъ, положенный подъ наборъ, нѣкоторое время безмолвно и вяло сосалъ сунутую ему въ ротъ жвачку изъ хлѣба, завернутаго въ мягкую тряпочку, а когда это ему надоѣло, то онъ вытолкнулъ ее изо рта языкомъ и издалъ нѣкоторый звукъ, почти что непоколебавшій тишины ночи.

Ночь была августовская, темная и довольно свѣжая, — чувствовалась близость осени и надъ Павломъ черезъ наборъ, подъ которымъ онъ помѣщался, склонялись гибкія сучья березы; на нихъ уже было много желтыхъ листьевъ и не мало такихъ листьевъ лежало на землѣ вокругъ младенца Павла, а порой — они безвѣтренно отрывались и медленно падали на землю, равдумчиво кружась въ воздухѣ, влажномъ и полномъ густыхъ испареній, — днемъ шелъ дождь, а къ вечеру взошло солнце и успѣло сильно согрѣть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еще не-

«ГОРЕМЫКА ПАВЕЛ».
Машинописная страница повести с правкой М. Горького.

суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь,— прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдаленные небеса.

— Пакость!..

Резюмировав столь красноречиво всё происшедшее, он встал с тумбочки и пошел по улице к городу, потряхивая ребенка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шел он, поворачивая из улицы в улицу, долго и, очевидно, весь путь был отягчаем какими-то особыми, необыденными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую, извивались — и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил только тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди площади, и Арефий уже прошел часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

— Спит!— прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребенка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость ее. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит. А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребенок погибнет, ибо он спит.

— Эх ты, братец!— укоризненно произнес Арефий, входя под своды части.

— Ты откуда?— спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.

— С поста.

— Это чего?— ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.

— Тише ты, чёрт! ище ребенок.
— Ишь их, дьяволиц, порет!
— Дежурный кто?
— Гоголев.
— Спит?
— Дрыхнет!
— А тетка Марья тоже дрыхнет?
— И она спит. Чего же ей не спать?
— У-гу! Это верно!..— протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.
— Скоро сменюсь я и тоже спать!— заметил собрат и хотел уйти.
— Погоди-ка, Михайло!— дернул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал:— Ежели его теперь к тетке Марье, ты как?
— Больно ей нужно!— скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла.— Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.
— Да ведь только на одну ночь!— убедительно заявил Арефий.
— Да мне что ж? только она, уж верно, пошлет к чёрту. Давай ин понесу.
Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михайлу и на цыпочках пошел за ним по коридору, внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжелыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.
— Ну, я подожду!— шёпотом заявил Арефий.
Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.
Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание бороды, ни тем паче ковыряние стенной штукатурки пальцем.
За дверью слышалось глухое ворчанье.
— Обругалась, а взяла!— отворяя дверь, произнес Михайло и почему-то изобразил на своем бритом лице торжество победителя.

— Ну вот! — свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

— Прощай, брат! иду на пост.

— Валяй! — равнодушно ответил Михайло и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготовляя себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипли к каменным плитам. Так простоял он несколько минут, и наконец в коридоре, скудно освещенном керосиновой лампой, произошел следующий диалог:

— Михайло?!

— Ну, еще что?

— Ты его завтра сдашь?

— Ребенка, что ли? Ну, конечно, сдам.

— В родильный?

— Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ерзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и темные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин...

— Умрет он там! — буркнул Арефий.

— Ребенок-то? Наверно, умрет. Они там редко не умирают, потому — чистота, порядок...

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил свое мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял еще немного и отправился на свой пост.

Он пришел туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помещалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдаленной от всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это

не рождало в нем никаких особенных дум и ощущений, а сегодня — родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая, сутулая фигура слилась с их темным фоном.

Он думал. Это были тяжелые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они наконец оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда наконец разрешил этот вопрос суровым и тяжелым: «Нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнес:

— Анафемы подлые!

Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стеклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными смеющимися глазами странного чудовища с острой зеленой головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причем кусты бузины, вползавшие на крышу, можно было принять за растрепанные кудри, а щели над дверью будки — за морщины на веселом, улыбавшемся челе чудовища.

* * *

В 12 часов дня он сидел у тетки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелеными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукавами. Каждое ее движение было целой поэмой боевой жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тетки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество пробивалось все-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублен в гим-

настические упражнения, улавливая свою ногу руками и потом стараясь втащить ее в рот. Красная, пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на нее, испускал одобрительные звуки.

— Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним? — заговорила Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фартуком.— Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребенок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

— А ежели уморит?

— Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то? — дразнилась Марья.

— Чего?.. Баба, ну и...

— И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней, и всё. Вот, мол, тайный сын номера 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! Али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны, как ты? Баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертогонов, на ноги-то ставит? У... гарниза тупоголовая!.. говорит еще про чего-то!

— Ну, а ты все-таки не того... не лай! — резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тетки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

— Еще чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей. Али с вами иначе как можно? Еще дуть вас нужно бы ежечасно!

— Да ладно... Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать елико возможно крепче задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя всё более тяжко.

— Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

— Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И наконец — после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелестных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно стряпая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку,

за печку, за полог постели, покрикивая в окно на кур и снова возвращаясь к ребятам, то и дело высовывавшим головы и подававшим голоса из разных углов,— Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

— Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол; ребенка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперед отдам Китаевой старухе, да с рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники... ну, и другое. А потом — пошел в болото! надоел, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тетке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом и формой на дряблую редьку, ее подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим тонким голосом и через два слова в третье беспокоила того или другого из угодников божьих, кстати и некстати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тетка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила всё это внушительной фразой:

— Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! — и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комок, низко кланяясь тетке Марье, и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шёпотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

— Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для кого как, а уж для вас... — и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить всё то, на что она способна.

— То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел всё молчал, лежа на лавке. Он только тогда неодобрительно промычал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно «Господи, благослови!» — а потом снова умолк, полный непонятного равнодушия к своей

судьбе, и молчал уже всё время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожицу щек. Он заревел.

— Ишь, пострелёнок! Там молчал, смирным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и еще одного взяла; теперь стало пятеро. Маеты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься, но и с голода не умрешь.

Последние дни и ночи ее жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минутки покоя и отдыха... О господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стекла окон в апартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что они сморщились и побледнели от густого запаха аммониака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопченными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской,— по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рванью, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через отворенную дверь, обитую чем-то, имеющим отдаленное сходство с темно-зеленой клеенкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью; прямо против двери стоял стол и на нем самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зеленый, пораненный во многих местах, инвалидно искривленный набок и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах никого нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да воркотни самовара,

не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в темный угол к двери: там на лавке в куче грязных тряпок копошится нечто живое. Видна нога, искривленная в дугу и поднятая на воздух, и, внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и еще одной, такой же кривой, сухой и зеленой,— полуторагодовалый ребенок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблому, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно болел душой.

Он целые дни лежал тут в углу и, поднимая вверх то ту,то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьезным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей,— рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые десны и покрытый желтым налетом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались под мышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколоток. Иногда изучение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он всё с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отраженного ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что всё, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близ-

ком будущем предстоит переселиться с земли в землю,— он отводил свои серьезные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем всё остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уже девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой, анемичной и сутулой девушки-швейки, и нашла ее еле живой, лежащей на койке.

— Что же, матушка,— сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь,— родить-то родила, а кормить сила не взяла? Непорядок! Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своем горбу носить. Денежки пожалуй, а то ребенка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них выразилось много скорби и ужаса.

— Бабушка! — сдавленным шёпотом заговорила она,— заплачу! Всё до копейки, до гроша заплачу! С живой сдеру с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!.. Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня и его, бедного мальчика... а... а... а... пожалей!..

Старуха Китаева слушала ее стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слезы и как нервно, часто подымается впалая грудь матери горького Хрена.

— Ах вы, девки, девки! Блудни девки! Драть бы вас надо крепко, да! — внушительно проговорила она.

— Бабушка, эх!.. Любил ведь, жениться хотел!..

— Ну, это, матушка моя, песня старая. Слыхала я ее раз тыщу.

Но старуха Китаева, видно, не только слыхала, а и сама певала эту песню, ибо невероятно сморщилась, согнулась, закашлялась, подумала и, поцеловав больную, ушла, строго наказав ей выздоравливать. Но та не послушалась ее и вскоре умерла, а Хрен остался на попечении старухи Китаевой и вскоре надоел ей. Тогда

она отвела ему в пожизненное пользование угол и, утешаясь тем, что долго он всё равно не протянет, успокоилась, поскольку могла.

Кроме Хрена, было еще четверо ребят. За троих платили аккуратно, четвертый собирал милостыню и сам с избытком оплачивал расходы на свое содержание. Это был шестилетний круглый, пухлый и розовый мальчуган Гурька Мяч, отчаянный озорник и большой фаворит Китаевой.

— Вор ты будешь первостепенный, Гурька! — похваливала она его вечерами, когда он, возвращаясь «с мира», выкладывал из котомки, вместе с кусками хлеба, конфорки от самоваров, дверные ручки, гири, детские игрушки, подсвечники, маленькие сковородки и прочую мелочь.

Гурька весело взглядывал на нее бойкими серыми глазенками и подтверждал с полной уверенностью:

— Ух какой!.. Всё буду воровать — и лошадей!

— А как тебя усибирят будочники? а? — ласково спрашивала Китаева.

— А я убегу! — не затруднялся Гурька.

Тогда старуха Китаева давала ему на лакомства семишник и отпускала гулять.

Остальные трое, в числе которых был и Панька, ничем особенно не отличались друг от друга и пока еще не успели нажить себе каких-либо определенных индивидуальных черт. Все они трое очень громко кричали, если их не кормили долго; то же они делали, если их окармливали; они кричали и тогда, когда их забывали напоить, и тогда, когда им в глотку насильно вливали воду. Кричали они и еще по многим причинам, но никогда эти причины, и все вместе, и тем более каждая порознь, не казались старухе Китаевой достаточно уважительными, и она кричала на ребят гораздо усерднее, чем все они. В общем, это были очень беспокойные ребята, требовавшие каждый день пищи, питья, сухих пеленок, воздуха и прочих вещей, на которые они едва ли еще могли иметь право, ибо ведь еще не жили, а только собирались жить. Придерживаясь такой утилитарной точки зрения, старуха Китаева не очень ублажала их, очевидно, желая, чтоб они были более самостоя-

тельны и умели сами себе добывать всё нужное для покоя тела и души.

День у старухи Китаевой начинался так:

Первым из пятерых просыпался Гурька Мяч, спавший в комнате старухи Китаевой, отдельно от четырех его совоспитанников. Просыпаясь, он тотчас же соскакивал с своей кроватки, сделанной из ящиков, и, порывшись у себя под подушкой, вытаскивал оттуда длинное петушиное перо.

С ним он на цыпочках пробирался в детскую, осторожно, без скрипа отворял дверь и, так же осторожно ступая по полу,— который летом, высыхая, издавал ноющие звуки, а зимой глухо стукал половицей о половицу,— прокрадывался к одному из ребят, обыкновенно еще спавших. Склонясь над ним, он начинал щекотать ему пером в носу. Ребенок вертел головой из стороны в сторону, потом смешно морщился и тер нос кулачками, а Гурька, еле удерживаясь от смеха, надутый как пузырь и красный, продолжал свое веселое дело. Наконец ребенок просыпался и начинал орать благим матом, вскоре другой и третий ему дружно вторили и подтягивали, а Гурька кричал во всю мочь «бабушка» и, бегая от одного к другому, шипел над ними по-змеиному, строил им рожи, дул им в ноздри холодным воздухом и вообще забавлялся как бог на душу положит.

Подымался диковинный по силе и отсутствию гармонии концерт. Ребята кашляли, чихали, выли, захлебывались и кричали, кричали так, точно их жарили на сковороде.

К серьезному Хрену, уже принявшемуся за исследование своих уродливых ног, Гурька никогда не подходил, он боялся его сосредоточенно вдумчивых глаз. Раз как-то, когда Гурька подошел к нему с намерением включить и его в круг своих операций, эти глаза остановились на лице Гурьки с таким выражением, точно это смотрел не ребенок, а один из полицейских, которых Гурька по многим причинам не мог любить и всегда, при встрече с ними, почтительно сторонился. Гурька убежал и больше не подступался к рахитику.

— Ох-хо-хо!.. Завыли!.. заканючили!.. заскрипели!.. Дуй вас горой! — И проснувшаяся старуха Китаева

припоминала некий нецензурный эпитет, произнося его во множественном числе и множество раз.

Гурька с серьезной миной на роже входил и, надувшись пузырем, тащил со стола самовар в сени, где и начинал тотчас оглушительно греметь. Вообще этот веселый малый любил производить шум, и чем грандиознее были размеры шума, тем счастливее он себя чувствовал.

Старуха Китаева нежно выбирала из-под ребят мокрые пеленки.

— Ну, кикимора! Ори!.. Зевай!.. Гнуси!.. У, лягва болотная!..

Дома она не произносила имен святых отцов и мучеников, считая самоё себя мученицей и потому не призывая никого себе в помощь.

Ребята верещали, Гурька гремел и стучал, старуха Китаева ругалась, а другие жильцы дома и соседи просыпались, ибо из всего этого шума безошибочно выводили, что уже шесть часов утра.

Шум и рев продолжался часа два, пока старуха не успевала переменить пеленки, обмыть и накормить ребят. Затем она пила чай. Гурька уже давно попил, схватил котомку, сочинил из нее себе колпак, вздел на голову и убежал «по миру».

Попив чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор, где сажала в ящики, доверху насыпанные сухим и мелким песком. Там ребята пеклись на солнце часа три-четыре до обеда, а старуха Китаева в это время стирала пеленки, шила, чинила, ругалась, кормила ребят и всячески «разрывалась на тыщу кусков», как она говаривала.

Иногда к ней заходила приятельница, две и три. Это были женщины разных возрастов и двух профессий: за одну сажали в тюрьму, а другая, рано или поздно, непременно приводила в больницу.

С приятельницами появлялась бутылочка, две и три; через некоторое время воздух и уши обитателей улицы резала жестокая песня об «изменщике-мерзавце» или о другой ерунде в этом роде. Еще через некоторое время раздавалась отборнейшая ругань, затем «Караул!», а потом всякий, кто хотел, мог видеть, как старуху Китаеву приятельницы возят по земле за косы, или как старуха Китаева и одна из ее приятельниц бьют вторую и третью,

или вторая и третья усердно лупят их,— всё равно, результат драк всегда был сначала крепкий сон, а потом дружное примирение.

Ребята оставались бы во время всего этого одни и могли бы вполне свободно умереть с голода, предварительно разорвав себе криками легкие, но в момент, когда утомленные боем воинствующие приятельницы и их подруга засыпали, в темном углу двора открывалась низенькая дверь вросшей в землю хибарки, и на свет божий являлась дородная рябая женщина.

Она зевала, крестила рот, смотрела в небеса оловянными, ничего не выражавшими глазами и, подходя к одному из ящиков с песком, вытаскивала из него ребенка. Затем грузно садилась в тот же песок и, медленно расстегивая ворот платья, совала голову ребенка себе за пазуху. Раздавалось жадное чмоканье.

На лице дородной женщины не отражалось ничего, что позволило бы наблюдателю вывести заключение о том, из каких побуждений она старается. Ее лицо было рябо, очень рябо и очень тупо, вот всё, что было в ее лице в этот момент.

Покормив одного, она переходила к другому, к третьему и, наконец, шла в комнату к рахитику Хрену. Тут происходило нечто весьма интересное. Она брала его на руки и несла сначала к окну. Ребенок щурил глаза от падавшего в них солнечного света и повертывал голову. Дородная женщина шла вон из комнаты на двор и, сев там на ящик с песком, предлагала ребенку молока. Он брал грудь и немного сосал, лениво чмокая губами, а она гладила его по зеленоватой головке и щекам. Потом, когда он кончал пить, она сажала его в песок и глубоко закапывала в него изломанное тельце рахитика, так что наверху оставалась одна его голова.

Это, очевидно, доставляло удовольствие Хрену; его глаза блестели чем-то новым, свежим, и сосредоточенное их выражение точно исчезало на время. Тогда дородная женщина улыбалась, но улыбка ничуть не красила ее рябого лица, а только делала его шире. Она долго возилась с ребенком и, когда замечала, что, согретый песком и солнцем, он дремлет, брала его на руки и молча качала. Это ему нравилось, он улыбался сквозь дрему,

а она целовала его и несла туда, в комнату. Потом выходила вон, всё с тем же деревянным лицом смотрела на ребят в песке, иногда, если они не спали, играла с ними, снова кормила их и исчезала в маленькую дверь хибарки в углу двора. Оттуда она часто выглядывала, чуть-чуть приотворяя дверь, и если видела, что упоенная Китаева еще спит, а на дворе уже вечер, то снова выходила, брала ребят и укладывала их спать.

Не подумайте, что я рисую добрую фею, о нет! Она ведь была ряба, у нее были громадные, отвислые груди, и еще она была нема. Это просто жена одного пьяницы-слесаря. Однажды он стукнул ее по голове кулаком и так неудачно, что она откусила себе пол-языка. Сначала он был очень опечален этим, а потом стал звать ее немым уродом. Вот и всё.

Так вот как жили воспитанники старухи Китаевой — летом, а зимой они жили только потому немного иначе, что сидели в песке не на дворе, а на печи. Песок старуха Китаева считала главным фактором в деле физического воспитания и строила всё его исключительно на песке.

Воспитание младенца Павла не отличалось ничем от воспитания его собратий. Впрочем, иногда над ящиком с песком, в котором он сидел, склонялась большая черная голова, и черные глубокие глаза смотрели на него внимательно и долго.

Сначала Панька пугался этого явления, но постепенно привык к нему и даже настолько освоился с ним, что стал запускать свои ручонки в лохматую бороду, щекотавшую его, нимало не пугаясь, когда из этой бороды прямо перед его носом сверкали крупные белые зубы и раздавалось глухое урчание. Иногда его вытаскивали из песка две могучие руки и качали в воздухе, высоко подбрасывая его маленькое тельце. Младенец Павел жмурился и молчал от страха, а когда его переставали качать, он ревел во всё горло, а громадный черный человек, стоя перед ним, кричал:

— Эй, старуха! Али не слышишь?!

— Слышу, батюшка, слышу! — недовольно отзывалась Китаева и ползла откуда-нибудь к ним.

— Нишкни, о... о... о!.. Нишкни, миленький! У... у... у!.. а... а... а!..

— Ревут они у тебя...— гудел на дворе бас.

— Ревут, батюшка, ревут. Все ревут, все как есть! — звенел иронически дребезжащий фальцет.

— Это оттого, что грязно.

— Грязно, батюшка, грязно. Очень грязно.

Бас недоумевающе урчал, а фальцет с торжеством покашливал.

— Лучше-то как нельзя? — возрождался бас.

— Можно, можно. Лучше, много лучше можно! — убедительно и насмешливо вновь звенел фальцет.

— Так ты что же?! — как бы угрожая, гудел бас.

— А ничего, родной, как есть ничего. Старуха я старая, немощная, бедная, вот что. И всё тут. И ничего больше! — покорялся фальцет.

Наступала пауза.

— Пш... чш... пши... и... и... и!.. Спи... и... и!.. Спи... и... и!..— шипело в воздухе.

— Ну, прощай. Смотри же!— спускался бас до октавы.

— Смотрю, батюшка, поглядываю,— тихо отзывался фальцет, и на этом разговор заменялся шумом удалявшихся тяжелых шагов.

* * *

Спустя после описанного четыре года в будке Арефия Гиблого появился ребенок Панька. Это было коротконогое и большеголовое существо, с исковерканным оспой лицом и темными, глубоко ушедшими в орбиты глазами.

Молчаливый и вечно разглядывавший что-то никому не видимое, ребенок Панька не нарушал своим присутствием в будке одинокой, установившейся жизни будочника, успевшего за эти четыре года нажить себе серебряные жилки седин в бороде и на голове да еще более угрюмости и любви к книжкам о жизни святых угодников.

Дни Паньки текли равномерно и покойно. Рано поутру его будили птицы, начинавшие свой громкий разговор с первым лучом солнца. Панька открывал глаза и подолгу смотрел из своей постельки за печкой, как они

прыгали в клетках с жердочки на жердочку, плескались в воде, клевали семя и пели, кто как умел, пели опьяняюще, задорно, но далеко не красиво. Веселое треньканье чижей, спутываясь с однообразным свистом щеглят и дополненное смешным скрипом важных снегирей, сливалось в странную, журчащую струю звуков, капризно бившуюся в маленькой, закопченной и тесной комнатке. Был еще скворец, хромой и молчаливый. Он один висел в большой проволочной клетке над окном и, уцепившись одной ногой за жердь, медленно покачивался из стороны в сторону, поворачивая голову то туда, то сюда, и вдруг испускал из горла тонкий длинный свист, чем всегда приводил остальных птиц в молчаливое недоумение, продолжавшееся с минуту. Птицы вдруг прерывали свой нескладный концерт и оглядывались кругом, как бы желая вникнуть в смысл этого странного свиста, а сосед скворца по клетке, генеральски солидный снегирь, вдруг приходил в какой-то злой раж и, надувшись, как мяч, с заершившимися красными перьями на груди, вытягивал голову по направлению к скворцу и как-то не по-птичьи начинал хрипеть, шипеть и биться в клетке, раскрывая тупой клюв и высовывая толстый язык. Но скворец уже снова не обращал ни на что внимания, покачивался на жерди и философски поводил головой из стороны в сторону. Его неподвижная черная, монашеская фигура оживлялась только тогда, когда в клетку заползал таракан; но и тогда это оживление продолжалось не более двух-трех секунд. Во всем поведении скворца и, главное, в его свисте было что-то скептическое, глубокое, отрезвлявшее других; этот свист раздавался среди голосов остальных птиц, точно веское слово умудренного опытом старика в хору пылких речей еще не жившей и оптимистически настроенной молодежи. Иногда он вдруг начинал прыгать в клетке, встряхивал крыльями, раскрывал клюв, ощипывался, принимал важную, устойчивую позу, но... не свистел, а снова погружался в философское молчание, как бы находя, что не пришло еще время сделать то, что он хотел сделать, или как бы убедившись в том, что задуманное им деяние не может изменить существующего порядка вещей.

Паньке скворец нравился больше всех других птиц, потому что он находил в нем много сходства с тятей Арефой. Тятя Арефа тоже любил скворца; он всегда у него первого чистил клетку и ему первому давал свежее семя и воду.

Панька лежал утром в постели до той поры, пока с улицы не являлся тятя Арефа. Почему-то тятя Арефа не любил свою будку и большее время дня и ночи проводил вне ее. Тятя Арефа осторожно приотворял дверь, просовывал в нее свою черную голову и спрашивал:

— Проснулся?

— Проснулся! — отвечал Панька.

Тогда тятя входил в будку и начинал ставить самовар. Самовар был очень стар, весь обляпан грубыми, тусклыми заплатами из олова и вместо одной ручки имел кусок лошадиной подковы, прикрепленный к его боку проволокой. Поставив самовар, Арефий принимался чистить клетки, мести пол, а когда самовар начинал тонко пищать, то командовал Паньке густым басом, более густым, чем он говорил обыкновенно, что происходило, очевидно, от желания сделать его мягче:

— Вставай, умывайся, молись богу!

Панька вставал, умывался, молился богу и делал всё это ровно, спокойно, как взрослый и как глубоко убежденный в важности и необходимости всего этого, молча, с строго нахмуренной рожицей, и эта мина, вместе с встрепанными волосами и серьезно блиставшими глазами, делала его похожим на маленького крота, крепко озабоченного предстоящим трудовым днем. Потом, когда он, умытый, причесанный и под диктовку тяти Арефы прочитавший искусственно глухим голосом утреннюю молитву, садился за стол перед уморительно курлыкавшим самоваром,— он терял уже много дикой прелести и становился немного смешным в своей молчаливой важности.

Чай пили молча, и молча же проводилась большая часть дня. После чая Арефа стряпал, то есть зимой топил печь, наливал в горшок воды, сыпал туда овощи, клал кусок мяса и совал горшок в огонь прямо рукой, несмотря на то, что имел ухват, а летом разводил на дворике за будкой маленький костерик, пек в нем картофель или тоже варил что-нибудь, причем всё делал так, чтоб не за-

подозрить себя в заимствованиях от баб, с опасностью для своего здоровья отрицая необходимость употребления ухватов, скалок, мутовок и других благородных атрибутов женского труда.

Панька солидно похаживал около него, одетый в ситцевые клетчатые нитанишки и красную кумачную рубашонку, пристально наблюдал за всем, что делает тятя Арефа, и изредка о чем-нибудь спрашивал его. Односложные, хмурые ответы не вызывали Паньку на продолжение разговора; он смотрел еще некоторое время на возившегося в будке Арефия и потом уходил на улицу, сопровождаемый советом не ходить далеко.

Будка стояла на выезде из города и смотрела окнами в поле, недалеко от нее разрезанное стальной полосой реки, за которой тянулось снова поле, зеленое и приветливое летом и холодно скучное зимой. Затем горизонт запирала стена леса, днем неподвижная, темная, молчаливая, а по вечерам, когда за нее опускалось солнце, разукрашенная его лучами в пурпур и золото.

Панька сходил к реке и, примостясь на камнях между кустов ивняка, бросал в воду щепки, смотрел, как они уплывают куда-то далеко, как на воде играет солнечный луч и ветер покрывает ее веселой рябью, и часто, убаюканный немолчным шорохом волн о берег, засыпал.

Арефий, если был дома, приходил за ним и звал домой обедать. Обедали, а потом Панька снова уходил к реке и до вечера играл там один или с нищенкой Тулькой, косоглазой и вороватой девочкой лет восьми, грязной, крикливой и очень не любимой Арефой, который всегда гонял ее из будки, если она заходила туда.

Наступал вечер, и Панька, посмотрев, как садится солнце и лес, живой и красивый, мертвеет, окутываясь вечерними тенями,— шел в будку и ложился спать, при Арефе — предварительно помолясь богу, а без него — не молясь и даже не раздеваясь.

Так текли дни один за другим, однообразные, молчаливые, и, как всегда это бывает с днями, они, цепляясь один за другой, создавали недели, месяцы, годы... Панька рос, его дни становились полнее, он задумывался над тем, куда течет река, и над тем, что скрыто там за лесом, почему облака, такие большие, свободно плавают в небе,

а маленький камень, брошенный вверх, падает обратно на землю, что делается там в городе, где крыши столпились так плотно друг к другу, и за городом, и вообще на земле, такой шумной днем и так грустно спокойной ночью. Но с такими вопросами он не обращался к Арефе, может быть, полагая, что человек, который так много молчит, ничего не знает, и немного стесняемый как этим молчанием, так и постоянно хмурой миной на лице Арефия.

Зато, когда приходил Михайло — это случалось редко,— Панька забивался в угол и из него всласть наслаждался человеческой речью. Михайло говорил много и всегда начинал с вопроса Арефию:

— Ну что, монах,— жив? Жениться не думаешь? — и хохотал, тогда как Арефий оставался глубоко равнодушен.

Но Михайла ничуть не обижало это равнодушие; он вытирал платком свое чисто выбритое лицо и, поудобнее усевшись на лавке, «заводил волынку», как в минуты раздражения выражался его угрюмый товарищ.

— Сегодня, братец ты мой, пообедал я здорово. Кашу мне Марья состряпала из полбы, ох, какая каша! на молоке и с изюмом. Э? Хорошо! Золотые у ней, у Марьи, руки насчет стряпни. И насчет всего иного. Пошить ли что или что другое, всё может! Ах, хорошая баба моя жена! Вот бы тебе такую, Арефа, а? Такую бы?

— Лает, как собака! — коротко отзывался Арефий, возясь около самовара или уже сидя за столом и макая усы в блюдечко с чаем.

Михайло удивленно приподнимал брови.

— Лает, говоришь? Так что же? Ну, лает, это, положим, верно. Но ведь без этого у мужчины с бабой невозможно, ни-ни! Потому каждый хочет себя господином чувствовать, а уступать никто не мастер. Я, к примеру, али я уступлю? Ни в жисть! Сейчас что,—Ма-арья! А коли не берет в резон — раз в зубы...

— А она тебя два раз...— хладнокровно вставлял Арефий Гиблый.

— Два раз? Ну поло-ожим!.. А хошь бы и два раз? Али она мне не жена? Имеет право и два раз. Но только

я не уступлю и тут. Я ей могу за это прописать такую таску...

— А она тебя отваляет скалкой, как запрошлый раз...— не уступал Арефий.

— Ска-алкой!.. Фу ты! Что она меня скалкой-то каждый день, что ли, дует? Один раз всего и было это. Скалкой! Скажет уж тоже, как чёрт в бочку!..

Наступало молчание. Товарищи пили чай и поглядывали друг на друга.

— Ну, а как у тебя птицы? Живут?

— Смотри!..

— Вижу. Хорошо. Птицы — это великолепно. Вот и я себе заведу птиц...

— Жена-то зажарит их,— иронизировал Арефий.

— Никогда! Она сама любит птицу. Прошлый раз еще гуся купила одного. И как купила!..— вдруг оживляется Михайло.— Умная, шельма! Мужик — пьяный, сейчас она на него кричать: «Ты, говорит, пьяный, а я жена унтер-офицера, хочешь, говорит, мужа позову, полицейского — мужа. Он тебя в часть! Ага! Хочешь?» Мужик спьяну испугался да за три гривенника такого ей гуся продал, ух ты! Жулик такой, хитрый, важный, тяжелый, ровно как наш частный! Нет, братец ты мой, жена у меня — клад. И кабы тебе такую найти — святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не пикнул бы ты!

— Ну, а хорошего-то тут что? — осведомился Арефий.

— Хорошего тут-то что? Баба! Дух в доме иной, когда баба есть. Дети сейчас пойдут — это раз, чистота — это два, есть с кем поругаться и помириться — это три...

И начиналось бесконечное исчисление прекрасных бабьих качеств. У Михайла был какой-то особенный угол зрения, освещавший и недостатки баб как достоинства. Бабы — это был его излюбленный конек, впрочем, сильно конкурировавший с другим — едой. Бабы — это была для него альфа и омега бытия, цемент, связующий все явления жизни в одно стройное целое, сила, дающая всему тон, цвет и суть. Он готов был говорить о бабах часа по три кряду в приподнятом, эпическом тоне, то и дело впадая в лиризм, наводивший на Арефия тоску.

Арефий молчал и всё сгибался, точно пробуя залезть под стол от речей товарища, и когда, наконец, его терпение иссякало, он вставал и угрюмо рычал на Михайла:

— Отстань! Будет. Всю душу вытянул.

Этот окрик сокращал оратора, но не смущал его настолько, чтоб уж он совершенно замолчал. Нет, он некоторое время осматривался вокруг и «заводил волынку» снова:

— Печь надо выбелить. Какая же это печь? Фу-фу! мерзость одна. Вот кабы баба-то была...

Но Арефий угрюмо кашлял и внушительно двигал ногой или рукой.

— Не сердись, братец мой! Погоди, сам захочешь. Нестаточное дело, чтоб человек, такой, как ты, жил без употребления...

— Мишка! брось! — стучал кулаком по столу Арефий.

— Ну-ну, не буду, чёрт с тобой!

Несколько минут молчания.

— А пойду я домой! Скоро на дежурство мне. Чай, поди, ждет Марья-то. Ужин у нас сегодня, их ты какой! Сычуг с гречной кашей и свиным салом... Сок один. Куснешь, так и брызнет! Ух!.. Вот и ешь ты погано. Какая это еда? А кабы была у тебя... ну, не буду, не буду, молчу... Иду уж я, иду. Прощай, пошел уж я. Приходи как ни то ко мне. А где ж Панька? Панька, чертенок, ты тут где? Нет, видно. Как он, Панька-то, здоров? Чай, всё на улице живет? Вот тоже и Панькина жизнь,— какая жизнь? А ежели бы баба-то была...

И наконец он уходил, сопровождаемый недовольным урчанием Арефия, который долго после его посещения чувствовал себя угнетенным и как бы обвеянным неприятной ему струей воздуха.

Разговоры Михайла очень редко варьировались, и скоро Панька почти научился предугадывать конец каждой его фразы, слыша ее первое слово. Ему не нравилось бритое, лоснившееся от жира лицо Михайла, с мутными глазами, похожими на две оловянные пуговицы, не нравился и голос, самодовольно басовитый, и вся топорная фигура Михайла с короткими ногами и руками и с четырехугольной, гладко остриженной головой. На-

блюдая за ним и за отношением к нему Арефия, Панька дошел до прямой неприязни к эпикурейцу и стал избегать его, за что и получил прозвище «волчонка». Тятя Арефа, в сравнении с товарищем, был красавец, несмотря на то, что черная борода, мощная фигура и сосредоточенное молчание делали его страшным в глазах Паньки.

Из разговора двух друзей Панька не мог много вынести для себя, но всегда становился на сторону молчавшего Арефия и не доверял многоречивому Михайлу. Отношения Арефы к бабам он постепенно перенимал и даже пытался их демонстрировать над Тулькой, которую это сначала удивляло, потом рассердило, и в результате однажды Панька явился домой с расцарапанной рожицей и с тайным уважением к женщине.

Арефий спросил его коротко и очень густым басом:

— Это что?

— Упал... об щепки...— ответил Панька и покраснел.

— Ишь...— неопределенно заявил Арефий и посоветовал ему умыться.

А дни текли, и Панька рос.

Вот ему уже девятый год. Он невелик ростом, очень ряб, неуклюж, молчалив, и глаза его не по-детски холодны и разумны. Они с Арефием прекрасно понимают друг друга, и поэтому молчание каждого более или менее красноречиво говорит другому. Панька учится грамоте у Арефия. Была сделана попытка ходить в приходское училище, но она окончилась печально. Панька не вытерпел более десяти дней отношения к себе товарищей по школе и на одиннадцатый, разбуженный Арефием — словами «Вставай, пора в школу», поднял голову с подушки и, пристально посмотрев в лицо Арефия воспаленными от бессонной ночи глазами, проговорил первую со дня своего рождения длинную речь:

— Не пойду я больше туда, хоть утопи, хуже собаки паршивой я там. Только и зóву, что крапивник, подкидыш, рябой чёрт. Не пойду, как хошь. Дома я лучше буду. Не люблю их я, никого не люблю. Всегда буду биться с ними. Третьего дня нос расквасил учителеву сыну, а учитель-то меня на колени — на час целый. Еще расквашу, всем расквашу, ставь — на! А когда меня

побьют, так ничего, я молчу и на колени никого не ставят. Не пойду я больше, как хошь!

Арефий смотрел на рябое детское лицо, теперь еще больше исковерканное злобой и негодованием, и молчал, а когда Панька кончил говорить и снова с упрямой и вызывающей миной ткнулся головой в подушку, он коротко, но так, что в окнах дрогнули стекла, бухнул: «Не ходи!..» И при этом так внушительно посмотрел в ту сторону, где было училище, что Панька дрогнул и закутал голову в одеяло.

Больше о школе не подымалось речи, и учение пошло с грехом пополам дома. Панька учиться не любил и садился за книжки, как за трудную и неприятную работу, а Арефий, преподавая ему грамоту, не мог, несмотря на свое желание, оживить мертвые буквы и слова.

Каждый день после чая Панька с хмурым лицом снимал с полки книжки, садился за стол, опершись локтями о колена, ущемлял свою голову в ладони и начинал качаться взад и вперед, вправо и влево, при этом бормоча что-то очень неясное и далеко не музыкальное.

Единственным результатом этих приемов было то, что птицы в клетках сначала умолкали и беспокойно переглядывались друг с другом, а потом вдруг, по сигналу одного задорного чижа, снова принимались свистеть и щебетать на разные лады, как бы обуреваемые злостным намерением выбить мальчика из тесной колеи научных занятий. Они в этом быстро успевали.

Панька отрывал голову от книг и начинал тихонько подсвистывать сначала одному чижу, хорошему певуну, потом некоторое время густым свистом дразнил снегирей, затем подзадоривал щеглят, скребя одним ножом по обуху другого, и наконец, когда в будке подымался невероятный гам, он вставал на лавку и занимался со скворцом.

Это делалось так: в клетку просовывалась лучинка, и оной лучинкой скворец получал несколько щелчков по носу, что его всегда приводило в большое беспокойство. Он очень нелепо прыгал на одной ноге по клетке, хлопая крыльями и стараясь поймать проклятую лучинку клювом. Редко он достигал этого и если достигал, то, потеребив ее, снова погружался в скептическое молчание,

из которого его уже не могла вывести лучинка, а не достигая,— оглашал будку своим свистом, который от времени приобретал всё больше и больше демонстративный характер.

На этом успокаивался Панька и снова садился за книги, но уже не смотрел в них, а смотрел прямо перед собой сквозь стену, и чем больше он упражнялся в этом, тем шире, глубже и осмысленнее становился его взгляд. О чем он думал, едва ли было понятно и ему самому. Есть думы без физиономий и форм; это не мешает им быть тяжелыми и отравляющими сердце преждевременным знанием тех сторон жизни, не знать которые было бы большим счастьем, если б не было трусостью и не делало людей глупыми.

И так, под неугомонное щебетанье птиц, Панька сидел часа по два. Потом приходил Арефий и спрашивал урок. Панька покойно усаживался на скамье и, туго нажимая пальцем на строки в книжке, выдавливал из них такие сентенции:

— Пы-лой пы-лят...

— Погоди! — останавливал его Арефа.— Должно быть не так это.— И, придвигая к себе книжку, шевелил губами.— Не так! Ну-ка, еще читай.

— Пи-лой пы-лят, а иглой шьют.

— Ну... Пилой ведь написано... Что делают пилой?

— Пилой? — подымая глаза к потолку, соображал Панька.— Дрова пилят.

— Ну, вот видишь! а ты читаешь: пылят, чай, это ниже, а не еры.

— Да тут не написано про дрова-то.

Арефий на некоторое время задумывался о том, куда девать дрова, мешающие уяснению научных сведений. Панька ежился и заявлял:

— Я ведь знаю всё это. Иглой — шьют, топором — рубят, а пером пишут, а вот читать это не умею. Маленькие больно слова-то. И всё разные.

Арефий молча соображал; глядя в книжку, прочитывал наивнейшие фразы и то сомневался в их развивающем и поучающем значении, то удивлялся премудрости составителя книжки, который, по его мнению, подозревал Паньку в предположении, что пилой шьют, а иглой пилят.

В таком порядке и характере проходил час урока. Арефий задавал Паньке повторить зады и еще «от этого места до этого», и затем оба, вспотевшие от научных трудов, садились обедать. После обеда Арефий ложился поспать, а Паньке наказывал поглядывать и «коли что», так сейчас же разбудить его.

Панька одевался и выходил на улицу. С улицей он жил далеко не дружно. Его молчаливый, угрюмый характер не привлекал к нему симпатии сверстников, а сам он, втайне завидуя их веселью и играм, не решался пойти им навстречу. Впрочем, было сделано несколько попыток завязать дружественные сношения, но все они кончались почему-то гомерическими драками и обоюдным озлоблением. Панька не умел увлекаться живой прелестью игр и ко всему относился слишком рассудочно и взросло, это производило на всех охлаждающее и неприятное впечатление. Его избегали наконец, он это чувствовал.

А однажды вышел такой случай: отправились в лес за грибами, и Панька, любивший лес, умягчавший его и навевавший своим меланхолическим шумом на его душу много теплых и мягких дум, незаметно отбился от товарищей в сторону. Бродя между деревьев и пристально оглядывая землю, он мурлыкал песню, наслаждался теплым и сочным запахом перегнивших листьев, шорохом травы под ногами и бойкой жизнью букашек, муравьев... Издали до него доносились голоса товарищей.

— А где ж подкидыш? — крикнул кто-то.

— Вот больно нужно! не потеряется, небойсь!

— Всегда надутый, как сыч или как будочник Арефий...

— А может, будочник и есть его отец?

И ребята звонко засмеялись.

Паньке стало холодно и темно от этих фраз. Он осторожно пошел вон из леса, чувствуя себя обиженным; но скоро эта обида перешла в злость. Ему захотелось отомстить, и он чувствовал себя вправе сделать это.

Тогда, выйдя на опушку, он крикнул во весь голос тоном радости и интереса:

— Эй, братцы, айда скорей! Что я нашел! — А когда

к нему на голос выбежали двое, он бросился на них и, отколотив обоих, ушел, сопровождаемый руганью и оскорблениями. Всё время до самого города они шли в отдалении от него и ругались, смеялись над ним, боясь подойти ближе, ибо он был силен и вступать в открытый бой с ним было опасно, в чем им не раз приходилось убеждаться.

А Панька пришел домой и тоскливо задумался о чем-то. Арефия не было дома, наступал вечер, в будке было темно и тихо. Тишину нарушали только зяблик и чиж, недавно приобретенные и еще не успевшие обсидеться. Они привлекли внимание Паньки. Он долго смотрел, как они прыгают в клетке, просовывают головы сквозь прутья, и вдруг, быстро вскочив на стул, снял клетку и, отворив дверцу, высунул ее в открытое окно. Птицы быстро улетели. Панька даже не заметил, как это было; отвлеченный в сторону чем-то другим, он снова сел за стол и, положив голову на руки, снова задумался...

Пришел Арефий.

— Выпустил я птиц-то,— встретил его Панька. Он сказал это вызывающим тоном, и взгляд его сверкал вызывающе.

Арефий посмотрел на стены, потом в лицо Паньки и коротко спросил:

— Зачем?

— Так! — всё с тем же выражением в тоне и глазах ответил Панька.

— Ну... твое дело.

— А ты что ж не поругаешь меня? — задорно заявил Панька.

Арефий поднял брови и усы кверху и пристально посмотрел в лицо приемыша.

— Разве я когда тебя ругал? — грустно изрек он и стал гладить себя по колену ладонью.

— То-то что нет. А все ругают. Уж и ты бы, что ли, вальнул. Всё уж равно.

Арефий смущенно заерзал по лавке. Панька смотрел на него совсем взрослым и очень злым человеком.

Воцарилось тяжелое молчание. Даже птицы, казалось, присмирели и слушают, что будет дальше. Но

дальше ничего не следовало, кроме того разве, что Панька подобрал под себя ноги и оперся спиной о стену.

Грязные, старые часы, с желтым, засиженным мухами циферблатом, отсчитывали секунды, однообразно капавшие в бездну вечности, и были, очевидно, страшно утомлены этой обязательной работой; лениво качавшийся маятник тихо и уныло взвизгивал, вызывая этим звуком у таракана, сидевшего на стене, насмешливые движения усами. Красный луч заходившего солнца пробился сквозь кусты бузины в окно будки и бросил на ее пол светлые колебавшиеся пятна.

— Выпустил птиц — это ничего. Ту птицу, которая бьется в клетке, нужно выпустить, а если она привыкла, так и пусть ее сидит,— это уж и не птица. Хорошую птицу всегда тянет на волю...

Панька поднял голову и посмотрел на Арефия.

— Это ты к чему? — спросил он.

— Так... ни к чему... Подумал да и сказал...— смущенно ответил Арефий, теребя бороду и чувствуя себя в чем-то виноватым перед Панькой.— Не сразу тоже скажешь так, как думаешь. Иной раз около своей-то мысли вертишься, вертишься, да и потеряешь ее, вся в куски разорвется... а что рассыпалось, того уж и нет.

— Ну? — внимательно вытягивая голову, вновь спросил Панька.

— Ну, и ничего. Уметь, мол, надо говорить-то. Давай-ка вот, Панок, почитаем житие Алексея божия человека.

— Давай!

Панька лег на лавке, немного разочарованный Арефием, в словах которого он чувствовал что-то новое; да и самых слов было сказано в этот раз много, что тоже было новостью. Арефий снял с полки кучку истрепанных книжек и, выбрав одну из них, положил ее на стол перед собой, и несколько минут спустя в будке плавал его густой бас, становившийся еще гуще по мере того, как возрастал интерес книги, и переходивший к концу ее в дрожащую густую октаву. Панька любил в это время лежать с закрытыми глазами и иллюстрировать книжку разными картинами. Так, он представлял себе всех святых такими маленькими и худыми, с громадными,

сурово сверкающими глазами; их мучителей — здоровенными мужиками в красных рубахах, с засученными рукавами и в сапогах со скрипом; царей, гонителей христиан,— коротконогими, толстыми господами, которым всегда страшно жарко, отчего они так и злятся. В основе его представлений лежали реальные лица: священник из монастыря, мясники-приказчики, жившие неподалеку, и частный пристав Гоголев. Панька брал самые выпуклые черты их характеров и физиономий и развивал их до того, что они совершенно теряли человеческое подобие и становились какими-то чудовищами, пугавшими своим безобразием самого создателя. Иногда скомпонованные им картины наводили на него ужас. Он открывал глаза и испуганно оглядывал будку. Прямо перед ним торчала громадная лохматая голова Арефия, от нее на стену падала громадная, фантастическая тень, и вся будка была заполнена басистым гулом, из которого густыми, могучими вздохами иногда вырывались отдельные слова и фразы. Панька ловил их и не понимал, как могли из этих простых слов создаваться такие страшные картины мучений подвижничества и почему он, слушая эти слова, может видеть то, о чем они говорят. Он задумывался и снова терял нить истории... И, поглощенный своими думами, он так и засыпал тут на лавке, против Арефия, увлеченного книжкой до полного забвения всего происходящего вокруг. Арефий, когда дочитывал книгу, долго еще не подымал от нее головы, как бы читая что-то и на пустой странице обложки, а потом вздыхал полной грудью, оглядывался, вставал и, подходя к Паньке, с массой предосторожностей брал его на руки, относил в постельку за печкой и, перекрестив, выходил на лавочку к будке.

Там он долго и внимательно смотрел на реку, на темную стену леса и в небо, усеянное звездами; прислушивался к утихавшему шуму города и, подозрительно поглядывая на проходивших мимо женщин, окрикал извозчиков строгим «Тише, чёрт!», если извозчик ехал быстро, и еще более строгим «Ну ты, ползи!», коли извозчик ехал тихо. Ни в том, ни в другом оклике не было решительно никакой надобности, но без этого Арефий не пропускал мимо себя ни одного из извозчиков. Все

они ему казались отчаянными дармоедами и лентяями, живущими на счет сил своих лошадей, которые уже по одному тому были намного лучше и разумнее своих хозяев, что не сквернословили.

Иногда мимо Арефия, громыхая бубенцами, мчалась тройка, гикал ямщик, визжали женщины, слышался сиплый и пьяный смех мужчин... Арефий вскакивал на ноги и, ощущая в себе горячее желание отправить всю эту компанию в часть, долго провожал их строгим взглядом.

С того времени, как Паньке минуло шесть лет и он стал бегать по улице, Арефий начал также очень строго и недоброжелательно относиться к уличным мальчишкам и быстро успел выработать в них враждебно задорное отношение к себе. Он никак не мог помириться с тем фактом, что все они смеют относиться к его Паньке так дурно и зло, и сначала не хотел верить в это, но случайно подсмотрел две-три сценки, подслушал два-три глупых ругательства по адресу своего приемного сына, убедился, что это так, что его Паньку никто не любит, кроме него, глубоко задумался и, незаметно для самого себя, объявил мальчишкам жестокую войну, не позволяя им шуметь и играть на улице, часто в своих придирках к ним доходя до смешного, и наконец убедил себя, что он имеет дело не с детьми, как это может показаться сначала, а с маленькими людьми, которым вполне доступны и понятны все дурные чувства и наклонности больших.

Это убеждение часто приводило Арефия к очень острым столкновениям с обывателями, а во время столкновений ему не раз приходилось выслушивать много нелестных эпитетов по адресу Паньки. Всегда после таких столкновений он становился еще мрачней и всё лицо его, стянутое глубокими морщинами, утопало в бороде, усах и бровях, из-под которых сурово сверкали глаза, делавшиеся от времени всё более беспокойными и нервно-подвижными.

Когда он читал свои излюбленные жития святых, голос его становился всё глуше день ото дня, а порой начинал дрожать и странно, металлически звенеть.

Но в отношениях к Паньке не происходило никаких перемен. Всё то же молчание. Редко — отрывистые и

краткие разговоры, по тону нимало не отличавшиеся от всего, что говорил он с кем-либо, кроме извозчиков и женщин. Это был совершенно спокойный, почти равнодушный тон; им он рапортовал начальству, им отдавал приказы дворникам, им уговаривал пьяных идти домой и им же отвечал на вопросы прохожих. Последнее, впрочем, случалось редко, ибо его суровая большая фигура, с лицом, глухо спрятанным в черную бороду, не располагала к разговорам.

С течением времени он всё менее сидел в своей будке; даже ночью, когда дежурить на улице он не видел ни малейшей надобности, он все-таки выходил и садился на лавку под кусты бузины.

Неподвижно, как пень, он сидел всю ночь до рассвета и иногда, так сидя, тут и засыпал. Вообще же смотрел в поле за реку очень пристально и долго, не отрывая глаз от избранной точки. А иногда вставал и шел к реке, садился там на камни и сидел, точно к чему-то прислушиваясь... Река катилась в даль и тихо, тихо шептала о чем-то берегу...

А Панька, вырастая, всё более уходил в глубь себя, становился всё более скучен и молчалив для детей-сверстников и почти уже не делал попыток установить какие-либо сношения с ними, помня прежние попытки, которые принесли ему гораздо более огорчений, чем радостей.

После одной из таких попыток он вошел в будку взволнованный, со стиснутыми зубами, с синяком под глазом и рассеченной в кровь губой.

— Что, опять подрался? — спросил Арефий, довольно одобрительно поглядывая на него.— Экий ты, братец мой, воин, всё дерешься!

Панька молча сел на лавку и, пососав губу, плюнул.

Арефию очень нравилось в Паньке то, что он ни разу не прибегал к нему с жалобами и со слезами, а расправлялся с врагами, поскольку мог, своими средствами и никогда, какой бы урон ни потерпел, не плакал.

— С кем ты это похлестался теперь? с Огузковым, что ли, опять?

В другое время Арефий не говорил бы с Панькой больше, но теперь, чувствуя, что Панька чем-то крепко

задет за живое, пытался доискаться истины. Ему не пришлось особенно хлопотать об этом, потому что Панька вдруг наклонил голову и глухо, весь дрогнув, спросил:

— Где у меня отец с матерью?

Арефий, возившийся перед печью, уронил из рук ухват и вытянулся перед Панькой, как будто Панька был частным приставом, вытянулся и, широко раскрыв глаза, с некоторым страхом стал смотреть на его согнутую фигуру. Панька не видал его позы и мины и долго ждал ответа, но не получил его.

— А что они были за люди такие? — поднял голову Панька и скверно, не по-детски улыбнулся в изумленное и испуганное лицо Арефия.

На этот раз Арефий нашелся.

— Мать твоя — шкура барабанная, а отец — мерзавец! — рыкнул он на всю будку и подкрепил свое определение отчаянным ругательством по адресу родителей Паньки, ругательством, какого Панька не слыхал от него ни прежде, ни после.

Панька снова согнулся и замолчал.

Арефий сел на лавку, не обращая внимания на то, что в печке кипел какой-то горшок с водой и заливал яростно шипевшие дрова. Молчали долго и внушительно.

— Знал ты их? — робко спросил наконец Панька.

— Знал...— загудел Арефий.— Как не знать! Уж коли своего ребенка под забор бросили, значит — подлецы.

— А живы они?

— Ну, уж не знаю... Нет, наверное, сдохли оба. Она, чай, от тоски по тебе, а он спился с кругу или что ни то в таком роде, тоже под забором, верно, и сдох... как собака.

— А ты... их видел?

— Никогда я во весь век свой такой дряни не видывал! Видел бы я их!..

Панька понял из заключительного возгласа, что если б Арефий видел его родителей, то им, наверное, от этого было бы очень нехорошо,— понял и никогда более не заводил с ним разговоров об этом темном вопросе. И только однажды как-то Арефий сам заговорил

об этом, исходя от какой-то тайной мысли, кажется, несколько романтического характера:

— А видно, что ты не простых, черных людей сын. Ум у тебя не простой и всё прочее. Не чернь.

Из каких наблюдений вывел Арефий заключение о происхождении Паньки от таких сложных и светлых людей, коим был неизвестен инстинкт любви к детищу, это было его тайной, Панька же не давал ему большого материала для такого вывода. И кроме этого вопрос о происхождении Паньки не подымался ни разу.

Думал ли Панька о нем? Может быть. Он всегда так много думал и так подозрительно упорно молчал, что, наверное, не оставлял и этот вопрос без исследования.

Нет границ фантазии человека, фантазии же ребенка еще меньше границ, ибо душа ребенка еще более тайна, чем душа взрослого,— в ней нет тех маленьких дрянных черточек, которые так ясно видны в искушенной жизнью душе большого человека.

* * *

Как-то раз, возвратившись из части, Арефий обратил внимание на скворца, который за последнее время вел себя очень странно: сидит, сидит неподвижно на жердочке клетки и вдруг полетит с нее кувырком вниз. Часто он попадал в чашечку с водой и потом долго отряхивался, щелкая клювом и хлопая крыльями. Всегда после таких падений ему дорого стоило взобраться на жердь, куда прежде он взлетал сразу, а когда он взбирался, то садился не посредине ее, как прежде, а к краю, прижимаясь боком к стенке клетки. В этот день хромая птица то и дело встряхивала крыльями, стараясь удержаться своей ногой за жердь и, видимо, теряя силы.

— Умереть хочет хромой-то! — сообщил Арефий Паньке, критически осмотрев птицу.

— Ну? — немного тревожно произнес Панька, любивший этого скворца больше других птиц.

— Верно. Умрет. Он ведь старый уж...

— Не тронь его, пусть...

Панька поднял голову и печально уставился на птицу, всё сильнее качавшуюся на жерди.

— Может, вынести его на волю? — спросил он Арефия.

— Можно и вынести!

И вот они сняли клетку и вынесли ее под куст бузины перед будкой. Был веселый мартовский день, всюду на солнце сияли лужи, рыхлый снег сочился водой, и даль давно уж не была так широко открыта и заманчиво свободна от серых масс зимних облаков. За рекой вилась дорога черно-коричневой широкой полосой, и по обеим сторонам ее сверкали на солнце яркие пятна проталин. Небо было ярко, и весело сияло в нем молодое солнце весны. Но скворца уже не могло оживить всё это. Он спокойно оглянулся вокруг, качнул головой, протяжно и тихо свистнул, упал с жердочки и умер.

Это случилось как раз в ту секунду, когда Панька хотел отворить дверцу клетки и, вынув из нее скворца, положить его на проталинку.

Панька отшатнулся и жалобно смотрел, как в предсмертной судороге вытягивалась лапка птицы, и, когда она, наконец дрогнув, замерла, по его лицу одна за другой покатились слезы... Вынув птицу из клетки, он повертывал ее в руках, и слезы из его глаз капали на ее перья.

— Значит, коли я умру, так ты тоже заплачешь? — тихо спросил его Арефий, наклоняясь к его лицу.

Панька бросил птицу на землю и, схватив руками шею Арефия, ткнулся ему в грудь головой, что-то бормоча сквозь сотрясавшие его рыдания.

— Ну, ладно, ладно. Не плачь. Ничего... Не без добрых людей свет. Проживешь. Трудно тебе только, не умеешь ты кориться. Это горе. Ну, а без этого — вдвое, потому тогда все на тебе поедут. Но ничего. Пробьешься. Главное — учись!

Кое-как, рубя слова, как топором, Арефий успокоил Паньку, и они вместе устроили похороны скворца: вырыли у корней бузины ямку, выложили ее мелкими черепками и засыпали землей.

Панька, сильно удрученный этим событием, выпросил у Арефия позволение поставить над могилой крест

и принялся строгать его из лучинок, а Арефий, погруженный в тяжелые думы, избороздившие ему весь лоб морщинами, сел в угол на лавку и исподлобья наблюдал за ним.

— Есть у меня такая дума, что я умру скоро. Тошно мне очень бывает порой... Ну, так вот...

Панька положил нож на стол и стал внимательно слушать.

— Перво-наперво, за Михайлом у меня в долгу 35 рублей с двугривенным, да вот в сундуке лежит семнадцать с половиной. Дать их тебе в руки нельзя, а вот я отнесу на почту в кассу, есть там такая касса, и возьму желтенькую книжку оттуда. Ты эту книжку храни. Ну, положим, я тебя хочу пристроить в мастерство. Ах, Панька, и скверно же тебе там будет! ух, как скверно! Народ — оголтелые собаки. Пьяницы, воры, матерщинники, развратники,— просто прелесть! Бить тебя будут. Поносить тебя будут... Э-хе-хе!..

Арефий встал, снял с полки шапку, резким жестом надел ее на голову и ушел из будки, оставив Паньку, подавленного предсказаниями, доделывать крест на могилу покойного скворца.

Воротился в будку Арефий поздно ночью, когда Панька уже спал, но к затронутой теме уже не возвращался.

Прошло еще месяца два. Не так давно Панька вдруг возымел охоту к ученью и теперь все дни проводил за книжками, но мудрые науки давались ему с трудом. Весьма часто эти книжки выводили его из терпения; в поте лица разбирая одно какое-нибудь слово, он вдруг открывал, что оно ему давным-давно знакомо. Это его бесило,и он ставил вопрос: зачем тут написаны такие слова?

Как-то раз, в раздражении на науку, он заявил Арефию, что все эти книжки написаны «нарочно» и ничего в них нужного ему, Паньке, нет.

— А тебе чего нужно? — спросил Арефий.

— Мне-то? — задумался Панька.— Вот тут написано: «Наши дети сели и съели ягоды» и еще: «Ель, мель, шмель, ел, мел, смел»... Это зачем мне нужно?

— Да, это действительно не тово... Ну, а ты читай дальше.

Панька читал дальше и все-таки был недоволен, не находя ничего такого, что отвечало бы на смутные запросы его души. В этот день он прочитал две сказки и, по обыкновению, возмущенно размышлял на тему — зачем они ему нужны?

С улицы издалека доносились крики и смех мальчишек, и в окно будки весело заглядывало солнце. Это еще более злило Паньку, не позволяя ему сосредоточиться на книжках. Птицы задорно щебетали, прыгая в клетках, и Панька, искоса поглядывая на них, вспоминал свое давнишнее желание выпустить всех птиц на волю. Где-то вдали глухо гремела пролетка. Панька посмотрел в окно. По улице шел булочник, и Панька почувствовал, что ему хочется есть... Арефий что-то долго не идет сегодня.

Дребезжание пролетки всё приближалось к будке, и вон она появилась из-за угла; на ней сидит полицейский, но не Арефий. Это Михайло... «А чего ему нужно?» — подумал Панька и, выйдя на улицу, встал у двери будки.

Михайло еще издали махал что-то руками, как бы подзывая Паньку к себе. Панька смотрел на него и, видя, что весь он как-то странно растрепан, фуражка сдвинута вбок и на затылок, шинель расстегнута, догадался, что произошло нечто важное.

— Садись скорей! — крикнул Михайло.

— Ну? — спросил Панька, прыгая в пролетку.

— Вези назад в больницу! — толкая извозчика в спину, скомандовал Михайло.

— Что... вышло?! — крикнул Панька, бледнея и дергая Михайла за обшлаг.

— Вышло плохо. Арефий-то с ума спер. Спятил с ума. Помешался. Понимаешь? Пришел к частному приставу и говорит: «Мучьте меня, я христианин. Мучьте, не хочу я с вами, говорит, больше никакого отношения иметь». Гоголев было его в зубы. Ну, он ничего,— «бей, говорит, Диоскор, но я пребуду христианином до века». Ишь ведь какая чепуха!.. Пока что он, Арефий-то, давай с полки хватать дела, да обземь их, да ногами по ним: «Сокрушу, говорит, ваших идолов в прах»,—и прочее такое. Ну, конечно, его сейчас веревкой и в больницу, а он-то говорит, а он-то говорит!.. Н-да!

вот они, книжки-то, и сказались. Эх ты, горе — эта грамота! Думается, от нее и всякое недоброе в голову идет. Сейчас это — как, да почему, да зачем, да — тьфу!.. и с ума спятишь. Жалко малого-то, страсть как! товарищ ведь, старый друг!

Панька сидел подавленный, угрюмый и бледный и молча слушал, припоминая Арефия, каким он видел его вчера, третьего дня и дальше, в глубь прошлого... Ничего не было заметно за старым полицейским солдатом, кроме того разве, что он сильно худел день ото дня, что у него всё глубже вваливались глаза и взгляд их, обыкновенно малоподвижный, мрачный, за последнее время был как-то особенно жив и странно поблескивал то будто радостью, то страхом перед чем-то.

Раз, впрочем, не так давно, он заговорил о жизни в Ташкенте, о жаре, песке, диких тамошних людях и о каких-то поступках, за которые этих людей нужно убивать, как крыс. Но, поговорив об этом, он снова замолчал и всё время, до сегодняшнего утра, был человеком как следует.

— А он что — выздоровеет от этого? — прервал Панька разглагольствования Михайла.

— Он-то? Ну... известно... конечно... выздоровеет. А что доктор — разве он может что знать вперед? Никогда! Доктор может лечить, и всё тут, и больше этого ему не дано. А ты будку запер? Извозчик, стой! А будку ты запер, а?!.

— Наплевать на будку! — махнув рукой, с раздражением крикнул Панька.— Разве что говорил доктор? Ты скажи, говорил? Эх, зачем ты остановил извозчика! Едем, дядя Михайло, скорей!

— Как едем, коли ты не запер будку! Ах ты, братец мой!.. едем, говорит! Ну ж дите!.. Растаскают ведь всю будку! Извозчик, назад! Поезжай, дурак, назад!

— Милый дядя Михайло! Не надо!.. Едем туда, к тяте Арефе!.. пес с ней, с будкой! — кричал Панька, волнуясь.

— Невозможно, чудак! Я один ворочусь ин. Один! Извозчик, вези его, вези в больницу! Ну, пошел! где сумасшедших сажают, вези! А ты спроси там, Панька...

Но пролетка загремела, и Панька не расслышал, что надо спросить. Он ерзал по сиденью пролетки и всё понукал извозчика: «Скорее поезжай!»

— Сейчас приедем! — убедительно отвечал извозчик, чмокал губами, махал кнутом в воздухе и корил лошадь, возглашая: — Ну, куда ты прешь, дура? Али ты тоже с ума сошла? — и, дергая вожжами, сворачивал ей голову то вправо, то влево, на что она отвечала ему негодующими взмахами жидкого хвоста и недовольным фырканьем.

Михайло своим печальным сообщением точно сорвал с мозга Паньки какую-то пелену, мешавшую ему до сего дня правильно понимать и воспринимать окружающее. Панька почувствовал себя одиноким, беззащитным и инстинктивно как-то насторожился, подозрительно и недоверчиво поглядывая вокруг и усиленно пытаясь заглушить неотвязно нывшую в его груди холодную тоску, позывавшую его расплакаться. Всё — извозчик, улица, люди, шедшие по ней во все стороны, теперь показались ему более чуждыми, чем вчера, например, и возбуждали в нем боязливое опасение чего-то обидного и нежелательного. И даже небо, ясное, горячее летнее небо, вчера теплое, ласковое, сегодня стало каким-то бездушным, сухим и не имеющим к нему, Паньке, никакого отношения.

— Ты как думаешь, выздоровеет он? — спросил Панька у извозчика, подъезжая к решетчатому забору, за которым стояло желтое холодное и скучное здание больницы.

— Он-то? Вы-ыздоровеет! Налево, чёртова кукла, налево! Экая непутевая планида!

Но раньше, чем «чёртова кукла» и «непутевая планида» успела поворотить налево, Панька спрыгнул с пролетки и стрелой помчался к желтой стене, на которой темное пятно отворенной двери смотрело глубоким зевом.

Этот зев поглотил Паньку, обдал скверным, прохладным веянием и остановил его, недоумевающего, куда теперь идти.

— Тебе что? — спросили его откуда-то.

Опустив низко голову и не пытаясь посмотреть, кто с ним говорит, Панька торопливо забормотал:

— Будочник один... сумасшедший... сегодня привезли... укажите, где это.

— А!.. иди прямо, прямо. Отец, что ли, будет тебе?

Панька поднял голову. Перед ним двигалась чья-то широкая спина в красной рубахе.

— Отец, мол, что ли? — говорила эта фигура тенором, не оборачиваясь лицом к Паньке, и вдруг стала так неожиданно и быстро, что Панька ткнулся в нее лицом.

— Вот, Николай Николаевич, сын к сегодняшнему полицейскому пришел.

К Паньке подошел господин в очках и взял его за подбородок.

— Ну, что же тебе, мальчик, нужно? — спросил он ласково и тихо.

Панька удивленно вскинул на него глазами. Лицо у господина было худое, бледное и такое маленькое.

— Что же ты хочешь? а?

— К нему бы...

— Да нельзя этого. Нельзя.

Панька сморщился и молча заплакал. У него кружилась голова.

— Как же теперь... я-то? — сквозь слезы спросил он.

Но господина около него уже не было, стоял один только человек в красной рубахе и белом фартуке. Он стоял перед Панькой, заложив руки назад, и, закусив губу, задумчиво поглядывал на него. Панька плотно прижался к стене и всхлипывал.

— Нишкни! Айда-ка со мной скорей, чтоб не видел доктор-то, ну! — и, схватив Паньку за руку, он помчал его в глубь коридора.

— Гляди!

Паньку сзади схватили руками, подняли на воздух и ткнули в круглое стекло, вставленное в дверном отверстии, а за дверью гудел могучий бас Арефия.

Он стоял среди комнаты в длинном белом халате, с руками, туго закрученными назад, в длинном колпаке, падавшем ему на спину, и говорил. Всё его лицо и голова были обриты, от этого большие уши казались оттопырившимися, щеки пожелтели и ввалились, скулы стали острыми, глаза, широко раскрытые, совсем ушли в глу-

бокие, черные ямы, под одним из них образовался багровый подтек, а на левой скуле резко бросалась в глаза красная звездочка, из которой вытекали капельки крови и, тонкой лентой перерезывая щеку, спускались на шею и пропадали за воротом халата. Арефий стал страшно худ и высок.

— Вот вы ввергли меня в темницу! — гудел он, страшно сверкая глазами.— Терплю во имя бога моего и претерплю до века. Но разрушил я кумиры ваши и поверг во прах жертвенники! И поверг во прах жертвенники и, доколе не вырвали вы языка моего, обличаю вас, окаянные! Вы забыли бога истинного и во мраке, блуде, скверне коснеете, анафемы! Ан-нафемы!! Ан-наа-афемы!!. Вы скверните души младенцев!.. Нет вам спасения!.. Вы, язычники скверные, нет вам спасения! Нет вам спасения!! Обломки вы! Обломки! Вы мучили меня... За что вы мучили и били меня?! За истину, за бога в сердце моем!..

Его бас то гремел, то понижался до шёпота, тоскливого и тихого шёпота, заставлявшего Паньку дрожать, как в лихорадке, и боязливо отшатываться от оконца.

— Жду смерти моей, язычники! Жду славы моей! Где палачи и мучители? Ана-афемы! анафемы! анафемы!!.

Дикие, страшные крики потрясали дверь, и стекло, в которое смотрел Панька, тихо дребезжало.

— Ну, будет, довольно. Иди скорей домой! Иди, а то доктор увидит.

Сопровождаемый криками Арефия, Панька, ничего не понимая и не видя, вышел из коридора и пошел куда-то. Шел он долго, и в ушах его гремели проклятия Арефия и раздавался его страшный шёпот. Угловатое, желтое и бритое лицо то увеличивалось до необъятных размеров, глаза делались величиной с солнце и блестели так же ярко, но только черным, мрачным блеском, то вдруг оно раскалывалось на множество маленьких лиц, градом сыпавшихся откуда-то перед глазами Паньки, пронзая его сердце тысячами острых взглядов и наполняя его отчаянной, становившейся всё тяжелее тоской.

В памяти Паньки на миг вставали разные картины прошлого с Арефием, здоровым, бородатым, молчаливым... вставали, исчезали, заменялись другими, снова

исчезали... Какой-то вихрь крутил мозги мальчика, заставляя его то сразу видеть чуть не всё свое прошлое, то вдруг погружая его в странную тьму без дум, без образов и снова открывая перед ним то один былой эпизод, то целую цепь их, связанных без всякого порядка во времени тоскливой и тупой болью воспоминания о них, жалости к Арефию, страха за себя, целым хаосом чувств, сменявших одно другое, перепутывавшихся между собой и камнем давивших на голову, плечи и грудь Паньки...

Перед ним была река. От нее веяло холодом. Темная, о чем-то тихо шептавшая, она лилась в даль, плотно закрытую ночью, и терялась в ней. Над нею небо, густо покрытое лохматыми, рваными облаками; в разрывы их блестели его голубые клочья с двумя-тремя звездочками в том и другом из них. Всё небо было такое рваное, ветхое, казалось, готовое вот-вот упасть на землю и в покойную, сонную реку, отражавшую в своих темных волнах не закрытые облаками его голубые бедные куски и жалкие, одинокие звезды на них. За рекой темнела даль и страшно молчала.

Панька быстро направился к своей будке. Но она была заперта на замок. Тогда, постояв немного, он лег под куст бузины и лежал кверху лицом, следя за медленно ползавшими по небу облаками до той поры, пока не уснул тяжелым сном, полным кошмаров.

* * *

Паньку разбудили чувствительные толчки в бок, он открыл глаза, мельком увидал, что над ним склонилось чье-то знакомое лицо, и снова зажмурился от солнечных лучей, ударявших прямо ему в голову.

Этого времени ему было достаточно, чтоб ярко вспомнить всё происшедшее вчера.

— Ну-ка, вставай! — раздался над ним женский голос.

Он быстро встал. Перед ним была тетка Марья, смотревшая на него с ласковым любопытством.

— Идем-ка ко мне. Ишь ведь, бедненький, где уснул! Ты что же не приходил ко мне ночевать-то?

Панька молчал. Он не любил тетку Марью. Ему не нравилось в ней и то, что она такая большая и сильная, и то, что она всегда так много ругается, и ее серые глаза, и голос, грудной и грубый, и вся она, энергичная, вечно настороже или вечно воевавшая с чем-нибудь.

Они пошли рядом друг с другом.

— Ну, уж ты не больно убивайся. Ничего, бог да добрые люди помогут, проживешь. Только и сам рта не разевай. Смотри, вникай, понимай, что к чему. Учись жить-то, дело это трудное. Зевать ни-ни, невозможно! А то в дураках и останешься. Может, это и к добру еще для тебя-то случилось. Потому, что́ ты от Арефья-то видел? Ни внимания настоящего, ни науки. Баловство одно. Точно с большим, он с тобой обращался! разве это идет? Ребенок ты есть, ну и нужно с тобой быть, как с ребенком. И сам-то он был, к слову сказать, дурак дураком. Нужно жить, а он в книжку — читает. Эка мудрость, книжку-то читать! А ты вот век проживи, в люди пролезь, силу себе прикопи, уваженье заслужи, это помудрее всякой книжки будет! Одиннадцать годов будочником пробыл, и ни-ни, ни синь-пороха нет!..

Панька слушал, сердился и неодобрительно мычал в ответ на боевую философию Марьи. А когда она обругала Арефия дураком, он даже смело дернул ее за платье, как бы желая остановить ее от дальнейшего поношения своего воспитателя, но она, в пылу своего ораторства, не заметила его попытки и с жаром продолжала далее:

— Людям не верь. Ласкают — врут, хвалят — врут, ругают — правда, да и то не совсем, пересаливают. Ко всякому человеку первоначально с опаской, подумай,— нельзя ли ему из тебя каких ни то соков выжать, а потом, коли видишь — нельзя, подходи вплоть, да и то остерегись — и себе-то не верь. И к самому себе нужно зачастую относиться, как к чужому. Потому человек и для себя добро-то плохо понимает; думает, вот оно где, ан нет, шалишь! в лужу сел!

Увлеченная собственной мудростью, тетка Марья забыла о том, с кем имеет дело и, входя всё в большие и большие тонкости, дошла до того, что вдруг заявила:

— А с нашей сестрой держи ухо востро!..

Но тут случайно взгляд ее упал на слушателя. Он семенил рядом с ней, еле успевая за ее крупными, мужскими шагами, и в своей красной рубашонке, босиком, с хмурой, рябой рожицей, еще смятой сном, и с растрепанными волосами был так по-детски мизерен и жалок по сравнению с ее могучей фигурой.

— Тьфу!..

Этим энергичным плевком она поставила точку своим поучениям и уже вплоть до части не сказала Паньке ни слова более.

Когда они вошли в коридор части, навстречу им вышел Михайло с каким-то горшком в руках.

— А-а, пришли! Важно! Обедать бы пора, Семеновна, а? Где ж ты был? Ночевал где?

— Там... у будки...

— Ишь ты!..— вдумчиво протянул Михайло, входя в комнату сзади их.

Марья уже разделась и шарила ухватом в печке.

— Творог вот у меня... куда бы его? а?..

— Откуда творог? — оживленно осведомилась Марья, принимая из рук мужа горшок и засовывая в него нос.— Хороший, свежий творог!..

— А это мне мужичок один подарил... за услугу,— объяснил Михайло и, хитро подмигнув жене, щелкнул языком.

— Ах ты, чучело мое огородное! — ласково щелкнула его Марья по затылку.

— Ироиня! жена благоверная! Еще кое-что имею!.. Давай обедать только, покормишь хорошо — скажу.

— Ну-ну-ну!..— наступала на него Марья с выражением крайнего любопытства на лице.

Михайло сунул руку в карман и позвенел мелочью, с торжеством на лоснящемся бритом лице.

— Сколько? — радостным шёпотом спросила Марья.

— Полтора с пятаком да огурцов ведерко!

— То-олько!..— уже с некоторым разочарованием протянула жена.— В середу-то богаче было.

— Ну, так то в середу, а нынче — пятница. Базар базару рознь. И то сегодня новый-то частный, Карпенко, что-то уж косо поглядывал. Черти проклятые! Женился

па двух-то каменных лавках да на таких деньгах — и стал чист, как яичко. Жени-ка меня!

— Я те вот, старого пса, ухватом женю!

Панька всё время разговора между супругами стоял у двери и, глядя на них, чувствовал себя тут лишним, забытым и для людей этих ни на что не нужным. Он несколько раз пытался представить себе, что́ будет с ним дальше,— и не мог.

— Дяденька!..— прервал он обмен любезностей между супругами.— Скоро ли пойдем туда?

— Это куда — туда? — обернулся к нему Михайло.

— В больницу-то...

— А зачем ты туда пойдешь? Али и ты с ума сходишь? Садись-ка вот на лавку да сиди, обедать будем. Сейчас вот наши ребятишки из школы придут, гулять пойдете вместе, и всё такое...

Панька сел на лавку и погрузился в тоску, не слыша и не видя ничего, происходящего вокруг него. Спустя некоторое время его позвали обедать. Он сел за стол и, почувствовав, что есть ему не хочется, положил взятую ложку.

— Ну, чего ж ты? — спросила Марья довольно сурово.

— Не хочу...— тихо ответил Панька.

Тут оба супруга наперерыв стали ему читать длинную нотацию, которая, впрочем, ничуть не мешала им быстро и успешно опоражнивать большую глиняную миску какого-то варева, издававшего густой запах топленого жира и прелой капусты.

«Анафемы!..» — гудело в ушах Паньки глухими металлическими ударами.

— Анафемы!..— шёпотом повторял он про себя и, представляя себе испитое, безумное лицо Арефия, вздрагивал и шевелил губами. У него то отливала кровь от лица, то вновь горячей волной била в него и, сообразно с этим, рябины то, бледнея, ярко вырисовывались на щеках и на лбу, то сливались в сплошные красные пятна.

— Ты чего шепчешь там? Эй ты, пестрый-вострый! волчонок! — крикнул ему Михайло, вылезая из-за стола.

— Я пойду...— решительно произнес Панька и встал с лавки.

— Куда? — строго спросила Марья.

— На будку пойду.

— Зачем на будку? Новый полицейский там. Не знает он тебя, прогонит вон... сиди-ка знай!

Панька сел и задумался. Михайло забрался за ситцевый полог на постель и заставил ее скорбно заскрипеть.

— А как же птицы? — подумав, произнес Панька и вопросительно взглянул на Марью.

— Выпустил я их, всех выпустил. И какое там было имущество, забрал сюда. Нечего, значит, тебе там делать! — ответил Михайло из-за полога и аппетитно зевнул.

— А укладка где? — немного спустя спросил Панька.

Михайло уже всхрапывал. Марья села к окну и что-то шила. Паньке никто не отвечал. Тогда он с ногами забрался в угол на лавку и замер там, сжавшись комком.

«Куда его теперь понесет?» — подумал он. Ему представилась река и те щепки, которые плывут по ней. Иная из них прибивается к берегу и останавливается. Панька помнит, что он всегда толкал такие щепки в воду. Ему не нравилось в них то, что они не хотят плыть дальше, туда, где пропадает река... «А куда пропадает река?» — «В другую, и с ней — в море»,— говорил Арефа. Море — это очень много воды, так много, что, если отъехать от берега настолько далеко, что он пропадет из глаз, другого берега все-таки не увидишь, и не увидишь через день, и два, и три. «А может, Арефий говорил одну чушь? ведь он сумасшедший... Всегда он был сумасшедший?..»

Панька долго неподвижно сидел в своем углу и думал об Арефии, о море и всё возвращался к вопросу — куда же наконец его понесет? что будет с ним завтра?..

Его разбудил от дум внятный шёпот. Очевидно, предполагая, что он спит, супруги разговаривали за пологом кровати о нем.

— Об укладке спрашивал...— говорила Марья.

— Ну?!.— тревожно спросил Михайло.

— Где, говорит, укладка?

— Ах, дьяволенок!..— удивленным шёпотом произнес Михайло.— Как нам быть-то с ним? Скорее бы к Савельичу-то его надо. Видно, он знает, что в укладке-то деньжата были. Ты бы, Марья, свела его завтра.

— Ну, заерзал!.. завтра!.. заторопился! испугался, индюк!.. Чего больно боязно?

— Все-таки, знаешь, вдруг он спросит «а деньги тут были?» а? Как тогда говорить?

— Ду-убина!..— сардонически протянула тетка Марья, и затем их шёпот понизился, так что Панька не мог уже ничего разобрать в нем.

Этот разговор не создал в нем никаких новых чувств к супругам, хотя он понял, конечно, что они его собирались обворовать. Но к этому он отнесся вполне равнодушно, отчасти потому, что неясно представлял себе могущество денег, больше же потому, что не способен был думать о чем-либо ином, кроме печальной доли Арефия и того таинственного «завтра», которое скрывало от него дальнейшую жизнь.

К супругам он относился всегда очень неприязненно, а сегодняшний день усилил в нем эту неприязнь еще чем-то новым, тоже далеко не лестным для супругов. Он знал, что с ними ему долго иметь дело не придется, ибо не чувствовал себя способным вытерпеть их общество еще один день, да и понимал, что сам он им неприятен и не нужен.

Теперь, когда они храпели вперегонку друг с другом, они казались ему еще более неприятными, чем во время бодрствования. Он, сидя в своем углу, слушал их храп и, покачиваясь из стороны в сторону, думал свою неотвязную думу об завтра, не умея даже представить себе, каким оно может быть...

Но вот за пологом завозились, раздались зевки и кряхтенье, и Михайло, с всклокоченной головой и измятым лицом, грузно выкатился в комнату.

— Спишь? — обратился он к Паньке.

— Нет! — ответил тот.

— А ребята мои приходили?

— Нет,— односложно повторил Панька.

— Нет да нет — вот и весь ответ! Н-ну, должно, к тетке в слободу ушли. Поставить ин самовар, а то на дежурство скоро.

И он ушел в коридор ставить самовар.

За ним вылезла Марья. Молча посмотрев на Паньку, она стала чесать себе голову.

Панька смотрел на ее густые каштановые косы и думал — какая она молодая, ни одного седого волоса нет... А вот Арефий так был очень сед...

— Ну, что ж ты, Панька, думаешь? как теперь тебе жить на свете? — вдруг спросила Марья, повертываясь к Паньке в фас и строя гримасы, оттого что гребень, не расчесывая волос, рвал их.

— Не знаю! — мотнул головой Панька.

— Та-ак!..— протянула Марья.— А кому об этом знать надо? Тебе, огарок, тебе!..

Она вздохнула и замолкла. Панька тоже молчал. Молчали до той поры, пока Михайло не внес кипящего самовара и не сел за стол. Пили некоторое время тоже молча.

— Ну, парень! — начала Марья, наливая себе третью чашку чая, уже успевшая вспотеть и расстегнуть себе две верхние пуговицы кофты.— Теперь ты слушай да помни! — и, проговорив это торжественным тоном, она внушительно помолчала еще немного.— Сведу я тебя завтра к знакомому сапожнику и отдам ему тебя в мальчики. Живи, не дури, работай, учись, слушайся хозяина и мастеров,— будешь человеком. Сначала покажется трудно, терпи; привыкнешь — будет легко. Дело твое такое, что один весь тут. В праздники к нам ходи. Как к родным, близким, приходи, пей, ешь. Всегда примем и рады будем. Понял?

Панька понял и кивнул головой в подтверждение этого.

— Не забывай, кто об тебе позаботился! Нас-то, то есть, не забывай! И мы тебя не забудем! — поучительно и многообещающе заявил Михайло и пристально уставился на Паньку, ожидая, как он на это отзовется.

Панька вопросительно поднял на него глаза, как бы желая спросить — зачем нужно не забывать? — и снова молча опустил их.

Михайло разочарованно вздохнул и ожесточенно стал дуть на блюдечко с горячим чаем.

Снова воцарилось молчание. Панька исподлобья поглядывал на супругов и ощущал себя в силе и вправе сделать им какую-нибудь неприятность. Сначала ему не удавалось придумать ничего эффектного, но потом он вспомнил.

— А где укладка, дяденька? — вдруг спросил он.

Супруги переглянулись.

— Укладка, брат, у меня. Об укладке ты и не думай, цела будет. Вырастешь большой, приди и скажи: «Дяденька, давай мне укладку мою!» Сейчас я тебе ее — раз! «Получите, Павел Арефьич, вашу укладку в целости!» Н-да!.. А что в ней есть такое,— твои штаны, рубашки,— это ты... с собой возьмешь, пожалуй.— И, закончив реплику, Михайло тяжело вздохнул и изобразил на своем бритом лице огорчение и обиду.

Марья помалкивала, пытливо озирая Паньку.

— Ну, а деньги в ней были... их куда? — медленно выговаривая слова, протянул Панька.

— Де-еньги?!.— вопросительно воскликнул Михайло и с большим удивлением в голосе и на лице обратился к Марье: — Жена! деньги там были? В укладке деньги были? а? Не видал я, брат, денег в укладке этой самой!.. Не скажу я, что видел в ней деньги,— убей меня бог!..

— Ну что ты божишься, дурак? Кто тебе не верит, что ли?! У, сморчок старый!.. Не видал, ну и не видал! Божится!..

— Я ведь это так... просто призвал имя божие... и всё! Разве это грех? Сказано ведь «не призывай всуе»,— а я не всуе, а к слову...

Панька поглядывал на супругов и видел, что Михайло смущен его вопросом и теперь еще не может оправиться от смущения, а Марья — нимало. Это его прямо уж разозлило, и он пошел дальше:

— Денег там было семнадцать рублей, да еще за тобой тридцать пять рублей. Вот что! Это мне тятя Арефа сказал. Недавно сказал.

Тут, к великому удивлению Паньки, не ожидавшего ничего подобного, оба супруга залились веселым смехом. Марья закинула голову назад и, выгнув вперед

грудь, вся вздрагивала, смеясь густыми, мужскими звуками, а Михайло дребезжал захлебывающимся тонким тенорком.

Панька, недоумевая, смотрел на них и тоже недоверчиво улыбался, как бы не решаясь — смеяться ему с ними или нет.

— Чу-удак, право, этот Арефа!.. тридцать пять рублей! а?!. Загнул цифру!..— сквозь смех проговорил Михайло.

— Ах ты, дитятко!.. Он, Арефий-то, тебе сказал, а ты и поверил? правда, мол, это! Ды-ть он сумасшедший!.. ведь он спятил с ума-то, глупыш ты!..— с ироническим сожалением к Паньке проговорила Марья, справившись с припадком смеха.

Панька знал теперь суть этого смеха, вздохнул, побледнел и, весь трясясь от злобы, кинул им в лицо сильно и громко:

— Врете вы! Оба врете! Вы думаете, не слыхал я, что вы давеча на постеле-то говорили?! Ан и слышал я всё! Эх вы!.. воры! оба вы воры! вот что!.. Воры вы!..— и в подтверждение своих слов Панька толкнул ногой стол.

Михайло был поражен. Он испуганно вытаращил глаза на Марью и, упершись руками в стол, замер в этой позе. Но Марья была женщина не промах и еще раз подтвердила это на деле.

— Вот те и раз! — испуганно крикнула она, вскакивая со скамьи, когда Панька кончил кричать и, бледный от волнения, сел на свое место, зло сверкая глазами.— Ах ты, господи боже!.. Ах!.. Михайло, дурак, беги за доктором! беги скорей!.. ведь мальчишка-то тоже с ума сошел! Видишь, видишь, как зенки-то сверкают!.. Ах ты, царь небесный! Ну, пришла беда — отворяй ворота! Уж именно наказание!.. Бедняга сердечная, не перенес Арефьеву-то долю!.. Спятил... помешался!..

Панька, несмотря на свое волнение, понял, что его посадили в лужу. Понял и вдруг залился слезами — горькими, злыми слезами, от сознания своего бессилия в деле борьбы с жизнью и людьми, первыми слезами в первый день своего одиночества.

Настращав его, они, конечно, не звали никакого доктора и всё время до той поры, пока он не уснул, внима-

тельно и заботливо ухаживали за ним. Они уложили его спать в том углу лавки, где он провел большую часть этого дня, и он, засыпая, слышал густой шёпот Марьи:

— А мальчишка не промах. Зубастый. Это хорошо, что зубастый, значит, сумеет, прогрызется к своему месту сквозь людей-то...

Во сне Панька видел много веселых чудовищ. Безобразные громадные и мерзкие маленькие, они кружились около него и смеялись, щелкая зубами. От их смеха всё кругом тряслось, трясся и сам Панька, и вместо неба над ним была большая, черная дыра, откуда они падали массами и поодиночке. Это было очень страшно, но и весело...

Поутру его разбудили, напоили чаем и повели в мастерскую сапожника. Панька шел равнодушно, но не чувствовал впереди себя ничего хорошего, в чем, конечно, и не ошибся.

Вот его привели в низенькую, мрачную комнату, где в клубах табачного дыма четыре человеческие фигуры пели песни и стучали молотками. Марья говорила, держа Паньку за плечо, с каким-то толстым и низеньким человеком, который качался и бормотал:

— У меня... ррай! Не житье, а ррай! И коррм... тоже ррайский! и всё к-как в ррaю... Пр-рощай!

Марья ушла. Панька сел на пол и стал снимать с ноги сапог, в который что-то попало и кололо ногу. Пока он снимал, в спину ему что-то больно ударилось. Он оглянулся и увидал сзади себя на полу старый сапожный каблук, а в дверях чумазого мальчишку одних с ним лет, который показывал ему язык и внятно шептал:

— Ряба форма, шитый нос, чтобы чёрт тебя унес!

Панька отвернулся и, вздохнув, снова надел сапог.

— Поди-ка ты, друг, сюда! — крикнул ему один из людей, сидевший на низенькой кадке.

Панька смело пошел к нему.

— Держи! — и ему сунули в руки смоленую дратву.— Крути вот так! Ловко, молодца! Крепче крути!

Панька крутил с угрюмым ожесточением и исподлобья посматривал вокруг себя.

Итак, Панька вступил на благородное поприще труда. Мастерская, в которой он работал, принадлежала Мирону Савельевичу Топоркову, человеку толстому, круглому, с маленькими свиными глазками и с солидной лысиной.

Это был недурной, мягкий человек, относившийся к жизни с некоторым юмором, а к людям — снисходительно посмеиваясь над ними. Когда-то он, очевидно, много читал книг священного писания, и это отражалось на его речи, но теперь, кроме бутылочных этикеток, не читал уже ничего. К своим мастерам он относился в пьяном виде по-товарищески, в трезвом — немного строже и всегда — очень редко давал им возможность быть чем-либо недовольными. Впрочем, сам он мало занимался мастерской, по причине своего пристрастия к спиртным напиткам, и всё дело лежало на плечах дедушки Уткина, старого солдата с деревянной ногой, человека прямого и в речах и поступках и страшного приверженца субординации и порядка.

За дедушкой Уткиным следовали еще двое подмастерьев: Никандр Милов и Колька Шишкин. Первый был огненно-рыж, удал, любил петь, еще больше — пить и твердо знал, что, когда он скашивает в сторону свои веселые зеленоватые глаза и хмурит брови, его физиономия становится разбойнически красива.

Второй — был бесцветен и казался очень забитым и больным, но имел дурной и злой характер и, говоря ласковым шёпотом, умел сначала всех расположить в свою пользу, а потом сразу отталкивал какой-нибудь неожиданной и нелепо злой выходкой. От него Паньке стало тошно со второго же дня своей службы.

Затем следовал мальчик — Артюшка. Отчаянный озорник и задира, вечно выпачканный сажей, клеем, варом, он сразу вступил с Панькой в задирательно-боевые отношения, которые скоро разрешились дракой. Артюшка был побит и удивлен этим. Он с неделю сумрачно поглядывал на Паньку и всячески старался отомстить ему за свое поражение, но, видя, что Панька глубоко равнодушен ко всем его выходкам, пошел было с ним на сделку.

— Вот что, рябой! давай помиримся! — сказал он. — Наплевать, что ты меня поколотил. Это ты покуда еще

здоров, а вот поживешь немного, усохнешь, я и сам тебя тогда вздую. Идет?

И он протянул Паньке руку. Панька молча дал свою.

— Ну, только ты все-таки меня младше. Это ты знай! И как ты меня младше, то и должон делать всю черную работу. Понял? Согласен?

Панька посмотрел в его чумазую рожу и сказал, что согласен.

— Ну?!.— немного удивился Артюшка.— Это хорошо. Люблю! Ну, так вот, ты, значит, будешь убирать мастерскую, ставить самовар, колоть дрова, топить печь, мести двор, и всё остальное.

— А ты? — спросил Панька.

— А я! чудак!., чай, на мою долю хватит еще! Ище побольше твоего.

Установив с Панькой такое разделение труда, Артюшка оказался совершенно свободным от всяких занятий и дней пять блаженно улыбался, видя, как его товарищ обливается пóтом под бременем обязанностей.

Но дедушка Уткин это заметил, подозвал Артюшку и, постукав его колодкой по голове, сказал, что он, Артюшка, хотя и умная шельма, но еще не совсем, а затем, установив правильно его обязанности, позвал Паньку, сказал ему, что он дурак, и тоже дал инструкции.

С этой поры между Панькой и Артюшкой резко определились границы взаимных обязанностей. Паньке поручены были все черные дела, не имевшие ничего общего с обучением сапожному ремеслу, а Артюшку посадили на обтянутую кожей квашонку и стали исподволь посвящать в тайны ремесла, что сразу дало ему право относиться к Паньке еще более свысока и даже покрикивать на него начальническим тоном.

Панька долго потом думал, чем именно дедушка Уткин изменил его положение, и не мог этого понять; всё оставалось так, как установил Артюшка, хотя дедушка и сказал, что он сделал по-своему.

Переход от спокойного, созерцательного существования в будке Арефия к этой жизни, полной ругани, песен, табачного дыма и запаха кожи, был для Паньки

резок и давил его. Он, привыкший быть по целым дням один на один с собой или в компании с молчаливым Арефием, с большим трудом привыкал к постоянному обществу четырех субъектов, находивших возможность с утра до ночи петь, говорить о чем-то, чего он почти не понимал, смеяться друг над другом и, без всякой видимой причины, разряжаться таким громадным количеством убийственно выразительных ругательств, за каждое из которых Арефий отправил бы их в часть. И он посматривал на своих патронов очень хмуро и недоброжелательно, не понимая их и немного побаиваясь. А они, замечая его отношение, еще крепче посмеивались над ним и порой доводили его до того, что у него глаза вспыхивали неприятным зеленым огнем. Это еще больше веселило и интересовало их и всё дальше отталкивало от них Паньку.

Часто все они устраивали формальную травлю Паньке, обыкновенно начиная с рассказа о том, как однажды под забором нашли рябого младенца. Они знали от хозяина темную историю рождения Паньки и освещали ее порой так остроумно и с таким веселым усердием, что Панька чувствовал себя, как на раскаленной сковороде. Его коробили те циничные подробности жизни, которые здесь всегда резко выдвигались на первый план и о существовании которых он не знал и не слыхал до сей поры. Когда говорили об его отце и матери, юмористически описывая их наружности, род занятий и т. д., Панька чувствовал, что его сосет что-то, давит в груди и страшно щиплет в горле...

С каждой такой сценой в нем всё сильней и сильней горели различные чувства, и его рябое лицо раскаливалось до того, что становилось страшным. Потешившись вволю, ребята оставляли Паньку в покое и забывали о нем, но он, всё время, пока его язвили, упорно молчавший, не забывал ни о чем.

Он становился всё молчаливее, и у него перестали распрямляться нахмуренные брови, отчего над переносьем легла глубокая ломаная складка. Эта складка, его молчаливость, всегда склоненная голова и суровый взгляд исподлобья дали ему прозвище Старичок. Он не обратил на это внимания и откликался на это про-

звище. Всем он казался неприятным, много думающим, себе на уме мальчиком. И все наконец стали относиться к нему подозрительно и как бы ожидая чего-то от него.

Никандр однажды заметил, что Старичок, должно быть, когда-то убил человека и мучается от желания убить еще одного или безнадежно влюблен в кухарку Семеновну. Колька Шишкин, не соглашаясь с ним, заявил, что, по его мнению, у Старичка слишком развита фанаберия и что правильно периодические трепки могли бы его от этого вылечить. Артюшка, считая и себя вправе высказаться по этому вопросу, предположил, что, если Старичку подрезать пятки и насыпать в раны рубленой щетины, он бы стал таким весельчаком, что так бы всё и танцевал с утра до вечера.

Дедушка Уткин, послушав всё это, сказал так:

— Экие вы псы! Работает мальчишка — и ладно. А коли он не козлит по-вашему, так что же? и хорошо это. Он серьезный. Характер это у него.

И кстати рассказал об одном ротном командире, который тоже имел молчаливый характер и умер оттого, что подавился рыбной костью.

К концу первой недели у всех в мастерской сложился на Паньку взгляд очень твердый и для него ничуть не лестный. Панька это чувствовал, но, конечно, не мог изменить и даже не представлял себе, что изменить такой взгляд возможно. Всё, что его заставляли делать, он делал толково, беспрекословно и молчаливо. Когда же в редкие минуты светлых и ровных настроений мастера пытались заговорить с ним без насмешки в тоне и с любопытством к нему, он отвечал им односложно-покойно, но всегда почему-то выходило так, что в конце концов они оставались им недовольны и снова переходили к задиранию и насмешкам. Его это удивляло, и он на всякое слово, сказанное ему ласково, стал смотреть как на некоторую ловушку, посредством которой его хотят вызвать на разговор и поставить в удобнейшее для насмешек положение. Это заставляло его относиться ко всем еще более угрюмо и подозрительно.

Так шли его дела с месяц, а потом он постепенно стал привыкать к мысли, что он, очевидно, не похож на других, раз к нему относятся иначе, и его подозрительное

и выжидательное отношение притупилось почти до апатии ко всем людям и событиям мастерской. Мастерской тоже примелькалась его молчаливая фигура, и всё острое в отношениях сторон сгладилось, отчего эти отношения, конечно, не улучшились.

Панька работал, молчал, получал трепки, выволочки, таски, пинки, затрещины и много других знаков внимания к нему — и мирился с ними, ибо не мог себе представить, что в этой закоптелой дыре и от этих шумных людей можно добиться чего-либо другого.

В воскресный свободный день он уходил гулять, спрятав себе за пазуху краюшку черного хлеба; но, обойдя раза три весь город кругом, нашел, что в нем мало интересного, и ограничил свои прогулки запущенным садом, принадлежавшим Топоркову. В этом саду, за баней, была славная яма, дно которой поросло густым бурьяном. Панька забирался туда и, лежа на спине, смотрел по целым часам в небо. Кругом него от ветра шелестел репейник и кусты одичавшего крыжовника, жужжали пчелы, ползали какие-то красные букашки с черными узорами на спине... и Панька, глядя на них и на всё другое кругом его, понемногу учился думать.

Жизнь в мастерской почти совершенно не останавливала на себе его внимания. Она была для него какой-то мертвой загадкой, думать над которой там он не имел времени, да и не хотел, чувствуя себя не в силах вникнуть в нее, а здесь, в яме, она снова проходила перед ним в строгой последовательности, вся, с утра понедельника до вечера субботы. И раз как-то, когда, восстановив ее в памяти, он пропускал ее перед своими глазами, он был поражен вопросом: зачем всё это нужно? Зачем нужно шить сапоги для других и ходить босиком самому, пропивая деньги, как дедушка Уткин, или проигрывая их в карты, как Колька? Зачем нужно «возиться с девчонками» и потом смешно-горько жаловаться на них, как это делал Никандр, каждый понедельник рассказывавший какое-нибудь удивительное приключение с «ней», с дракой, с бегством от «него» или от полиции? Зачем нужно заставлять людей работать и, пропивая заработанные ими деньги, смеяться над собой за пристрастие к водке, как это делал хозяин?.. Всё вообще — зачем?.

И Панька думал, что коли бы Арефий был здоров, так он бы мог рассказать обо всем этом... Но Арефий всё хворал.

Панька был у него уже два раза. В первый — его просто не пустили, а во второй — сказали, что Арефий уже не выздоровеет и что ему, Паньке, не нужно и вредно его видеть. Панька отнесся к этому заявлению с большим изумлением и, выпучив глаза на доктора, никак не мог спросить его о том, что хотел спросить, а потом повернулся и ушел, чувствуя себя обиженным чем-то.

К Михайлу он решил не ходить, справедливо полагая, что там для него не может быть чего-либо приятного.

День за днем однообразно и монотонно проходили, не оставляя в Паньке сожаления о них и не зарождая в нем желания видеть их какими-либо иными, но наслаивая на его душу ряд за рядом скучные, серые думы. Со временем думы его стали принимать преимущественно характер метафизический, отвлеченный и почти не задевали реальной жизни...

Жизнь идет так, как идет, и люди живут так, как живут; очевидно, что иначе быть не может и, следовательно, всё это более или менее хорошо... Иногда ему, впрочем, приводилось слышать восклицания, вроде: «проклятая жизнь!» или «собачья жизнь!», но они не останавливали на себе его внимания, во-первых, потому, что в большинстве случаев раздавались в похмельный день — понедельник, а во-вторых — «собачья жизнь» с его точки зрения не была худой жизнью; собаки ничего не делают, свободны, веселы и часто пользуются вниманием, дружбой и лаской господ людей.

Сначала его интересовали мастера и хозяин; он пытался уяснить себе их поступки и намерения, но это было бы очень трудно и для самых объектов его наблюдений, не только для него. Их отношения к нему совершенно погасили этот интерес, и он стал еще более формален, равнодушен и автоматичен. У него выработался шаблон, по которому он проводил свой рабочий день, выработались особые движения и приемы, и он стал похож на маленькую машину, заведенную раз навсегда до поры, пока она не проржавеет и не сломается.

Его наконец стали считать идиотом и имели на это право. Действительно, было что-то идиотское в его неторопливых, неодушевленных движениях, в односложных ответах, в неумении оживиться и заинтересоваться тем, что было интересно для всех его окружающих.

А по воскресеньям, лежа в своей яме в саду, Панька размышлял и фантазировал на разные темы, вроде такой: почему солнце, шатаясь по голубой пустыне небес, не сбивается с своего пути и не соскучится расхаживать, как часовой, вечно по одному и тому же месту? Иногда Панька думал, что, кабы его воля, он перекрасил бы это солнце в другой цвет, или выпускал бы его на небо в одно время с месяцем, или что-нибудь другое в этом роде, не менее остроумное.

Через два года такой жизни он стал длинней и суше, отчего рябины на его лице выступили рельефнее.

За это время Артюшка вышел из разряда мальчиков в разряд подмастерьев и занял место рыжего Никандра, которому было предложено посидеть в тюрьме месяца три за какое-то удалое похождение. Колька Шишкин намеревался жениться и открыть свою мастерскую. Дедушка Уткин пил и жаловался на одышку и на то, что у него танцуют руки, мешая ему работать. Хозяин, присмотревшись к нему, стал напиваться дома и по трактирам ходил меньше, чувствуя, что деду уже не справиться с ведением мастерской.

Постепенно и Паньку стали посвящать в тайны чеботарного искусства, и он, под деспотическим руководством Артюшки, учился накладывать заплаты и набивать на каблуки кусочки кожи. Против ожидания мастерской и самого хозяина, он оказался довольно толковым и спорым работником. Это как будто подняло немного его реноме.

Еще через несколько времени ушел Шишкин, Артюшке прибавили жалованья, Паньку посадили на его место и взяли нового мальчика.

И вот Панька получает три рубля в месяц, шьет под неумолкающее пение веселого Артюшки и стариковское ворчание Уткина и, по своему обыкновению, молчит. Хозяин, находя, что работы теперь немного, не нанимает еще мастера и, когда заказы скопляются, работает сам,

что доставляет ему очень много удовольствия и дает право еще усиленнее выпивать.

— Житьишко!..— часто говорит он, с шипением протаскивая сквозь кожу дратву.— Работаешь да пьешь — и будто бы живешь!.. Штуковина, ребята! А между прочим, пора обедать. Мишка! скажи Семеновне, чтобы собирала на стол, а сам беги в кабак, на! тащи половинку бутылки! Дедушка, хватишь?

Дедушка довольно шевелит седыми усами, хозяин улыбается, а Мишка — плутоватый господин лет десяти, с курчавой черной головой и мышиными глазами — мчится за половинкой бутылки, выкидывая на бегу удивительные антраша и строя встречным прохожим веселые гримасы.

Через десять лет такой жизни Панька представлял из себя малого очень внушительного объема и вида. Он был высок ростом, немного сутул и очень мускулист; всегда засученные рукава его рубашки обнаруживали коричневую кожу рук, сплошь покрытых синеватыми узлами жил, а из-под длинных каштановых волос, когда он сидел, согнувшись над сапогом, сверкала здоровая, упругая шея, покрытая мягким пухом. На рябом лице густо пробивалась борода, и верхняя губа уже была украшена маленькими светлыми усами. Он не стал общественнее, оживленнее за это время, и его глаза смотрели из-под густых, всегда нахмуренных бровей еще более недоверчиво и хмуро, чем десять лет тому назад.

Он всё так же пользовался у товарищей по мастерской репутацией старичка и человека, которому, по крайней его глупости, нимало не соблазнительны прелести выпивок, посещения разных веселых местечек и тому подобные развлечения. К нему, впрочем, привыкли и уже более почти не задевали его насмешками, отчасти потому, что боялись его силы, а более потому, что всё равно его ничем не «прошибешь», как они говорили.

Никому не было известно, чем он живет, исключая из своей жизни всё то, чем жили они, и самому ему едва ли было известно это. Он казался тупым, неподвижным, не способным ни плакать, ни смеяться.

Хозяин, теперь совершенно седой, обрюзглый старик, однажды сказал про него, что он уже умер и оживет не ранее того времени, когда архангелы возвестят час конца мира и когда, хочешь не хочешь, а придется и ему встряхнуть костями; а до этого часа он преспокойно просидит тут в мастерской, буде она не разрушится и таким образом не заставит его выскочить вон.

Панька посмотрел на хозяина, желая, очевидно, что-то сказать ему, но ограничился тем, что бледно улыбнулся.

— И на этом благодарю покорно! — откланялся ему Мирон Савельич, ожидавший большего и исподлобья посматривавший на своего работника.

Как работником, он был очень доволен Панькой и, пожалуй, любил его, громко свидетельствуя об этом в пьяном виде и в трезвом даря его вниманием бóльшим, чем всех остальных.

Остальных было двое: Мишка, вороватый парень девятнадцати лет, и Гусь, сорокалетний кривой человек, с неимоверно длинной шеей, которая, по его словам, вытянулась у него по той причине, что в молодости он обладал удивительным тенором и пел в архиерейском хоре. Теперь он был лишен всякого голоса, если не считать за голос тягучий скрип, посредством которого он выражал свои мысли и впечатления.

Артюшка давно исчез с поприща сапожного ремесла и занимался сначала мелочной торговлей, потом был половым в трактире, потом однажды снова явился к Мирону, был им принят, украл пару только что сшитых сапог и исчез; на этот раз уж и из города.

Старик Уткин тоже давно ушел в бессрочный отпуск. Как-то раз он сидел, шил и глубоко вздыхал. Последнее время он стал часто вздыхать, и с каждым днем всё тяжелее; на это не обращали внимания, так как это было с похмелья. Но в этот день он вздыхал, вздыхал и, наконец, положив молоток, которым разбивал кожу, посмотрел в потолок и спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Позвать мне попа али не надо?

На это тоже не обратили внимания, потому что и это слыхали раньше; а однажды был такой случай: Уткин,

очевидно, нашел, что одного попа мало, и настоятельно требовал, чтоб его отправили к архиерею, и непременно в закрытой карете. Но после обеда обратили внимание на то, что он долго не вылезает из-за печи, где у него была постель, и, когда пошли будить, оказалось, что он умер.

Паньку очень поразило это. Он долго смотрел на всех глубокими, спрашивающими о чем-то глазами, но, очевидно, не сумел справиться с формой вопроса и промолчал.

Когда Уткина похоронили, Панька стал ходить на его могилу в сырой и мглистый угол кладбища, густо поросший бурьяном и скрытый от солнца густыми кустами бузины. Там, сидя на земле, он смотрел сквозь отверстие в каменной ограде в даль, видел в ней будку Арефия, реку, поле и лес и вспоминал свое детство и своего молчаливого друга, который, через два года пребывания своего в больнице, умер от истощения.

На Паньку его смерть не произвела особенного впечатления, по крайней мере он не выразил ясно особенного горя или чего-либо иного.

Его воскресные прогулки охватили теперь очень широкий район. Он бросил яму в саду и, кроме кладбища, ходил на гору за город; с нее весь город был виден ему, как на ладони, и он подолгу смотрел на него и слушал, как он, большой и неподвижный, глухо шумит и как по его улицам смешно шныряют туда и сюда крошечные черные фигурки людей; ходил в лес и лежал там по целым часам, отыскав укромное местечко и прислушиваясь к мягкому шуму деревьев, а иногда уходил в одну из пригородных деревень и шлялся по ее улицам, присматриваясь ко всему внимательно и пытливо, или заходил в деревенский кабак и там, сидя по часу и по два за бутылкой меда или пива, слушал разговоры мужиков. Иногда к нему привязывался пьяный, но его молчаливая, суровая фигура странно действовала на других, менее пьяных, и они вступались:

— Брысь ты! Не трожь человека! Городской человек это! Пшол!..— кричали они пьяному и при этом посматривали на Паньку подозрительно и враждебно.

Он расплачивался и молча уходил.

Однажды его догнал в дверях кабака тихий, предостерегающий шёпот: «Сыщик!» Больше в эту деревню он не являлся.

Одетый в приличную поддевку, шаровары и рубаху, подпоясанную шелковым поясом с кистями, в фуражке и высоких сапогах своей работы, высокий, сильный, с серьезным лицом, он мало походил на ремесленника, и вообще трудно было отнести его по внешнему виду к тому или другому классу людей.

Вот каким он был к тому времени, когда в его жизни произошло то, что его «приподняло, да и шлепнуло», как выразился его хозяин.

— Эй ты, арестант! — обратился Мирон Савельев к мальчику Сеньке, выходя однажды утром в мастерскую.— Почисти сегодня самовар-то, а то он у тебя грязнее твоей рожицы! А ты, Павел, сегодня поручиковы сапоги постарайся отделать, слышишь?

— Ладно! — сказал Панька, набирая каблук и не оглядываясь на подсевшего к нему хозяина.

Гусь, вздев на нос очки, тачал на машине голенище и наполнял комнату сухим и резким стуком.

В прокопченную табачным дымом и запахом кожи мастерскую через раскрытые окна смотрело майское солнце и врывался с улицы шум шагов и грохот пролеток.

Мирон Савельевич посмотрел в окно, мимо которого мелькали разнообразные человеческие ноги, взял в руки кусок кожи, рассматривая его, прищурил глаза и заговорил старческим баском:

— А к нам постоялки интересные переехали. Две. Из ночных бабочек. Держи ухо востро, ребятишки!

Ему никто не отвечал, но это ничуть не смутило его, и после маленькой паузы он продолжал:

— Вот бы ты, Павлуха, и познакомился! Авось, хоть говорить-то выучился бы. А то что за монах? Или ты в рай, может, собираешься? Не трудись, брат! сапожников туда не пускают. Надобности в них нет, все там босиком ходят, потому что и погода там райская. Н-да!..

— Ма-арррро!.. жно хароо-о! — раскатистым тенором пропели на улице.

— Так вот заведи-ка, Паша, деликатные отношения с постоялками-то! а? Они бы тебя живо раскалили,

переплавили и в новую форму отлили. Хоть у Соломона и сказано: «Не отдавай женщине сил твоих, ни путей твоих губительницам царей», но это не про нас писано. Они, эти самые женщины, веселые штучки, право! Дать им ежели волю, сейчас бы они весь божий свет вверх тормашками переворотили. Ух ты, какой бал задали бы! Первым долгом все бы замужние — мужей по шапке, а девицы — марш-марш замуж! Превеселая канитель вышла бы из этого!

Сегодня Мирон Савельев был в ударе и, не умолкая, «завирался», как называл его фантазии благочестивый Гусь, кончивший стучать машиной и глубокомысленно рассматривавший голенище, стараясь изобразить фальцетом концертное «Царю небесный». Вместо фальцета получалось змеиное шипение, и Гусь, потирая свою длинную шею рукой, ожесточенно отхаркивался и плевался по сторонам.

— Ты чего, Павел, такой красный? — вдруг, взглянув на работника, спросил Мирон Савельев.— И лоб в поту!..

— Не знаю! — глухо ответил Павел, проводя рукой по лбу и пачкая его чем-то черным.

— Ты не натирайся сажей-то, не поможет! — резонно заметил ему хозяин.— И глаза у тебя тово, мутные! нездоров ты?

— Да... нездоров... Очень неможется...

— Так что же? — подумал хозяин.— Ну, брось работать-то. Вон он дошьет сапоги... Иди и ляг... отдохнешь.

Павел встал и, шатаясь, пошел к двери.

— На погребе я лягу, коли что...— сказал он.

Идя двором, он чувствовал, что у него трясутся ноги, голова точно налита чем-то и кружится, а перед глазами в воздухе плавают красные и зеленые круги...

Воздух на погребе, сырой и тяжелый, показался ему насыщенным густым паром. Он лег на мешок сена, положенный в углу на сырые половицы, и закинул руки за голову, предварительно расстегнув ворот рубашки и сбросив с себя тяжелый, сшитый из мучных мешков фартук.

На погребе было темно, а сквозь щели в двери пробивались лучи солнца и резали тьму тонкими лентами, по-

чему-то дрожащими; они то пропадали, то снова являлись. На дворе глухо звучали чьи-то шаги, и в голове странно гудело, и било в виски что-то опьянявшее, и кровь быстрой и жгучей струей кипела в жилах, отчего дышалось так трудно и дыхание, казалось, пахло сырой и горячей кровью. А перед глазами прыгали эти красные и зеленые пятна, то маленькие и сверкавшие, как глаза кошки, то большие и темные, как куски сафьяна, падавшие откуда-то сверху и кружившиеся в воздухе легко, как иссохшие осенние листья.

Павел лежал, широко открыв глаза, и старался не двигаться, боясь, что если он сделает это, то может упасть куда-то глубоко и долго лететь в этой глубине, полной горячего, удушливого пара. Под ним и вокруг него всё колебалось, кружилось и издавало какой-то монотонный, тонко звенящий звук. Этот звук наполнял и голову Павла, надоедливо звеня в ушах.

Так прошло много странно медленных минут, когда вдруг в отворенную дверь хлынул солнечный свет и знакомый голос Сеньки звонко прозвучал:

— Обедать пойдете, Павел Арефьич?

— Не хочу! — ответил Павел, и ему показалось странным, что теперь еще только обед, и еще более странным звук своего собственного голоса. Казалось, что с той поры, как он ушел из мастерской, прошло так много времени, что голос его не должен бы звучать так же, как всегда,— глухо, твердо.

На погребе снова стало темно, свет странно выпрыгнул из него, и снова потянулись медленные минуты, наполненные этим надоедливым звоном в ушах. Павлу казалось, что что-то горячее и влажное засасывает его в себя, и он впал в забытье, сквозь которое чувствовал жажду и всё более усиливавшийся недостаток воздуха.

— Тут какое-то чучело лежит...

— Видно, сапожник из подвала... Пьяный.

— Ну, пускай его...

Павел открыл глаза и слабо повернул свою тяжелую голову к двери.

На погребе было светло, и около двери стояли две женские фигуры. Одна из них поднимала дверь в погреб,

а другая стояла около нее с горшком молока в одной руке и кульком в другой. Она смотрела большими голубыми глазами в угол, где лежал Павел, и говорила подруге чистым и сочным грудным голосом:

— Ну, скорее возись, Катерина!..

— Поспеешь!.. попробуй-ка, подыми ее сама! — отвечала Катерина, силясь поднять сырую и тяжелую дверь. У нее голос был глуше и грубей.

— Смотри-ка, как сапожник вытаращил глаза-то на меня! У-у!..— продолжала первая.— Точно съесть хочет...

— А ты ему плесни молоком-то в них.

— Чай, мне молока-то жалко...

Павел смотрел на них лихорадочно блестевшими глазами, и обе они казались ему плавающими в тумане далеко от него, так далеко, что когда он глухо прохрипел: «Дайте напиться», то совсем не надеялся, что они услышат его.

Но они услыхали, и та, с голубыми глазами и горшком молока в руках, бросив на пол кулек и подбирая свободной рукой свое платье, направилась к нему в угол, тогда как другая, на полтуловища опустившись по лестнице в погреб, с интересом следила за ней.

— Что, видно, похмелье — не веселье? Катюшка, кинь комок снега, не молока же ему дать!..— услыхал Павел над своей головой и снова прохрипел:

— Поскорее... пить...

А затем увидел, что голубые глаза приблизились к нему и пристально смотрят в его лицо.

— Катюшка, рябой какой, у-у!.. Да он ведь не пьян!.. не пахнет вином-то... Катерина, больной это, ей-богу, больной! горячий весь и дышит, как паровик!.. Ах, черти окаянные, больного человека на погреб стащили!.. Ну свиньи!.. Пей вот, пей! Давно ли ты тут валяешься? а? Родных-то нет, что ли? А в больницу чего не пошел?

Присев около Павла на корточки и поддерживая у его рта кринку, в которую он вцепился дрожащими руками, жадно глотая молоко,— она осыпала его вопросами, очевидно, забыв, что ему нельзя говорить и пить в одно и то же время.

— Спасибо! — сказал он, наконец оттолкнув от себя кринку и снова уронив на мешок приподнятую голову.

— Кто это тебя сунул в такое прохладное место? Хозяин, что ли? Ну уж и собака, видно!..— негодуя, говорила она ему и дотронулась рукой до его лба.

— Сам я...— ответил Павел, не сводя с нее глаз.

— Умен, очень умен!.. Давно ли это ты?

— Сегодня вот...

— Ишь!.. Видно, перемогался с неделю, да и слег наконец... Ай, ай, ай!.. как же мы теперь будем? Катюшка! Что мы сделаем с ним?

— А что? В погреб на лед его положить, что ли? Али к себе стащить? А то, может, еще что? Дура ты! Иди-ка, иди!

Павел с трудом повернул голову и посмотрел на другую женщину, всё еще стоявшую на лестнице в погреб и с холодным любопытством смотревшую в его угол. Ему сделалось тошнее от ее насмешливых слов, и он, вздохнув, перевел глаза на ту, что была около него.

Она, не отвечая подруге и строго нахмурив густые брови, что-то соображала.

— Ты лежи! — решительно заговорила она, склоняясь к самому лицу Павла.— Лежи, а я сейчас уксусу да водки с перцем принесу, слышишь?

И вдруг, быстро встав на ноги, она исчезла.

Они обе ушли, не затворив за собою двери и ненадолго оставив за собою звуки спора, вспыхнувшего меж ними.

Павел мог бы подумать, что всё происшедшее только бред, но мягкий вкус молока во рту, облитая им рубашка и ясное ощущение на своем лице мягкой руки, тихо гладившей щеки и лоб, не позволяли ему сделать это. И вот он стал ждать, когда она снова придет. Им овладело странное любопытство, покрывшее собой все болезненные ощущения; страшно хотелось знать: что же будет дальше? Он никогда раньше не замечал за собой такого сильного желания знать, что будет впереди. Повернувшись на бок, спиной к двери, он уставился на двор своими воспаленными болезнью глазами.

Она пришла скоро, неся в одной руке бутылку с надетой на ее горлышко рюмкой, а в другой какую-то мокрую тряпку.

— Ну-ка, пей,— сказала она и, когда Павел протянул к ней руку и открыл широко рот, сама вылила ему из рюмки чего-то, что сразу, как огнем, обожгло ему язык, нёбо, глотку и заставило закашляться.

— Ага! Славно? — торжествующе воскликнула она и моментально же приляпала ему на голову холодную и мокрую тряпицу, издававшую скверный, кислый запах.

Павел молча подчинялся всему этому и не сводил с нее глаз.

— Ну, а теперь поговорим! Хозяин-то сквалыга? Пес с ним! я сама тебя завтра свезу в больницу. Больно тебе? Ничего, потерпи! теперь, наверно, лучше будет. Трудно говорить-то? а?

— Нет... могу...— сказал Павел.

— Не надо, молчи! доктора не велят говорить больным-то. Лежи, знай лежи!

И, очевидно, не находя больше ничего, что бы можно было сказать ему, она оглянулась кругом с видом человека, которому вдруг стало очень тошно.

Павел всё смотрел на нее и думал про себя: зачем она всё это сделала с ним? Он ей чужой, как и она ему. Она, наверное, та постоялка, о которой давеча говорил хозяин. Как ее зовут?.. И он решил, что нужно спросить ее обо всем этом.

— Как... же... вас зовут? — тихо прошептал он.

— Нас? Наталья... Кривцова Наталья Ивановна. А что?

— Так...

— А!..— неопределенно произнесла она и, осмотрев его с головы до ног, что-то тихо замурлыкала.

— А вас? — вдруг спросила она, прерывая свою песню.

— Павлом...

— А сколько вам лет?

— Двадцать.

— В солдаты, значит, скоро пойдете! — заключила она и помолчала снова.

— У вас родных-то нет?

— Нет... подкидыш я,— тихо сказал Павел, чувствуя, что у него снова страшно начинает ломить голову и пробуждается жажда.

— А-а!..— протянула она и, придвинувшись к нему ближе, с удивлением смерила его своими голубыми глазами, точно она не понимала, каким образом он, такой большой и плотный, может быть подкидышем.

— Дайте мне пить еще! — спросил Павел.

— Вот, вот, сейчас! — заторопилась она и, достав кринку молока, живо подсунула под его голову руку, приподняла его и зашептала:

— На здоровье! Господи Иисусе!

Он пил и в упор смотрел в ее лицо, раньше немного беспечное, а теперь такое задумчивое и хмурое. Это выражение показалось ему более близким и понятным и развило в нем желание говорить с ней.

— Скажите, зачем вы это делаете? — вдруг громко спросил он ее, как только кончил пить.

— Что я делаю? — недоумевающе оглянулась она вокруг себя и вопросительно остановила на нем свои глаза.

— Вот со мною... всё это... Сколько дали мне... уксус... сидите... говорите... и всё... Зачем? — проговорил Павел и испугался, видя, что она отодвинулась от него и как бы обижена и тоже испугана чем-то.

— Какой вы!.. Не знаю зачем... так! чай, вы человек... Али нет? Смешно даже, право! — и она недоумевающе пожала плечами.

Панька неопределенно тряхнул головой и, отвернувшись от нее к стене, замолчал. В его больной голове бродили странные мысли... Первый раз в его жизни на него обратили внимание, и кто? одна из женщин, которых он, памятуя отношение к ним Арефия и наслушавшись о них в мастерской много далеко не лестных историй,— боялся, не любил и о которых давно уже тайно много думал, скрывая эти думы и от себя самого и негодуя на себя за них. Женщина — это вечный враг мужчины, враг, который только и выжидает удобного момента, как бы поработить и высосать кровь. Вот преобладающее мнение о женщине, которое ему приходилось слушать чаще других. Иногда, встречая красивую девушку, робко и поспешно бегущую по улице, Панька смотрел ей вслед и думал: «Какой же она враг, когда она такая птичка?» Его боязливое любопытство, которое он

проявлял почти всегда, когда другие говорили о женщинах, служило предметом немалых насмешек со стороны мастерской и хозяина. Ему насмешливо удивлялись и делали цинические предположения, страшно обижавшие его, а иногда перед ним каялись в увлечениях и хвалили его за стойкость. В общем, он видел, что женщина играет в жизни громадную, всеохватывающую роль, и никак не мог связать с этим выводом из своих дум и наблюдений другой вывод, гласящий, что женщина — враг,— вывод, который тоже подтверждался, но не его наблюдением, а общим голосом всех, кого ни спроси.

Хозяин однажды поучал его: «Баб только берегись, Павел. Бабе не поддавайся,— пролезешь сквозь жизнь. Все, кого ни спроси, скажут тебе, что тяжелей цепи, чем баба, нет на свете. Животное жадное, жить любит хорошо, а работать — мало и на живую нитку. Уж поверь мне, пятьдесят два года на свете живу и был женат два раза».

И вот она, эта страшная и таинственная баба, первая принесла ему приятное сознание, что он, угрюмый и непохожий на людей Павел, достоин ее забот о нем, пришла к нему, сидит около него, одинокого и никому не нужного человека...

«Что она делает?» — подумал Павел и, тихонько повернувшись, посмотрел на нее.

Она сидела на полу и с задумчивым лицом смотрела в щель от непритворенной двери на двор... Лицо у нее очень доброе и красивое, мягкое, с хорошими голубыми глазами и сочными, пунцовыми губами.

— Спасибо вам за заботу! — тихо сказал Павел, невольным жестом протягивая к ней руку.

Она вздрогнула, взглянула на него, но руки не взяла.

— А я думала, вы заснули. Вот что, нужно ведь уйти отсюда. Непременно нужно уйти. Сырость. Нуте-ка, встаньте!

Павел не принял своей руки и снова настойчиво повторил:

— Спасибо вам за заботу обо мне!

— Ах, господи! Вот уж право!.. Ну чего? какая забота? Жарко везде, вот я и рада посидеть здесь. Вставайте-ка!

Она была чем-то недовольна и, помогая ему вставать, отвернула от него свое лицо, точно не желая встречаться с ним глазами.

От движения Павел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь и глухо зашумела там.

— Трудно мне!..— прошептал он, чувствуя, как дрожат его ноги и как все кости ломит боль.

— Ничего, как ни то потерпите уж! нельзя здесь.

Поддерживаемый ею, он поплыл в каком-то тумане по двору и сквозь этот туман видел перед собой ехидно улыбавшиеся рожи хозяина и Гуся, стоявших на пороге мастерской.

— Не могу я больше!..— хрипло сказал он и почувствовал, что падает в какую-то бездонную яму.

* * *

Первый раз в жизни Павел знакомился с больницей. Тошнотворно желтые стены, скверный запах лекарств, измученные и злые лица служащих, бесстрастные физиономии доктора и фельдшера, стоны, бред, капризы больных, серые халаты, колпаки и унылый, раздражающий слух звук шлепанцев-туфель о каменный пол — всё это, дополняя одно другое, сливалось в серую гармонию уныния и беспомощности, безжизненности и тяжкой, неустанно сосущей сердце тоски...

Павел пролежал в бреду одиннадцать дней, и вот уже пятый день, как кризис миновал и он стал поправляться. За это время, по словам служащего, к нему приходил один раз хозяин, два раза Гусь и два раза сестра, однажды с подругой, а другой раз — одна. Там, в конторе, она оставила ему чаю, сахару, варенья и еще чего-то в узелке.

Павел, когда служитель, рассказывая ему всё это, дошел до сестры, удивленно разинул рот, но вспомнил, что это не кто иной, как Наталья Ивановна,— вспомнил и почему-то очень обрадовался.

— Ишь какая!..— прошептал он и почувствовал, что ему будет еще более приятно, если он увидит ее.

Но к нему, как к тифозному, посетителей не велено было пускать, и служитель объяснил, что это будет до той поры, пока его не переведут в пятый барак.

— В пятый барак допускаются и люди, а сюда, кроме нашего брата да докторов, никому больше нельзя.

Служитель сказал это с какой-то печальной гордостью своим правом перед людьми, а у Павла его сообщение вызвало вопрос — скоро ли его переведут в пятый барак.

— А это как нос. Теперь у тебя нос желтый и сухой, а вот он скоро должен будет взбухнуть и покраснеть. Как это с ним случится, тут тебя отсюда и переведут. Тифовых людей всегда по носу переводят. Нам это очень известно. Седьмой год маемся тутотка... привыкли.

Этот служащий был большой охотник поговорить, и так как Павел из девяти больных был один способен понимать и слушать, все же остальные находились в состоянии, совершенно не располагавшем их к ведению бесед, то Павлу приходилось единолично нести бремя общения с этим господином. Маленький, костлявый и рыжий, с меланхолически неподвижными серыми глазами, он в свободное время садился на койку Павла и начинал:

— Поправляешься? Вижу, вижу, идет дело на лад. Скоро в пятый. Это хорошо, что ты похворал так. Тиф — болезнь великолепная, она очищает. До нее человек мюзгирькой мог быть и имел душу, наскрозь греховной пакостью пропитанную, а похворал ей — и чист! потому с бредом она. А во время бреду душа-то человечья исходит из тела и странствует по всем мытарствам... и поучается. Н-да... Положим, мрут с тифу многие, но это ничего. Это человеку необходимо. Предписано. Мрут-то и не от тифу, а оттого, что материя износилась... истерлась от жизни-то, и душа требует другой костюм. Квартиру, значит, новую, а человеческому телу одна квартира — земля. Н-да!.. У тебя родственники не умирали? Нет? ага! а у меня одиннадцать умерло. Одного даже живым земля взяла. Водопроводчик был. Кладет это он трубу, а земля-то его рраз! и тю-тю Николка. Взяла. Отрыли его, а он уж шабаш! Н-да!.. Она, земля-то, свое возьмет всегда, от нее не увернешься. Не убежишь.

И в воду кинься — в землю попадешь, и в огонь суньсся — земля будешь. Бережет она свое добро. Вот и меня скоро потребует. «Анисим, друг, пожалуй-ка в могилу!» И ляжешь. Ничего не попишешь, ляжешь да и всё тут. Так-то, человечек! Дрягнешь ногой, не хочу, мол, а она тебе на сердце дохнет, и готово. И нет уж тебя больше И ничего нет. Потому что до той поры и мир жив, пока ты сам в нем ходишь...

Иногда ему удавалось говорить часа по два кряду. Он не интересовался вопросом, слушают ли его, а говорил свои мрачные речи, и его неподвижные глаза становились всё более неподвижны, пока не приобретали странный, тусклый оттенок, тонкой пеленой закрывавший его зрачки. Тогда его речь звучала глуше, отрывистей, фразы всё короче, и, наконец, он глубоко вздыхал и обрывался иногда на полслове, а в глазах его уже ясно светился холодный ужас.

На Павла его речи не производили особенного впечатления. Он почти никогда не слушал их, увлеченный своими думами, теперь освещенными надеждой на что-то, что, он чувствовал, ждет его впереди, но чего не мог себе ясно представить. Материала для построения воздушных замков у него было мало. Жизнь он знал со слов других и сам до сей поры от активного участия в ней сумел уклоняться. Но теперь он всем существом своим понимал, что близится что-то новое, большое, не изведанное им и что оно должно будет создать ему новую жизнь. Дум, в прямом смысле слова, у него почти не было; он не имел достаточно слов, чтобы уметь ясно думать, но с той поры, как он очнулся и вспомнил взгляд голубых глаз Натальи Ивановны, много новых ощущений родились в его темной душе, а сообщение служителя о том, что она была уже два раза, родило их еще больше.

До двадцати лет он не пользовался ничьим вниманием, но, как человек, не мог жить без него, а как человек, несколько исключительный, совершенно одинокий, ждал его с большей жаждой, чем всякий другой, хотя, может быть, совершенно инстинктивно, бессознательно и, конечно, не имея представления ни о том, каково оно есть, это внимание, ни о том, откуда и в какой форме оно придет. И вот оно пришло. Оно пришло,

и он твердо надеялся, что это еще не всё и что впереди его ждет целый мир новых чувств. А чисто животное ощущение того, как с каждым днем восстановляются его пошатнувшиеся болезнью силы, делало его еще бодрей и еще более разжигало в нем желание скорейшего наступления будущего.

И вот раз, когда его уже перевели в пятый барак, к великому огорчению служителя Анисима, терявшего единственного слушателя и находившего, что переводят его преждевременно,— еще может и умереть, нос разбух недостаточно,— раз, когда Павел, лежа на своей койке и следя за мухами, путешествовавшими по потолку, был погружен в свои смутные полудумы, полуощущения, над его головой раздался тихий возглас:

— Павел Арефьич!

Он дрогнул и испугался — это было так неожиданно. Она была тоже смущена чем-то.

— Здравствуйте!.. слава богу, перевели вас!.. вот я принесла тут...— и она совала ему в руки какой-то узел, вся красная и испуганно оглядывавшая исподлобья палату.

У Павла страх уже успел исчезнуть перед горячей радостью, покрывшей его щеки слабым румянцем.

— Покорно вас благодарю! покорнейше вас благодарю! Покорное спасибо! Очень рад я вам. Очень!.. Садитесь вот сюда или вот сюда!.. вот тут очень удобно... Благодарствую! Хорошее вы делаете дело... Будьте уверены в этом...— говорил он ей, сверкая глазами и весь преображенный.

Она еще более растерялась от этого неожиданного ею приема и всё еще не переставала оглядываться по сторонам, посматривая то на того, то на другого больного и точно боясь среди них встретить кого-то, кто был бы ей очень неприятен.

— Ничего! я сяду. Не тревожьтесь. Вам вредно...— вполголоса говорила она, делая свои изыскания.

Охваченный энтузиазмом, Павел заметил это.

— Вы не беспокойтесь... Это всё хорошие больные люди... разговорчивые, вежливые. Они ничего... Весьма приятные господа. Ах, как я вам рад!..— закончил он свою рекомендацию чуть не криком.

Она уже успела осмотреть всю палату и, вздохнув, улыбнулась Павлу широкой, доброй улыбкой.

— И я очень рада, что вы поправляетесь. Я ведь уже была здесь. Без памяти были вы. Вы не тревожьтесь, пожалуйста! Вот тут я принесла вам... доктор позволил. Покушайте! — и она принялась было развязывать узел.

Но Павел схватил его дрожащими от радости руками и заговорил, всё более вскипая радостью:

— Поверите ли, как ангел небесный вы мне, ей-богу!..

— Ох, что вы!.. — снова смутилась она.

— Нет, уж это так... Я не могу говорить. Не умею. Я всё молчу больше. Но ведь я понимаю же, позвольте!.. Вы кто такая мне? Чужой человек. И я тоже. Но вот вы первая пришли... И тогда на погребе... Из какой корысти? Я же один, весь тут, и никакой ласки не видал за всю жизнь... Вот в чем суть. Вы понимаете? Это очень, это очень хорошо, замечательно хорошо!..— с жаром потряс он ее руки.

— Вы успокойтесь. Это ведь вредно... кипеть так; меня могут больше не пустить...— успокаивала она его, всё еще немного растерянная, не понимая его отрывистых, несвязных речей, но прекрасно понимая, что это она именно принесла с собой столько радости ему.

— Не пустят?!.— с испугом воскликнул он и, посмотрев ей в лицо, снова заговорил протестующим тоном: — Это нельзя. Вы сестра мне. Невозможно! Кто вам сказал? Вы — один мой человек. Д-да!.. Это пустяки! Я имею право!.. И даже жаловаться буду...

— Ах, какой вы чудак! На что жаловаться? Я только к слову, бунтовать вам нельзя... Смешной вы очень!..

Он теперь действительно казался ей немного смешным в своем экстазе, и она не могла объяснить себе, почему это он так уж расходился; но ей было всё более лестно и приятно сознавать, что причиной этому — она. Она становилась смелее и понемногу начала проявлять некоторый деспотизм, которому он беспрекословно подчинялся и который был ему приятен, так же как и ей, впрочем. Она заставила его жевать какую-то сдобную булку, поправляла подушки, расспрашивала его, как и что он чувствует, и даже, наконец, строго сдвинув

брови, заговорила с ним сурово и внушительно. Ее забавляло это, а он совершенно таял от ее забот и внимания.

Он теперь умолк и только смотрел ей в лицо удивленными и радостными глазами, а она говорила ему о том, что вот он скоро выйдет и будет ходить к ней в гости, пить чай, гулять с ней в лесу, кататься в лодке, и много, много великолепных картин рисовала она ему...

Незаметно прошли приемные часы, и она ушла.

Павел на прощанье жалобно смотрел ей в глаза и просил ее тихим шёпотом приходить.

Оставшись один, он закрыл глаза и живо представил ее себе: маленькая, пухлая, светло-русая, с розовыми щеками, весело и задорно вздернутым носом и с большими, ласковыми голубыми глазами, она была просто красива и свежа. Темненькая кофточка и такая же юбка, гладко причесанные и заплетенные в косу волосы — делали ее еще более простенькой, милой и доброй. Когда она говорила, из-за сочных губ сверкали маленькие зубки, веселые, блестящие. От нее веяло добротой прежде всего.

Павел смотрел, смотрел на нее и, перерожденный, удивляющийся сам тому, что он так сразу и много говорил с ней, и тому, что она так хороша и так близка ему,— умилился и крепко заснул.

Его следующий день весь прошел в каком-то радужном тумане. Он всё представлял себе вчерашнюю сцену, и улыбался, и шептал про себя по сту раз: «Покорнейше благодарю!», выражая этой благодарностью длинный ряд самых разнообразных представлений.

Завтра опять приемный день, и она могла прийти. Он представлял себе, как это будет, и придумывал фразы, которые он скажет в похвалу ей... И вместе с тем представлял, что он уже выздоровел, катается с нею по реке на лодке и рассказывает ей про Арефия...

Наступило это «завтра», и он с лихорадочной дрожью во всем теле жадно смотрел с утра до вечера на двери, ожидая, что вот сейчас в них покажется она и, как в первый раз, начнет пытливо осматривать больных, и потом сядет к нему на койку, и они будут разговаривать... Но день прошел, и она не пришла.

Павел долго не мог уснуть ночью, пытаясь ясно представить себе то, что могло ее задержать; но не успел в этом и наутро проснулся с сильной головной болью, в тяжелом, апатичном состоянии.

Весь следующий день он пролежал молча, неподвижно, ни о чем не думая, ничего не представляя и не ожидая. Прошло еще много приемных дней, а ее всё не было.

Павел лежал и припоминал всё то, что он слышал дурного о женщинах, припоминал и, явно насилуя себя, старался навязать всё это своей знакомой. Но к ней не шло как-то ничто дурное. Он представлял ее себе грязной, пьяной, воровкой, ругающейся с ним, осыпающей его насмешками, но она, несмотря ни на что, все-таки, в конце концов, оставалась простенькой, красивой и доброй.

Дни текли. Он уже гулял по коридору, окна которого выходили на улицу, и подумывал о выписке, останавливаясь у окон и чувствуя непреодолимое желание ходить там по залитым солнцем улицам, среди всех этих здоровых, суетливых и озабоченных людей.

Каждая женщина, шедшая по направлению к больнице, вызывала в нем легкую дрожь надежды... С полчаса он напряженно смотрел в конец коридора, не появится ли там она; она всё не появлялась, и Павел, чувствуя себя обманутым, тосковал.

Но однажды раздался возглас служителя:

— Павел Гиблый! в контору!

Он быстро бросился туда.

— Вот, получите! принесли вам! — сказал длинный и худой помощник смотрителя, поводя своими черными усами и подавая Павлу бумажный пакет.

— А... кто это принес? — спросил Павел, дрожащей рукой принимая пакет.

— Старик, который сказал...

Павел угрюмо тряхнул головой и протянул руку, чтоб положить пакет на стол против фельдшера.

— ...что он ваш хозяин, и женщина с подвязанной щекой. Молодая.

Павел вздрогнул и принял руку с пакетом обратно.

— Очень у ней подвязана щека-то? — спросил он.

Фельдшер высоко поднял брови и усы и переспросил:

— То есть как это — очень подвязана щека?

— Нет, я ничего!.. Покорно благодарю!.. Зубы болят у ней, видно!..

— Гм? — качнул головой фельдшер.— Возможно, что и зубы болят... Ну-с?

— Ничего она не говорила про меня? — с некоторым трепетом и тихо осведомился Павел.

— Говорила. «Он, говорит, дурковат у меня немного, так вы уж извините его». Можете идти. Я извиняю вас.

Павел повернулся и вышел, понимая, что над ним смеются. Ему показалось, что он знает, почему она не приходила всё это время: просто у нее болели зубы; но вот, как только стало немного легче, она и пришла. Добрая какая!..

Через неделю после этого он снова стоял в конторе перед помощником смотрителя, который рылся в какой-то книге и щелкал на счетах.

— Ваши вещи вы все получили? — спросил он Павла и, не дожидаясь его ответа, добавил: — Хорошо. Идите. До свидания!

Павел поклонился и вышел на улицу, а через полчаса, опьяненный солнечным светом и движением, с туманом в глазах и кружащейся головой, входил в мастерскую.

— Ба!.. Пришел! Молодчина! — встретил его хозяин.— Здравствуй! Усох ты здóрово! Ну ничего, зато вон улыбаться выучился.

Павел действительно осматривался вокруг себя и улыбался. Его наполнило хорошее, мягкое чувство, когда он отворил дверь мастерской и стал на пороге. Всё тут было так хорошо знакомо и родственно. И эти старые, прокопченные стены тоже как будто улыбались ему белыми пятнами, неизвестно как уцелевшими от черного слоя копоти... Вон в углу его постель и над ней две картины — Страшный суд и Путь жизни...

Мальчик Мишка раскрыл рот и с выражением живейшего удовольствия на испачканном лице уставился ему в глаза живыми черными глазами. И хозяин, очевидно, рад тому, что он пришел.

А хозяин всё говорил:

— Ну-ну, проходи, садись, отдыхай! Устал, чай. А я тут вдвоем с Мишкой орудую. Гусь запил. Другого

взять не хотелось: полагал, что вот-вот ты придешь. Ну, вот хорошо. Теперь мы застрочим, ой люли как! Я, брат, опять втянулся в работу-то. И не пью даже вот сколько уж время!.. То есть пью, конечно, но не так, чтобы уж вплоть до чёртиков.

Павел слушал и чувствовал себя всё более приятно и оттого, что хозяин так много и весело говорит, и оттого, что в его словах и тоне было что-то родное и хорошее, что падало ему, Павлу, на сердце так тепло и мягко.

— Теперь мы с вами, Мирон Савельич, начнем работать! — с уверенностью и одушевлением сказал он, когда хозяин кончил и стал примеривать кусок кожи к дыре на старом голенище.— Покорно вас благодарю, что вы приходили ко мне! Мне это очень дорого! — тепло сказал он и прибавил: — Как я совсем одинокий человек...

— Фью-ю!..— свистнул хозяин, перебивая его.— Вон как говоришь ты теперь!.. Ах, братец ты мой! Вот уж именно нет худа без добра! До болезни-то ты бы скорее лопнул, чем сказал такие слова. Важно! Пора, пора! Еще, брат, вот что! Ты сходи к этой Натаньке. Сходи. Хоть она и такая, но, однако, ее надо тебе благодарить. Знаешь ты, как она о тебе заботилась? Беда! Чуть не каждый день шастала ко мне — «Были? ходили? видели?..» Да, брат, душу-то она еще не прогуляла. Душа у ней человеческая, не в обиду будь ей сказано! Поди ж ты вот! девка такого поведения — и вдруг! Прошедший раз мы с ней клюкнули малость за твое здоровье, какие она, братец мой, речи говорила!.. у-у-у!.. то есть, вот ей-богу, сроду не слыхивал! «Ведь на нашу сестру, говорит она мне, как смотрят! как на свинью и паршивую собаку. Верно?» — «Верно, мол».— «А он, говорит,— ты-то значит,— встретил меня, как родную, вот что! Понял, дедушка Мирон?» — «Понял, мол».— «Ну, так и должна я ему за это заплатить тем же». Скажите, как просто! а? Чудно́ это малость и как будто бы не по жизни совсем. Не похоже на настоящее... верное... на то, что мы все... ты и я...

Но дальше этого Мирон Савельич не мог пойти, споткнувшись обо что-то невидимое Павлу, который слу-

шал всё это с выражением глубочайшего внимания и тихой радости на своем рябом лице. Он еще долго смотрел в рот хозяина, когда тот, уже окончательно убедившись в невозможности оформить свою мысль, широко махнул рукой и умолк...

Павел тоже молчал; но, чувствуя, что ему необходимо нужно так или иначе выразить хоть немножко из того, что так приятно наполняло его грудь и туманило голову, он, не найдя ничего лучшего, снова начал благодарить.

— Очень я вас благодарю, хозяин, за все ваши слова! Так благодарю!..— и он развел руками, не имея возможности сказать, как именно он благодарит.— Хворость эта самая на пользу мне пошла. Это вы верно сказали. Волком я себя понимал до нее... а теперь вижу, что человек. И даже вот мне оказывают внимание... По-окорнейше благодарю!..— и он как-то задыхался от наплыва желания говорить и высказываться.

— Ну, это, парень, пустяк! Положим, был ты до болезни очень не фарштейн! Неудобным, тяжеловесным человеком был, это твоя правда. Но надо тебе сказать, что неизвестно мне, как лучше жизнь проходить — сторонкой от людей или заодно с ними. Приятную компанию эти самые люди редко могут составить, и гулять ты с ними — гуляй, но ротик держи закрытым и пальчики сжимай в кулачок на всякий случай. Сердиться, ежели тебя они обтяпают, не следует, потому — каждый жить хочет, а жить-то куды как тесно и другого нельзя не задеть; но не следует и поддаваться. Ты лучше сам из кого ни то соки выжми, чем свой бок другому подставлять. А пуще всего берегись баб! Это — т-такие ехидны, что и не заметишь, как она тебя ужалит. Улыбнется тебе — раз, поцелует — два, похвалит — три; четыре— ты уж и работник на нее, пять — у тебя уж и душа ноет, воли просит, но дудочки, миленький! Не такие у них, у кошек, лапки, чтоб тебя выпустить! И умрешь ты раньше смерти раз пяток-другой!..

Мирон вдохновился и философствовал вплоть до вечера, не переставая работать.

Павел сидел против него и внимательно слушал, тоже что-то ковыряя шилом. Но внимание к речам хозяина

не покрывало собой некоторой неотступной мысли, всё время копошившейся в его голове.

— Шабаш! — сказал Мирон, кончая вместе и философствовать и работать.— Ложись-ка ты, брат, отдыхай. А то — на улицу иди, дышать.

— Нет, я лучше к ней...— смиренно проговорил Павел, потупляя глаза.

— Это к Наталье, значит? Гм!.. Ну что ж, иди! — задумчиво сказал хозяин.

Но когда Павел выходил из мастерской, он еще крикнул ему вдогонку:

— Смотри же, поглядывай, как бы она тебя не женила!.. Хе-хе!.. И не заметишь, как это случится. Они — ловкие!..

На Павла этот крик подействовал неприятно. Знает он ее, и совсем она не похожа на всех других. Пробовал уж он ее очернить — и не пристало ничего. Она просто добрая — и больше ничего.

Занятый этими протестующими думами, он не заметил, как взошел по лестнице и очутился на чердаке у маленькой, неплотно притворенной двери. Он почувствовал себя неловко и не решился войти, не кашлянув прежде. Но его кашель, хотя и был громок, не вызвал никаких признаков жизни за дверью.

«Спит, видно!» — подумал он; но не ушел, а продолжал стоять, заложив руки за спину и тайно надеясь, что вот-вот она проснется.

С улицы доносился глухой шум. От раскаленной солнцем крыши на чердаке было душно и пахло нагретой землей и еще чем-то, щекотавшим ноздри.

Вдруг дверь тихо отворилась. Он отступил, почтительно сняв с головы фуражку, низко поклонился и, не поднимая головы, ожидал, что вот сейчас она скажет ему что-нибудь. Но она всё не говорила. Тогда он поднял голову и разинул рот от удивления. Перед ним никого не было, и в комнате тоже было пусто. Очевидно, дверь отворилась оттого, что в открытое окно пахнул ветер.

Он заглянул в комнату. Там всё было разбросано, не прибрано, постель, стоявшая у стены, смята, на столе перед ней стояли грязные тарелки с какими-то кусками и окурками папирос, две пивные бутылки, самовар,

чашки; на полу валялась красная юбка, башмак и смятый букет бумажных цветов...

Павлу почему-то стало грустно при виде всего этого, и он хотел уйти, но вдруг, повинуясь какому-то внутреннему толчку, перешагнул через порог и вошел в комнату. Это была маленькая конурка, с потолком в виде крышки гроба, оклеенная дрянными голубыми обоями; местами они оборвались и отстали от стены; это, в связи с общим беспорядком комнаты, делало всю ее такой странной, как будто бы она была вывернута наизнанку.

Павел глубоко вздохнул, прошел к окну и сел на стул.

«Зачем же я не ухожу?» — подумал он и ощутил в себе совершенное отсутствие даже намека на то, что ему хотелось бы уйти. «Ведь как и уйдешь? Ее нет, квартира не заперта, и вот всё разбросано... Она, наверное, недалеко, тут где-нибудь...»

И он посмотрел в окно, как бы надеясь увидать ее.

Из окна открывался странный вид на город. Собственно, города не было, были только крыши и меж них тут и там — зеленые острова садов.

Зеленые, красные, бурые крыши, цепляясь одна за другую, казались беспорядочно брошенными кем-то. Иногда из них стрелой вздымался к небу острый шпиль церкви, увенчанный крестом, чуть-чуть освещенным последними лучами заходящего солнца. Там, на окраине города, уже родилась тонкая дымка вечерней мглы и тихо так плыла над крышами, делая их мягче и темней... Пятна зелени садов сливались с домами, и Павел, наблюдая, как родится и развивается вечер, кутая своими тенями землю, чувствовал, что ему грустно и сладко... А вдали, за городом, где небо было темнее, блестели две звезды; одна, большая красноватая, блестела так весело и смело, а другая, только что вспыхнувшая, боязливо вздрагивала, то скрываясь, то появляясь вновь.

Хорошо быть таким человеком, который мог бы понимать всё это — вечер, небо, звезды, засыпающий город и свои думы; который бы знал — зачем всё это нужно, какая во всем этом скрыта дума и душа, и который жил бы вровень с этим пониманием и знал бы, зачем и сам он нужен и какое тут его место. Может быть, тогда тот

человек мог бы сделать всю жизнь такой же теплой и мягкой, как этот вечер, и сроднил бы людей до того, что каждый человек видел бы в другом самого себя и не боялся бы его...

Увлеченный своими думами, Павел сидел у окна, не замечая времени, хотя оно так заметно проходило перед его глазами. Он тогда понял, что сидит тут уж давно, когда на дворе раздался чей-то крик и он, взглянув из окна вниз, увидал, что уже совсем темно и что всё небо блестит звездами. Ему хотелось спать, и он, вздохнув, пошел к двери, но, выйдя из нее, услыхал на лестнице тяжелые, неровные шаги и остановился.

По лестнице грузно подымалась какая-то фигура. Она странно всхлипывала, как бы плача. Павел отодвинулся к стороне и стал за дверь.

— Черти...— пробормотал пьяным голосом тот, кто шел к Наталье.

Павел думал, что это идут к ней, и был очень поражен, когда узнал, что это она сама. Еще издали он услыхал запах водки, а когда она поравнялась с ним, то увидал, что вся она растрепана, измята и еле идет. Ему стало жалко ее, но он почему-то не решился выйти и помочь ей — и остался за дверью. Вот она толкнула дверь плечом, придавив ею Павла, и вошла в комнату, где сразу раздался звон стаканов и стук падавших бутылок.

— Пошло... всё... к чёрту...— услыхал Павел пьяный голос, в котором все-таки ясно слышались обида и зло.

Он стоял неподвижно и, притаив дыхание, слушал, хотя ему было тяжело и неприятно это.

Вдруг раздался плач и протестующие выкрики:

— Избил... подлец!.. за что избил?!. Я могла требовать... мои деньги!.. могла!.. Жулик! три рубля... мне ведь нужно!.. А, ты думаешь, такая она... и надо бить... можно бить!.. Нет, ты врешь!.. врешь!.. врешь!.. я тоже... чувствую! Ну, я не человек... ну да... не человек... а такая... но ведь я имею право... мое... полное право... требовать... три рубля!!.

Она выкрикнула эти «три рубля» так визгливо-звонко и с такой пьяной злобой и тоской, что Павел почувствовал как бы удар от этого крика и быстро пошел

из-за двери вон к лестнице, сам полный горькой тоски и злобы против кого-то. Когда он сходил с последней ступеньки, наверху послышался стук от падения чего-то и звон разбитой посуды.

— Это она стол, значит, уронила... Совсем...— громко сказал он, стоя уже на дворе. Он не знал, что нужно ему делать, но чувствовал, что что-то нужно. Стоя среди двора с фуражкой в руке, он прислушивался, как сильно бьется его сердце и как тяжело и скверно душит что-то в груди... У него мутилось в голове и не было ни одной ясной мысли.

— Подлецы! — прошептал он и стал припоминать все когда-либо слышанные ругательства, повторяя их злым шёпотом. Потом, когда от этого ему стало немного легче, он вышел за ворота и сел на лавку, плотно прислонясь к стене.

Ему всё казалось, что по темной, пустынной улице ходят, шатаясь из стороны в сторону, пьяные женские фигуры и что-то зло бормочут... Тоска всё сильней сосала ему грудь. Он встал и ушел в мастерскую.

— Ну что, Павлуха, как дела? — спросил его утром хозяин и, тонко улыбаясь, пристально уставился на него глазами.— Был, благодарил? а?

— Не... было ее дома...— хмуро ответил Павел, стараясь не встречаться с глазами хозяина.

— Ой-ли? Ну, пусть так. Запишем, что не было, мол, дома! — И он сел за работу против Павла.

— Гуляет сильно девчонка...— снова заговорил он.— А жаль. Сердечная такая. Право же, жаль! Ну, только это и можно, что пожалеть. Больше ничего не станцуешь. Дело решенное.

Павел молчал, лихорадочно продергивая дратву сквозь кожу. Хозяин что-то запел себе под нос.

— Мирон Савельич! — обратился к нему Павел после продолжительного молчания.

— Ась? — вскинул головой хозяин.

— Никак уж ей не выбиться из такой колеи?

— Ей-то? Гм!.. н-да! надо полагать — нет, уж не выбиться. А впрочем, дело темное. Темно, как у трубочиста за пазухой, друг ты мой, н-да! Ежели бы нашелся парень этакой, знаешь, железный, да ее бы в ежовые рука-

вицы взял, ну, тогда еще можно бы спорить, кто выше прыгнет. Но только дураки теперь повывелись. Потому — невесты этой самой теперь везде, что мухи летом. И настоящей невесте хороших цен нет. Гусь, например, женился, взял двести рублей за ней, да сама она херувимская мордочка и грамотная. Конечно, она его надувать будет, потому — чего ж он? Ему уж около пятидесяти, а ей семнадцать. И это за Гуся пошла, да еще двести дали — только бери! У-ух, много теперь невесты! дешевая стала. А всё почему? Жить, душенька, тесно, народу прорва родится. Запретить бы жениться-то, годов на пяток-другой. Вот было бы ловко! Право, ей-богу! а?..— и, увлеченный своей мыслью, старый Мирон начал развивать ее детально.

Панька молчал, и можно было думать, что он внимательно слушает. Но вдруг, в момент, когда Мирон с особенным успехом одолел какую-то трудность в своем проекте искусственного уменьшения народонаселения, Панька произнес:

— А ежели бы, Мирон Савельич, подарок сделать?

— То есть это ей-то? Наталье, значит?..— после продолжительной паузы спросил хозяин, уставив глаза в потолок и немного обиженный тем, что Павел прервал его фантастические излияния.— Можно и подарок, что ж! Она ведь тратилась на тебя.

Он снова замолчал и, помолчав, замурлыкал.

После обеда оба они опять сидели друг против друга и усердно ковыряли кожу. День был жаркий, и в мастерской, несмотря на открытые окна и отворенную дверь, было душно. Хозяин то и дело вытирал пот со лба, ругал жару и вспоминал об аде, где, наверное, температура градусов на десять ниже и куда он охотно бы переселился, если бы не обещал сделать к сроку эти проклятые сапоги.

Павел сидел с наморщенным лбом и плотно сжатыми губами и, не разгибая спины, шил.

— Так ты говоришь, хорошая она девка-то все-таки? — вдруг спросил он хозяина.

— Эк тебе далось! Ну, хорошая. Так что же? — с любопытством сказал хозяин, внимательно взглядывая на склоненную голову Павла.

— Ничего! — ответил тот кротко.

— Ну, это мало ты сказал! — усмехнулся хозяин.

— А что ж я могу еще сказать? — В тоне Павла звучало печальное недоумение и еще что-то такое же унылое и тихое.

Они помолчали еще.

— Пропадет, значит, она!..— Это походило на робкий вопрос, но Мирон не ответил ни звука.

Павел подождал еще немного и вдруг протестующе заявил:

— Ну, уж это непорядок! Хорошая, и вдруг должна пропадать! Очень обидно!..— и он толкнул ногой стол.

— Фью-ю! — свистнул сквозь зубы хозяин и саркастически засмеялся.— Зеленая ты, Павлуха, голова!.. Чувствую я, что уж быть бычку на веревочке. Э-хе-хе!..

Вечером, после работы, Павел вышел в сени мастерской и, став в двери на двор, стал смотреть в окно чердака. Там был уже зажжен огонь, но движения не было. И он долго стоял и ждал, не появится ли в окне ее фигура, но не дождался и, выйдя на улицу, сел у ворот на лавку, где сидел вчера ночью.

У него из ума не выходило всё то, что говорил за день хозяин о Наталье, и он весь был наполнен грустным чувством жалости к ней. Если бы он ближе знал жизнь и умел мечтать, он бы мог строить разные планы спасения этой девушки, но он почти ничего не знал и не умел, и все мысли его сводились к представлениям о ней — на погребе, о ней — в больнице и о ней — пьяной там, в ободранной комнатке чердака. Он переставлял ее с места на место, брал ее, пьяную, с чердака и вводил в больницу к своей койке; тогда у него выходила бессмысленная и нелепая картина, еще более увеличивавшая тяжесть его настроения; но когда, наоборот, он представлял себе ее на чердаке такой, как она была у него в больнице, ему становилось легче, и он с улыбкой оглядывался вокруг по темной улице и смотрел в небо, блиставшее золотом звезд.

В нем как бы билось две волны: одна — теплая и оживлявшая его, другая — холодная, тоскливая, окутывавшая его тяжелым мраком. Он так много думал в больнице о Наталье и так сроднился с ней в своих

думах!.. Она была первым человеком, приласкавшим его, позаботившимся о нем, и его пустая, одинокая жизнь, жизнь без точки опоры, без друга,— сразу и вся сконцентрировалась около нее, этой девушки, которая была так добра к нему и должна была погибнуть.

Он вспомнил те чувства, которые волновали его, когда она сидела около его койки, и хотел бы, чтоб они, уже побледневшие от времени, возродились в его груди снова в той же силе, как тогда.

— Ах!.. Это вы?! Вышли? — услыхал он громкое восклицание и, быстро обернувшись, увидал, что та, о которой так много думал, стоит в воротах, почти рядом с ним. Голова и лицо у нее были плотно закутаны серой шалью, из которой, он видел, блестели голубые большие глаза.

— Вчера вышел. Здравствуйте! — ответил он и, не зная, что бы еще сказать, стал молча смотреть ей в лицо.

— Худо-ой какой вы стали, ай, ай, ай!..— сожалея, протянула она и, поправив шаль рукой, еще больше закрыла лицо.

— И вы тут хворали, слышь? — спросил Павел.

— Я? Не-ет... то есть да, я и теперь вот не совсем здорова. Зубы болят очень... Давно уж.

Павел вспомнил, что там, на чердаке, когда она шла мимо него, у нее щека не была завязана...

— Теперь ничего? вы оправились? Работаете уж, чай? — проговорила она, помолчав.

— Работаю. Сразу вчера начал.

— Ну, прощайте! — И она протянула ему руку.

Павел взял руку, крепко сжал ее и, чувствуя, что вот сейчас она уж и уйдет от него, заговорил быстро:

— Погодите малость! Пожалуйста!.. Сядьте вот... Я хочу вас очень благодарить... Покорно благодарю, что вы так обо мне заботились!..

— Ну, что это вы, право! такие глупости!.. Приходили бы вы ко мне чай пить когда... Днем, в обед вот, а вечером-то не бываю я дома. Приходите, коли захочется! а?

— Я приду. Очень приду. С удовольствием! Благодарю вас!

— Ну, я побегу в лавочку. Прощайте! — И она побежала.

Павел дождался ее возвращения, в смутной надежде, что, может быть, она, возвратившись, снова и уж сейчас же пригласит его к себе; но она пробежала мимо, не взглянув на него, и ему показалось, что она несет под шалью бутылки.

Он вздохнул, посидел еще немного и ушел спать, полный дум о ней и полный грусти, долго не дававшей ему заснуть.

Дня через два он всходил по лестнице к ней на чердак, неся в руках сверток бумаги, в котором был завернут платок, купленный за полтора рубля. Дверь была отворена, и она, увидав его, сразу бросилась куда-то, схватила платок и живо закутала им голову.

— А!.. это вы! Вот хорошо! А я собираюсь чай пить. Здравствуйте, здравствуйте!

Он молча совал ей в руки свой подарок и тихо бормотал:

— Вот это вам... в благодарность...

— Что это? Зачем? Платок!.. О какой!.. Ах вы, ми-илый!..— протянула она и сделала к нему движение, простирая руки и точно желая обнять его, но удержалась и снова стала любоваться платком.

Павел видел, что его подарок нравится, и сиял, глядя, как она, сверкая глазами из-под шали, окутывавшей ей, как и вчера, лицо,— переворачивает его перед собой то так, то эдак; и вдруг, повинуясь импульсу женского кокетства, она сбросила с головы шаль и, отвернувшись от Павла в сторону, к стене, на которой висело маленькое зеркало, взмахом обеих рук ловко накинула себе на голову подарок.

— Ой! — ахнул Павел.

У нее под обоими глазами сияли громадные багровые подтеки и нижняя губа, очевидно, сильно разбитая, вспухла.

Она спохватилась, но, видя, что уже поздно, грузно села на стул, закрыв лицо белыми полными руками, и как-то странно согнулась.

— Ну подлецы!.. Как били!..— тяжелым вздохом вырвалось у Павла.

Наступило тяжелое молчание. Павел стоял и растерянно оглядывался, лишенный и языка и способности что-либо соображать и полный тяжелого чувства негодования и тоски, исковеркавшего его рябое, но вдумчивое и осмысленное лицо в какую-то пеструю, красную с желтым, маску, уродливо жалкую и больную.

На столе кипел самовар, вылетали тонкие, кудрявые струйки пара, бесследно тая в воздухе, и слышался странный, пискливый звук, точно это посвистывало какое-то маленькое и злое животное, насмешливо и холодно торжествуя над чем-то.

Комната была прибрана и не казалась уже вывороченной наизнанку, а была просто бедна, бедна до того, что никак уже не могла быть красивой, хотя ее обитательница и пыталась сделать ее такой, завешивая дыры на обоях дрянными яркими картинами и заставив грязный и сгнивший подоконник тремя горшками фуксии. Гробообразный потолок этой комнаты положительно давил и угнетал своей формой; всё казалось, что вот он сейчас опустится на голову и вместе с тем в комнате станет темно, как в могиле...

Павел смотрел на свою знакомую и видел, что у ней тихо вздрагивают плечи, а грудь колышется тяжело и бурно, но не понимал, отчего это...

— Уж я... пойду. Прощайте! — вздохнул он, но не двинулся с места.

Зато он поднял ее. Она вдруг отняла руки от лица, вскочила со стула и охватила его за шею.

— Нет, уж, пожалуйста, оставайтесь теперь!.. Ведь теперь уж всё равно... видели вы это...— Она провела рукой в воздухе перед лицом.— Ах, не хотела я вам показывать этот срам!.. Очень не хотела! Вы такой хороший, добрый, ласковый, не... не... пристаете... не шутите, как все!.. Вчера я, как увидала вас, то очень обрадовалась!.. Ах, думаю, выздоровел!.. И хотела вас позвать к себе, но подумала, как я ему покажу свою битую рожу!.. Ведь он уйдет, плюнет на меня, и всё тут! И не позвала. А вот ты... вы какой, только пожалели меня... Другой бы посмеялся, а вы нет... Милый вы!.. а?.. Почему вы такой милый?!.

Ошеломленный этим взрывом стыда, тоски и радости, Павел глухо забормотал, стоя против нее и глядя в пол:

— Нет, я, знаете, не очень... То есть я совсем даже плох. Дубовый какой-то. Ничего сказать настоящее не могу. Вот вас мне очень жалко... и как родная вы мне, но как это сказать вам,— не знаю! Не могу я даже и слов таких набрать. И ни от кого... никогда... таких слов, какие бы мне... нужно по настоящему времени... не слыхал за всю жизнь...

— Голубчик вы какой! Сам же говорит хорошие такие слова, а думает, что не умеет говорить их! Ну ладно, все-таки надо сесть. Идите вот сюда, рядом со мной. Давайте пить чай! Да! Погодите, дверь запру, а то вломится какой ни то осел. Ну их всех, к чёрту! Провались они в тартарары! Ах, кабы вы знали, какие из вашего брата поганцы есть!.. ба-атюшки!.. тошнит, как встретишь после! То есть такие сквернавцы, такие подлецы!..

Она воодушевилась и не щадила ни «своей сестры», ни «вашего брата». У ней оказался большой критико-публицистический талант, горячий, образный стиль, немного резкий, правда,— но это только усиливало впечатление. Она бросала свои посылки, как камни, складывала их в выводы, и, хотя эти выводы были немного парадоксальны, они были сногсшибательно тяжелы.

Пред Павлом в ярких красках вставала жизнь, о которой он не имел почти никакого представления, и это была такая проклятая, скверная, мучительно нелепая жизнь, что у него выступил на лбу холодный пот от ужаса пред ней и перед рассказчицей...

А рассказчица была действительно ужасна в своем вдохновении. Ее глаза, от синяков под ними, были страшно глубоки и сверкали дикой радостью и мстительной злобой. Ее лицо почти всё обратилось в глаза, и только распухшая нижняя губа, обнажая мелкие и острые зубы, мешала иллюзии. Она говорила с холодной тоской и насмешкой о себе, с мстительным восторгом о других, если они были из «вашего брата» и если с ними совершалось что-либо скверное, и с злобным сожалением, если им что-либо удавалось. Иногда она смеялась, иногда плакала, иногда сливала и смех и слезы в одну

тоскливую ноту. И наконец, когда она, утомленная и охрипшая, перестала, то сама удивилась эффекту своей речи.

Павел совершенно потерял человеческий образ. Он смотрел на нее страшно вытаращенными глазами и свирепо оскалил зубы, стиснув их так крепко, что у него далеко выдались скулы и всё лицо стало похожим на морду голодного волка. Он вытянулся по направлению к ней и молчал; молчал и тогда, когда она, кончив свои обличения и жалобы, уже думала о том, как бы ей вывести его из этого оцепенения. Но он вышел сам.

— Хорошо! — глухо воскликнул он.— Очень хорошо! А я и не знал!

Это было сказано таким тоном, как будто бы теперь, когда он всё это узнал, оно перестанет уже существовать, уж он позаботится, чтобы перестало!..

— Порядки!.. ну!.. господи! разве так можно?!.— Он кинул свою голову на руки и, облокотившись о стол, опять оцепенел.

Тогда она заговорила в более мягком и примиряющем тоне. Находя возможным извинять и оправдывать людей и себя, она делала попытки свалить всю вину и тяжесть событий на водку — силу, которая всё ломит,— но, успев в этом, нашла, что водка слишком жидкая почва для того, чтобы поддерживать на себе всю скверну жизни,— и снова обрушилась на людей; обрушилась и, воздав им должное, перешла к жизни:

— Ведь уж очень тяжело жить. Всё везде ямы; одну минуешь — в другую шлепнешься. Ну вот, завяжет себе глаза человек и пошел!.. Куда кривая не вывезет! Где он, настоящий-то легкий путь?.. Кто ж его знает?.. Наша жизнь скверна и тяжка, ну, да и семьянкам не сладко! Одни дети смают, да муж, да горшки, да чёрт в ступе!.. Вся жизнь такая, неустроенная.

Павел слушал и представлял себе жизнь, которая вся из ям и меж ними узкая тропинка, по которой идет человек с завязанными глазами, а ямы насмешливо и темно зияют и, наполняя воздух гнилым, одуряющим зловонием, кружат ему, одинокому и слабому, голову,— и вот он падает...

А его лекторша уже совсем настроилась на минорно-философский лад и говорила о чем-то странном: о могилах, о полыни на них, о сырости земли, о тесноте...

Павел почувствовал, что он, пожалуй, сейчас заревет, и сразу решил, что пора ему уйти отсюда.

— Иду я. Прощайте! — коротко сказал он и ушел. Она не удерживала его, сказав на прощанье только одно ласковое: «Приходите поскорее!», на которое он утвердительно кивнул головой.

Он пошел на улицу и долго шлялся по городу, чувствуя себя странно выросшим в этот вечер, каким-то большим и тяжелым, что происходило, должно быть, оттого, что он нес в себе много новых дум, представлений и чувств. Всё окружающее — весь город казался ему новым и возбуждающим к себе подозрение, недоверие и какую-то презрительно-тоскливую жалость... и это, надо думать, истекало из того обстоятельства, что он, Павел, узнал сегодня много скверных тайн и делишек этого города.

Он возвратился домой с восходом солнца, прогуляв всю ночь и чувствуя себя снова немного больным.

* * *

Прошла неделя, в течение которой мой герой посетил мою героиню ровно семь раз.

Им обоим доставляли много удовольствия разговоры о жизни вообще и о жизни друг друга. Павел приводил в исполнение желание, зародившееся в нем еще в то время, когда он лежал в больнице, и рассказывал ей о молчаливом Арефии, о том, что́ он думал, когда еще мальчиком лежал в яме у бани и когда уже взрослым шлялся по кладбищу, городу и окрестным деревням... И все эти его думы носили странный отпечаток недоумения и недоверия к самому себе, но общий вывод из них был тот, что в жизни что-то такое идет не так, расшатано, поломано и требует солидной починки.

Она рассказала уже ему свою биографию, очень простую. Шестнадцати лет, когда она была горничной у купца, с ней совершенно неожиданно случился грех, за который ее прогнали от купца и из дома ее родных,

мещан Кривцовых. Она, как всегда это случается, когда человека выгоняют и когда ему некуда деваться, очутилась на улице... Явилась благодетельница, потом — благодетель, еще один благодетель, еще один, еще — и повалились, чёрт знает откуда, целые десятки благодетелей!.. Они валились в течение восьми лет до сегодня, в чем она со вздохом откровенно призналась Павлу. Но он это знал и — кроме тоски — не ощутил при этом сообщении ничего особенного.

У них установились простые, дружеские отношения, и часто случалось, что она говорила с ним как с женщиной, а он спрашивал ее как мужчину. Ее синяки понемногу сходили с лица, и оно начинало приобретать свой естественный цвет, здоровый и сочный. Она была очень здорова, и тонкий, как бы свинцовый налет, характерный признак профессии, всё еще не касался ее щек. Она любила петь и часто пела Павлу очень нелепые, но еще более грустные песни, в которых шла речь непременно о любви. Но слово любовь не вызывало, очевидно, в ней никаких особенно приятных представлений и ощущений, и она произносила его так холодно и равнодушно, как не ухитрилась бы сделать это и семидесятилетняя старуха, у которой такое слово могло вызвать воспоминания и вздох о былом.

Павел ей просто очень нравился, что вполне естественно: это был первый человек, который не относился и не умел относиться к ней так, как относились все до него. Она понимала, что он чист перед ней как женщиной,— и это немного приподнимало ее, делало лучшей, не обязывало ни к нахальной развязности, ни к цинизму, еще не успевшим войти ей в плоть и кровь. С ним в то же время можно было говорить обо всем и совершенно просто; он хотя и мало говорил сам, но слушал всегда внимательно.

Впрочем, он теперь стал развязней и говорил больше, чем прежде, что опять-таки понятно, ибо она старалась понять и вникнуть в его душу и думы,— он ей был дорог и нужен. Он относился к ней с некоторым удивлением. Она казалась ему на редкость хорошей, доброй, мягкой и в то же время была из таких, о которых он не слышал ни одного слова хорошего...

Воспоминания об Арефии крепко сидели в нем, и теперь он часто про себя сравнивал, кто лучше, и не решался сам себе ответить, как бы боясь оскорбить память покойника ответом не в его пользу. Ему было невыразимо приятно вечером, кончив работу, приходить к ней так свободно, просто и сидеть, попивая чай и разговаривая тоже так просто, как бог на душу положит.

Она была грамотна и очень любила читать трогательные истории, напечатанные на плохой, серой бумаге и продаваемые пятачок пара. У ней была целая куча их в сундуке под кроватью, и иногда она довольно бойко прочитывала одну из них Павлу, а прочитав, начинала убеждать его полюбить чтение, что он ей всегда и обещал.

Павел чувствовал себя хорошо и даже выучился смеяться, что, впрочем, к нему очень не шло. Мирон Савельич посматривал на него добродушно и насмешливо и иногда довольно ехидно посмеивался, на что Павел ничуть не претендовал. Хозяин нравился ему всё больше, он относился к его делам всё внимательнее, и Павел платил ему за это тем, что работал, как вол.

Однажды хозяин сказал ему:

— А что, Павлуха, чай, возьми меня с собой ужо в гости-то!

Павел почему-то обрадовался его предложению, и вот они вечером втроем пили чай на чердаке Натальи. Старик зорко наблюдал за молодежью, предоставляя ей говорить и изредка только вставляя в их разговор два-три смешных словечка.

Вечер провели очень весело и мило. А идя домой с Павлом, Мирон Савельич, сначала всё что-то свиставший сквозь зубы, наконец заявил Павлу, тронув его за плечо:

— Смешнущий ты, братец мой, человечина! И она тоже... ну девица!.. Милые вы мои черти, не прищемите друг другу хвостов как ни то ненароком, а всё остальное в воле вашей.

Павел из этих слов ничего не понял, но, чувствуя, что это сказано из хорошего побуждения, поблагодарил хозяина. Он всегда в затруднительных случаях прибегал к благодарности.

Однажды мои герои сидели и, по обыкновению, попивая чай, до которого оба были большими охотниками,— разговаривали о том, кто что любит. Павел, перечислив свои страстишки, молчал и слушал перечень Натальи.

Она насчитала много: карусели, коньяк (с лимонадом и сельтерской любила больше, чем без оных), цирк, музыку, пение, книжки, осень, потому что она очень грустна, маленьких детей, пока они еще не научились злиться, пельмени и т. д.— и наконец остановилась на катанье в лодке.

— Больше всего люблю! — заговорила она, блестя глазами.— Едешь — и качает тебя, как ребенка в люльке... И так и становишься, как ребенок: ничего не понимаешь, ни о чем не думаешь, плывешь, плывешь... без конца бы плыла, вплоть до моря, и всю жизнь!.. Хорошо это!.. Ах, вот бы покататься!

И они решили ехать в воскресенье кататься. В воскресенье погода удалась хорошая, ясная, жаркая,— июльская погода. Они выбрали легкую устойчивую лодку, Павел сел в весла, и они поплыли против течения. С одной стороны берег был окаймлен коричневой широкой лентой крутых глинистых обвалов, а с другой — зеленой бахромой кустарника, из которого там и сям пробивались высоко к небу пышные березы, серебристые осины и дубы, уродливо растрепанные ветром, изогнувшим их сучья. За лодкой бежала, журча и извиваясь, пена, но она пропадала, не догнав лодки, и это ее, должно быть, очень обижало,— в звуке, с которым она таяла вдали, было что-то недовольное... Небо, ясное и глубокое, отражалось в воде, отражались в ней и те кусты, которые росли ближе к берегу; в воде они стояли вниз вершинами, и это, должно быть, было им очень приятно,— они покачивались в ней с такой ленивой красотой и грацией!.. Смелые, юркие стрижи носились над водой и хлопотливо трещали, а по берегу расхаживали, помахивая черными хвостами, веселые трясогузки, смешные, точно они были маленькими сороками. Над рекой носились полные, могучие и мягкие звуки... Шелестела листва, река плескалась о берег, где-то далеко плавала песня, сильная, грудная и красивая...

Павел, в красной рубахе и без фуражки, сильно и мерно греб приемом опытного гребца, не двигая корпусом и работая только мускулами рук. Иногда ему на лоб падала прядь волос, он откидывал ее назад спокойным движением головы. В его глазах сияло много удовольствия, и он вдыхал глубоко грудью сухой душистый воздух, поговаривая изредка: «Эх, славно!..»

Наталья сидела против него, положив руки на колени, с застывшей на губах блаженной улыбкой и покачивалась в такт с ударом весел по воде,— а с них падали в воду такие красивые, блестящие капли и звенели так тихо и ласково... Она посматривала вокруг себя и на гребца, такого сильного, большого,— и всё улыбалась, то глазами — голубыми и задумчиво-нежными, то губами — пухлыми и сочными.

Им обоим не хотелось говорить. Оба они чувствовали, что без слов лучше, и как нельзя больше походили на героев романа, пока еще только немножко влюбленных, не сознававших этого, но уже в достаточной степени заинтересованных друг другом и ускорявших события внимательным наблюдением друг за другом. Но они еще только походили на героев и пока не успели стать ими по причинам, известным их судьбе — и только ей.

— Пристанем к берегу? — спросил Павел, когда они доехали до лужайки на берегу, очевидно, специально устроенной природой для маленьких пикников. Вся она была покрыта тенью от берез, полукругом обступавших ее, и поросла мягкой низенькой травой, среди которой редко пестрели какие-то бедные и скромные цветы.

Они вышли, захватив с собой узелок с провизией, медный чайник и бутылку какой-то наливки. Через полчаса на лужайке дымил костер и над ним висел чайник с водой; иногда в костер с боков чайника падала капля воды и, шипя, испарялась. Дым извивался сизыми кудрявыми гирляндами, таял в воздухе и опьянял каких-то маленьких мушек, которые, уныло звеня, падали на землю.

А кругом всё было так тихо, точно прислушивалось к чему-то. Павел хлопотал, развязывая узел, а она с

мечтательным лицом срывала цветы и травинки и, что-то тихонько напевая, делала из них букеты. Это было сентиментально, но это было так,— поверьте в правдивость моей музы!.. Поверьте и в то, что, собирая цветы и вдыхая их запах, она делала это ничем не хуже всякой другой девушки. Я прошу извинения у всех других девушек, если они заподозрят меня в том, что я ставлю мою героиню на одну доску с ними. Ей-богу, это не так! и пусть они успокоятся, я не решусь сравнивать их с моей героиней. Я не могу идеализировать, я только уверен, что все люди могут быть очень хорошими людьми, если они хотят этого и имеют на это свободное время.

Потом вскипел чайник, и они стали пить чай и закусывать, заботливо угощая друг друга и перекидываясь короткими замечаниями о том, как всё это хорошо. От трех рюмок наливки у Павла зашумело в голове, и он почувствовал потребность говорить.

— Хорошо, наверное, тем людям, которые понимают, что к чему принадлежит в жизни,— задумчиво начал он.

Наталья посмотрела на него и, помолчав, спросила:

— Что хорошего-то?

Павлу нужно было подумать, прежде чем ответить ей, и, воспользовавшись паузой, она заговорила, не дожидаясь его ответа:

— Не знаю как... по мне, так лучше ничего не понимать,— меньше спросится, и душе спокойней. Живи, как живется, да поменьше на людей смотри...

И они начали философствовать. Но это скоро им надоело, и тогда они стали просто болтать. Павел всё более пьянел. Наступал вечер, тихий и теплый. Наталья смотрела кругом,— становилось темно и грустно, и она захотела домой. Ей стоило большого труда убедить Павла, что уже пора ехать. Он весь как-то размяк и, соглашаясь с ней, не трогался с места, над чем-то смеясь и в то же время проявляя ясные признаки слабой борьбы с одолевавшим его сном.

Наконец она свела его в лодку, сама села в весла, а он сейчас же лег на дно и уснул. Лодка тронулась вниз по течению и тихо, без гребли, поплыла около

берега. Угли от их костра раздувал тихий ветер, и в воду летели мелкие искры, падая на пятна теней от прибрежных кустов. Наталья направила лодку на средину реки и, плывя в молчании и мягком свете только что явившейся луны, смотрела на спавшего Павла и думала о чем-то, должно быть, очень грустном, потому что по ее щекам медленно текли одна за другой слезы.

С одного берега на нее смотрели темные группы кустов, с другого — суровый и резкий обрыв, а с неба — звезды, разгоравшиеся всё ярче и ярче. Тишина была такая, как бы всё живущее заснуло крепким сном, и даже вода под лодкой не звучала. Темная и спокойная, она казалась густой, как масло... Вот вдали замигали огни города, и оттуда понесся гул, сначала отрывисто, как вздохи какого-то большого спящего животного, а потом — сплошной, густой волной...

Они приехали. Лодка сильно толкнулась о берег, и Павел проснулся. Он оглянулся вокруг, и ему стало стыдно, что он спал.

— Простите меня, Наталья Ивановна, за такое...— сказал он, когда они уже далеко отошли от реки по глухой и узкой улице.

Она удивилась и спросила:

— За что?

Тогда он уверенно объяснил ей, что это не очень хорошо — спать при даме.

— Господи! — воскликнула она.— Откуда вы это?.. Взяли-то такую чепуху откуда?..

— Это не чепуха,— стоял он на своем,— это вы сами же мне в одной книжке прочитали... да. Помните? — И он напомнил ей.— Вот видите! — сказал он тогда, немного торжествуя свою правоту, и прибавил: — Уж в книжках не может быть чепухи! — из чего ясно видно, как плохо он был знаком с литературой.

Когда они пришли домой, он остановился у лестницы на чердак и, сказав ей «прощайте», протянул руку. Она поколебалась почему-то, но потом вдруг схватила его руку и, крепко сжав ее обеими своими, как-то странно громко зашептала ему:

— Голубчик мой!.. какой вы милый, милый!..

И быстро побежала наверх, оставив его, немного удивленного этой похвалой.

Потом они еще раз устроили такое же славное катанье...

Так вот как они жили! Но Судьбе идиллический жанр, очевидно, надоел так же, как он надоел и людям, и вот она превращает эту идиллию в роман.

Началось с того, что однажды вечером в дверь мастерской заглянула какая-то приличная усатая физиономия и очень вежливо спросила у Павла:

— Позвольте узнать, здесь живет девица Наталья... Наталья... гм?..

Лучше бы ей этого не спрашивать, потому что в глазах Павла она сразу после своего вопроса превратилась в одну из самых богопротивных рож.

— Не знаю! — ответил он глухо и не совсем ласково.

— Такая, знаете, русая... с голубыми глазами... невысокая?

— Не знаю! — сказал Павел уже совсем неласково.

— Ссс... а!.. а мне сказали, что здесь!..— разочарованно протянул спрашивавший.— Извините! До свидания!

Павел промолчал и почувствовал, что с исчезновением этого господина у него, Павла, не исчезло желание пустить ему в лоб колодкой.

— Не знаете ли вы, здесь живет девица Наталья?..— донесся со двора вежливый и сочный баритон.

Павел, с колодкой в руках, вскочил и бросился к двери. Но когда он подошел к ней, то на дворе прозвучал голос Натальи:

— Сюда, сюда, Яков Васильич!

Павел воротился на место, сел и, ткнув шилом не туда, куда следовало, бросил башмак на пол и снова пошел на двор. Он встал на пороге сеней и стал смотреть в окно флигеля, где жила Наталья. Ничего не было видно, но слышались голоса, ее — веселый и его — густой и предупредительный. Потом послышались шаги на лестнице, и вышли они оба. Павел быстро притворил дверь, оставив маленькую щелочку, и приложился к ней глазом.

Наталья шла рядом с высоким господином в сером котелке. Он крутил ус и заглядывал ей в лицо, а она бросала искоса взгляды на дверь, за которой стоял Павел. И они ушли.

Павел воротился в мастерскую, сел у окна и, для того чтоб видеть что-либо на улице, закинул голову назад, но и тогда видел только верхний этаж противоположного дома, его крышу и небо над ней... Тут в первый раз он почувствовал себя в земле — в сыром подвале, глубоком, закопченном. Он опустил голову и задумался. Пришел хозяин и заговорил с ним, но не получил ответа. Тогда он спросил тоном участия:

— Ты что это как избастрыжился?

— Так! — ответил Павел, посмотрев вокруг хмурым и пытливым взглядом.

— Как будто Наталька проехала сейчас на извозчике с каким-то брандахлыстом,— сообщил хозяин.

— Нет, это не она...— ответил Павел.

— Так ты чего к ней не идешь сегодня? — осведомился Мирон, поглядывая подозрительно и пытливо на работника.

— Я вот сейчас пойду.

И он действительно пошел на чердак. Но дверь в комнату Натальи была заперта замком. Тогда он сел на верхней ступеньке лестницы и стал смотреть вниз, в черную яму, зиявшую перед ним, молча и сурово,

Внизу кто-то о чем-то говорил, но Павлу всё это было непонятно. Он был увлечен соображениями на тему — как бы ей помешать? Как помешать ей гулять с этими господами в котелках?.. Прошлый раз — тоже был в котелке, только в черном, и имел рыжую клочкастую бороду вместо усов, но — всё равно — и он, как этот сегодняшний, походил на чёрта, обстригшего себе шерсть. Зачем такие люди родятся и живут? Почему их не ссылают на каторгу? Павел недоумевал, не умея ответить на эти два и на другие вопросы в таком же духе, и, недоумевая, чувствовал, что опять явилась тоска, давно уже не посещавшая его. Теперь он отвык немного от нее, и потому она была острей. К ней примешивалось еще какое-то обидное чувство, которое было ничуть не легче ее.

Подавленный, он сидел час, два, до рассвета, до той поры, пока у ворот не послышалось дребезжание остановившейся пролетки, а на дворе чьи-то шаги.

Павел дрогнул и хотел уйти, но было уже поздно. По лестнице прямо на него шла Наталья, бледная, с измятым лицом и тупыми глазами. Она увидала его и остановилась на половине лестницы, немного смущенная его присутствием.

— Ах, это вы! Что это вы? — заговорила она, но, взглянув на него, замолчала.

Он осунулся от бессонной ночи и, расстроенный своими думами, был сух, резок и пугал своими глазами, смотревшими на нее так, как раньше они не смотрели.

Ей стало не столько стыдно перед ним, сколько боязно его, и она, опершись о перила лестницы, не решалась идти дальше, а он не двигался, упорно глядя на нее. Сцена была безмолвна и странна. Эту странность увеличивал свет, проходивший столбом через слуховое окно в крыше и ложившийся сначала на него, а потом, спускаясь вниз по лестнице, падавший ей в лицо, менявшее свое выражение каждую минуту.

Павел, наверное, сам был бы очень удивлен, если б мог видеть себя в этой позе. Он сидел, упершись локтями в колена, и, подперев ладонями подбородок, смотрел вниз взглядом судьи. Становилось тяжело, и всё тяжелее с каждой минутой. Оба они не двигались, и она бледнела всё больше, начиная уже дрожать под его упорным, осуждающим взглядом, и ей начинало казаться, что его резкое и острое рябое лицо делается всё резче и начинает разгораться гневом и злобой. Чем бы это кончилось, если б на помощь им не явилась кошка? Кошка вскочила, фыркая, в слуховое окно, перепрыгнув через Павла, бросилась по лестнице под ноги Натальи и исчезла.

Я тут не вывожу на сцену ни добрых, ни злых духов. Мной руководит один дух,— это дух правды, и я вывожу кошку, одну из тех маленьких случайностей, которые являются и исчезают, чем иногда создают крупные события, иногда очищают им путь и очень редко позволяют заметить себя. Я не могу сказать, какой величины и масти была эта почтенная кошка,

которой я обязан тем, что теперь могу свободно вывести моих героев из затруднительного положения.

Вскрикнув, Наталья бросилась вверх по лестнице, Павел же вскочил еще раньше и освободил ей путь.

— Проклятая, как испугала! — задыхаясь, прошептала Наталья, гремя замком у двери.

Натянутые нервы Павла тоже были потрясены, но все-таки теперь оба они вышли из своего оцепенения, и Наталья, отворив дверь в комнату, развязно пригласила его войти.

Он вошел молча и с видом человека, что-то твердо решившего; прошел к окну, сел там на стул и стал смотреть, как она отцепляет старомодную кружевную накидку, задевшую за что-то на плече.

— Что же вы так рано сегодня встали? — спросила она, чувствуя, что молчание снова готовится стать тягостным.

Он хмуро посмотрел на нее и вдруг, повинуясь какому-то толчку изнутри, заговорил тяжело и неровно:

— Не ложился еще я. Вчера, как увидел эту м-морду с вами, и того... это невозможно! Вам бы бросить эту жизнь! разве хорошо? всякий может... надругаться... эх!.. Чай, не затем на свет-то вы родились. Непорядок! Непорядок! Али это вам приятно? Приятно это, придет человек, возьмет, уведет... и всё такое?.. Нет, вы это бросьте! бросьте, пожалуйста, Наталья Ивановна!..

Он проговорил последние слова тихим, просительным шёпотом, а она, очевидно, не ожидавшая ничего подобного, держа свою накидку в руках, неподвижно и с покрасневшим лицом стояла перед ним и шевелила губами беззвучно и смешно, очевидно, имея что-то сказать, но не умея или не решаясь.

Он, посмотрев на нее, опустил голову и, подождав ее слов, снова так же просительно, как и раньше, произнес:

— Наталья Ивановна?..

Тогда она подошла вплоть к нему и, положив на его плечо руку, заговорила сама, убедительно, тоскливо, тихо и горько:

— Вот что! уж коли на то пошло, не покривлю я душой перед вами и так всё расскажу, как на духу

рассказала бы. Знаю ведь я, что вам неприятно это всё, то есть мое поведение. Ох, знаю я это! Но что же я буду делать? Ведь уж это моя жизнь. И ни к чему я больше не способна. Работать? Не умею и не люблю я работать. Разве это лучше — работать и голодать? Но и стыд у меня тоже есть — и вот перед вами мне стыдно. Очень стыдно, поверьте! Но — что же я буду делать? а? Ничего нельзя!.. И должна я жить этой жизнью, и буду... и... знаете, я съеду с этой квартиры и не скажу вам куда. Бросьте вы знакомство со мной. На что вам оно? А вы лучше женитесь на хорошей девушке и живите с нею. Есть ведь хорошие для вас девушки?!.

Ее последняя фраза гораздо больше походила на вопрос, чем на утверждение.

Павел резко махнул рукой.

— Э, это не то вы говорите всё! Не то совсем! Главная причина — вы, а не я. Я что? Мне очень хорошо. Но вы должны бросить эту жизнь. Погано ведь уж очень! Посмотрите — пришел, увел,— тьфу! Ну и мерзавцы же! Как это они ухитряются!.. Волос дыбом встает, как подумаешь!.. Гнусы!..

— Миленький, ведь это уж так нужно!..— тоном утешения протянула она, гладя его плечо и немного пугаясь горького раздражения и в его словах и на его лице, искаженном гримасой отвращения и гнева.

— Н...ничего не нужно! Врете вы всё мне! Али я ребенок? Ничего не нужно! Думал я об этом. Гадость! Фу! бросить нужно, бросить!

— Голубчик мой, что ж я могу сделать? — спрашивала она тихим, умиротворяющим тоном, всё более пугаясь и всё более склоняясь над ним.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и, ухватившись одной рукой за подоконник, другой делал резкие жесты и вытирал свое воспаленное гневом и почему-то вспотевшее лицо.

— Сделать! сделать!.. Бросить всё это! Гнать всех! вон!.. к чёрту!..

— Ты не кричи... услышат... не кричи. Давай поговорим ровненько. Ну, подумай...

— Не хочу. Я уж думал.

— Да нет, ты погоди...

И, собрав всю свою храбрость, она поймала его руку, а так как сесть было ей не на что, то опустилась перед ним на колени.

— Ни в какую работу я не гожусь, и никто меня не возьмет, потому что у меня такой билет...— раздельно начала было она.

— Э!..— и он, сделав нетерпеливое движение, вдруг пораженный какой-то мыслью, застыл, наклонился к ней и, молча, пристально взглянув ей в глаза, вдруг спокойно и твердо сказал:

— Вот что, пойдешь за меня замуж? Пойдешь? Пойдешь? Пойди!.. а? Пойди!.. Я тебе... я тебя...— Его голос спустился до робкого шёпота и оборвался.

Она откинулась назад, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила, обняла его и зашептала сквозь слезы:

— Милый... голубчик!.. Меня-то замуж... меня-то... за тебя!.. Ах ты!.. за тебя... я замуж!.. Смешной ты... ребеночек ты...

И она, странно смеясь и вместе с тем плача, стала его целовать, крепко охватив его шею руками.

Это для него было ново, и он сначала только прислушивался к тому, как кровь, кипящей струей пробегая по его жилам, сладко туманила его, а потом, конечно, увлекся и, жадно стиснув ее руками, прижал к себе, задыхаясь, пытаясь что-то выговорить и без числа целуя ее лицо своими жаркими и жадными губами...

В окно взглянули первые лучи солнца и наполнили комнату нежным розовым светом.

Павел проснулся первый. В комнате было душно, ослепительно светло и тихо, только издалека откуда-то доносился глухой, смутный шум. Солнце смотрело Наталье в лицо. От этого она плотно сжала веки и нахмурила брови, недовольно подняв верхнюю губу, что делало ее капризной и строгой, а раскрасневшиеся щеки заставляли его думать, что она не спит, а притворяется. Ее русые волосы растрепались во сне и легли вокруг всей головы легкими, красиво взбитыми прядями... Одно пухлое и белое плечо было обнажено, и тонкие розовые ноздри вздрагивали от дыхания... Вся она как-то просвечивала на солнце и блестела.

Павел, не вставая, стал тихо приглаживать ей волосы. Она открыла глаза, сонно, но все-таки так ласково улыбнулась ему и отвернулась от солнца.

Павел встал и оделся. Потом взял стул, осторожно, без звука подставил его к постели и, сев, снова стал смотреть на нее, прислушиваясь, как ровно она дышала. Она казалась ему такой близкой, родной, ценной, как никогда до сей поры. Он молча улыбался и, сидя, строил планы и рисовал картины будущего, как это и надлежало счастливому любовнику, еще не успевшему утомиться своей любовью.

Ему представлялась мастерская, которую он откроет, когда они обвенчаются. Это — маленькая комнатка, не такая темная и прокопченная, как у Мирона, а светлая, чистая, и рядом с ней будет другая, их комнатка,— тоже маленькая, только оклеенная голубыми обоями, тогда как первая — желтыми, с красными цветами,— это очень красиво. Окна квартиры — непременно в сад, где они по вечерам станут пить чай и откуда летом ветер вольет в комнату много сочного запаха зелени... Она будет стряпать, потом он научит ее шить сапоги, и у них будут дети... И будет еще много такого хорошего, тихого, любовного...

Павел встал с видом полного счастья, вздохнул, оглянулся кругом и, подойдя к столу, взял с него самовар, широко улыбнулся и пошел его ставить на чердак. Как это хорошо он выдумал! Она проснется, а на столе весело будет кипеть самовар, и он, сидя за ним, хозяйничать!.. Она, наверное, похвалит его...

Подождав, пока прогорела лучина, и положив углей, он, осторожно ступая, пошел в комнату с намерением всё прибрать в ней и почувствовал себя огорченным: она проснулась, и его предполагаемый сюрприз был расстроен. Она лежала в постели, закинув обнаженные до плеч руки за голову, и зевала самым прозаическим образом, не выразив на своем лице ничего, кроме того, что он ей знаком, близко знаком,— и всё тут.

— А я поставил самовар!..— с некоторым сожалением произнес он.

— Ну? А сколько бы теперь времени?— спросила она.

— Больше полдён! — ответил Павел, и ему показалось очень странным то, что они говорят о таких вещах. По его чувству следовало говорить совсем о другом; но о чем и как, едва ли сказал бы он это ясно. Он снова сел около ее кровати на стул.

— Ну что, хорошо? — с улыбкой спросила она его.

— На душе? Эх, хорошо, Наташа! Вот хорошо!..— восхитился он.

— Ну и ладно! — с усмешкой сказала Наталья.

Павлу хотелось ее поцеловать. Он взял ее за голову и склонился к ней.

— Ага! видно, понравилось!..— снова усмехнулась она.

На Павла пахнуло холодом от ее слов и усмешки.

— Что это ты? — недоумевая, спросил он.

— Я-то? Я ничего. Так. Что, жениться-то еще не расхотелось тебе?

Павел слышал, что в ее тоне ясно звучит подозрение и насмешка, и задумался,— что бы это значило?

Она стала одеваться, сев на постели. Лицо у ней было грустное и точно немного злое.

— Что ты какая? — робко спросил Павел.

— Какая? — не посмотрев на него, переспросила она.

Но Павел не знал, какая именно. Он только чувствовал, что она не такая, как бы это было нужно по ходу дел. Но у нее были свои причины быть именно такой, какой она была. С ней, как только она проснулась, произошел резкий переворот. Она сразу припомнила всё, что произошло незадолго перед тем между ними, припомнила и почувствовала, что она потеряла дорогого ей человека, поддавшись тому порыву, который поставил ее отношения к нему в известные ей и надоевшие грязные рамки. Ей совсем не нужно было этого; ей нравилось то почтительное и дружеское отношение Павла к ней, которое было еще за несколько часов тому назад и которое теперь должно исчезнуть, казалось ей. Она твердо знала, чем кончаются те отношения, которые начинаются всегда одинаково, и хотя видела Павла счастливым и радостным, но не могла думать, что он долго будет таким... Она потеряла

человека!.. И она сердилась на себя за это, на сердце ее было много горечи, и хотя пока еще Павел в ее глазах не пошатнулся, все-таки часть своих чувств она переносила и на него.

Он, глядя, как она одевается, чувствовал, что его всё сильней и сильней обуревает желание обнимать и ласкать ее, и, не имея сил да и не считая нужным сдерживаться, обнял ее. Она подчинилась ему с холодной, кривой усмешкой на губах и была холодна, но он, полный огня на двоих, не замечал этого...

Минут через десять они пили чай; она, уже умытая и причесанная, сидела на постели, а он против нее на стуле. Он молчал, полный тихого восторга и утомленный, а она была грустна и, посматривая на него через блюдечко с чаем, вздыхала.

Вдруг Павел заметил, что по ее щекам скатываются крупные слезы и капают в чай, который она не переставала пить. Едва ли кто-нибудь пил чай со слезами и ухитрялся в то же время иметь такое спокойно-равнодушное лицо, как она, эта, кстати сказать, очень нелепая девица!

— Что ты? а? что? о чем? — быстро заговорил Павел, вскочив со стула и бросаясь к ней.

Тогда она бросила блюдечко на стол, расплескала свой чай со слезами и, уже рыдая, заговорила:

— Дура я! обворовала я самоё себя!.. Эх, за всю жизнь один раз соловья слушала, и то сама спугнула! Теперь уж дудочки!.. Шабаш, Наташка!.. Теперь уж я тебе известна!.. О!.. О!.. Дура!.. дура!..

Павел не понимал, в чем дело, и ласкал ее, чем невольно подтверждал ее подозрения. А она всё плакала Наконец он заговорил:

— Ну, полно, Наташа! Перестань. Вот женимся, заживем ах как! Мастерская своя у меня будет, и ты будешь хозяйкой, женой, как все иные бабы! а? Хорошо ведь?

Она отняла его руки, обнимавшие ей шею, и сардонически, но и с надеждой, маленькой, еле слышной надеждой, заговорила:

— Сколько времени — неделю, что ли, ты так-то говорить будешь? Знаем мы вас! Э, знаем, мальчик!..

Да не про то я, не про то, не бойся! Всерьез я этого не приму, женитьбы-то твоей. Не приму, нет! Ты думаешь, я бы согласилась и в самом деле замуж выйти? Даже и за тебя, даром, что ты хорош, не пойду. Не подолгу хорошие-то цветут! А укоров за жизнь мою я слушать не желаю. Не хочу! А ты думаешь, ты бы не стал мне напоминать, что я такая, коли б я женой-то твоей стала? Э, батюшка!.. не меньше кого другого стал бы, уж *я* знаю это! Нашей сестре во всем болоте ни одной твердой кочки нет. Не про то я... Не хочу я женитьбы твоей, а жалею я себя, дуру, за то, что вот ты мне теперь не друг-человек,— и это сама виновата. О! О!!. Дура!..

Павел усиленно старался вникнуть в смысл ее речей и не мог. Но ее слезы действовали на него, и вот они родили в нем тоскливое вдохновение и страх за что-то.

— Слышь, Наталья! Ты не терзай мне душу! — сурово сдвинув брови, начал он.— Не мучь меня словами твоими. Я их понимать не могу. Это не ко мне. Но всё дело и не в том совсем. Я вот что скажу, всё сердце перед тобой выверну — смотри! Первый ты для меня человек на всей земле. Первейший, я так чувствую! И на всё я для тебя пойду. Скажи мне: «Пашка, туши солнце!» Я влезу на крышу и буду дуть на солнце, пока не потушу или не лопну. Скажи мне: «Пашка, режь людей!..» Пойду и буду резать. Скажи: «Пашка, прыгай из окна!..» Прыгну! Всё, что хошь, сделаю! Скажи: «Пашка, ноги мои целуй!..» — хошь, теперь целовать буду? хошь? Давай!..

И он на самом деле ведь бросился к ее ногам, что, как известно, давно уже вышло из моды.

Наталья была поражена этим взрывом. Слушая его первые слова с недоверчивой улыбкой, она улыбнулась уже весело, когда он предложил ей потушить солнце, вздрогнула, когда он хотел в честь ее резать людей,— он был страшен, весь пылая и вздрагивая,— а когда он бросился целовать ее ноги, она почувствовала дикую гордость и, не сопротивляясь, позволила ему делать это.

Поработить человека всегда и для всех — большое наслаждение. Она видела человека, порабощенного ею... Но ничто человеческое не было чуждо ей, и она

жалела его у своих ног. Она наклонилась, подняла его с пола за плечи,— подняла и ласкала так, как не ласкала еще никого, и так, что, когда они, наконец, успокоились, оба были изломаны и измяты...

Но в них еще не всё перекипело, и они решили пойти гулять за город, в поле. Павел забыл о мастерской, о хозяине, обо всем — и шел с ней глухими улицами, которые выбирала она нарочно, опасаясь встретить знакомых. Они вышли в поле, долго бродили там одни, ни в ком не нуждаясь и разговаривая друг с другом просто, без опасения показаться друг другу смешными или глупыми, без желания насильно навязать друг другу свои мысли и чувства, без взаимного желания заявить о всяческом превосходстве одного над другим, без всего, что необходимо присутствует в любви культурных людей и, делая ее более пикантной, делает менее цельной.

Простим же моим героям их некультурность «на основании вышеизложенного», как говорят юристы!..

Наконец они пришли к реке, сели на берег под кусты тальника, на песок, чисто вымытый волнами, и, посидев, заснули тут, крепко обняв друг друга.

Через несколько дней после происшедшего Павлу стало казаться, что все мужские ноги, мелькающие мимо окон мастерской, шагают не куда иначе, как на чердак к Наталье, и это заставляло его то и дело вскакивать с места и выбегать на двор. Хозяин смотрел на него и посмеивался себе в бороду. Он уже знал от Павла обо всем, и Павел даже привел его на некоторое время в состояние столбняка, почтительно заявив ему о своем желании иметь в его лице посаженого отца. Мирон Савельич, когда вышел из оцепенения, сказал ему целую речь, начав ее так:

— Миленький дурачок! Послушай меня, я два раза был женат. Первая жена всё мешала меня с мастерами, а вторая так крепко любила, что я не знаю, как и жив остался,— чем ни попадя и когда угодно дует себе да и ну!.. точно у ней и папаша и мамаша оба будочники были, до того она колотить людей любила.

Затем он нарисовал полную картину семейной жизни, с горшками, пеленками, ухватами, стиркой

белья, мытьем полов и массой других удобств, заставлявших его, по его описанию, в правдивости которого он клялся, есть щи с мылом, ходить на руках, ощущать на своей голове мокрые пеленки и пробовать ею крепость разных горшков. Потом он пофилософствовал на тему, что такое женщина вообще, и, придя к очень печальному выводу, наконец сказал:

— Чудачина!.. Разве их нет? Чего ж тебе эта нужна? Ведь ты погубишь свою голову с ней, пойми ты! Положим, она вон как тебя перемастерила! совсем человеком стал, и весел, и смеешься, и разговоры говоришь... Но, душенька, ведь ты ж ей за это уже уплатил. Разве кто другой станет с ней так обращаться, как ты? Ну, и будет с нее этого, довольно будет. А ты, уж коли что, женись-ка по-христиански, я тебе т...такую ш...штучку икряную поддену, ах ты мне! Приданое дадут, мастерскую откроешь. А с этой вся жизнь тебе в один месяц осточертеет. И как вы будете жить? Нет ничего, ни чашки, ни ложки, делать она ничего не умеет... Э-хе-хе!.. Плюнь ты на нее, каблук моей души, плюнь!

На Павла эта речь подействовала так же, как и на стены мастерской. Он с Натальей за это время сблизился до такой степени, что не только не мог допустить мысли о плевке, но чувствовал, что ему, для того чтоб работать так же усердно и внимательно, как раньше,— необходимо ее присутствие в мастерской.

Раз он, кончив работу, пошел к ней и не застал ее дома. Он побледнел, затрясся и сел у двери, где и просидел до ее прихода. Она пришла уже после двенадцати, но трезвая и приличная, поскольку могла быть такой. Она сразу успокоила его, заявив, что была в гостях у подруги, которая обещала ей достать место горничной. Он был рад этому, поверил и забыл свои страхи. Но вскоре после этого он, думая о ней, натолкнулся на вопрос — откуда берет она деньги? Этот вопрос обдал его холодом, и он в тот же вечер спросил у нее.

— Да много ли мне надо-то? — отвечала она ему тоже вопросом.

Но он не отступался.

— Накопила... немного, по грошам. Ну и живу...

Что-то толкнуло его спросить — показать деньги.

Она задумалась и наконец сказала:

— Что же! можно показать. Изволь.

Но не нашла ключа от сундука, и вопрос остался неразрешенным.

Когда Павел фантазировал о будущей совместной жизни, она молчала, мечтательно закрыв глаза, а когда он, разгоряченный своими фантазиями, ласкал ее, она отвечала на его ласки холодно и раз даже заставила его задуматься и выдумать вопрос:

— Тебе, может, это не по душе?

Она поглядела на него, недоумевая, и не скоро ответила ему, тихо и как бы сама не доверяя своим словам:

— Нет... что ты! Очень даже.

Этого ему было достаточно, чтоб успокоиться.

Он приносил ей свои деньги и отдавал, как жене и хозяйке. Однажды купил ей на платье. Но она относилась к этому как-то формально-ласково. В этом отношении к его заботам о ней он почерпнул первые приступы тонкой и острой ревности. Он не понимал этого чувства ясно и умел не высказывать его пока. Но однажды случилось вот что:

Они сидели и пили чай, как вдруг на лестнице послышались шаги и веселое посвистывание, а потом пение тонким тенорком:

И я ид...ду к матане-душке,
И вот матанин уголо...ок.

Павел нахмурился и посинел от предвкушения чего-то скверного.

И вот матанин уголок.
Да...

— Ах, у вас гости!..— разочарованно протянул певец, остановившись в дверях.

Он был франтоват, имел козлиную бородку, рыженькие, в стрелку усы и в общем — довольно мизерен. Присмотревшись к Павлу, он развязно вошел в комнату, еще более развязно повесил свою шляпу на гвоздь

и направился к Наталье, улыбавшейся ему навстречу несколько растерянно и виновато.

— Здрассте, бож...жественная Наталья...

— Тебе чего нужно? — возгласил Павел, но не двинулся с места.

Франт посмотрел на него, шевельнул усами и хладнокровно кончил приветствие, галантно потрясая руку Наталье:

— ...Ивановна! Угостите чаишком и просветите мой ум относительно этого чумазого господина с ремешком на голове.

— Пошел вон! — сказал чумазый господин и поднялся со стула.

— Как-с?.. Наталья Ивановна, это как понимать? — несколько обиженно справился господин у хозяйки.

— Пошел вон!! — Павел трясся.

— Извольте-с, я пойду! — поспешно согласился посетитель и ушел; но, спускаясь по лестнице, крикнул: — С законным браком, Наталья Ивановна! Оповещу...

Но кого он хотел оповестить, осталось неизвестным.

Оставшиеся в комнате долго сидели молча.

— А скоро они перестанут шнырить? — угрюмо спросил Павел.

— Когда всех разгонишь...— спокойно сказала Наталья.

— Много еще осталось?

— Не знаю. Не считала. Тебе чего больно не по душе они? — криво усмехнулась она, исподлобья посмотрев на Павла.

— Не могу я этого терпеть! пойми, не могу! Моя ты теперь...

— Вон как?!. Где купил? Что дал за такую? — иронизируя, спросила Наталья.

Павел замолчал и нахмурился.

— Смеешься ты... Лучше бы не надо этого. Чай, я не вру, коли говорю это. Моя ты, и дни и ночи, всегда теперь я про тебя только и думаю...

— Ну и ладно! На том и крест поставим! — сухо согласилась Наталья.

С некоторых пор Наталью смущало отношение Павла

к ее посетителям. Она полагала, что с ними не следует прерывать знакомства; среди их есть хорошие, веселые люди. Иногда Павел ей казался не только букой, но и человеконенавистником. Она думала, что было бы очень трудно жить, если б он был постоянно рядом. У ней были вкусы, у него — другие, очень странные, чтоб не сказать — смешные. Но за всем этим — он был хороший, чистый, честный человек, любивший ее, чем она гордилась, признававший в ней равную, что ей очень льстило. Он говорил с ней обо всем, что было на душе, и она могла говорить с ним так же, а это имело большую цену. Последнее время она часто думала о том, как бы это устроить, чтоб, не теряя его, возможно долее жить так, как жилось до знакомства с ним. Для нее эта жизнь, хотя и грязненькая, но веселая, имела свою прелесть. Всё, что она получила бы от нее хорошего, она скушала бы сама, а всё дурное разделила бы пополам с ним. И она надеялась, что со временем ей удастся приручить его до такой степени. Его фантазии о женитьбе она очень любила слушать; слушая, мечтательно закрывала глаза, улыбалась и рисовала себе разные картины семейной жизни, картины веселые, живые, увлекавшие ее. Но она была настолько умна, чтоб понимать, что действительность не оправдала бы его фантазии. Она была твердо уверена в том, что у него скоро пройдет это бешенство любви, которое она понимала по-своему, не очень лестно для него, а когда оно пройдет, на нее посыплются укоры, побои и т. п. Да и жить до самой смерти всё с одним и тем же человеком в одной комнате, дни и ночи — всё с одним,— это, должно быть, невероятно скучно! А иногда ей казалось, что она могла бы жить с ним хорошо и долго, но что ему это не нужно, что она не стоит его и не согласится выйти за него замуж, как бы он ни просил ее об этом, из жалости к нему, такому хорошему и дорогому ей. Она желает ему счастья, и пусть ее жизнь пойдет так, как шла до этой поры.

Такие думы приносили ей с собой странное, сладкое чувство. Ей казалось, что она чище и умней, когда думает так, и вот она, бессознательно руководясь женской страстью к кокетству, начала искусственно

настраивать себя на такой минорный лад и встречала Павла такой тихой, задумчивой и как бы подавленной чем-то. Его же это настраивало на нежности, от которых он всегда переходил к фантазиям. Так развлекалась она от начинавшей заявлять о себе скуки знакомства с Павлом. Но иногда она не выдерживала роли, чувствовала, что ей скучно с Павлом, срывалась — и показывала когти. Тогда как он, тяготея к ней с каждым днем всё более и более, всё чаще останавливался на желании поговорить с ней окончательно и, наконец, это желание осуществил.

Однажды вечером, гуляя по городу, они забрели в какой-то садик и, немного уставшие, сели на лавочку под густой навес акаций, уже кое-где сверкавших желтым листом.

— Ну, так как же, Наташа? — спросил Павел, с серьезным видом поглядывая на нее сбоку.

— Что? — осведомилась она, помахивая себе в лицо сломанной веткой и, в сущности, догадываясь, о чем он хочет вести речь.

— Когда же, мол, мы венчаться-то?

От лучей луны, проникавших сквозь листву акаций, на Павла и Наталью легла кружевная тень, она легла и на дорожку у их ног, тихо колеблясь на противоположной им скамье. В саду было тихо, а над ним, в небе, спокойном и ясном, задумчиво таяли прозрачные, перистые облака, не скрывая своей пуховой тканью ярких звезд, сверкавших за ними.

Всё это и утомление от прогулки настраивало Наталью на более мечтательный лад, и выдуманная ею оппозиция Павлу по вопросу о женитьбе теперь казалась ей как нельзя более правдивой и действительно чувствуемой.

— Венчаться? — покачивая головой, переспросила она.— Вот что я тебе скажу: брось ты это. Какая я тебе жена? Просто я гулящая девка, а ты — честный, рабочий человек — и не пара мы поэтому. Я уж ведь говорила, что не могу я, поганая, быть иной.

Ей доставляло удовольствие это самоуничижение, позволяя думать о себе как об одной из тех девушек и женщин, о которых она читала в книжках.

— А тебе,— всё более минорно продолжала она,— надо хорошую, честную жену. Мне же уж на роду написано погибать в мерзости. Одного хотела бы я,— это видеть жизнь твою, когда она пойдет своим порядком: жена у тебя будет... дети... мастерская... Тогда...— дрожащим от сдерживаемых слез голосом уже зашептала она,— я тихонько... приду... к твоему дому... и посмотрю... посмотрю, как... мой милый Паша...

И она разрыдалась. Ей на самом деле стало больно и грустно от всего сказанного. Ей вспомнилась одна сцена из книжки: любящая и пожертвовавшая своей любовью ради «его» счастья с другой, всеми презираемая Мери Дезире, в рубище, утомленная долгой дорогой, стоит под окном Шарля Лекомб и видит сквозь стекло, как он, сидя у ног своей жены Флоранс, читает ей книгу, а она мечтательно смотрит в пылающий камин и, одной рукой держа на коленях свое дитя, другой играет волосами Шарля. Бедная Мери пришла пешком издалека и принесла с собой доказательства своей невинности и любви, но увы! Поздно!.. И она замерзла под окном своего возлюбленного... дальнейшая судьба которого осталась Наталье неизвестной, ибо в книжке были вырваны последние страницы. Когда эта картина встала пред глазами Натальи, она разрыдалась еще горше и сильней.

Павел весь дрожал от сострадания и любви, от беспомощности и горя,— дрожал и, крепко прижимая ее к себе, сам со слезами, кипевшими в горле, глухо говорил:

— Наташа!.. Наташа!.. полно, перестань!.. люблю... не отдам... ведь...— и еще какие-то слова.

Когда наконец она немного успокоилась, то он, взволнованный и восторженный ее любовью и благородством, которое ему инстинктивно было понятно, заговорил торжественно и сильно:

— Слушай! ты — мой человек! мой человек ты потому, что я о тебе думаю и дни и ночи и что у меня, кроме тебя, нет ни души! И никого мне не надо. Никого. А тебя я возьму себе, хоть ты что хочешь говори! Пойми это, поймн! Никому я не могу тебя уступить, потому что без тебя мне не житье. Как я буду жить без тебя,

коли я только о тебе и думаю! Мой ты человек! Я за тебя сердце отдам! Поняла? И не толкуй больше.

Но она толковала. Она унижалась перед ним и в то же время чувствовала себя всё выше. Громадное, сладкое чувство наполняло всю ее по мере того, как она обливала сама себя грязью своих признаний и, становясь всё откровенней, циничней, дошла до того, что сказала ему наконец:

— Ты думаешь, за это время я чиста была?.. Бедненький! Каждый день...

Но она не договорила. Павел выпрямился перед ней, положил ей руки на плечи и, тряся ее, глухо прошептал:

— Молчи!.. молчи!.. убью!

Затем раздался яростный скрип зубов.

Согнутая его руками, давившими ей плечи, Наталья почувствовала, что пересолила, и ее обуял страх. Павел видел, что она дрожит, и жалость к ней немного охладила пыл его ревности, хотя и не уменьшила нанесенное ему оскорбление. Он тяжело опустился рядом с ней. Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся томительно долго. Наталья, всё еще испуганная, прервала его первая, тихо прошептав:

— Пойдем домой.

Он встал и молча пошел рядом с ней.

— Не любишь ты меня, коли можешь говорить мне такие слова. Жалости в них нет. Скрывать должна была это. Да!..— сказал он ей, приведя свои мысли в порядок.

Она глубоко вздохнула, и на ее лице отразилось искреннее раскаяние.

— Ну да ладно. Вперед — помолчи. А разговор наш кончен. Деньги у меня есть — сорок два рубля, да за хозяином — девятнадцать. На свадьбу да на первое время жить хватит. Есть у тебя платье... такое, в котором можно бы в церковь войти... которое ты не надевала еще... ни разу?..

— Нет! — тихо сказала она.

— Ну... надо сшить. Завтра я тебе куплю.

Она промолчала. Когда они пришли домой, он оставил ее у лестницы, тихо сказав:

— Не пойду я сегодня к тебе.

— Хорошо! — кивнула она головой и взбежала по лестнице вверх.

Он послушал, как загремел замок там вверху, и пошел снова на улицу. Он чувствовал себя глубоко обиженным ее признанием, и ему казалось, что вся улица дышит на него странным холодом, возрождающим в его груди давно забытые чувства — одиночество, тоску — и его старые думы, которые теперь были почему-то тяжелей и непонятней ему, принося с собой что-то новое, чего прежде в них не было.

А она, войдя в свою комнатку, заперла за собой дверь на крючок, села, не раздеваясь, к открытому окну и облегченно вздохнула «ф...фу!..», а потом, подперши ладонью щеку, стала смотреть в окно.

Собирались тучи. Они вползали на небо, поднимаясь из густой тьмы, закрывавшей горизонт тяжелой бархатной завесой. Двигались они так медленно, точно делали это по обязанности, давно уже надоевшей им. Охватывая собой небо, они гасили звезды одну за другой и, точно жалея о том, что портят небо, стушевывая собой его украшения и скрывая от земли его мягкий, умиротворяющий блеск,— плакали частыми крупными каплями дождя. Дождь гулко стучал о железо крыши, и эти звуки казались предупреждающими о чем-то землю сигналами туч.

Наталья, как и Павел, тоже чувствовала себя обиженной и порабощенной, как никогда.

«А, вот ты какой! тоже, как и все,— сегодня люба, а завтра — в зубы. Ну, голубчик, шалишь!.. погодишь!..» — думала она.

Ей вспомнилось его искаженное злобой лицо, его шёпот и скрип зубов... «Молчи!.. убью!..» За что? За то, что она была с ним так откровенна и сказала ему всю правду? Благородно!.. а еще друг!.. а еще любит!.. До сей поры ей никто не обещал убить ее, а когда ее били, то били просто так, без всякого предупреждения и почти всегда под пьяную руку. Но те господа и он — это разница большая!.. И ей снова стали рисоваться картины жизни с Павлом, последовательно — день за днем, и полно — с утра до вечера,

со всеми деталями. Вот они проснулись — рано утром. Ей еще хочется спать, но нужно ставить самовар, ему пора работать; нужно топить печь и стряпать, коли есть чего стряпать; нужно убрать комнату, потом — накрыть на стол... Обедать, мыть посуду, мести пол, что-нибудь шить себе или ему, снова ставить самовар... и вечер.

Ну, положим, пойдут они гулять вдвоем, коли есть свободное время. Гулять с ним очень скучно. К ним в гости едва ли кто будет ходить — он такой бука и чёрт!.. Придут с прогулки — ужинать и спать. Вот один день. А как работы у него не будет? А как он начнет ее сначала корить ее прошлой жизнью, а потом колотить?.. И, наверное, он будет ревновать ее ко всем, с двенадцатилетнего мальчишки до семидесятилетнего старика. А о чем она будет говорить с ним? Он ведь глупее ее и неграмотный; она любит читать книжки, где она тогда возьмет книжек?.. И чем дальше она думала, тем тошней и скучней представлялась ей жизнь с Павлом.

«За что же я ему продам себя?» — поставила она вопрос и быстро нашла, что ему нечем заплатить ей за нее. Тогда она стала вспоминать, что́ ее к нему привязывает и чем она ему обязана. Она с удовольствием открыла, что обязан он ей, а не она ему, и что вся ее привязанность к нему основана на том, что он жалкий, одинокий...

«Так что же теперь?!.» Тут она вздохнула, легко и свободно, и укоризненно и громко сказала:

— Ах ты, рябой чёрт! а?.. погоди, я тебе покажу! я тебе докажу, кто я такая!.. Ты не поскрипишь у меня больше!.. Ты думаешь, я твоя рабыня? Ну, это дудочки!.. Это, миленький мой, игрушечки!..

Вскочив с места, она накинула на себя платок, еще что-то и быстро вышла из комнаты, не заперев ее и несмотря на то, что дождь уже шумел на улице, монотонно колотя по железу крыш, по панелям и в стекла окон... Она торопилась доказать Павлу, кто она такая, и была полна злобной удали и сознания своей независимости.

Два дня ее не было. Павел, как только вошел поутру первого дня в ее комнату, так сразу почувствовал, что совершилось нечто новое и для него далеко не приятное.

Он ждал ее весь день, а ночью ходил по городу, заглядывая во все портерные и трактиры; но ее нигде не было. Он стиснул зубы, нахмурился, сгорбился и молчал весь день. Тупая боль и предчувствие чего-то тяжелого, несчастного давили, и понемногу в нем нарастала злоба против Натальи. На третий день он похудел и осунулся, точно после болезни.

В этот день вечером мимо окон мастерской к воротам подкатили две пролетки. Павел услышал ее смех и, побледнев, бросился на двор.

Она шла под руку с выцветшим человеком в форме военного писаря; у него и усы, и лицо, и мундир — всё как-то слиняло, а она была навеселе, покачивалась, что-то пела и смеялась. За ними шла еще пара: тоненькая черная девица с пожилым человеком, похожим на повара.

Павел смотрел из сеней в щель между досками и чувствовал, что в нем всё кипит, что он сейчас задохнется от злобы; но, когда они скрылись на лестнице, он как-то сразу успокоился и впал в холодное, неподвижное отчаяние. Он сел в сенях на пол и, прижавшись головой к кадке с водой, оцепенел. Ему казалось, что он слышит смех и говор, доносящийся до него с чердака... и перед глазами его в разных позах мелькала Наталья, оживленная, громко и весело смеющаяся, какой она никогда не была с ним.

«Почему она не была такой со мной?» — вдруг родился у него вопрос. Он скоро и правдиво ответил себе на него: с ним, Павлом, нельзя ей быть такой; он неуклюж, глуп и скучен. Это сознание увеличило его тоску. Значит, он теряет ее по своей вине!.. Он теряет ее!.. теряет... и остается снова такой же, какой был прежде, до встречи с ней,— одинокий, молчаливый... никому не нужный, смешной подкидыш... И, как всегда это бывает, когда женщину любят и теряют,— Паньке ярко вспоминалось всё хорошее в Наталье, и, подавляя собой всё дурное в ней, воображение, наконец, нарисовало ему ее такой чистой, ласковой, доброй и необходимо нужной ему, что его тоска усилилась до какого-то удушья.

И вдруг он вскочил, улыбнулся и с видом крайней решимости бросился через двор к ней на чердак. Он

шагал по лестнице, а навстречу ему лился клокочущий, веселый шум.

Он в дверях. Наталья, возбужденная, раскрасневшаяся, удало подбоченясь одной рукой и подняв другую, с платком в ней, кверху, очевидно, приготовилась танцевать... Всё остальное было в тумане, одна Наталья только была ярка, красива и жива...

— Здравствуйте, Наталья Ивановна! — дрожащим голосом, но весело крикнул Павел.

— Ах!.. Это... ты!..— раздалось тихое восклицание, немного испуганное и дрожащее.

Потом всё стало мертво и тихо... и всё колыхалось и плыло куда-то... Только Наталья стояла неподвижно и смотрела своими большими голубыми глазами, такими хорошими и светлыми.

-- Да... вот я пришел... к вам... повеселиться. Весело у вас тут... слышу — смеются... дай пойду!..— растерянно говорил Павел и чувствовал в своей груди какие-то толчки, двигавшие его вперед. Один из этих толчков был так силен, что сбросил его с порога, где он стоял, прямо к ногам Натальи.

— Наташа! Наташа!.. Я пришел... выгони их всех вон! Прости меня!.. Не могу я жить без тебя, не могу!.. Не могу я! Как же это? Один... невозможно одному! Я же тебя люблю! ведь люблю!.. ведь уж я говорил, что люблю!.. Ведь ты мой человек... на что тебе они?.. Дни и ночи... дни и ночи всё о тебе об одной... все думы... я буду весел... буду веселый. Смеяться буду и много говорить тоже...

Он обнял ее, ткнул свою голову в ее колена и бормотал свои слова глухо, просительно и так потрясающе жалко, что сначала подавил всех своим появлением.

Наталья была испугана. Она прислонилась спиной к стене и с побледневшим, искаженным лицом схватила его за голову и пыталась оттолкнуть от себя коленями и руками, но он точно замер, вцепившись в нее, а она беспомощно шевелила синими губами и не могла ничего выговорить...

Но вот в комнате послышалось слабое хихиканье. Это засмеялась черненькая девица; ее смех подхватили писарь и человек, похожий на повара. Наталья недо-

умевающе обвела их глазами, взглянула на Павла — и расхохоталась сама. Вся комнатка на чердаке тряслась от громкого, здорового хохота четверых людей.

Изумленный, раздавленный этим хохотом, Павел сел на пол и смотрел куда-то в угол тупыми, безумными глазами. Он был действительно очень смешон. Его лицо, мокрое от слез, остановившихся в рябинах, было жалко, растерянно, и всклокоченные волосы, выбившись из-за сдерживавшего их ремня, образовали из себя какую-то фантастическую, клоунскую прическу; тупые глаза, глупо раскрытый рот, рубашка, выбившаяся из-за фартука, и, наконец, какая-то грязная, мокрая тряпка, прицепившаяся к опорку на его ноге,— всё это не могло сделать его трагичным и внушающим сострадание. Четыре разнообразно изогнутые от смеха фигуры и он, растерянно, молча и неподвижно сидевший на полу... Кто-то пролил пиво, и по полу потекла тонкая струйка, направляясь к Павлу... Черная девица, в припадке восторга, бросила чью-то женскую шляпу, и она, полетев через голову Павла, упала к нему на колени... Он взял ее в руки и растерянно стал рассматривать.

Это разожгло смех еще более. Смеющиеся охали, визжали, стонали... Павел встал на ноги... так он был еще смешнее. Он был смешон и тогда, когда, шатаясь, пошел к двери, а в двери обернулся и, вытянув по направлению к Наталье руку со шляпкой, бросил шляпку на пол и сквозь зубы сказал:

— П...помни же!..— и ушел.

Его провожал неумолкавший хохот.

— Вот так герой!..— кричал кто-то плачущим от смеха голосом.— Охо-хо!.. ха!.. ха!.. ха!.. Ах, чёрт его побери, ха!.. ха!.. ха!.. Нет, тряпка-то!.. ха!.. ха!.. ха!.. как хвост!.. ой, не могу-у!.. О, ха!.. ха!.. ха!.. волосы-то... ха!.. ха!.. ха!.. на голове... как венец, ха!.. ха!.. ха!.. Ой, чтоб ему... л...лопнуть!.. ха!.. ха!.. ха!..

А на дворе стучал дождь неумолкающей, скучной дробью... Была уже осень...

Целые три дня шел этот дождь, сбивая последние желтые листья с черных, намокших ветвей дерев.

С унылой покорностью судьбе деревья качали своими вершинами под злыми ударами холодного ветра, который с гневом и тоской метался по земле, точно отыскивая что-то дорогое ему. Упорный, настойчивый дождь и неустанно завывавший ветер создавали вдвоем то прекрасный реквием умершему лету, то необычайно визгливую здравицу воскресающей зиме. Плотные, скучно серые тучи так крепко окутали небо, точно не хотели уже больше развернуться и показать его измокшей, иззябшей земле... В программу четвертого дня вошел снег, носившийся тяжелыми, мокрыми хлопьями над городом по ветру, всё еще искавшему чего-то и бешено метавшемуся всюду, налепляя снег на стены и крыши домов белыми пятнами.

Вечером этого дня Павел перешел двор походкой человека, свободного от занятий и дорожащего чистотой своих сапог,— перешел и, поднявшись на лестницу, задумчиво стал у двери в комнату Натальи. Одет он был по-праздничному — чисто, лицо у него было покойно; но оно страшно похудело и осунулось. Подумав немного, он постучал в дверь и, переступив с ноги на ногу, стал дожидаться, когда ему отворят, еле слышно насвистывая сквозь зубы.

— Кто это? — спросили из-за двери.

— Это я, Наталья Ивановна! — ровно и громко ответил Павел.

— А!..— послышалось за дверью, и ему отворили.

— Здравствуйте! — сняв фуражку, поздоровался Павел.

— Здравствуй, чудачина! Ну что, прошло с тобой? Ах, насмешил же ты нас тогда! Ну и пришел!.. точно тобой полы мыли. Что бы вот так же одеться, как сейчас!

— Не догадался я об этом, простите! — усмехнулся Павел, не глядя в лицо собеседнице.

— Чай пить будешь? подогрею самовар.

— Нет, благодарствуйте! попил уж я.

Тут Наталья заметила, что Павел изменил местоимение, и спросила его:

— Что это за благородство такое новое? На «вы» стал говорить.

При этом она несколько презрительно усмехнулась. Теперь он в ее глазах уже не отличался ничем особенным от других людей. После того, как он валялся при людях у нее в ногах, цена ему очень пала. Бывало, ее били более или менее жестоко за измену, и она от него ждала того же; но он оказался несколько иным, и, по ее мнению, эта разница между ним и другими не клонилась в его пользу. Бьют — это значит любят, и когда истинно любят, то не только бьют, убивают,— идут на всё. А он свалился при людях в ноги и плакал, как баба!.. Это не по-мужски, не по-человечески... Нужно не вымаливать, не выплакивать, а добыть, завоевать женщину, тогда она будет твоей. Да и то не совсем...

Павел вздохнул и заговорил:

— Да ведь мы с вами не родня. Дружба между нами была, да она уж лопнула... Чего ж!..

Наталья изумилась, но не показала вида. «Значит, он прощаться, видно, пришел!..» Она села на кровать близко к нему и молча ждала, что он скажет еще.

— Темновато здесь, Наталья Ивановна. Лампочку бы зажечь...

— Можно! — И она зажгла лампу.

Он заговорил снова, задумчиво поглядывая на нее:

— В последний раз говорю я с вами, Наталья Ивановна. Да, уж больше нам не придется говорить!..

— Что так? — спросила она, опуская глаза.

Она не знала, как с ним держаться, и выжидала время, когда ей представится возможность взять верный тон. Она находила, что он очень похудел за это время, и ее немного удивляло его задумчивое спокойствие.

— Что так говорите вы?

— Да так уж, пришла пора. Подумал я, подумал и решил: надо всё это кончить. Чего же? ведь нечего мне от вас ждать!? — Он пытливо посмотрел в ее лицо.

Ей стало жалко сначала прошлого, а потом и его самого. Она видела, что, в сущности, он печален и убит, несмотря на свое спокойствие, а она была все-таки женщина и, как женщина, не могла не жалеть, раз видела перед собой несчастного.

— То есть, как это вы?..— начала она, подымаясь к нему.— Я ведь всегда согласна...

— Э, не надо! — махнул он рукой.— Конец. Дело решенное. Да вы и правы: по совести сказать, ничего бы у нас с вами не вышло. Какой я муж? Какая вы жена? Вот в чем суть...

Он помолчал. Она никак не могла понять, куда он клонит... А в окна мягко стучал мокрый снег, точно хотел что-то предупредить и напомнить...

— Да... Это действительно... плохо бы было...— тихонько прошептала она и почувствовала, что ей становится всё более жалко и его и еще чего-то...

— Ну, так вот!.. Но оставить я вас так не могу. Невозможно это мне. Носил я вас в моей душе такое долгое время... и много для меня значило... Опять скажу, первым человеком вы мне были. Первейшим. С первой вами я жизнь понимать настояще стал. Очень много вы для меня значили, и не было вам цены. Прямо говорю, в душе вы моей жили!..

У него начал вздрагивать голос, а она чувствовала, что по ее щекам потекли слезы и, почему-то не желая, чтобы он видел это, повернулась к нему боком.

— В душе вы моей жили!..— еще раз произнес он.— Так неужели я могу отдать вас опять на растерзание?!. на поругание?!. на скверну?!. Никогда! Невозможно мне это! Чтобы человека, которого я люблю всем сердцем... который мне дороже всего... такого чтобы человека да другие поносили?! Этого не будет! Не могу я так, Наталья Ивановна, не могу!..

Он говорил это, как-то весь согнувшись и стараясь не смотреть на нее, и в его тоне, кроме горячего убеждения, звучало еще что-то, просительное и извиняющееся... Левая его рука лежала на колене, а правую он держал в кармане поддевки.

— Так как же? — тихо спросила она, едва удерживаясь от рыданий и всё еще не глядя на него.

— А вот так!..

Павел вынул из кармана длинный нож и ткнул его ей в бок, ровно и твердо вытянув руку.

— Ой!..— слабо крикнула она, повернулась к нему лицом и повалилась с кровати прямо на него.

Он принял ее на руки, положил на кровать, оправил на ней платье и посмотрел ей в лицо. На нем застыло

удивление, брови были подняты, глаза, теперь уже тусклые, широко раскрылись, и рот был тоже полуоткрыт... щеки были мокры от слез...

Натянутые нервы Павла не выдержали больше. Он глухо застонал и стал целовать ее горячими, жадными поцелуями, рыдая и дрожа, как в лихорадке. А она уже была холодна. В стекла окна стучал снег, и в трубе выл ветер холодно и дико. Темно было и на дворе и в комнате... Лицо Натальи казалось просто белым пятном. Павел замер, склонясь над ней, и в этом положении его нашли к вечеру другого дня. Никто в продолжение почти суток не мешал им: одной — лежать на постели с ножом в левом боку, а другому — плакать, положив на ее грудь свою голову, в то время как за окном ему громко вторил осенний ветер, холодный и сырой...

* * *

Была уже весна, когда над Павлом Арефьевым Гиблым совершали великий акт человеческого правосудия.

В окна залы заседания весело смотрело молодое весеннее солнце, жестоко накаливая гладко отшлифованные лысины двух господ присяжных, отчего те чувствовали сильную склонность ко сну и, чтоб не дать заметить этого товарищам, публике и суду, принуждены были наклониться вперед и вытянуть шеи. Это придавало им вид людей, увлеченных процессом.

Один из членов путешествовал глазами по физиономиям публики и, очевидно, не находя среди них ни одной умной, печально помавал головой; другой крутил ус и внимательно смотрел, как секретарь чинит карандаш.

Председатель только что произнес:

— На основании... ввиду полного сознания подсудимого... полагаю допрос свидетелей...— и, обращаясь к прокурору, спросил: — Вы ничего не имеете?..

Добродушный господин с тараканьими усами любезно улыбнулся председателю и откровенно ответил:

— Ничего-с!

— Господин защитник! Вы ничего не имеете?..

Защитник был искренен не менее прокурора и тоже громко сознался в полном неимении чего-либо, что, впрочем, было ясно начертано на его физиономии.

— Подсудимый! Не имеете ли вы сказать что-либо в свое оправдание?

Подсудимый тоже ничего не имел... Он был туп и производил на всех очень неприятное впечатление своим рябым и неподвижным лицом.

Но все трое — и прокурор, и защитник, и подсудимый,— как оказалось, надули публику, единогласно заявив, что они ничего не имеют.

Прокурор имел удивительную способность придавать своему лицу свирепое выражение голодного бульдога и сильную склонность к аффектации и застращиванию присяжных тем, что если они отнесутся к подсудимому снисходительно, то он их перережет.

Защитник имел привычку во время речи протестующе сморкаться, патетически ерошить волосы и злоупотреблять жалкими словами. Он красноречиво, внушительно, протестующе и громко воскликнул:

— Господа присяжные заседатели!..— и, вложив в это восклицание весь свой пафос и всё красноречие, бессовестно ограбил сам себя, ибо весь остаток речи вышел у него бледным, бездушным и ничего не сказавшим сердцам господ присяжных заседателей.

И подсудимый всё время имел тайную мысль, которую и объявил во всеуслышание после того, как ему сообщили, что его отправят на двенадцать лет в каторжные работы.

— Покорно благодарю! — поклонился он председателю и просительно проговорил с увлажненными глазами: — Ваше превосходительство! Нельзя ли мне к ней на могилу?

— Что-с?! — строго спросил председатель.

— К ней на могилу сходить!..— робко повторил осужденный.

— Нельзя-с! — крикнул председатель и мелкими шажками умчался куда-то в угол коридора.

И двое солдат увели преступника тем же порядком, каким всегда уводят из суда преступников...

Вот и весь роман.

ОБ ОДНОМ ПОЭТЕ

Был поэт, который умер от голода, не написав ни одной строчки и поэтому не успев запятнать своей чистой души ни тайным, ни явным презрением к людям, ни поклонением самому себе, ни жадным желанием славы и ничем из того, что вытравляет из душ поэтов то божественное, которое дает им право на внимание людей.

Был такой поэт однажды, поверьте мне, он был,— и я хочу рассказать о том, что помешало ему жить и сделаться известным вам.

Он жил на чердаке в кривой и грязной улице, крайней улице большого города, и из его окна весь город был виден ему, неуклюжий, шероховатый, в ясные, солнечные дни казавшийся сверху разжиревшей черепахой, шумной и грязной, животно радующейся тому, что с неба так много падает на ее спину солнца.

Он не любил этого города, хотя и жалел его. У него была своя страна, где он настроил иных городов и заселил их людьми иными, чем в этом и во всех других городах земли... Это была беспредельная страна фантазии, где так легко можно заплутаться и где еще легче потерять силу сердца и ума.

Как большинство поэтов, в молодости мой поэт полагал, что этот город, развернувшийся у его ног, живет не той жизнью, которой нужно жить, чтоб быть достойным счастия, и, полагая так, он считал себя призванным указать истинные пути к счастью, осветив тьму жизни лучами своего вдохновения и смыв с сердец людей копоть низменных желаний соком нервов своих...

Тихими ночами он сидел у окна и, вслушиваясь в глухой шум борьбы за право жить, долетавший из

города до его ушей и уплывавший в кроткое небо, задумчиво раскинувшее свой бархатный полог, расшитый золотыми узорами звезд, над землей, утомленной бешеной нервностью истекшего дня,— вслушиваясь, он грустно качал головой, потому что жесток и сух был этот шум и не слышно было в нем кротких нот, ласкающих сердце надеждой на лучшее будущее.

И тогда он брал перо и писал, изливая на бумагу свою любовь и свое негодование, свои укоры и свои похвалы, всё то, чем полно было его сердце... Но всякий раз, как иссякало вдохновение и он читал только что созданное,— глубокая скорбь проникала в его сердце, в то сердце, которое еще так недавно было полно страстного желания делать жизнь. То, что было написано тут, на бумаге, было очень мало похоже на то, что кипело в душе; вместо могучих мыслей явились холодные, всем знакомые слова, их уже не раз слыхали люди, и вместо новых идей — старые туманные фразы и намеки...

И тогда он плакал и негодовал, роптал и вновь принимался писать, тихо смеясь над тем, кто первый назвал муки творчества сладкими муками.

Так он жил, мой поэт, до поры, пока с ним не произошло то, о чем я хочу рассказать.

Однажды в лунную ночь, когда он, полный жажды новых слов, сидел у окна и смотрел на город, уснувший внизу, и в небо над ним, пышно горевшее живыми лучами трепетно сверкавших звезд, и веселых и задумчивых,— в эту ночь пред его утомленными созерцанием глазами мелькнуло нечто прозрачное, как тень, и неуловимое, как сон, мелькнуло,— и голос, который слышало только его сердце, сказал ему тихо, но звучно: «Слушай!»

Он не смутился, ибо и раньше с ним говорили тайные голоса,— он не смутился и слушал всем существом своим:

— Мы музы, здесь нас три, и с нами прилетели миллионы слов, нужных тебе... Я — первая из всех. Мои слова холодны и красивы, как куски мрамора; это из моих слов создаются вечные творения, которыми могут наслаждаться только избранные умы и сердца.

Ты знаешь, только избранным и чистым сердцам доступно полное понимание прекрасного, того прекрасного, которое всегда так чарующе печально. Оно печально оттого, что одиноко и сознает свое бессилие смягчить и окрасить собою жизнь в цвета нежные, яркие, возбуждающие радость святого духа жизни и увеличивающие мощь и славу его.

Мои слова холодны, как солнечные лучи зимой; их редко брали у меня, но из них создавали только великие творения. Те, что создавали, уже умерли, и воздвигнутые им памятники скоро развалятся под ударами времени, но ты видишь жизнь и знаешь людей, ты знаешь и то, что всё осталось тем же, чем было, когда пел великий Вольфганг и раньше его. Я должна тебе напомнить это, ибо я правдива и для меня нет ни печали, ни радости, ни добра, ни зла,— я служу красоте, и она есть высшая правда, та, которую не разрушат ни века, ни тысячелетия. Хочешь ты взять мои прекрасные слова твоим сердцем и меня в подруги себе?

— Зачем? — с грустью ответил мой поэт.— Зачем, когда они и ты так мало влияли на жизнь? Я люблю людей и мои мечты, я хочу счастья всех, я хочу, чтоб жизнь была так же красива и жива, как прибой морских волн в ясный солнечный день, и чтоб она звучала так же легко и музыкально. Я хочу научить людей желать одного только счастья — счастья уважать себя за чистоту и величие своих дум и поступков. Можешь ты помочь мне в этом?

— Жизнь — как река, но источники ее мутны, ибо они вытекают из земли и по земле льются их воды. Ты хочешь очистить источники жизни? Перенеси их в небеса. Я же служу красоте и знаю, что часто зло бывает красивее добра. И я думаю, что, если бы доброе было так же сильно и так же распространенно, как злое,— последнее было бы предметом твоего желания. Пошло и скучно всё то, чего много. И то, что побеждает, всегда портится и гибнет от гордости, от утомления битвой и от пресыщения победой. Смотри на солнце,— оно вечно молодо и ярко светит всюду, куда проникают его лучи, и для него нет ни зла, ни добра... Это назы-

вается быть объективным, и в этом высшая справедливость, возможная на земле.

Но тут мой поэт сказал, негодуя:

— И в этом нет души. Довольно мыслить, нужно снова научиться чувствовать! Ибо в жизни нет цельных чувств, как нет ничего цельного. Всё разбито и расшатано могучими ударами ума, и слишком много яда подлила в чашу жизни острая, как игла, и, злая, как змея, мысль человека. Смотри, какие великие умы есть в жизни, но где — укажи мне — великие души? И жажда жизни исчезает. И нет святого подвига. Как коралловые рифы в море, возвышаются среди жизни иные люди, она же кипит вокруг них и разбивает о их твердость тех из пловцов, которые жаждут пристать к чему-либо. Как коралловые острова — бесчувственны и сильны эти люди, хотя моллюски создали их, те моллюски, о которых они позабыли в гордыне своей силой. Я хочу обновить жизнь. Я хочу указать зависимость всех от каждого и родство всех со всеми. Все люди хотят одного — счастия, но они ищут его в разных местах... И нужно открыть им глаза и показать путь к истинному счастью...

— Хорошо, я ухожу! — сказала первая муза, и раздался холодный и звучный, как звон золота, смех.

— Вот я, вторая, к твоим услугам, и ты, наверное, возьмешь меня. Мои слова просты, легки, ласковы и так же красивы, как и ее. Я сожалею. Я ободряю. Иногда мои слова остры, как иглы, и, вонзаясь в сердце, заставляют его болеть тоской. Я ими вызову слезы и счастливый смех,— ими я напоминаю о лучшем в жизни. Они звучат, как теплая музыка морских волн в тихую южную ночь, полную мягких теней, ласкающих глаз, полную грез, сладко волнующих душу... Тихий, мечтательный свет лунных лучей, шелест листвы, пение птиц — всё это нужно для жизни. И скорбь, и боль, и все желания твои ты перельешь в слова...

— Но люди забыли свое призвание быть великими; ты напомнишь о нем, ты разбудишь жажду подвига? — сказал мой поэт.— Смоет ли твой лиризм копоть взаимного недоверия с сердец людей? Смоет ли он ржавчину эгоизма с их душ, очерствелых в бою за право жить?

— Видишь ли,— сказала муза,— я смягчаю и заставляю мечтать о лучшем, чем то, что есть.

— Мечтать — это не значит жить. Нужны подвиги, подвиги! Нужны такие слова, которые бы звучали, как колокол набата, тревожили всё и, сотрясая, толкали вперед. Пусть будет буря чувств и жажда истинной жизни дойдет до бешенства. Пусть будет ясное сознание ошибок и стыд за прошлое. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего — страстным мучением.

— Ты не знаешь, чего хочешь. Буди любовь, вот всё, что нужно,— сказала муза.

— Ах, полюбить — еще не значит помочь! Мало любить и смягчать; нужно ненавидеть и быть твердым. Всё дело в том, чтобы, не забывая себя, помнить о других и, не унижаясь, возвышать.

— Я помогу тебе, я! — сказала третья муза.— Мои слова — как бичи и иглы терновника. Ничто так не двинет людей, как удары. Их нужно бить; от этого у них будет тоньше кожа, тверже мускулы. О поверь, оскорбления они скорее поймут, чем ласки, они так изощряются, оскорбляя самих себя и друг друга!.. Только страх погонит их вперед. Но они, эти люди, имеют проклятую способность привыкать ко всему, и тот, кто любит их, не должен забывать об этом. Да, они умеют привыкать, и если бы некто, имеющий власть, решил сечь их ежедневно, то они вскоре привыкли бы и к этому. И потому нужно быть утонченно и разнообразно злым, злым до возбуждения, до ужаса. Наказывая их сегодня жестоко, завтра уже нужно наказание заменить хотя бы менее жестоким, но непременно иным. Для того, чтоб двигать людьми, нужно превзойти их во всем. И нужно быть холодным, как снег, и равнодушным, как камень, чтоб не миловать их и не тронуться их стонами. А также не нужно позволять им заметить твою любовь к ним, ибо они сочтут ее за слабость и, уверенные в ней, не будут бояться тебя. Нет пощады тому, кто сам не знает пощады! Но можно простить его, когда он раскается.

— Это страшно! — сказал мой поэт.

У него было нежное сердце.

— Это так. Нужно бить рабов — может быть, они озлятся и будут гражданами. Ты знаешь, еще в детстве мир услыхал в первый раз проповедь добра; он слышит ее до сей поры и все-таки остался груб, грязен и глуп, как и в детстве. Он колеблется, он всё колеблется,— и не хуже ли он нынче, чем вчера? Попробуем же еще раз прогнать его сквозь строй огненных упреков и ядовитых уколов совести. Попробуем,— хотя трудно быть более сильным, чем Джонатан Свифт.

Тут муза замолчала, а мой поэт задумался. Он почти понял, чем нужно быть, чтоб решиться поучать людей, и ужаснулся той ответственности пред самим собой, которую налагает эта роль. Он вспомнил, что нет виноватых и нет правых, есть только люди, которым хочется жить... И он всё глубже опускался в бездну сомнений, думая о том, как много нужно иметь, чтоб быть живым и справедливым, и как много нужно дать жизни, чтоб, умирая, иметь право сказать: я был справедлив, несмотря на то, что действовал. И, пока он думал обо всем этом, ему вдруг послышался шёпот, и это шептали слова:

— Мы просим тебя, как честного и чистого, не насилуй нас! Не слагай из нас гимнов идолам и не искажай нами идеалов! Не делай нас двусмысленными, как делают многие из робости, другие из цинизма, третьи потому, что они низки душой. То, чему мы больше всего служим, отвратительно; чувства, которые чаще всего влагают в нас, низки и пошлы, и мы все здесь, утомленные и запачканные грязью жизни, забытые и надутые ложью, просим тебя, вложи в нас что-нибудь новое, чистое, живое, одушеви нас и зажги чем-либо таким, чего бы еще не слыхал мир! Мы стали тупы и холодны; из нас вытеснили смысл, пытаясь вместить в нас больше, чем мы можем принять в себя, и когда одни сделали это с нами — другие потеряли к нам уважение. Нас истязуют, заставляя нас провозглашать низкое — как новое, смешное — как великое, и гадкое — как красивое. Мы — страшное орудие. Нами можно убивать и воскрешать — и нами нужно пользоваться осторожно, даже и тогда, когда ты честен. Нужно знать душу каждого из нас, и тогда только мы

будем во тьме как звезды и факелы. И не злоупотребляй нами, не злоупотребляй нами!..

Мой поэт слышал всё это, и ему казалось, что вот его сердце разорвется от тоски.

Когда же всё умолкло, он долго еще прислушивался к тишине. И ему стало ясно, что, чем бы он ни был, он не будет справедлив, что ответственность пред самим собой за ошибки по отношению к людям не по силам ему, что никакое деяние не пропадает бесследно в жизни,— люди же истомились от ошибок, и что ложное учение или совет рождают несчастие. А несчастий в жизни так много, что вся жизнь стала походить на одно сплошное несчастие.

И тогда он сломал свои перья и сжег бумагу. Я повторяю — он сломал свои перья и сжег бумагу. А потом умер от тоски и отчаяния, полный сознания своего бессилия, полный боли за людей и любви к ним. В сущности же он умер оттого, что был не по-человечески честен и — сын своего века — слаб сердцем.

* * *

Теперь, когда я рассказал всё это, я должен сознаться, что ничего подобного не было.

А если бы было это или что-либо подобное этому, то тогда в жизни было бы меньше необдуманных теорий, незаслуженных упреков, туманных рассуждений и всего того, чего так много теперь, когда каждый думает, что, умея говорить, он может учить и советовать, указывать и упрекать, и, думая так, засоряет жизнь. А жизнь засорена и без его помощи.

В жизни так много учителей, а учащихся мало, учений много, а истина?

Лучше, поборов торопливое и не всегда чистое желание быть учителем, молча умереть, чем увеличить ложь жизни и умножить ошибки людей.

Вот и всё...

III

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ АВТОРОМ. НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

* * *

Только я было избавился от бед,
Как от церкви отлучили на семь лет!
Отлучение, положим, не беда,
Ну, а все-таки обидно, господа!
В лоне церкви много всякого зверья,
Почему же оказался лишним я?

* * *

Не везет тебе, Алеша!
Не везет, хоть тресни!
Не споешь ты, брат, хорошей
Разудалой песни!
[Неудача]

* * *

[Постыдно ныть в мои года,
Я знаю это, да, я знаю!
Веселой юности года
Не велики.
Мне двадцать лет. Мои года,
Мои года я
Мне двадцать лет]

* * *

Не браните вы музу мою,
Я другой и не знал и не знаю,
Не минувшему песнь я слагаю,
А грядущему гимны пою.

В незатейливой песне моей
Я пою о стремлении к свету,
Отнеситесь по-дружески к ней
И ко мне, самоучке-поэту.

Пусть порой моя песнь прозвучит
Тихой грустью, тоскою глубокой;
Может быть, вашу душу смягчит
Стон и ропот души одинокой.

Не встречайте же музу мою
Невнимательно и безучастно;
В этой жизни, больной и несчастной,
Я грядущему гимны пою.

* * *

Я плыву, за мною следом
Грозно пенятся валы.
Путь морской душе неведом,
Даль — закрыта тогой мглы.

Но плыву с глубокой верой,
Что победно из-за туч
Заблестит над далью серой
Солнца радостного луч.

Пусть волна грозит бедою,
Море — гнев свой усмири!
Я отважною душою
Чую проблески зари!

* * *

Звук ее, ласкающий и милый,
Тихих струн души моей коснулся,
И в душе, подавленной, унылой,
Светлый рой надежд моих проснулся.

И мои — не ясные мне — грезы
Под напев той песни сладкозвонной
Расцвели, как царственные розы,
Расцвели, как ландыш благовонный.

* * *

Тому на свете тяжело,
Кто сердце чуткое имеет,
Кто всюду видит ложь и зло,
Но правды высказать не смеет;
Кто в омут бедствий погружен
И неразумною толпою
Невежд лукавых окружен —
Невежд, с их совестью слепою;
Кто в мире одинок живет
И видит — правду презирают
И крику правды не внимают,
Когда он песню запоет.

М. И. Метлиной

Нет! Там бессильна голова,
Где сердце хочет говорить,
Святую речь его в слова
И мудрецу не перелить.

Где сердце хочет говорить,
Молчать там должен робко ум,
Чтоб звуками не исказить
Святых и чистых сердца дум.

Тот, кто бы захотел излить
Словами смысл его идей,
Не человеком должен быть,
А выше, чище и святей.

ЮЗГЛЯР

(РАССКАЗ КИРГИЗЦА)

Ты хочешь знать, кто был Юзгляр?
То батырь был, бедняк.
Безбрежной степи зной и жар
Его учил и согревал,
А пить и есть ему давал
В ночевках наших всяк.

Он летом пас овечий гурт,
А зиму пропадал.
Никто его из наших юрт,
Хотя бы был большой мороз
Иль ветер тучи снега нес,
Зимою не видал.

Являясь раннею весной —
Весь рваный, худ и хил,—
Мычал он что-то нам с тоской
И грустно в лица нам смотрел,
Как будто что сказать хотел,
Но нем он сроду был.

Порою лаской взгляд сиял,
Порой как бы жалел,
Порой же злобою сверкал,
Юзгляр руками потрясал
И так зубами скрежетал,
Как будто сгрызть хотел.

Указывал он в небо нам,—
Смотрели мы туда.
Но всё, что видели мы там —
Одетый голубой кошмой,

Цвет неба с круглою луной
Да ярких звезд стада...

Сердился он, когда все мы
Садились пить кумыс
И средь пахучей в юрте тьмы,
Хваля богов за старину,
Певали песенку одну —
Про счастье-жизнь киргиз.

Никто из них не понимал,
Чего хотел немой,
И часто вон из юрты гнал.
И уходил, рыдая, он,
И снежной вьюгой занесен...

. . . . . .

* * *

1

Живу я на Вере * без веры —
И в го́ре живу на горе!

Тифлис. Август 92.

2

Сентябрь 1892 г.

Живя ощущеньями новыми,
Исполненный новыми силами,
Сие знаменую — лиловыми
Отныне пишу я чернилами!

3

Октябрь т. г.

Мечты оказались вздорными,
А силы — увы! — [очень] хилыми,
И снова поэтому черными —
Как раньше — пишу [я] чернилами.

---

* Вэра — гора, часть Тифлиса.

РАССВЕТ

И. А. Патаркалашвили.
Любительнице экипажей.

...Яркий луч златой денницы
Мне улыбку бросил в очи,
И умчались колесницы
Молчаливо-мрачной ночи.

Или: Нежно лазурь неба
Встречу утру трепетала,
И из туч коляска Феба,
Ослепляя, вылетала.

Иль: Пролетка Аполлона
Тихо в небо выезжала,
И старуха ночь, смущенно
Удаляясь, задрожала.

Или: Утро. В сонной неге
Ночь устало удалялась.
В небе солнце на телеге
Серой тучи показалось.

Но — готов поклясться даже! --
Шея ближнего — издревле
Всех возможных экипажей
И удобней и дешевле!

Вы сказали: «О рассвете
Что ни то мне сочините!»
Вот извольте! Только эти
Рифмы — тоненькие нити.

Ах, они лишь шалость музы —
Музы, мысли коей хмуры,
И... из них не свяжет узы
Для моей Амур фигуры.

* * *

Как странники по большой дороге,
Сквозь сердце мое прошли
В печали, сомненьях, тревоге
Тысячи детей земли.

Не многих с грустью милой
Я в памяти сердца храню
За то, что они дали силу
Сердца моего огню.

А тех, что его топтали,
Желая, чтоб он погас,
Забыл я — как их звали? —
И так же забуду вас.

* * *

Это дивная рамка была!
В небе белая тучка плыла,
Тень ее упадала в ручей,
В нем вились, точно медные змейки
Ленты тонкие лунных лучей,
И акаций листва круг скамейки
Сеть душистую нежно сплела,—
Это дивная рамка была!

Это острая шутка была!
Он сказал: «О, зачем ты зажгла
Мое сердце огнем этой страсти?
Грезы, силу — ты всё погубила!
[Помоги! Ведь в твоей это власти!»
И сказала она: «Я шутила,
Но тебе не желала я зла —
Это острая шутка была!»]

* * *

На страницы вашего альбома
Я смотрел в смущении немом
И затем сказал, что лучше дома
Напишу я вам стихи в альбом.

Вы в глаза мне томно посмотрели,
Но попал мне в сердце этот взор.
И — увы! Вот с лишком две недели
Я не сплю, сударыня, с тех пор.

Чтоб ослабить эту силу взора,
Драхму брома я себе куплю,
Но боюсь, что я издохну скоро
Оттого, что по ночам не сплю.

Ах! Когда в объятья хладной смерти
Я со стоном тихим упаду,
В тот же миг меня подхватят черти
И навеки поместят в аду.

Буду вечно сдавлен я обузой
Совершенных на земле грехов,
Но зато — никто уже нас с музой
Не попросит написать стихов.

* * *

...отважно лжет.
...устроен мир
...не может быть
...<дл>ился этот бой
... хотим мы жить
... это мы с тобой!

Мы — все! Подруга! Вот я пью
За эту жизнь вина стакан
И криком сердца ей пою
Хвалу,— и смел, и горд, и пьян.
Я пьян, но пьян не от вина
Нет, это ей я опьянен

...<п>ьянит она
...я углублен
...<ду>маю о ней
...вне меня
...<д>уше моей
...огня.

Бей! Здесь объявлена богам
За право первенства война.
Кто робко к чьим падет но<гам>,
На то ответят времена!
Пусть ад горит в моей крови
И сердце злобно плачет ей —
Пустое! Все-таки живи
И, если руки могут,— бей!
Бей мрак, сковавший всё кругом

Гром разбиваемых оков
Рокочет в сумраке ночном
И насмерть бьет трусливых сов!

По...
Тве...
Впер<ед>...
Ст...
Д...

<«И ПРОЧЕЕ ТАКОЕ...»>

О, нынче я как стелька пьян,
А завтра буду вдвое!
Кому от этого изъян
И прочее такое?
Один я! Всё, что есть кругом,
Чужое мне, чужое!
Душа ж моя полна вином
И прочее такое...
Душа моя! Искали мы
Друзей, любви, покоя
Средь этой лжи и этой тьмы
И прочее такое.
И не нашли... И ныне пьем!
И впредь пить горько будем
И всё в груди зальем вином,
Что дать хотели людям!
Ха, ха, ха, ха! Душа моя,
Как глупо и курьезно
Всё то, чем раньше думал я
Людей ударить грозно.
Ха, ха! Я им хотел сказать,
Что в нашем мудром веке
Пора учиться понимать
Мир чувства в человеке.
Ха, ха, ха, ха! Прощать пора
И всех любить бесплатно,
Пора познать весь вкус добра.
Ха, ха! Не правда ль, знатно!?
В то время я и позабыл,
Что раньше — в «оно время»
Сам царь небес уже учил

Тому же наше племя,
И что его святой завет
Уж учат в школах деги,
И что прекрасно знает свет
Слова святые эти!
Я посмотрел тогда кругом
И вижу — море злобы,
Повсюду грязь, мы нагло лжем...
Я запил!.. Ну еще бы!
Ха, ха! Еще бы не запить:
Я так был слаб душою
И так желал весь мир любить,
Что, право... трепки стою!
Нигде я не нашел любви
В святом и чистом виде
И зла огонь в своей крови
Зажег в глухой обиде.
Но залил тот огонь вином
Тогда весьма легко я.
Ха, ха! Душа моя — мы пьем
И прочее такое!
Среди уродов обезьян
Мы всё же лучших двое,
Хоть я теперь как стелька пьян
И прочее такое...
В компаньи милой мне души
Я пью вино любое.
Пропью последние гроши
И прочее такое...
И в гроб сойду... А людям дам
Почтенье небольшое,
Сказав: проклятье, черви, вам,
И прочее такое.
Купаясь в лжи, живя в грязи,
Вы стадо есть свиное!
Чума вас, звери, порази
И прочее такое...
Ха, ха! Вновь злобой грудь полна,
Мучение какое!
Эй, дайте мне еще вина!
И прочее такое.

Во мраке таинственной ночи
Проносятся серые совы,
И блещут их круглые очи,
И злы и угрюмо-суровы.
Как гулко их крики несутся!
Смеются они и рыдают.
Проклятья в них дню раздаются,
И ночь они смехом встречают.
Тьме ночи они дико рады,
В ней им так спокойно живется,
Не надо им лучшей награды,
Пусть дольше лишь день не вернется.

О, если бы мрака оковы
С страны моей бедной упали,
Исчезли бы серые совы
И соколы только б летали
И били бы птицу ночную,
Что с радостью день провожает,—
Ту птицу, что землю родную
Во мраке держать продолжает.
Но соколы хилы и слабы,
Сидят они где-то в ущельях
И дремлют, как старые бабы,
Под звуки чужого веселья.

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ И ДУМ, ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ОТСОХЛИ ЛУЧШИЕ КУСКИ МОЕГО СЕРДЦА

Адель!
Почему ты так дурно перетолковываешь всё, что я тебе ни скажу?

(Из немецкого романа)

Вкушая, вкусих мало меда, и се — аз умираю.

Бытие II.

5-е апреля 1893 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ

1868 года, марта 14-го дня, в два часа ночи природа, по свойственной ей любви к злым шуткам и для пополнения общей суммы созданных ею в разное время нелепостей, сделала своей объективной кистью размашистый мазок — и на свет божий явился я.

Сам я этого обстоятельства, несмотря на его важность, не помню, но бабушка говорила мне, что, как только мне был придан надлежаще человеческий вид,— я закричал.

Я хочу думать, что это был крик негодования и протеста.

Первый оттиск в моей памяти.

По узкой, темной улице, между громадных грязно-красных домов, над которыми, вместо неба, растянут полог из старого серого коленкора и сквозь него просачивается вода, падая на землю мелкими холодными каплями,— двигается похоронная процессия. Хоронили моего отца. Я сижу на коленях бабушки, бабушка на пролетке, а пролетка по ступицы колес в грязи, и ее брызги из-под колес разлетаются во все стороны. Я слежу за ними и вспоминаю отца.

Это высокий человек с большими глубокими серыми глазами, звучным мягким голосом, и больше ничего. Впрочем, он меня звал Бутузом, я его папой, на что оба мы, очевидно, имели право, но что ничуть не оригинально и не вызывает во мне решительно никаких чувств.

Вот мы въехали в болото, оно же и кладбище. Гроб отца понесли на руках и поставили на край ямы, до половины наполненной водой, попы — их было два, один большой и так густо заросший волосами, что на лице его видны были только нос, острый и красный, и темные страшные глаза, другой маленький и громко визжавший,— они немного попели, и отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Всё об отце. Мало.

Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл бы извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере).

Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность.

Второй. Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом. Вот вода мимо окон начинает бежать и тише и спокойней, шум наверху удваивается, слышен тяжелый топот ног, и в комнату входит человек весь в синем, в руках его белая фуражка с лентами, а на лице, большом и страшном, красная полоса, перерезывающая ему наискось, слева направо, лоб и щеку.

— Прикажете тащить? — спрашивает он. Я плачу,

ибо не хочу, чтоб кого ни то из нас утащил синий человек, а он подходит к столу и, взяв брата под мышку, уносит его, крестясь. У матери краснеет лицо, бабушка вынимает откуда-то красный платок и тычет его себе в глаза, что-то ревет громко и грозно, затем всё — и сам я — куда-то проваливается.

Маленькая комната на чердаке. Светло, тепло и скучно. Я сижу на стуле, передо мной толстая книга с крупными смешными буквами, против меня рыжее злое лицо деда, я спрашиваю его: что такое «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»? Это не дядя Яков?

— Дурак! — говорит дедушка. Но не объясняет, кто дурак — блажен муж или дядя Яков.

— Болван! — снова говорит дедушка, и у него трясется борода. Болван — это уж я,— значит, и дурак я. Такое умозаключение нисколько меня не обижает, и я, нараспев произнося — «и на пути грешных не ста», ковыряю ногтем капельки воска на страницах книги. Дверь отворяется, и в комнату входит бабушка.

— Отец! — говорит она.— Какой-то иностранный генерал приехал и спрашивает тебя.

— Что-о? — Дедушка медленно приподнимается, смешно уставив глаза на дверь, а в ней стоит высокий человек в треугольной шляпе с золотом, в коротком красном кафтане с красными и громадными пуговицами, в чулках выше колен и в маленьких башмаках с красивыми пряжками. На его лице, грозном и суровом, длинный красный нос, загнутый книзу, с шишкой на самом конце.

— Здравству-уте, в<аше> п<ревосходитель>ство! С-садитесь п... поп...— весь бледный, дрожит дедушка и смешно бегает по комнате. Генерал смеется, бабушка тоже, дед таращит глаза, и я узнаю мою мать. Мне обидно и боязно.

— Мамаша! — кричу я.— Скиньте всё это.

Она еще громче смеется и вдруг угрожающе говорит:

— Теперь, если ты не перестанешь озорничать и плохо учиться,— я отдам тебя в солдаты, и ты будешь заряжать пушки и садиться на них верхом, когда они станут стрелять!

Я их боюсь, этих проклятых пушек; когда они стреляют в лагерях, стекла в окнах дрожат от страха, и мне кажется, что вот выстрелят еще раз и земля треснет, а наш дом провалится. Но все-таки мне обидно, что моя мать, всегда такая строгая и красивая,— теперь так некрасива и смешна, в ней нет уже ничего, что бы пугало меня, и так много такого, что не нравится мне, а больше всего эти пуговицы — я никогда не видал таких гадких и огромных пуговиц.

— Скиньте, мамаша, это нехорошо,— прошу я.

— Дурачок! — смеется она.— Теперь святки, и я нарядилась, а завтра снова буду такая, как всегда.

Но я хочу, чтоб она была сейчас такая, как всегда, и снова, уже сердясь, кричу, чтоб она разделась. Она смеется. Тогда я вскакиваю со стула и, схватив одну пуговицу на ее красном кафтане, отрываю ее, крича, злясь и плача.

— Ах ты, щенок!

Первая затрещина не укрощает меня, но после нескольких я оказываюсь забитым в угол, где и остаюсь один, ибо все уходят, потушив огонь и заперев снаружи дверь. Темно, боязно. Я перестаю плакать и вслушиваюсь, как внизу шумят. Там танцы, музыка, смех. Перед моими глазами плавает что-то громадное, черное и по стенам прыгают золотые искорки, вспыхивая и угасая. Затем я сплю.

Здесь вспоминаю я сон, один из тех ласкающих душу, красивых снов, которые никогда не забываются. Может быть, я сделал бы лучше, если б написал его многоточиями, а не словами, но у меня есть цель — немного странная, немного фантастичная, может быть, недостижимая — проще говоря, сумасшедшим и больным человеком созданная цель. Но пусть это так,— всё дело в том, что эта цель исключает всякое умолчание.

Окошко открыто, и в него из сада непрерывной волной льется в комнату шелест и запах сирени и яблонь. Я лежу в своей постели и стараюсь пересчитать, сколько звезд на том клочке неба, который смотрит в окно. Он мал, но все-таки так густо расшит звездами, что я то и дело сбиваюсь.

— Ты что не спишь? — спрашивает мать. Она сидит около меня и, очень часто вставая, смотрит из окна вниз в сад.

— Я не хочу! — отвечаю я.

— Спи, спи, чего не хочу!— недовольно говорит она.

Но я хочу ее поцеловать, о чем громко и заявляю. Сегодня она мне нравится — и я ее люблю чисто и крепко, без этой боязни и смущения перед ней, двух чувств, всегда присутствующих в большей или меньшей степени среди всего остального, с чем я подхожу к моей матери. Она целует меня рассеянно и повторяет: «Спи! спи!»

Но мне не нравится этот поцелуй, и, помолчав немного, я начинаю петь.

— Спи! — кричит мать.

Я умолкаю. Мне грустно и хочется быть обиженным.

— Спи, говорят тебе!

Я все-таки пою — и добиваюсь своего, меня обижают. Это очень больно и сладко; всхлипывая, я начинаю дремать — чувствую маленький теплый поцелуй матери, улыбаюсь и вижу сон.

В комнате много лунного света, и мне видно из-за полога моей кровати, как кто-то высокий с бледным лицом и большими черными усами и с длинными волосами, упавшими ему на лоб и щеки, целует и ласкает мою мать, одной рукой обняв ее талию, а другой прижав ее голову к своей груди и гладя ей волосы. Мать подняла свое лицо кверху и смотрит ему в глаза. Вся она такая красивая, добрая и нежная теперь, я вижу, что ей хорошо, и очень рад, как потому, что ее никто не любит дома, кроме бабушки, так и потому, что теперь она будет больше любить меня, ибо знает, как это хорошо, когда тебя ласкают.

— Я ждала, ждала тебя,— говорит она тихо, но явучно,— и как человек больше ждала, чем как жен-

щина. Тяжко, невыносимо мне тут,— все ненавидят, кроме матери, и та боится открыто приласкать меня, и я какая-то оброшенная, одинокая,— но я не уступаю им ни на шаг, не хочу, не могу подчиняться... и...

— Полно об этом! Скоро уж конец, скоро. Потерпи еще — а теперь поцелуй меня! — говорит человек с черными усами. Он говорит невыразимо ласково, и глаза у него блестят как-то слишком уж хорошо.

Я тоже хочу, чтоб он приласкал меня,— а потому говорю:

— Мама! Пусть он и меня поцелует, один раз хоть только!

Они оба вздрагивают и делают движение ко мне.

— Ты всё не спишь? — говорит мать.— Как же ты это? Нужно спать, Леня.— И проводит дрожащей рукой по моей голове, улыбаясь мне.

— Я сплю уже давно и вижу сон,— успокаиваю я ее.— А этот человек очень хорош, мама! — уверенно говорю я, глядя на человека, с задумчивой улыбкой разглядывающего меня.

— Да? Я тебе нравлюсь, маленький мальчик? Ах, как я бы хотел познакомиться с тобой поближе! — говорит он и, взяв на руки, целует, раз, два и несет к окну.

— Вы приходите к нам каждую ночь, вот и всё. Ведь вы сон и живете только по ночам?

Они оба с матерью тихо смеются.

— Смотри, ты простудишь его! — говорит мать.

— Нет, ничего. Впрочем, дай мне одеяло! — Меня завертывают в мягкое, теплое одеяло, и я, лежа на руках человека с черными усами, слушаю, как он говорит мне о себе и других, таких же красивых, как он, снах, которые живут там далеко, где небо обнялось с землей.

Поглядываю на него и на мать и впиваю в себя теплые, ласковые звуки сказки вместе с запахом сада и засыпаю или тону в чем-то, или улетаю куда-то.

А поутру, проснувшись, вижу мать, она сидит у моей кровати и покойна, сурова, как всегда. Я лежу и думаю, глядя на нее и вспоминая сон.

— Ну что, проснулся? — спрашивает мать. Я утвердительно и печально киваю головой.— Расскажи мне, что ты видел во сне? — спрашивает она и внимательно, строго смотрит мне в глаза. Я рассказываю.

— Ну вот что, Леня, этот сон не нужно говорить никому другому — ни бабушке, никому! Потому что видеть такие сны грех.

Я спрашиваю, почему грех. Она объясняет длинно и скучно. Я же, ничего не понимая, одеваюсь...

Весь покрытый струпьями оспы, я лежу на кровати и смотрю на свое лицо в зеркало против его. Отвратительная, гнойная маска на нем наводит на меня уныние, и я точно оцепенел. Чтоб я не царапался, мне привязали руки и ноги к койке. Кроме бабушки, никто не ходит ко мне из боязни заразы, и я по целым дням одиноко лежу, подавленный мерзким видом моего лица. Мне было тогда семь лет, и, кажется, я еще не умел думать, но уже чувствовал.

Бабушка не идет, хотя давно пора уж зажечь огонь. Я рисую себе, где теперь бабушка и что она делает.

И вдруг мне кажется, что она лежит за дверью в сенях в одной рубашке с перерезанным горлом, так же, как у курицы, зарезанной однажды нашим дворником Романом. Исполненный ужаса, я вскакиваю, разрываю повязки, прикреплявшие меня к койке, бросаюсь в окно, выбиваю его, лечу вниз и падаю в мягкий сугроб снега.

Лежу хворый,— у меня отнялись ноги, оттого что я пролежал в снегу немножко долго. В комнату ко мне входит бабушка, на руках у нее сверток, и в нем что-то возится и пищит.

— Это что? — спрашиваю я.

— А это бог послал тебе братца,— говорит бабушка и показывает мне из свертка сизо-красного ребенка, сморщенного и смешного.

— Его родила мама?

— Ну, конечно, не дедушка!

Всё это не возбуждает во мне особенного любопытства, и я лежу молча.

Входит дед и, вздыхая, садится ко мне на кровать.

— Ну вот, слава богу, дождались! — говорит он и нехорошо смеется.

— Э, полно, отец, и не этакие сани подламываются! — ласково говорит бабка и, подходя к нему, развертывает ребенка.

— Прочь, старая шкура! Это ты виновата, ты! За дочерью не могла усмотреть! У, ведьма! — Дед рычит, его рыжая борода дрожит и прыгает, лицо делается страшным, и он бьет бабушку, сбивая с нее чепец.

— Отец! Что ты, опомнись! — испуганно отступает она.

— Убью! Вон с глаз моих!

Дед частыми взмахами рук колотит по голове и плечам бабку, она, отступая задом к дверям, беспомощно вертится и старается предохранить ребенка от кулаков деда, он визжит: «Вот тебе! вот тебе!» Я испуган и возмущен и тоже кричу во всё горло. Наконец бабушка вырывается за дверь, а дед, устало вздыхая, прислоняется к печи и отирает со лба трудовой пот.

— Ты чего орешь? Молчать!..— говорит он мне, грозно замахиваясь рукой. Но я ощущаю прилив *ужаса и храбрости вместе* и не молчу.

— Молчать, говорят тебе! — скрипя зубами, склоняется надо мною дед.

— Дурак, дурак, рыжий дурак! — что есть сил ору я ему прямо в лицо.

— Ах ты, разбойник! Да ты весь в отца пошел! — И, стукнув меня кулаком в лоб, дед бежит вон, стоная: «Изверги! мучители!»

Я очень доволен тем, что весь в отца пошел, хотя лоб больно.

...Это была первая драка, уцелевшая в моей памяти, с нее начинается длинный ряд более или менее эффектных побоищ, неукоснительно происходивших по два-три раза в нашей семье. Приходили пьяные дядья, били стекла и физиономии деда и бабки, их тоже били, отправляли в полицию; что делили между собой мои родственники, я не знаю, но сражения, очень пугая меня

сначала,— после зародили и во мне воинственные наклонности, побуждавшие меня вступать в бои и исчезавшие по мере наступления момента активного участия в сражении, заменяясь диким страхом.

Но однажды я не вытерпел.

Вспоминаю этот момент с удовольствием и с него веду историю развития моей самостоятельности и уважения к себе. Раз я гулял в саду и услыхал, как в комнате взвизгнула мать. В момент я был около ее,— она стояла, загородившись столом, с тяжелой пепельницей в руках и говорила стоявшему против ее дяде Михайлу:

— Уйди, Мишка! Ты подлец, уйди, разобью голову!

— Врешь, не уйду, пока не вздую! — шипит враг и, обходя стол, подвигается к ней. Она замахивается, но я в это время прыгаю и, охватив ногу дяди руками, с диким наслаждением и страхом крепко вонзаю зубы в его икру.

Происходит что-то отвратительно-страшное.

Вечером я прихожу в себя весь истолченный и поломанный. Мать, бабушка, дед — все так ласково смеются, и дядя Яков, целуя меня, говорит:

— Герой ты у меня, Бутуз!

Я горд, счастлив, обнимаюсь со всеми, плачу и порю какую-то чепуху, заставляющую всех еще сильнее смеяться, в чем они, конечно, не виноваты, ибо с давних пор люди хвалят и уважают друг друга за то, что достойно наказания. На другой день к вечеру я встал на ноги и уже предлагал двоюродному брату, старше меня, пойти со мной колотить кого ни то из уличных товарищей, и, когда он почему-то отказался от такого приятного предложения, я презрительно сказал ему:

— Ты — трус!

— Знаешь что? — говорит как-то раз мой двоюродный брат, сын дяди Якова,— знаешь что — в погребе много крашеных яиц, пойдем утащим их и продадим, и потом на деньги купим шоколаду и бабок.

Я немножко боюсь, но, подумав, соглашаюсь на операцию. Мы с братом лезем в погреб, набиваем карманы и пазухи яйцами и меняем их соседним мальчиш-

кам на целый ящик бабок. Целый день мы наслаждаемся игрой в них на дворе — на улицу меня редко пускают из боязни вредных для моей нравственности знакомств,— а вечером дед призывает нас к себе и сурово спрашивает:

— А не знаете ли вы, ребятишки, кто это украл яйца из погреба?

— Не мы! — твердо отвечает брат и подтверждает этим ответом справедливость правила: «Поспешай медленно!»

— А я думал — вы,— говорит дедушка,— ан это не вы! — и с многообещающей миной смотрит на меня. Я молчу, мне неловко, стыдно, страшно. Дед, мать, бабушка — все смотрят так строго.

Отсюда я начинаю помнить себя думающим и лгущим.

— Ну что ж ты молчишь, Леня? — спрашивает дед и иронически усмехается.

— Это не я! — смело глядя всем в глаза, отвечаю я.

— Может быть, ты, говори прямо, не скрывай, хуже будет,— с угрожающим спокойствием сообщает дед. Я отрицательно качаю головой.

— Ну, так это твое дело, Александр, сознайся скорей, да и всё тут.

Тот смотрит на меня и, потупив глаза, говорит робко и приниженно:

— Простите!.. Это мы...

— Он врет! Я не трогал! — громко заявляю я и, полный гордости и спокойствия и озлобления на брата, в упор смотрю на него.

— Верно? Как дело было, Саша, говори! — спрашивает моя мать.

Он говорит всё, как было, и это мне кажется подлой изменой с его стороны.

— Он врет, врет, врет! — топаю я ногами.— Я ничего не знаю и не хочу знать!

— А ну, побожись! — предлагает дед. Я никогда не боялся бога, это я хорошо помню. Всё, что мне говорили о нем до этой поры, не вызывало у меня никаких чувств к нему. Мне говорили — на небе живет бог. Не мог я себе представить, чтоб кто-то не боялся жить

так высоко и один. Мне говорили — он управляет жизнью и всеми людьми. Но всеми людьми в нашем доме управлял дедушка, а не бог, а то, что было где-то за пределами нашего дома, не интересовало меня, потому что я и не соприкасался с ним. Мне говорили, что бог родит людей, но я чаще слышал, что это делают женщины. Нужно молиться богу. Я молился. Нужно слушаться его. Я очень боялся деда, но и его мало слушался, а бог? Он может дать всё. Но мне ничего не надо было.

По всем вышесказанным причинам я встал на колени и торжественно отрекся от участия в воровстве яиц.

— Ну, Сашка, и вспорю же я тебя теперь! — сказал дед.— А ты, Леня, иди и поучись.

Я пошел поучиться.

Брат приниженно раздевался, а я смотрел на него, и не то презрение, не то жалость наполняли меня. Мне было холодно от той сосредоточенности и важности, с которыми старшие готовились к экзекуции.

Но все-таки я молчал.

Брата пороли, и он кричал:

— Не буду! не буду!

Кричал он громко, плаксиво, подло, а я дрожал отчего-то и молчал.

— Не будешь? Ага! а зачем ты сразу не сказал, что это ты сделал? — зло и тихо говорит дед, жестоко нахлестывая брата.— А Алексея зачем оговорил? Шельма лживая! Он не был с тобой, сознавайся, не был?

— Ой, не был, не был, не был! — всё громче и жалобней кричал брат.

— Он врет! — стараясь говорить покойней, но весь содрогаясь от волнения, громко сказал я.

— Что? — удивился дед, останавливаясь сечь.

— Он врет — я был с ним вместе и воровал!

Все засмеялись. Они полагали, что я лгу на себя из благородного побуждения спасти брата. Но я очень спокойно доказал им, что я был, и брат злобно подтвердил это. Я был рад, доказав мою вину, и мне было теперь неизмеримо приятно быть виноватым.

— Зачем же ты клялся? — удивленно спросили меня.— Ты лгал? Зачем?

Ну, этого я не мог объяснить им!

— Так! — ответил я. Я, впрочем, мог бы им объяснить, у кого я учился лгать, но об этом меня не спросили они.

— Так? Хорошо! — Тут меня стали пороть *за неуместную ложь*. Я кричал:

— Буду лгать! Буду! Буду! Буду!

Вспороли очень солидно.

Это маленькое событие имело своим последствием то, что очень оттолкнуло меня ото всех и всех — кроме бабушки — от меня. С этого времени на меня стали обращать внимание с исключительной целью наблюсти, не совершаю ли я какой ни то пакостной штуки. Я жил самой шаблонной жизнью ребенка зажиточно-мещанского круга и семи лет: гулял на дворе и в саду, учился читать по часослову и псалтирю и писать на грифельной доске и т. д. Очень не любил ходить в церковь с дедом — он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею.

Часто я чувствовал что-то скучное, холодное и обидное и тогда уходил в сад. Там, за баней, была яма, поросшая бурьяном, я забирался на дно ее, лежал и смотрел в небо. Оно — чем пристальней смотреть в него — становится всё глубже, и это всегда наводило на меня тоскливо-меланхоличное настроение. Жизнь в то время была где-то далеко от меня — звуки ее чуть приносились ко мне на дно ямы, и когда по саду пробегал ветер, то бурьян по краям ямы и на дне ее шумел сухим, унылым звуком. Я лежал и иногда плакал о чем-то, а иногда стискивал зубы и, задерживая дыхание, вслушивался в шелест деревьев сада. Мне нравилась эта отчужденность — в ней есть нечто льстящее самолюбию и подымающее человека выше его собратии. И всегда после двух-трех часов такого уединения мои родные казались мне похуже меня, а нужно сказать, что только редкие, истинно благородные натуры, может быть, неспособны, созерцая ниже их стоящих, ощущать при этом чувства самодовольства. Очень наивно было бы думать, что для души ребенка такое чувство было бы сложно.

Однажды, возвращаясь с прогулки по полю с дядей, я встретил мою мать под руку с высоким молодым человеком. Острая бородка, большие серые глаза, стройная фигура, мягкий, ласковый голос — и все-таки он мне не понравился. Мать строго взглянула на меня и сказала, что давно бы пора идти домой. Ее спутник тоже оглядел меня и что-то спросил у матери. Она засмеялась и покраснела, гневно сверкнув глазами в мое лицо. Придя домой, я встретил какую-то незнакомую даму.

— Он у вас большой! — сказала она.— Здравствуй, милый! — Она говорила, скрипя, как ржавая петля, и так ласково скалила зубы — острые, длинные, белые — точно хотела укусить меня. У нее было зеленое лицо, зеленые глаза, зеленые ленты на шляпе, она была одета в черное платье, это делало ее еще более зеленой, и поэтому я убежал от нее.

Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что скоро у меня будет новый отец. Я не ощущал ни малейшей потребности в отцах, ни новых, ни старых, и поэтому на ее заявление не обратил было внимания, но вечером собралось много гостей, меня представили господину, которого я встретил с матерью, и сказали мне, что это мой новый папа. Новый папа ткнул меня усами в щеку и сказал, что купит мне ящик красок. Это хорошо. Затем подвели меня к зеленой даме и сказали, что это моя новая бабушка. Новая бабушка была не очень нова и имела невероятно длинные и тонкие пальцы на руках. Она запустила мне их ⟨в⟩ волосы и начала спрашивать о чем-то, но мне не хотелось с ней говорить, и я искал глазами мать. Вот она. Она сегодня более красива, чем всегда, и, должно быть, очень добра — у нее так хорошо сверкают глаза. Я подхожу к ней и прошу ее позволить мне завтра идти в лагери с дворником и сложить с меня обязанность выучить длинное стихотворение о пыльной дороге.

Но она толкнула меня в плечо и сказала: «Пошел!» — Это меня удивило: я уже знал, что когда кому ни то хорошо, то он делается добрым, и потому начал просить снова.

— Отстань, говорят тебе! — крикнула она и щелкнула меня в лоб. Мне стало больно.

На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело — и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но покуда я раздумывал, как бы это незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

— А где у нас Алексей? — спросила бабушка.

— Набегался и спит где ни то в углу,— хладнокровно отвечала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что́ именно она скажет, и не могу не помнить.

— Его пора отдать в училище,— сказал дед.— Скоро уж семь годов минет.

— Да, пора! — согласилась мать.— А то он становится таким сорванцом, что не справишься.

— Несуразный парень,— добавил еще дед.— То озорничает так, что хоть десять раз в час пори, то точно сонный ходит целый день.

И затем обо мне забыли, и этого я никогда не забуду, хотя и хотел бы забыть...

Вскоре мать и вотчим уехали в Москву, и я остался с дедом и бабкой. Теперь за мной следила только одна пара глаз, глаза бабушки ничему не мешали, потому что она любила меня и еще потому, что была часто пьяна. Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами. Я тоже очень любил ее, она была всегда так добра и смешна и так хорошо рассказывала мне славные пугавшие меня сказки, начиная их всегда

словами: «И вот, сударь ты мой!..» У нее был большущий, изрытый морщинами нос, красный, когда она была выпивши, и всегда оттягивавший ее голову с густыми черными волосами книзу. И еще у нее были глаза, черные, большие, всегда — даже когда она сердилась на меня — ласковые.

Раз ее, пьяную, стал бить дед, а она упала на пол и лежа ругала его: «Бей, рыжий чёрт, бей! Что ж — бей? Старый демон!» Я спал, но, разбуженный их возней, вскочил с кровати и, всмотревшись, бросил в деда зажженной лампой. Чуть не случился пожар, дед обжег ноги и побил меня. Таких случаев было много, и я всегда играл в них активную роль, вследствие чего бабушка полюбила меня еще более, а дед еще более невзлюбил. О матери за всё время ее отсутствия я, кажется, и не вспоминал. В то время меня постепенно засасывала уличная жизнь и очень много времени отнимало ученье. Теперь мы с дедом читали уже Иоанна Златоуста, кончив псалтирь и часослов. Сколько помню, всё это чтение не оставляло никаких следов ни в душе, ни в голове у меня.

Раз как-то дед хмуро и зло сказал мне:

— Завтра мать приедет. Они погорели там, всё имущество сгорело. Скажи, чтоб она отодрала тебя хорошенько.

Кажется, что я при этом сообщении ощутил в себе только любопытство и боязнь, чем и ограничилось во мне всё сыновнее. Раньше, до ее второго замужества, я слышал от нее кое-что, убившее во мне всякие положительные чувства к ней. Я лежал в саду в своей яме, а она гуляла по дорожке невдалеке от меня с своей подругой, женой одного офицера.

— Мой грех перед богом,— говорила она,— но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим (мой отец) и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его — я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..

Сначала я не понял, потом мне стало грустно и больно, а когда на другой день, проснувшись, я пошел

поздравлять мать с добрым утром, то долго простоял перед ее дверью, прежде чем войти. Идти к ней не хотелось. Войдя же, я не мог посмотреть ей прямо в глаза, ибо чувствовал себя виноватым во лжи перед ней — я не хотел целовать ее руку и целовал, этот поцелуй должен был выражать мое уважение и любовь к ней как к матери, а я хорошо знаю, что тогда — уже не любил ее. Впрочем, едва ли когда я любил ее, а уважал, наверное, потому, что боялся.

Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщины нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия,— отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне].

Приехала мать. Она уж не та красавица, что год назад тому уехала в Москву. У нее бледное лицо и в глазах что-то изумленное и жалкое. Я рад ей почему-то. И она ласково улыбается мне, говоря, что я поздоровел и вырос. Дед говорит, что я упрямый разбойник. Но это неправда, и мы с бабушкой протестуем. Мать снова молча улыбается мне. Вотчим сердит на что-то, он одиноко уселся в углу и не обращает ни на кого внимания. Я некоторое время надеюсь, что для меня что-то привезли, и мои надежды постигает горькая участь большинства людских надежд.

Затем мне рекомендуют убраться вон, я ухожу и слышу из сада сердитый говор, густой, грудной голос матери доминирует над всеми, и шум, такой живой и злой, раздается и на другой день, и на третий и т. д.

А спустя некоторое краткое время вотчим и мать уезжают в Сормово, и я снова остаюсь у деда. Мне хорошо, дед хворает, бабушка пьет, и я целые дни делаю что хочу. У меня не было тогда товарищей — я слишком в то время был неровен и раздражителен, чтоб пользоваться симпатиями. И потом меня почему-то боялись сверстники.

Стоп!

Адель! Ты, которая всегда так дурно перетолковываешь всё, что я тебе ни скажу! Твой длинный нос,

вытянутый тебе авторитетами и предубеждениями, привычками и предрассудками,— твой несчастный нос, рабски нюхающий суждения великих умов— твой жалкий нос, за который тебя так часто водят разные шарлатаны,— этот феноменально тупой нос всегда при суждениях о ближнем чихает громко и резко и почти никогда не чихнет справедливо!

О Адель, Адель! Когда-то в моей чистой любви к тебе не было ни жалости, ни презрения, когда-то я, дурачок, полагал, что ты есть нечто самостоятельное не только в гадком и мелком, но и в прекрасном и великом — и ах, Адель, Адель! как мне было горько, когда я убедился, что ты не делаешь чести прекрасному и великому своим участием в нем.

Но, впрочем, это к делу не относится, Адель,— да, не относится,— я расправлюсь с тобой в другом месте!

Я отступил вот для чего, Адель: тебя, добродетельная моя, наверное, коробит та откровенность, с которой я пишу и которую ты, наверное, уже нарекла не чем иным, как цинизмом,— чем я, в скобках, не огорчаюсь, зная, что ты, моя туподушная, смотря по настроению, называешь наглость — смелостью души и наоборот, искренность — рисовкой и наоборот, храбрость — безрассудством и наоборот и т. д. У тебя, моя милая, терминов нет, и ты бедна умом,— ты, моя дорогая, несамостоятельна, несамостоятельна ты, моя Адель, и пусть святой дух жизни и здравый смысл простят тебе твои грешки, грехи и прегрешения, как я простил тебе их!

Так я говорю, ты, наверно, возмущена моим неуважением к святой тени моей матери,— но, Адель, откровенно и раз навсегда говорю тебе: я поклоняюсь уму,— для него же нет ничего святого, ибо он сам есть святая святых и сам бог!

И важны, Адель, не отцы и матери, важны люди, все люди, то есть ты, моя несчастная рабыня веяний.

БИОГРАФ‹ИЯ›

Она была одета в черное платье, черную бархатную кофточку с белыми меховыми оторочками и на голове имела широкую черную шляпу с множеством лент и белым большим пером.— Вы видите, моя дорогая, что я не игнорирую прекрасное, павшее на мою долю, и что я помню его со всеми мельчайшими подробностями.— Эта маленькая женщина была вашей предтечей, что так очевидно! Она еще тем была хороша, что сейчас же ушла, и таким образом, то, что она дала мне, навсегда осталось чистым и целым. Вы, может быть, усмотрите в этом нечто намекающее и намеренное с моей стороны. Вы ошибетесь. Я вас люблю, и вы это знаете. Но как бы было хорошо, если б люди сеяли из желания оплодотворить почву, а не с целью собрать жатву! — Вот что я хотел сказать и знаю, что это глупо. Разве можно подозревать человека в бескорыстии и надеяться на него?

Следует возвращение в недра семейства моих хозяев.

— Выздоровел? — Вопрос. Гуманно-хозяйственный.— Книжек читать не станешь, небойсь? — Вопрос насмешливо предостерегающий. Этим заканчивается встреча, и снова начинается ряд однообразнейших безобразий, именуемых воспитанием сироты, дальнего родственника.

Я снова читаю книжки, ворую деньги на свечи и, наконец, пойман как раз на месте преступления, с пятиалтынным, только что вытащенным из кармана и крепко сжатым в руке. Следует допрос, строгий и всесторонне уясняющий. Побуждаемый желанием подзадо-

рить судей еще больше, я откровенно сознаюсь во всех грехах, неведомых им доселе, чувствую себя героем и до мельчайших деталей разъясняю, как я ревизовал карманы, умалчивая только о том, что уделял малу толику из наворованного и бабушке.— Получаю предварительную порку и обещание генеральной с двумя пожарными солдатами, как только прибудет дедушка.

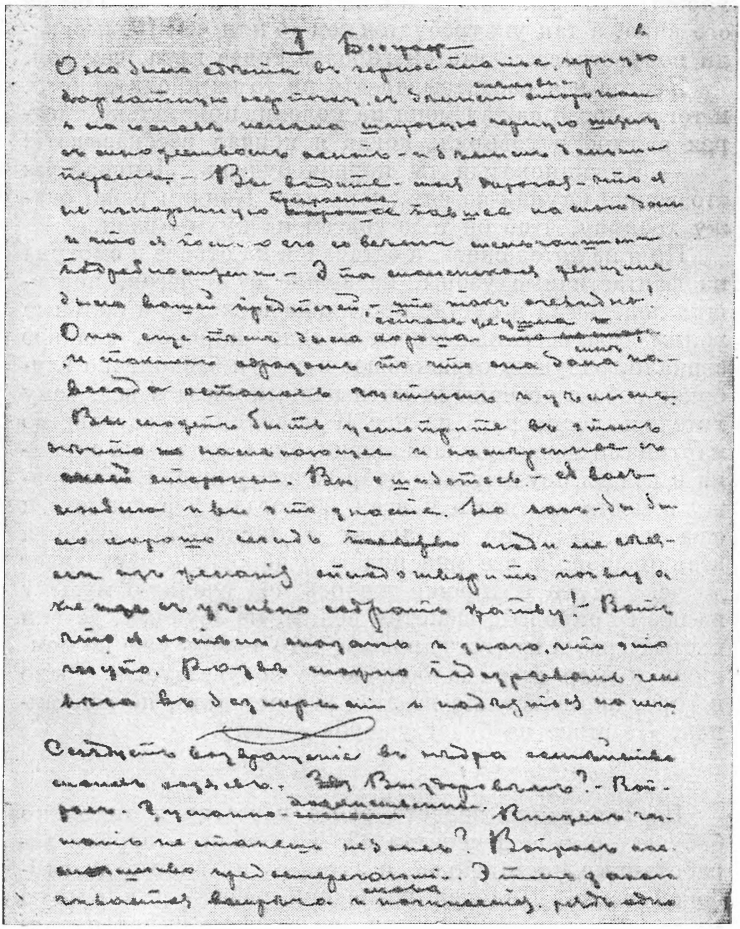
Наступает ночь. Это была славная, манящая на волю весенняя ночь; из окна кухни я смотрел на небо, там всё было прекрасно, чисто и грустно, как всегда весенними ночами, впрочем, но та ночь была первой такой величественно ласковой и много обещавшей. Поэтому я отворил окно, вылез на крышу и, оставив его открытым, слез с крыши на соседний двор, где, я знал, по ночам не запирались ворота, вышел на улицу и направился в поле. Ибо нигде так легко и хорошо не думается, как в поле. Но я не нашел в ту ночь предметов, достойных дум, а просто лег и стал смотреть, как горели и искрились звезды, пока не уснул.

Проснулся оттого, что солнце жгло мне лицо. Подумал, что надо идти к деду,— но вспомнил, что́ он говорил, и, зная его за человека, который не любит словами шутить, раздумал. Ворочаться туда, откуда убежал, даже и не подумал. Встал и пошел. Почему<-то> на набережную зашел и остановился там смотреть, как пароход собирается отплывать. Есть хочется. Идет человек в белой куртке и колпаке — повар,— в руках у него корзина с кучей французских булок. «Дяденька, дайте мне одну!»— «Пошел ты!» — кричит тот. «Стой, погоди, идем со мной!» Этот неожиданный переход пугает меня тем более, что повар идет на пароход, который сейчас уходит. Я вырываю руку. «Иди, дурашка, не бойся — я тебя так накормлю, что весь век сыт будешь». Это он говорит так ласково и ободряюще, что у меня пропадает страх, и я вприпрыжку следую за ним. Мы приходим в кухню, всю из железа. Плита раскалена, как уголь, приятно и вкусно пахнет, и жарко, как в печи. «Ешь и слушай».— Мне дают хлеба и холодных котлет. Я ем и слушаю. «Хочешь быть поваренком?» Так как рот у меня полон, то я говорю головой— да! Через час я весь в поту старательно мою посуду,

шмыгаю носом, утираю его рукавом рубахи, направо и налево плещу водой и всячески развожу вокруг себя грязь — что, взятое всё вместе, значит «быть поваренком»!

Мне понравилась эта бойкая, разнообразная впечатлениями жизнь с постоянной сменой лиц и картин природы. Повара и лакеи, конечно, были грязны и грубы и пошлы, но они любили меня за что-то, и за это, должно быть, я тоже любил их. Рабочий день начинался с шести часов утра и кипел безостановочно до десяти-одиннадцати вечера, а потом я уже был свободен от работы, и тут начиналось нечто непередаваемо хорошее и возвышавшее душу. Убрав кухню, я, иногда один, но большей частью в компании тех же поваров и лакеев, выходил на отвод парохода. Мы приготовляли чай, ставили стол и долго сидели, разговаривая. Говорилось о разных житейских делах и о странных человеческих поступках, вызывавших мины и возгласы недоумения у собеседников. Рассказывались странные, необъяснимые истории и случаи, иногда сказки, и чем позднее становилось, тем более разговор утрачивал грубый, скотский характер и принимал более чистый и человеческий. Это объяснялось тем, что луна всегда так ласково и нежно обливала реку, река задумчиво и увлекающе гудела под колесами парохода и мягким, примиряющим звуком плескалась о берега, а они, эти берега, представляли из себя бесконечный ряд поэм, красивых, не поддающихся описаниям и заставлявших и думать и чувствовать глубже, чище, добрее.

— Грешники все мы! — вздыхал старый гренадер Потап Андреев, старший повар, вглядываясь в плывшие мимо картины, покрытые чистым и ясным небом и залитые голубым серебром луны. Все вздыхали и иллюстрировали это неоспоримое положение, иногда рассказывая что ни то из своей жизни, подтверждавшее его, иногда вспоминая слышанное. И в этих рассказах и в тоне их было столько теплоты, задушевности, хорошего и доброго, учившего меня понимать и любить человека. Эти публичные покаяния с полным отсутствием самолюбия в передаче хода совершения того или другого недоброго поступка давали понять ясно и просто —



«БИОГРАФИЯ» М. ГОРЬКОГО.
Часть первой страницы автографа.

как не дадут пятьсот томов книг,— что человек все-таки хорош, и если он грязен и пошл, то это как будто бы не его вина, а так уж требуется кем-то или чем-то, и давали почувствовать, что он гораздо более глуп, чем зол.

Иногда и я рассказывал что ни то из прочитанного, и тогда Потап сажал меня на колени, пристально смотрел в лицо и говорил, когда я кончал рассказывать:

— Чудашноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно! Ступай-ка спи, пока что! Кончим рейс, скажу хозяину, чтоб он тебя совсем на кухню взял.

Но я не хотел спать, а оставался на отводе и смотрел на фантастичные узоры, падавшие от берегов, поросших деревьями и кустарниками, на ласковые и сильные волны Волги, сливавшиеся в одно широкое, гладкое зеркало, радушно отражавшее в себе и бесконечно глубокое небо с огненными пятнышками звезд и всё, чему хотелось посмотреть на нее. Я наполнял пространство картинами своей будущей жизни, она всегда была скромна и вся из поучительно добрых поступков. Вот я брожу с места на место и всем помогаю, уча грамоте и еще чему-то. Меня все любят и ласкают, везде я всем родной, и все мне родны и дороги, и чёрт знает до чего глупо и хорошо жилось под сладкую музыку из поэм природы с шёпотом волны, из звучных, детски чистых грез и многого другого, чего теперь уже не помнишь и чего никогда больше не почувствуешь. Было и горе, но его можно на этот раз оставить, не вспоминая. Из этого не будет ущерба ничему.

По окончании первого рейса известил я тихонько бабушку о себе и передал ей три рубля — первые заработанные мной деньги, и затем ездил вплоть до глубокой осени. Наконец последний рейс — и я слезаю на берег с чувством грусти, недоумения, куда направить стопы мои и 27 рублей в кармане. Иду к деду. «Ага, явился, бродяга! Здравствуй, здравствуй!» У него было злое лицо, и он, я чувствовал, намерен был побить меня. Но пять или шесть месяцев, проведенные вне его ферулы, сгладили во мне страх пред ним и развили самостоятельность, а 27 рублей дополняли ко все-

му этому чувство независимости. Решив держаться твердо и не позволять над собой насилия, я хладнокровно бросил узелок с вещами в угол на пол, храбро сказал: «Здравствуйте!»— и не менее храбро, вынув из кармана папиросу, стал раскуривать ее.

Это его поразило, и он сел на стул против меня, вытаращив глаза и раскрыв рот. Ура! Я решил продолжать в том же духе и между двумя затяжками спросил его, сколько в месяц он возьмет с меня за хлебы? Я рассчитал верно — его жадность взяла верх над горьким сознанием утраты своего авторитета и власти.

Когда пришла бабушка, мы с ним уже сидели и толково, ласково разговаривали.

Через две недели я поступаю в иконописную мастерскую Салабанова без жалованья — в качестве мальчика. Двадцать три человека горьких пьяниц и славных ребят, писавших лики бога и его святых, размашистых и с полным отсутствием во всех действиях чувства меры, пришлись мне по душе, и я им — тоже. Кончая работу, мы уходили в трактир петь песни и пить вино и до поздней ночи пели и пили.

Через два месяца я взят в лавку, опять как мальчик. Мой начальник, низенький во всех отношениях человек — приказчик С. Ш.— сначала очень внимательно и гуманно относился ко мне, даже записался по моей просьбе и совету членом в библиотеку и вместе со мной читал романы Салиаса, Мордовцева, ⟨Генри⟩ де Трайля — и восхищался моим ⟨пони⟩манием толка в книгах, но, ко⟨гда⟩ однажды я заметил ему, что обворовывать хозяйку — слабую, пьяную старуху,— которая так любит его, нехорошо, он, должно быть, испугался, что я передам ей о его деяниях, и изменил отношения на более официальные и уместные между приказчиком, с одной стороны, и мальчиком, с другой. В сущности, я заметил это не потому, что был убежден в преступности воровства, а потому, что такие деяния не имели ничего общего с благородными поступками господ Атоса, Портоса, Арамиса, короля Генриха IV и иными героями романов, к подражанию которым, по обоюдному нашему соглашению, и должна целиком сводиться всякая человеческая жизнь. После, кажется,

пяти месяцев пребывания в лавке я поссорился с ним и получил от него очень подлую пощечину, данную мне очень трусливо и нерешительно. За это я разбил ему лицо — а за это был изгнан с места.

Очень дружно и тепло расстался с мастерской, где пользовался любовью, и снова поступил на пароход. Снова пять или шесть месяцев вольной, хорошей жизни, хотя и обильной работой, грязной и утомительной. Но я здоров, и работа мне была нипочем, а в конце ее всегда стояло нечто восхитительно хорошее — именно чтение и беседы с матросами и служащими буфета и созерцание красот Волги. Для чтения книги покупались мной на базаре — это были всё славные романы, рисовавшие хорошую любовь и добрые, человеческие подвиги, всегда идеально бескорыстные и самоотверженные. О жизни они не давали ни малейшего представления, но этого от них и не требовалось, потому что все слушатели уже знали ее и без книг прекрасно. И я знал ее больше, чем всякий другой в мои лета. Порой у меня так больно сжималось сердце и мне становилось так тошно и грустно, что эта боль долго ничем не гасилась и по целым дням и ночам посасывала меня. Еще бы, на каждом шагу встречались люди, и в книгах таких не рисовалось, там даже злодеи были чисты и злодейски честны и человечны, а тут и «хорошие люди» были гораздо грубее, пошлее, грязнее и всячески у́же их. Разговаривая о поступке какого ни то героя, человека с душой, чистой, как утренняя росинка,— мои дорогие слушатели весьма нередко обрывали на средине разговор, увлекаясь какой ни то пикантной и сальной подробностью, сыпя иглы остроумия и расплываясь в смачных улыбках по поводу ее или переходя к игре в карты по первому предложению. Пикантные подробности были мне тогда противны почему-то и страшно мучили меня, являясь главной темой разговора, карт я не любил, потому что за ними всегда злятся. И ух как рано бы я потерял веру в хорошее и чистое, если б не надеялся, что за этим миром есть мир Атосов, Портосов, Д'Артаньянов и иже с ними! Да прибавьте к этому природу, бескорыстно теплую и ласковую, заставлявшую идти ближе к людям, но еще не успевшую

научить меня глубже смотреть в их души и потому всегда возвышавшуюся в моих глазах в ущерб человеку. Были, помню, моменты, когда я весь наполнялся странным чувством — хотелось спокойно и холодно обидеть всех, кто перед глазами, обидеть до слез! За что? Я бы не формулировал, наверно. Но это — скоро пропадало, уступая место горячо любопытному настроению, полному желания узнать: почему? зачем? как? «Дошлый мальчишка Ленька этот!» — говорили матросы, когда я одолевал их вопросами. «А на кой тебе ляд знать это? Пшел!» — осаживали меня, когда я слишком далеко высовывался из своего положения. На что мне это, я не знал, конечно,— но что было нужно, это я чувствовал. Меня похваливали и удивлялись мне часто, может быть, чаще, чем я заслуживал этого. Как известно, у людей слабо развито чувство меры, и они, несмотря на свою ограниченность, всегда переступают границы. Я не могу смолчать о том, что похвалы эти не пролетали мимо моих ушей и чтоб сердце мое не обливалось маслом самообожания,— но моменты, когда я нравился себе, были очень кратки, они тотчас же поглощались поступавшими ко мне запросами со стороны и нарождавшимися во мне самом. Я пытался вникать, уяснять, разлагать и чувствовал себя маленьким, бессильным мальчиком, который вскорости имеет быть раздавлен жизнью, если только не поспешит чему ни то научиться и приобрести себе точки опоры. Оглядываясь кругом и заглядывая вперед, я видел, что мне неоткуда ждать помощи, и чувствовал нечто очень горькое и обидное. Сколько есть на свете гимназистов и других ученых, думалось мне, которым совсем не хочется быть такими, а вот <я> и хотел бы, да некогда, не зн<аком> и пр. Дни летели, ночи тихо про<ходили>, я — работал, вечно потный и грязный, и думал, думал, думал. Но это было совершенно бесполезно. Это доводило меня до слез, которые я тщательно скрывал, и рождало унылое, нелюдимое настроение, заставлявшее меня избегать людей. Но я не избегал их и моей репутации веселого и живого парня не портил — смутно чувствуя, что я делаю недурно, переламывая себя. Приходилось очень много лгать и притворяться, очень много. Я смот-

рел во все глаза и ждал помощи. А перед ними вместо этой помощи вскакивали мутные пузыри человеческих отношений, назойливо предлагавшие мне разгадать их до тонкости. Количество их всё увеличивалось и поражало меня своей двуличностью, пошлостью и хитрой простотой или простой хитростью. Я констатировал удивительные явления. Вот он, человек № 1, час тому назад дружески распивши бутылку водки с № 2, говорит № 3, что № 2 мерзавец; № 2 дружелюбно докладывает № 4, что № 1 дурак и не худо бы его облапошить во славу божию и ради науки впредь. № 4 сообщает с предупредительностью № 1 и, получив должное вознаграждение, уговаривается с № 3 относительно общей атаки на тот же № 1. №№ 5, 6, 10, 101 — все только и помышляют, как бы это поблагочестивее объегорить друг друга. Лгут и притворяются и по необходимости, то есть ради успеха в делах, и бескорыстно, науки и техники ради, и в видах бескорыстного служения чистому искусству лганья и притворства, и, наконец, без всякой видимой причины. Конечно, были факты и бескорыстной дружбы, и самопожертвования, и взаимопомощи. Я видел их много, и некоторые из них до сей поры цельны и чисты. Но большинство хорошего оказывалось, по некотором изучении, еще хуже дурного. Им или прямо хвалились, или, совершая его, отправлялись из желания похвалы публики. Хвалясь, смотрели на публику сверху вниз, а публика вслух одобряла, а втихомолку посмеивалась, злилась и всячески показывала свою независимость от благотворного влияния хорошего поступка. Конечно, я всё это скорее понимал, чем чувствовал. И, разумеется, всё это угнетало меня, наводило тоску, иногда я зверел, иногда думал о самоубийстве и, в глубине души надеясь на уяснение, жадно посматривал по сторонам, не идет ли, мол, тот, кто даст мне точки, необходимые для жизни точки опоры.

Навигация кончилась. Я рассчитался и с неделю жил уже у деда, ища работы. В это время мне было особенно скверно. Денег я привез мало, и дед торопил меня слезть с его шеи. Раз, рассердившись на что-то, он прямо посоветовал мне убраться, хотя бы, например, к чёрту. Я задумался и вышел в сени, разделявшие *〈Не закончено.〉*

‹МУДРАЯ РЕДЬКА›

‹...› скромная догадка верна — потому что ей отвечало молчание.

«Да, я здесь одна достойна имени мыслящего существа! Это факт!» — Сударыня! — обратилась она к брюкве, которая росла на соседней грядке. Ваша зелень слишком близко наклонилась к моей — это мне не доставляет особенного удовольствия, и я бы покорно попросила вас подвинуться.

— Уф! — сказала брюква.— Куда это я подвинусь, желала бы знать? Тут тесно, как чёрт знает где, и потом двигаться куда бы то ни было совершенно бесполезно, это одно беспокойство, от которого потеешь, и только. Те же, которые говорят, что нужно плотнее прижаться друг к другу, чтобы...

— Провалиться вам сквозь землю! — рассердилась редька.— Торчите там, куда вас ткнула рука судьбы, и не отравляйте меня вашей болтовней. Нет, как они пошлы все здесь, как они мелки! Нечего сказать, в почтенную и приятную среду я попала! Кажется, действительно я отправлюсь путешествовать, как говорил этот старый хрен, хотя мысль о путешествии приходила мне в голову гораздо раньше, чем я услышала ее от него. И уж если я пойду путешествовать, то пойду не потому, что он видит в этом что-то дельное, а потому, что я хочу пойти. Это еще что такое?

Около плетня, отделявшего фруктовый сад от огорода, стояли козел и коза, и козел нежно блеял своей подруге:

Как персик, так и ананас,
Природой создан не про нас.
Мой друг! не пяль напрасно глаз
На персик и на ананас!

Вот брюква пышно разрослась,
Вот редька — рви ее сейчас,
И ешь, и знай: она про нас
Везде так пышно разрослась.

— Нет, как это вам нравится? — возмутилась редька.— Вот так сюрприз! Они — эта почтенная пара вонючих козлов — полагают, что я росла про них? Это чёрт знает что такое! Это даже и не возмутительно — это нечто такое, что выше самого гнуснейшего воображения. Это квинтэссенция пошлости и грубости! Решено — я ухожу отсюда! Я ухожу! Я существо, одаренное способностью мыслить, чувствующее, что всё существующее есть только дичь и чепуха. Я, которая постигла, что ценность существования под этим утомительно голубым небом равна нулю,— и это я достанусь в пищу козлам? Этим глупым животным, что почесывают друг друга рогами там у плетня? И что поют своими скверными голосами эти нежно каннибальские песни! Нет,— благодарю вас, мадам Судьба,— я не совсем и не всегда ваша покорная слуга. Я ухожу-с!

И она выдернула свой хвостик из земли, завернулась в свои листья, как в плащ, и покатила через отверстие в плетне — в поле, гордая своей решимостью.

«Вот я и свободна! — думала она дорогой.— Да, теперь я вырвалась из удушающего смрада, от дыхания хрена и брюквы и всех моих соседей, из узких рамок огорода,— и при первой возможности, я уверена, вырвусь из-под этой синей старой, туго натянутой простыни, что называется небом, вырвусь из⟨-под⟩ нее и вознесусь в светлую сферу мысли — первой редькой вознесусь я туда. Вот я и свободна, если можно это сказать, чувствуя под собой землю и созерцая ее атрибуты.

«Однако как бесцеремонно жжет меня солнце! Боюсь, что я сделаюсь не толще спаржи, если оно не перестанет так усердствовать. Вот глупая старая сковорода! Давно уже прошла пора, когда тебе следовало бы лопнуть от стыда за всё, содеянное тобой,— а ты всё еще торчишь там и самодовольно ухмыляешься, созерцая установленные тобой порядки и рожденную

благодаря тебе жизнь! Фу, какая бесстыжая рожа! Ну торчи, торчи там,— всё равно придет время, когда слетишь ты оттуда и расшибешь себе физиономию о горы нелепостей, устроенных тобой на земле.

«Но как жарко, а? Хотя, в сущности, это не должно меня касаться, ибо всё это я только ощущаю, критериума же истинности моих ощущений у меня нет, и возможно, что на самом деле мне ни жарко ни холодно, но в то же время, если мне жарко или холодно — я имею полное и законное право в первом случае уйти в тень, а во втором — выйти на солнце! Надеюсь, этого права никто не осмелится у меня оспаривать?»

Она солидно оглянулась, но по дороге навстречу ей бежала только собака, которая, судя по ее толщине, высунутому от жара языку и трубой поднятому хвосту,— не могла быть причастна философии.

Затем редька легла в тень куста бузины, росшего при дороге, и продолжала думать:

«Строго говоря, мое путешествие является такой же нелепостью и ненужностью для меня, как и весь бесконечный ряд действий и явлений на земле, но, с другой стороны, почему бы мне и не путешествовать? Общая сумма моих ощущений пополнится еще рядом ощущений, ожидающих меня впереди, и даст новый материал моей мысли. Бесспорно — мыслить для того, чтобы в конце концов быть протертой и съеденной с квасом... Все-таки она, эта собака, идет ко мне! Пусть она ослепнет, прежде чем дойдет до меня. Все-таки идет! Ну вот она меня и сожрет. И... и это с ее стороны будет глупо и пошло. Тут холодно, в этой тени — как в снегу, и я вся дрожу — от холода. Ох ты, глупая собака! Прощай всё, что я...»

— Ж-жарко! — бурчала собака, садясь рядом с редькой.— Вот так уж жарко! Воды нигде и ни капли! А это что? Редька! Какой чёрт посадил редьку здесь, под бузиной! Вот глупость! А если я откушу немного редьки — это, может быть, утолит жажду, а? Попробуем — редьку!

— Позвольте, сударыня! Минуточку! Прежде всего я считаю моим долгом заявить вам, что ваше почтенное намерение, очевидно, проистекает из полного незна-

комства с моей сущностью. Как редька я — по существу моему горька, бью в нос, усиливаю сердцебиение и никоим образом не могу быть применяема как средство, утоляющее жажду. Засим позвольте вам заметить, что я существо мыслящее и чувствующее, как и вы,— беру на себя смелость думать это,— а раз вы и я, или иначе, мы — ох, да не щелкайте вы так страшно зубами и закройте рот! — а раз я и вы — всё равно, то, сколько мне известно правовое отношение,— то я вправе — жить, не будучи кусаема вами, или, иначе, я не хочу быть укушена, равно как и, позвольте! загрызена без уважительной на это...

Но собака скалила зубы не потому, что хотела грызть редьку, а потому, что она по профессии своей была журнальным критиком, и эта гримаса была такой же ее привычкой, как и крайняя резкость выражений или, иначе и вернее говоря, любовь к ругательствам.

— Вот глупая редька! Тьфу тебе, дура! — изумленно залаяла собака.—Никогда не видала более идиотской редьки! Я пить хочу,— ты понимаешь, я хочу пить! Ты горька и еще что-то там, ну, одним словом, ты никуда негодная штука, потому что у тебя вон корень гнилой и от тебя землей пахнет,— одним словом, ты не годна для меня. И пойди ко всем чертям! А ты пускаешься рассуждать: «Права, права!» Да какое мне дело до чьих-то прав, когда я хочу пить или есть? Жизнь — это борьба за существование. Вот дура редька. Уж кабы не было так жарко, рассказала бы я тебе, как ты глупа,— ты в этом нуждаешься-таки, как я вижу. Ну уж и редька! Тьфу тебе.

И обозленная собака убежала, ворча и огрызаясь.

Редька горько засмеялась.

«Так всё идет на свете. Я ее, эту зверскую собаку, хотела просветить, уяснив ей область правовых отношений, я хотела ей определить ценность личности, а она меня облаяла и ушла. Ни капли понимания моего намерения, ни крошки благодарности мне за него! Конечно, благодарность — это в сущности для меня не более как ерунда,— я выше отношений ко мне со стороны всех этих собак, кошек и тому подобных ошибок природы,— но, с другой стороны, она меня не толь-

ко не сгрызла, а и оплевала, что уже есть оскорбление! И это меня она считает недостойной своего рта и желудка? Ну что можно представить себе более нелепое? И потом она сказала, что у меня загнил хвостик,— положим, она права, но, во-первых, он загнил еще в ту пору, когда я была в земле, а во-вторых,— где в данное время совершенно нормальные редьки? И потому я оскорблена незаслуженно! Вот она жизнь — во всей ее прелести! О смерть,— твои прохладные объятия... но может быть, эта ворона тоже возымеет намерение поклевать меня ради своего удовольствия? О жизнь! Окруженная тысячами ежемгновенных угроз и опасностей со стороны судьбы, предвидеть удары которой не по силам и зоркому оку моего разума,— ты не жизнь, а мучение, страдание, ты сплошное и тягостное — или нет, ты жизнь за неимением более худшего определения, в которое я могла бы влить более презрения и негодования к тебе! А отсюда я уйду, во-первых, потому, что эта тень становится мне неприятна, а во-вторых, потому, что эта ворона совсем не из тех, что с первого взгляда внушают к себе доверие. Я ухожу. Может быть, наступит время, когда на месте моего отдыха будет поставлен столб с надписью: „Здесь, отправившись в путешествие, она отдыхала!“ — или что ни то в этом роде. Но всё это глупости и мелочи — а главный факт, подлежащий исследованию каждого разумного и мыслящего существа, это жизнь во всех ее проявлениях и со всеми неотвратимо присущими ей неудобствами и нелепостями. Ага! Сам Рок, очевидно, увлечен и заинтересован моими спекуляциями в области мысли — и вот еще материал».

Перед ней на дороге валялась дынная корка и около этой корки несколько объевшихся мух. Некоторые из них были еще живы, они ползали в пыли и делали попытки лететь, но крылья не поднимали их больше, и тогда они снова ели — всё равно умрешь же! — так уж лучше умереть с полным желудком. Другие тучей летали в воздухе и оживленно жужжали.

— Вот одна из милых шуток жизни! — рассуждала редька.— Она создала дынную корку и мух, причем последних наделила страстью ко всему сладкому.

Затем она бросила эту корку на дорогу, и вот мухи ели ее и умерли. Спрашивается: какой смысл создавать в одно и то же время корку и мух, для которых существование первой гибельно?

— Зачем создавать одной рукой, для того чтоб разрушать другой? Какая цель? Относясь к данному факту вполне разумно и беспристрастно, я не могу не прийти к заключению, что как он, этот факт, так и бесконечный ряд ему подобных,— нелепы и отвратительны. А засим я считаю себя вправе вывести отсюда заключение: деятельность природы — бесцельна! Зачем создавать меня, редьку, раз я рано или поздно, но необходимо буду съедена с квасом? Ясно — творчество природы есть не более как шелопайничанье.

— Прощайте, бедные мухи, прощайте вы, бесчисленные игрушки в руках судьбы! Я бы могла посоветовать вам не есть эту корку, но разве не всё равно — эта или другая, подобная ей!? Смерть — удел всего живого. Прощайте! Я иду в путь! Я иду снова в мой трудный, грандиозный путь, к великой цели разрешения загадок жизни и всего... Пошла ты прочь, скотина!

Это одна из мух вдруг с чего-то полезла ей в глаза. Она жужжала, летая вокруг редьки, и билась о ее лицо — отлетала ненадолго и потом снова с налета ударялась то в нос, то в щеку редьки и ныла, ныла о чем-то умоляюще-громко и надоедливо-тоскливо.

Кто знает? Может быть, эта жалкая муха, страдая расстройством желудка, принимала редьку за персону, кое-что смыслящую в медицине, и хотела испросить у нее совета. Это весьма вероятно, потому что редька имела очень солидную наружность и выглядела так, что можно было думать: вот кому известны тайны жизни и смерти! Во всяком случае самомнения в этой редьке хватило бы и на двух докторов — не больше, впрочем.

— Пошла ты прочь! — начинала гневаться редька.— Ты — ничтожество! Я говорю — прочь, ты надоела мне. А, ты не хочешь? Хорошо, ты выводишь меня из терпения, и, если тебе это нравится, я тебя щелкну. Я тебя щелкну, мразь! А, ты увернулась, уверрр...

Тут редька, уж окончательно разгневанная, схватила палку, валявшуюся на дороге, и размахивая ей

в воздухе, побежала за мухой, а та, отчаянно жужжа, летела и ловко увертывалась от ударов. Но она пала — конец палки ударил ее и отбросил далеко мертвую.

— Ага! — удовлетворилась редька и пошла далее.

— Вот еще одно доказательство, подтверждающее мою мысль о невозможности уклонения от ударов судьбы и о всеобщности зла. Что сделала я, мирно путешествующая редька, этой мухе, целый час отравлявшей мне существование своей надоедливой песнью о чем-то, до чего мне совершенно нет дела? Ровно ничего! И вот она нарушает равновесие и строй моей внутренней жизни, заставляя меня испытывать чувства, которые не должны быть присущи существу мыслящему. Зачем, по какому праву? Никто и она сама не ответит на этот вопрос! Остается факт: я не могу существовать без того, чтоб моя личность не подвергалась насилию со стороны другого, которому это полезно или просто приятно. Вот к каким выводам приходишь, мысля здраво и ревностно наблюдая жизнь! — О жизнь, жизнь! Да зачем же ты? И еще: раз ничтожная муха может нарушить стройность процесса мышления, несколько минут кряду пища над моим ухом, разумно ли поступила природа, ставя мои психические функции в зависимость от окружающих меня условий?— Ответ ясен. Однако моя логика всё более развивается и крепнет. Прекрасно!

Так она рассуждала и шла далее.

— Вот цветут розы! Прекрасный вид! Их пышные бутоны дышат ароматом, я впиваю его полной грудью, я наслаждалась бы, если б не знала, что их сорвут, они завянут,— они будут прахом, как и всё, что есть. О розы, розы! Когда бы вы обладали способностью мыслить, вы не расцвели бы так пышно. Но я имею право сорвать одну из вас, ибо разве не всё равно, я или другой? Да, я сорву один пышный цветок — будь вы прокляты вместе с вашей гнусной вонью! Вот так боль! О, чёрт побери все розы и дураков, которые подходят к ним близко!

Это ей в живот воткнулся шип, что случилось потому, что она слишком близко подошла к кусту и, желая сорвать цветок, навалилась на этот куст.

— Вот прекрасное! Вот то, что выше всего в жизни, что выше жизни. Вот оно! Я созерцала его, но и в нем нашла подтверждение тому, что жизнь — это ряд миражей, иллюзий и что самое прекрасное в ней есть только ширма, которой прикрыта непременно какая ни то гнусность. Что сделал мой живот этому пошлому кусту? Ничего — и вот в нем торчит проклятый шип, который причиняет мне боль. Собственно говоря, я, конечно, могу заставить эту боль замолчать путем отвлечения моей мысли от нее — но, с другой стороны, для усовершенствования моего интеллекта мне необходимо исследовать и боль, чтобы знать, что она такое в сущности.

— Иду дальше! Мне — насколько мои ощущения истинны — больно не только от проклятого шипа, но также и оттого, что у меня гниет хвост. Он загнил еще тогда, когда я сидела в земле,— значит, в том, что я родилась с гнилым хвостом, виноваты мои почтенные папаша и мамаша. Спрашивается: разве я ответственна за деяния моих родителей? Потом: зачем именно я, а не какая-нибудь другая редька, родилась с загнившим корнем? И еще: зачем нужно, чтоб какая-либо редька родилась с загнившим корнем? На эти вопросы нет ответов, как и на все вопросы, но нелепость тут очевидна для всякого мыслящего существа. И природа напоминает мне одного садовника, который был страшно рассеян и посыпал песком не дорожки — как это было нужно,— а грядки с только что проросшими овощами, поливал из лейки свои сапоги, а не грядки, и однажды посеял клубнику на одной из гряд с горохом: она так же ненормальна, как и он, и совершает такие же нелепости, но с более вредными последствиями, что я и подтверждаю фактом моего существования. Хвост у меня болит, и я дрябну — мне тяжело идти.

— Рассуждая строго, мое путешествие в данном моем состоянии является нелепостью в кубе, тем более, что стремление куда-то вдаль нелепо, ибо каждая точка на земле по отношению к другой будет далью, и поэтому, находясь на данной точке, я уже вдали от всех других.

— Принимая же во внимание, что много имен горо-

дов и земель начинаются с однородной буквы, как, например, Англия, Австралия, Париж, Пекин, Рим и Ромны, едва ли можно полагать, что каждый из них совершенно самобытен, ибо есть признаки, как, например, начальные буквы их имен, указывающие, что меж ними есть нечто общее. И, обращаясь затем к факту, что всё, что помещается на земле, именно на ней помещается и потому необходимо должно соприкасаться друг с другом вследствие тесноты помещения, а соприкасаясь, еще более необходимо перенимать друг у друга формы быта, способы выражений мысли и так далее,— можно смело вывести заключение: всё на земле пошло и глупо, что я предполагала и раньше и в чем меня окончательно убедило предпринятое мною путешествие.

— А засим я могу отправиться домой на грядку и начать писать сочинение, придумать заглавие для которого не будет большим трудом, а для содержания его произведенных мною наблюдений достаточно и даже с избытком.

— Итак, предприятие кончено, и слава — если только мой хвостик не сгниет раньше, чем нужно это мне,— слава близка ко мне. Я уж вижу...

Но, рассуждая, она шла посреди дороги и, прозирая будущее, позабыла оглянуться назад, а сзади ее едет тележка с мусором. Вот она наехала на редьку.

— Позвольте,— вскричала редька,— я мирная.

Но колеса телеги ничего не смыслили в философии и были жестки, они преспокойно раздавили ее и катились, равнодушно поскрипывая, дальше, поднимая за собой с дороги легкие дымки пыли.

Так погибла эта мудрая редька!

Как ты видишь, она была очень несчастна, и я должен тебе сказать, что она ведь все-таки полезна — и не только потому, что разнообразит наше меню, а и потому, что — протертая и приложенная к ногам — вытягивает из головы жар.

Во всяком случае эта редька была не последней в огороде. Вот обстоятельство, которое может в одно и то же время уменьшить и увеличить твое сожаление о ней.

О КОМАРАХ

Над болотом, окруженным могучей стеной старых уродливых деревьев, купавших свои узловатые корни в гнилой влаге его, поросшей причудливой сетью водорослей, мутной и густой влаге, рождавшей под знойными лучами солнца тяжелые испарения,— распевая песни, кружилась стая комаров. Эти песни были несколько странны и совсем не походили на старые комариные песни, знакомые всем. Комары пели:

Мы взлетим до самой высшей точки,
До которой предки не взлетали.
Да! Болота милые нам кочки
Уж теперь для нас теснепьки стали!

— По-о-смотрим! — скептически квакали лягушки:

От солнца родное болото
Закрыли дубы и березы,
И именно вот оттого-то
Смешны комариные грезы.
Все эти грезы — трын-трава,
Ква, ква, ква, ква!

И сети осоки все кочки
Давно уж собой оплели,
Ведь кочки есть высшие точки
Средь нашей почтенной земли!

Комарики! Нужно бы смету
Душевных ресурсов составить,
Пред тем как болото оставить,
Пускаясь к свободе и свету.

Да здравствует наше болото!
А прочее всё — ерунда!
Вот нам не придет уж охота
Лететь в небеса — никогда!
У нас здорова голова — ква, ква!

В этой песне было, по мнению лягушек, целое болото иронии,— комары полагали, что в ней как раз столько же, если не больше, — глупости.

— Дело началось из-за пустяков, собственно. Как-то раз, назад тому с неделю, сквозь чащу деревьев в болото упало несколько солнечных лучей; комары, будучи задеты их сияньем, вообразили, что изменилась их сущность, а лягушки, издревле отличавшиеся мудростью и умевшие проникать в глубь себя, прекрасно всё понимали и, находя, что никоим образом нельзя прыгнуть выше своей головы,— иронизировали — только и всего!

Комары никогда не жили дружно с лягушками, но между ними не было и открытой вражды, ибо для нее комары были слишком мелки, а лягушки склизки и низки.

Ароматы гниения мутно-желтым облаком нависли над ним ⟨болотом⟩ — в этом облаке кружились комары, распевая свои бесконечно унылые мелодии, и в минуты, свободные от непосредственных обязанностей — супругов и членов общества,— почтенные старые лягуны, слушая эти мелодии, храбро совершали поползновения в область эстетики — и были не прочь от потуг по части критики, основанием и исходным пунктом которой служил дух времени — то есть вышеупомянутый аромат гниения. Критика была очень проста: данная песнь в духе времени или нет? — и если оказывалось в духе, то данная песнь и считалась более или менее совершенным образцом поэзии,— а если большинство голосов признавало не в духе, то эта песнь никуда и не годилась. Впрочем ⟨*Не закончено.*⟩

IV

DUBIA.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

‹СТИХИ НА МОГИЛЕ Д. А. ЛАТЫШЕВОЙ›

Как жизнь твоя прошла? О, кто ж ее не знает!?
Суровый произвол, тяжелый, страшный гнет...
Кто в этом омуте не плачет, не страдает,
Кто душу чистою, невинной сбережет?

В мир новый, мир иной,
Где слез не надо проливать,
Где крик души больной
Не станет сердце разрывать
Щемящею тоской.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

Середи мово двора
Стоит горенка нова,
Ново выстроена,
Чисто выскоблена.
В той ли горенке новóй
Стоит столик дубовóй,
Сидит писарь молодой,
Очень грозен сам собой.
Сидит, пишет в два пера,
Да всё царские дела.
Ох, да царские дела.
Они правы завсегда!
Как напишет, так и верь,
Верь, что волк не страшен зверь
И что он не жрет телят.
Это зайцы жрут цыплят.
Верь, когда тебе прикажут,
Что белее снега — сажа
И что ты, мужик, как вошь,
Только кровь господску пьешь!
Староста, староста!
Подь сюда, пожалуйста,
Ой ты, царская собачка,
Рассуди наши дела!
А он, староста, дурак,
Рассудит дело не так.
Тащи старосту в народ,
Будем хворостом пороть!

Баю, баюшки-баю,
Мое дитятко.
Спи, усни,
Мое маленько.
Спи да усни,
На погост гости!
Баю да люли,
Хоть сегодня умри,
А завтра бы дитенку
И похороны.
Положат чурочку
В могилочку,
Под бел камень,
Под сыпуч песок,
Рядом с бабушкой своей
Рядом с родненькой.
Баюшки-баю,
Я те смертушку зову,
Смертыньку зову
Тебе, милостивую!

Ой, да брат сестренку ласкает,
По головоньке гладит.
Задушевно ей бает
Таковые ли речи:
«Эх, сестрица родная,
Ты расти поскорее
На долгие годы
На бабью на долю.
Когда будешь большая,
Отдадут тебя замуж
В семью несогласну,
В деревню чужую.
Мужики там дерутся,
Топорами секутся.
А по утру там дождь, дождь,
И до полночи дождь, дождь.
И дождь будет литься,
И страшное — сниться,
А свекровка — браниться,
А соседи — коситься.
И соседи все злые...»

Эх, да по утренней по заре,
По-над Волгой по-над матушкой,
Над Волгой на горе!
Провожала я милого, дорогого муженька
На далекие, на рыбны, на морские промысла
Провожала я да не рыдала,
Засушила слезы в сердце я своем.
Нежных слов ему не говорила,
Только три подарочка дала.
А и первый мой ему подарок
Был — щепоточка родной земли,
Чтобы помнил милый, где родился,
Где навек связал себя со мной.
А второй-от мой ему подарок —
Тканный красным шелком поясок,
Чтобы помнил, как я обнимала
Богатырску его грудь.
Был и третий мой еще подарок,
Лебедино белоснежное перо,
Чтобы он пустил его на ветер,
Когда будет в море погибать.
Донесет перо мне буен * ветер,
И узнаю — милый мой погиб!

---

* Иногда вместо «буен» поют «низовый».

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

*Архив Г*I—XI — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939; т. II. Пьесы и сценарии. М., Гослитиздат, 1941; т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе, 1951; т. IV. Письма к К. П. Пятницкому, 1954; т. V. Письма к Е. П. Пешковой, 1955; т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957; т. VII. Письма к читателям и И. П. Ладыжникову, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными писателями. М., Изд-во АН СССР, 1960; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., «Наука», 1966.

Воровский — В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., ГИХЛ, 1956.

В С — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

Г и его время — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

Г и революция 1905 г. — М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Г и Короленко — М. Горький и В. Короленко. Сборник материалов. Переписка, статьи, высказывания. М., Гослитиздат, 1957.

Г и Чехов — М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания. М.—Л., 1951.

Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, тт. I—IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1934—1951.

Гр$_{1-2}$ — М. Горький. Собрание сочинений. Ред. и комм. И. А. Груздева, тт. I—XXIII, М.—Л., ГИЗ, 1928—1930; тт. I—XXIII, 1930—1931; тт. I—XXVI, изд. 2, дополненное.

Гржс — М. Горький. Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, Берлин, Москва, изд. З. И. Гржебина, 1921.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения — Горьковские чтения, 1937-1938 — 1964-1965. М., Изд-во АН СССР, 1940—1966.

ДБЗ — Дешевая библиотека товарищества «Знание». СПб., 1906, №№ 1—35.

ДЧ$_{1-2}$ — М. Горький. Очерки и рассказы. СПб., изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, тт. I—II, 1898, т. III, 1899; тт. I—II, изд. 2, СПб., 1899.

ЖЗ — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. X—XII, 1914; тт. XIII, XVII—XX, 1915; тт. XIV—XVII, 1916.

Зн$_{1-10}$ — М. Горький. Рассказы. СПб., изд. товарищества «Знание», тт. I—IV, 1900, т. V, 1901; тт. I—IV, изд. 2, 1901, т. VI («Пьесы»), 1902; т. V, изд. 2, 1903; тт. I—IV, изд. 3, 1901; тт. I—V, изд. 4, 1903; тт. I—VI, изд. 5, 1903; тт. I—V, изд. 6, 1903; тт. I—V, изд. 7, 1903; тт. I—IV, изд. 8, 1903; тт. I—VI, изд. 9, 1903; т. VII («Пьесы»), изд. 1, 1906; т. VIII («Пьесы»), изд. 1, 1908; т. I, изд. 10, 1908; т. II, изд. 10, 1911; т. IX, изд. 1, 1910; т. III, изд. 10, 1912; т. IV, изд. 10, 1910.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

Короленко — В. Г. Короленко. Собрание сочинений в 10 тт., т. X, М., 1956.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV, М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

Лит Насл — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70, М., Изд-во АН СССР, 1963.

Луначарский — А. В. Луначарский. Собрание сочинений в 8 томах. М., ГИХЛ, 1963—1967.

Пиксанов —Н. К. Пиксанов. Горький-поэт. Л., Гослитиздат, 1940.

Пр Зн — текст *Зн*$_{10}$ с авторской правкой для издания *К*, хранящийся в Архиве А. М. Горького.

ПТ — первопечатный текст.

Рев путь Г — Революционный путь Горького. М.—Л., 1933.

Чехов — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20 томах. М., 1944—1951.

В первый том настоящего издания вошли рассказы, очерки, наброски, поэмы, стихотворения, написанные Горьким в ранний период творчества — с 1885 по 1894 г. «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька», «Старуха Изергиль», «Ошибка», «Мой спутник» включались автором в *ДЧ*$_{1-2}$, *Зн*$_{1-10}$, *К*. Во все эти издания, кроме *ДЧ*$_1$, включалась сказка-аллегория «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины». Кроме «Ошибки», каждое из названных произведений вышло отдельным изданием в *ДБЗ*. Поэма «Девушка и Смерть» включалась автором в сборник «Ералаш и другие рассказы» (Пгр., изд. «Парус», 1918) и последующие собрания сочинений. «Старуха Изергиль» и «Мой спутник» вошли в однотомник *Грж*.

Остальные произведения настоящего тома, частью опубликованные при жизни автора, в собрания сочинений и авторизованные сборники Горьким не включались.

Повесть «Горемыка Павел», сказка «О маленькой фее и молодом чабане», рассказы и очерки «На соли», «Месть», «Разговор по душе», «Нищенка», «Исключительный факт», «Сон Коли», «Пробуждение», «Об одном поэте» после первой публикации самим автором не перепечатывались. Возвратившись в 1902 году к сказке «О маленькой фее и молодом чабане», Горький выделил из нее «Легенду о Марко», переработал ее и выпустил позднее в *ДБЗ*. Правился автором рассказ «Об одном поэте». Возвращался писатель и к повести «Горемыка Павел», но правку ее не закончил. При жизни автора, но без его участия было опубликовано стихотворение «Юзгляр».

Двадцать произведений, включенных в настоящий том, при жизни автора не публиковались. Три из них — стихотворения: «Звук ее, ласкающий и милый», ⟨«И прочее такое...»⟩, «Во мраке таинственной ночи...» — печатаются впервые.

В том включены приписываемые Горькому стихотворения ⟨«Стихи на могиле Д. А. Латышевой»⟩, «В мир новый, мир

иной...», а также четыре народных песни, записанных Горьким в начале 1890-х годов.

Основные принципы распределения произведений в настоящем издании изложены в предисловии (см. стр. 5—10). Там же названы основные источники, используемые при подготовке настоящего издания. Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *И. И. Вайнберг* («Макар Чудра», «Дед Архип и Ленька», «Мой спутник», «На соли», «Разговор по душе», «Нищенка», «Исключительный факт», «Убежал»); *Г. Д. Гачечиладзе* (〈«И прочее такое...»〉, «Во мраке таинственной ночи...»); *Л. А. Евстигнеева* («Девушка и Смерть», «Емельян Пиляй», «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины», «Ошибка», «О маленькой фее и молодом чабане», «Сон Коли», «Об одном поэте», «...отважно лжет», «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца», «Биограф〈ия〉», 〈«Мудрая редька»〉); *В. Н. Ланина* («Горемыка Павел»); *В. А. Максимова* («Старуха Изергиль», «Месть»); *Ф. Н. Пицкель* («Пробуждение», «О комарах», «Юзгляр»); *И. А. Ревякина* («Только я было избавился от бед...», «Не везет тебе, Алеша!», «Постыдно пить в мои года...», «Не браните вы музу мою...», «Я плыву, за мною следом...», «Звук ее, ласкающий и милый...», «Тому на свете тяжело...», «Как странники по большой дороге...»; ею же написана вступительная заметка «Стихотворения М. Горького»); *Е. А. Тенишева* («Живу я на Вере...», «Рассвет», «Это дивная рамка была...», «На страницы вашего альбома...»); *В. Ю. Троицкий* («Нет! Там бесспльна голова...», 〈«Стихи на могиле Д. А. Латышевой»〉, «В мир новый, мир иной...», «Фольклорные записи»).

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В редакционно-технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, принимала участие *И. И. Соколова*.

I

МАКАР ЧУДРА

(Стр. 13)

Впервые напечатано в газете «Кавказ» (Тифлис), 1892, № 242, 12 сентября. Подпись: М. Горький.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$, правленный автором для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 13, строка 27: «А тебе что до того» вместо «А тебе что до этого» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 14, строка 15: «морской волны» вместо «степной волны» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 18, строка 4: «Кто это делал» вместо «Кто это сделал» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 18, строка 23: «Поняли мы, кто тот конь» вместо «Поняли мы, кто этот конь» (по тем же источникам).

Стр. 22, строка 14: «смотрел в его старое лицо» вместо «смотрел на его старое лицо» (по тем же источникам).

Стр. 22, строка 19: «силой своей» вместо «своей силой» (по $ДЧ_2$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 25, строка 25: «Вот так» вместо «Вот как» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

«Макар Чудра» — первый напечатанный рассказ Горького. С этим рассказом появился в печати и псевдоним писателя — М. Горький. В своих воспоминаниях друг Горького, старый революционер-народоволец А. М. Калюжный писал: «Псевдоним себе Алексей Максимович придумал сам. Впоследствии он говорил мне: „Не писать же мне в литературе — Пешков“» (*В С*, стр. 88).

«Макар Чудра» написан в 1892 г. в Тифлисе, где Горький работал в мастерских Закавказской железной дороги. В автобиографической заметке 1897 г. Горький сообщал: «В октябре 1892 года жил в Тифлисе, где в газете „Кавказ“ напечатал свой первый очерк „Макар Чудра“. Меня много хвалили за него...» (*Г-30*, т. 23, стр. 271).

Замысел рассказа «Макар Чудра» возник и был осуществлен в Тифлисе. Об этом говорят свидетельства самого автора, а также современников, близко знавших в то время Горького. В 1931 г., в дни празднования десятилетия Советской Грузии, Горький писал:

«Прекрасный праздник, на котором мне хотелось бы присутствовать скромным зрителем и еще раз вспомнить Грузию, какой

видел я ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис — город, где я начал литературную работу.

Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа — именно эти две силы — дали мне толчок, который сделал из бродяги — литератора» (там же, т. 25, стр. 414).

О том, как был написан и напечатан первый горьковский рассказ, подробно вспоминает Калюжный:

«Тему своего первого рассказа „Макар Чудра", написанного в Тифлисе, Горький долго вынашивал. Нечто подобное он однажды рассказывал мне, но произведение получилось богаче, глубже, значительнее.

Я часто твердил ему: „Пишите, пишите, вот так, как рассказываете, и у вас будут тысячи читателей". Это говорилось вообще относительно всех его воспоминаний и наблюдений. Рассказ „Макар Чудра" он написал по своей собственной инициативе. В известной книге И. Груздева „Жизнь и приключения Максима Горького" имеется досадное недоразумение. Автор пишет:

„Калюжный встал, взял его (Горького) за плечи и вывел в другую комнату. Толкнув его туда, он запер за ним дверь.

— Там на столе есть бумага,— сказал он через дверь изумленному Алеше,— запишите то, что мне рассказали. А до тех пор пока не напишете,— не выпущу".

Ничего подобного в жизни не было. Видимо, Горький в шутку рассказал Груздеву всю эту историю. Единственно, что я внушал Горькому,— это уверенность. Человек он был неробкий, но веры в свои силы еще не имел, потому что не накопил серьезного творческого опыта» (*В С*, стр. 87—88).

В памяти Калюжного удержалась и история опубликования рассказа:

«С рассказом „Макар Чудра" Алексей Максимович пошел в редакцию газеты „Кавказ" один. Я только предупредил журналиста Цветницкого, что в лице Пешкова он встретит интересного человека 〈. . .〉 Рукопись пролежала в редакции три дня, требовалось еще разрешение главного редактора Милютина, пользовавшегося доверием генерал-губернатора 〈. . .〉 Да и „Макар Чудра" не подходил для официоза наместника и напечатан был случайно, благодаря Цветницкому 〈. . .〉 Владимир Дмитриевич Цветницкий был человеком пострадавшим в жизни. Готовил себя к профессуре, был очень красноречивым, содержательным, но слабым физически. Про дело свое не рассказывал, но принужден был переехать на Кавказ.

Встретившись с Горьким на улице, уже после того, как рассказ был напечатан, Цветницкий обнял, расцеловал его и сказал: „Пишите"... И при мне потом повторял: „Он может писать, может писать"...» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-9-1).

Об этом же периоде жизни Горького вспоминает и мемуарист Н. М. Кара-Мурза, с которым Горький в свободное время работал

тогда в городской библиотеке. «Однажды в кругу товарищей,— пишет он,— А. М. передал содержание будущего рассказа своего „Макар Чудра", рассказ этот произвел на слушателей сильное впечатление, и Калюжный посоветовал А. М. написать его. Через месяц рассказ был написан и по протекции сотрудника газеты „Кавказ" Цветницкого был напечатан в ней в сентябре 1892 г. впервые за подписью Максима Горького» (там же, МоГ-5-6-1).

Калюжный имел большое влияние на творческую судьбу Горького, о чем свидетельствовал сам художник. В 1900 г. он писал Калюжному: «Мы не видались с Вами почти 9 лет, но я прекрасно помню всё пережитое с Вами и никогда не забывал, что именно Вы *первый* толкнули меня на тот путь, которым я теперь иду» (*Г-30*, т. 28, стр. 122, см. также т. 23, стр. 438). На книге, подаренной Калюжному в 1901 г., он написал: «Сегодня исполнилось 9 лет с той поры, как напечатан был мой первый рассказ. Это получилось благодаря вам, Александр Мефодьевич. Крепко пожимаю Вашу руку, друга и учителя...» (*В С*, стр. 88). А 25 октября 1925 г., по случаю тридцатилетия службы Калюжного на Закавказской железной дороге, Горький вновь писал ему:

«Вы первый, говорю я, заставили меня взглянуть на себя серьезно.

Вашему толчку я обязан тем, что вот уже с лишком тридцать лет честно служу русскому искусству.

Я рад случаю сказать Вам всё это на людях,— пусть знают, как хорошо отнестись к человеку человечески сердечно.

Старый друг, милый учитель мой,— крепко жму Вашу руку» (*Г-30*, т. 29, стр. 447).

После первой публикации «Макара Чудры» Горький неоднократно правил и редактировал рассказ, устраняя диалектизмы, добиваясь сжатости, лаконизма, заботясь о большей ясности и точности языка, освобождая текст от соединительного союза «и», а также от чрезмерного количества вводных слов, междометий и т. п. Первая авторская правка рассказа относится к 1898 году — к периоду подготовки произведений для $ДЧ_1$. Затем рассказ редактировался автором для $ДЧ_2$, $Зн_4$ и *К* (см. варианты).

Первый отклик на рассказ появился в нижегородской газете «Волгарь» (1893, № 254, 26 октября). Одновременно это — первый из известных нам отзывов в печати о писателе Максиме Горьком, представлявший собой примечание редакции к перепечатке рассказа «Макар Чудра». «Автор этого рассказа,— сообщалось в редакционном примечании,— еще начинающий писатель, но, судя по этому рассказу и по рассказу „Емельян Пиляй", напечатанному нынешним летом в „Русских ведомостях", обладает своеобразным поэтическим дарованием. Данный рассказ был напечатан уже в прошлом году в провинциальной газете „Кавказ", но мы считаем нелишним ознакомить с ним и наших читателей, с согласия автора, в виду достоинств рассказа. Прибавим, что автор обещал нам свое сотрудничество».

Перепечатка «Макара Чудры» в «Волгаре» положила начало сотрудничеству Горького в этой газете.

В тот же день, когда Горький прочел о себе первые строки в печати, он писал секретарю (в действительности фактическому редактору) «Волгаря» А. А. Дробыш-Дробышевскому:

«Примите от меня сердечное спасибо за Ваше любезное и радушное письмо и за то внимание, кое Вы уделяете мне.

Я извиняюсь перед Вами в том, что не могу лично явиться поговорить с Вами и поблагодарить Вас. Я непременно сделаю это, когда буду иметь немного более свободного времени» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-30-1).

Сохранились свидетельства о том, как был перепечатан в «Волгаре» рассказ, и о впечатлении, которое он произвел. Так, Ф. В. Смирнов в письме к своему брату П. В. Смирнову от 12 декабря 1893 г. писал: «Обо всех событиях Н. Новгорода ты можешь лучше меня узнать из „Волгаря", который я не читаю, хотя там обещали напечатать мой рассказ (да что-то не печатают). Был там раз напечатан в конце октября рассказ „Макар Чудра" М. Горького. Рассказ превосходный, чёрт побери! Прочти, пожалуйста, если не читал. Автор — мой здешний знакомый, молодой человек, „подающий надежды". Не шутя — талант. Он теперь часто печатается в „Волгаре", но всё это сравнительно с „Чудрой" слабо» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-15-92-1).

Драгоценным свидетельством об отношении публики к «Макару Чудре» является письмо В. Г. Короленко к брату И. Г. Короленко от 25 ноября 1893 г., в котором много говорится о Горьком и его «всем так понравившемся рассказе о цыганах». При этом Короленко сообщает, что сам он «старался немного расхолодить автора указанием на некоторую романтическую искусственность фабулы и вообще пытался внушить ему осторожность» (*Г и Короленко*, стр. 202).

Через пять лет о «Макаре Чудре» заговорили центральные органы прессы и известнейшие критики. Это было связано с выходом двух томов первого издания «Очерков и рассказов» ($ДЧ_1$) в 1898 г.

Н. К. Михайловский в статьях «О г. Максиме Горьком и его героях», «Еще о г. Максиме Горьком и его героях», напечатанных в журнале «Русское богатство», критически отнесся к рассказу писателя, обвинив автора в апологии босячества. Отдавая должное таланту Горького, рассказывающего про своих героев «ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многоразличной „порочности"», критик вместе с тем утверждает в первой из этих статей, что автор допустил фальшь, влагая «в их головы маловероятные мысли, а в их уста — маловероятные речи». «Язык его босяков,— пишет он,— до крайности нехарактерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии» («Русское богатство», 1898, № 9, разд. II, стр. 67). Михайловский видит уязвимость произведений Горького в том, что герои их якобы недостаточно социально детерминированы — «не

столько вышвырнуты» из «общего строя жизни» «какими-нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для них удовлетворяемою бродячей жизнью» (там же, стр. 68). Упрекает он автора и в том, что тот, произвольно считая своих героев-босяков классом, якобы не показал «те новые условия, которыми они действительно порождены, не связал судьбу своих героев с условиями, где «гранит, железо, мостовая, люди — всё дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию» (там же, стр. 73). На этом основании Михайловский отказывает героям Горького в «новизне», считая новой лишь психологию горьковских героев — их крайний индивидуализм.

Эти мысли Михайловский развивал и во второй из названных статей. Наряду с реалистическими рассказами, здесь рассматриваются сказки, легенды, аллегории. В представлении критика, герои «Песни о Соколе», «Макара Чудры», «Старухи Изергиль», «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» — те же босяки; единственное их отличие от заправских босяков состоит в том, что они «совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни,— мира тюрем, кабаков и домов терпимости» («Русское богатство», 1898, № 10, разд. II, стр. 76). «Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра,— заключает Михайловский,— вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они,— преобразованные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч..— в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же „жадность жить"; то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем не легко установить, отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием» (там же, стр. 81).

Вместе с тем Михайловский усматривал в произведениях Горького влияние идей и учения Ницше и — правда, в зародыше — «тонкие и острые иглы декадентства», т. е. погоню за «редким и исключительным», когда «запутывают туманом и извращают вычурностью часто даже вполне известное» (там же, стр. 89).

Таким образом, смелым, сильным и гордым героям критик приписал индивидуализм; в свободолюбии, ценимом ими выше самой жизни, увидел простое «желание господствовать и покорять»; гимн свободному человеку, прозвучавший в героико-романтических произведениях раннего Горького, квалифицировал как ницшеанство, а в исключительности характеров этих гордых и смелых героев усмотрел зачатки декадентства.

Горькому были не безразличны выступления Михайловского. В частности, его очень интересовало мнение читателей и друзей

об этих статьях, особенно о второй (см. *Г-30*, т. 28, стр. 44, письмо С. П. Дороватовскому).

В 1900 г., в связи с выходом первых томов «Рассказов» в издании товарищества «Знание», со статьей «Красивый цинизм» выступил М. О. Меньшиков. Это выступление демонстрирует глубоко враждебное отношение реакционной критики к Горькому, как идейному представителю новых революционных сил.

Так же, как «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Ошибка», «Читатель», «Хан и его сын», «О чёрте», в оценке Меньшикова «Макар Чудра» — «образец талантливой, но насквозь фальшивой работы» («Книжки „Недели“», 1900, № 9, стр. 224): «Вы чувствуете, что Макар Чудра не цыган, а человек, читавший и „Алеко“ Пушкина, „Тараса Бульбу“, и статьи г. Петра Струве и М. И. Туган-Барановского» (там же, стр. 225). Критикуя Горького, Меньшиков находит у него и ницшеанство, и цинизм, и многое другое. «С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист „малярного цеха“ принял евангелие базельского мудреца, и может быть, бессознательно несет его как „новое слово“. Босячество и Ницше — казалось бы — что общего. На деле оказалось всё общее. Через все четыре тома г. Горького проходит нравственное настроение цинизма, столь теперь модное, столь посильное для истеричного нашего времени». Ссылаясь на слова Макара Чудры: «Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают», критик заключает: «Горький тщательно ищет зверя в человеке 〈. . .〉 Если зверь красив, силен, молод, бесстрашен — все симпатии автора на его стороне 〈. . .〉 „Не бойтесь греха“,— вот то громкое слово, которое несет с собою г. Горький» (там же, стр. 232, 233, 242). Заканчивая свои критические заметки, Меньшиков утверждает: «Не „безумство храбрых“ спасает мир, — его спасает *мудрость кротких*» (там же, № 10, стр. 242).

Горький читал статьи Меньшикова. 5 ноября 1900 г. он писал В. Ф. Боцяновскому: «Меньшиков не возбуждает особенного моего внимания к себе, но он — мой враг по сердцу (ибо кротость мудрых — не уважаю), а враги очень хорошо говорят правду» (*Г-30*, т. 28, стр. 139). В том же году Горький упоминал о Меньшикове в письме к А. П. Чехову: «Кстати — как прав Меньшиков, указав в своей статье на то, что я обязан популярностью — большой ее дозой — тому, что в печати появилась моя автобиография. И прав, упрекая меня в романтизме, хотя не прав, говоря, что романтизм почерпнут мной у интеллигенции. Какой у нее романтизм! Чёрт бы ее взял 〈. . .〉 Он — злой, этот Меньшиков. И он напрасно толстовит, не идет это к нему...» (там же, стр. 135).

Совершенно иначе было воспринято раннее творчество Горького вообще и рассказ «Макар Чудра» в частности революционными слоями русского общества того времени. Высокую оценку творчество Горького получило в выступлениях близкого к марксистам Андреевича (Е. А. Соловьева). В обширной статье о Горьком, появившейся на страницах прогрессивного журнала «Жизнь», в котором сотрудничали В. И. Ленин, Г. В. Плеханов

и другие марксисты, Андреевич раскрывает характер «оригинального романтизма» Горького. «В его очерках и рассказах,— говорит он,— вы найдете вещи воистину романтические, например, „Песнь о Соколе“, „Старуха Изергиль“, „Макар Чудра“. Здесь романтическое настроение, чуждое обыденного и презирающее его, вдохновляющееся „безумством храбрых“, страстью „в сто лошадиных сил“, испепеляющей человека...» («Жизнь», 1900, № 4, стр. 331). И далее: «Романтизм романтизму рознь. Кроме романтизма немецкого, как фантастической мечтательности, романтизма французского, английского и русского, есть еще и высший романтизм, когда человек смело и гордо заявляет о праве своего внутреннего мира на безусловную духовную свободу, когда он чувствует, что ему тесно и душно среди всех условий общественности, среди лжи, лицемерия и условностей 〈. . .〉 Его даже очень много и в частности, и в общем настроении, сводящемся в конце концов к тому, что он поет славу „безумству храбрых“» (там же, стр. 333).

Полемизируя с предыдущими критиками, Андреевич «отделяет» Горького от его героев-босяков, якобы являвшихся рупором идей автора. Критик видит также связь горьковских персонажей с жизнью, их породившей, социальную обусловленность их появления: «Они главным образом продукт недоедания, а не пресыщения, и оттого они еще ближе ко всем алчущим и жаждущим. В них есть гнев на жизнь, презрение ко лжи и условностям обыкновенного, т. н. упроченного существования...» («Жизнь», 1900, № 6, стр. 281). Не считая босяков положительными героями Горького и не находя в его произведениях таких героев, изображенных реалистически, Андреевич подходит к пониманию того, что положительные идеалы автора выражаются им в романтической форме. Он пишет: «Не в том суть, насколько босяки Горького расходятся с действительностью или соответствуют ей, а в том, что в их образе мы еще раз можем проследить брожение человеческого духа, его мятежное восстание против условностей и искусственности человеческого существования, его обессиленный неверием порыв к той жизни, которая давала бы ему полноту удовлетворения, его борьбу с мещанскою пошлостью, несмотря на все соблазны, искусно выставляемые ею на пути искания смысла бытия» («Жизнь», 1900, № 8, стр. 228).

Истинную сущность и значение раннего творчества Горького раскрыла марксистская критика. О «необыкновенной — неслыханной для России» популярности Горького писал Н. Осокин в статье с выразительным названием «Буревестник». «На книги Горького,— отмечал он,— набрасываются массы, потому что он дорог им, только что просыпающимся к жизни, он им раскрывает глаза» («Русское обозрение», 1901, вып. 1, стр. 319). Высмеивая попытки идеологов существующего строя нейтрализовать революционный заряд произведений писателя, представить Горького «апостолом человеколюбия» вообще, Осокин заключал: «Позвольте мне выразиться точней и проще: Горький враг буржуазно-пошлого строя, воспеваемого так усердно Боборыкиным; это — вождь „бедных, русских людей, беспокойных и иных“; это — кумир

России подневольной и недовольной, которая не отвыкла еще от *„единения“* с природой» (там же, стр. 320).

В этом же году один из первых выдающихся русских марксистов, автор знаменитой песни «Смело, товарищи, в ногу...» Л. П. Радин (псевдоним — Л. Северов) выступил против попыток искажения творчества Горького народнически-субъективистской критикой. Анализируя объективное содержание произведений писателя, Радин раскрывает их значение для «пропаганды идей марксизма». «Марксист или не марксист г. Горький, мы всё равно признали бы его крупным художником, как признаём крупными художниками Г. И. Успенского и В. Г. Короленко, лишь бы они давали нам яркие и жизненные литературные типы. Такие типы будут всегда ценным приобретением для марксизма, как и для всякого объективного литературного направления, которое хочет видеть жизнь такою, какова она есть на самом деле, а не такою, какою она кажется через розовые очки субъективизма» («Научное обозрение» 1901, № 12, стр. 49).

Глубокий марксистский анализ ранних произведений Горького дал В. В. Воровский. В статье «О М. Горьком» [1], отметив, что герои Горького и их психология являются отражением «общественно-экономического положения современного человека», он писал: «Изучив своих героев в жизни, по непосредственному личному знакомству, г. Горький подметил печальный для нашего общества факт, что за грубой оболочкой „волчьей“ морали, или, вернее, практики жизни, в них кроются нередко такие жемчужины нравственных качеств, к которым тщетно апеллируют современные писатели и мыслители. Та сила личности, хотя бы на практике и дурно направленная, та вечная неудовлетворенность серой посредственностью, ненасытная жажда чего-то лучшего, сосущая тоска по необыденному, по „безумству храбрых“,— все эти симптомы протеста против установившегося склада общественных отношений — разве это не есть живое воплощение тех идеальных порывов, к которым тянутся лучшие силы современного общества, которых они не находят в своей среде?» (*Воровский*, стр. 65—66). Воровский отмечает, что хотя Горький не нашел и не изобразил в своих рассказах такой «общественной силы, которая могла бы воплотить излюбленные им нравственные качества», он сумел увидеть, как «из пор общества медленно, но неуклонно выделяются элементы со своеобразной психологией, с недовольством сущим, с тоской по будущему и с культом силы, необходимой для этого будущего», и изобразить такие личности в своих рассказах (там же, стр. 67).

Вслед за Радиным Воровский отверг тенденцию отождествления автора с его героями: «Отношение автора к босякам, как живым личностям, не оставляет ни малейшего сомнения, и нужно удивляться только беззастенчивости некоторых господ, припи-

---

[1] Эта статья была полемически заострена против работы Евг. Ляцкого «М. Горький и его рассказы», появившейся в ноябрьской книге «Вестника Европы» за 1901 г.

сывающих ему не только взгляды и мораль, но и поступки бродяг и воров»,— пишет Воровский, ссылаясь при этом на протест самого Горького (там же, стр. 66) [2].

В другой своей статье (1910) Воровский отмечал, что Горький уже в раннем творчестве объективно отразил начало пролетарского движения, своими героическими романтическими образами пробуждал «те смелые, сильные, свободные чувства и мысли, которые неизбежно сопутствуют всякому революционному перевороту, без которых психологически немыслима сама революция» (там же, стр. 257—258).

«Талантливым выразителем протестующей массы» назвала Горького ленинская «Искра» в 1902 г. («Искра», 1902, № 19, 1 апреля). А. В. Луначарский оценивал раннее творчество Горького как выражение зреющей в жизни и надвигающейся революционной бури (см. *Луначарский*, т. 2, стр. 133).

Первый рассказ Горького долгие годы продолжает свою жизнь также в театре, на эстраде и особенно в музыке.

Сюжет «Макара Чудры» лег в основу многих музыкальных пьес. В 1910 г. к писателю обратился Я. Н. Уралов, задумавший обработать в музыке рассказы Горького. В ответ Горький, попросив прислать либретто, писал: «...может быть, я сумею быть полезным для Вас некоторыми указаниями, ибо мне уже приходилось просматривать либретто на темы своих рассказов — Изергиль, Чудра — и как либреттисты, так и музыканты нашли мои поправки весьма существенными» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-46-51).

На сюжет «Макара Чудры» написал оперу «Радда» итальянский композитор Бианчини. Опера была принята к постановке муниципальным театром в Ницце в 1912 г. Запрашивая разрешение Горького на постановку этой оперы, Л. Бернштейн писал, что это лучшая среди нескольких итальянских опер, созданных на сюжет «Макара Чудры» (там же, КГ-ин-ф-1-20-1).

---

[2] 22 ноября 1901 г. в «С.-Петербургских ведомостях» было опубликовано «Письмо М. Горького» в редакцию газеты. Ссылаясь на вышедшую без его ведома книгу «М. Горький. Афоризмы и парадоксы», писатель протестовал против того, что составитель книги приписал ему взгляды и мнения его героев. Подобные тенденции вызывали резкие возражения у Горького и впоследствии. В 1926 г. психиатр И. Б. Галант, работая над книгой о Горьком, написал ему: «Итак, я утверждаю, что Ваш рассказ „Макар Чудра" не есть случайное явление, а тесно связан с Вашим покушением на самоубийство в 1888 г. Вы против этого не возражаете и даже соглашаетесь (поскольку я могу судить по Вашему письму), что Макар Чудра идейно является юношей Пешковым 1888 г.» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-4-2-6). Горький, скептически относившийся к своеобразным исследованиям Галанта, вынужден был дать ему резкую отповедь: «„Макар Чудра" — живой человек, встреченный мною в 92 г. в Аккерманском уезде. Какое у Вас основание полагать, что он „идейно" я?» (там же, ПГ-рл-10-3-8).

Тема рассказа нашла новое музыкальное воплощение в советские годы. По мотивам «Макара Чудры» написан балет Б. В. Асафьева «Красавица Радда». Среди музыкальных произведений следует также назвать симфонические поэмы З. А. Левиной, А. П. Петрова («Радда и Лойко»), югославского композитора П. Коньевича («Макар Чудра»).

С т р. 14. *Галичина* — историческое название части земель Южной Польши и Западной Украины. Захваченная Австрией в 1772 году, Галичина была названа Галицией.

С т р. 16. ... *солдат, что с Кошутом воевал вместе...* — Лайош Кошут (1820—1849) — венгерский политический деятель, организатор борьбы венгерского народа против австрийского господства во время революции 1848—1849 годов в Венгрии.

С т р. 16. *Морава* (Моравия) — область в центральной части Чехословакии.

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

(Стр. 27)

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь», 1917, № 82, 23 июля.

В Архиве А. М. Горького хранится текст сборника «Ералаш и другие рассказы» с авторской правкой для *К*. В тексте исправлен чернилами подзаголовок: вместо «Румынская сказка» — «Сказка» (ХПГ-12-5-1).

Печатается по тексту *К*.

Сказка написана в 1892 г. (не позднее 21 сентября) в Тифлисе (*ЛЖТ*$_1$, стр. 87). Вслед за рассказом «Макар Чудра» Горький отнес ее в редакцию газеты «Кавказ», но сказка не была принята по цензурным соображениям (*В С*, стр. 88).

В 1893 г. Горький пытался опубликовать сказку в газете «Волжский вестник», но ее издатель Н. В. Рейнгардт отверг произведение как нецензурное (см. примеч. к рассказу «О Чиже, который лгал...», а также воспоминания Н. Г. Шебуева «Казанские и нижегородские встречи» — в журнале «30 дней», 1936, № 8, стр. 77). После этого в течение многих лет автор не возвращался к сказке. Уже в годы советской власти он сообщил в письме И. А. Груздеву: «„Девушка и Смерть“ написана в Тифлисе, значит в 92 г. ⟨...⟩ Напечата⟨на⟩ „Д⟨евушка⟩ и С⟨мерть⟩“ в 15 или 16 г., кажется, в книжке „Ералаш“, и с намерением услышать: что скажут? Никто ничего не сказал» (*Архив Г*XI, стр. 170).

Перепечатывая сказку в сборнике «Ералаш...» и в издании *К*, Горький почти не правил текста, хотя вообще сурово относился к своим стихотворным произведениям. «Девушку и Смерть» он часто читал в кругу друзей и знакомых. Об одном из таких чтений рассказывается в воспоминаниях Л. П. Пасынкова:

«Читал, иногда смущаясь, и тогда торопил слово. Закончил первую главку, склонил набок голову.

— Что? Вот видите,— стихи! Хватит?

— Еще!

„Чтец" разогрелся. Он, правда, и теперь страшится актерской выразительности: выразительность его совсем иная, невозможная ни для Качалова, ни для Станиславского; выразительность личная в отношении к вещи, сопровождающей его долгие годы. И притом какое-то снисхождение в тоне, трудно определить к кому, к чему. То ли к самой сказке — поэме, то ли к самому себе, молодому сочинителю, или к себе, старому чтецу, с больными легкими и расширенным сердцем; то ли снисхождение к смерти с большой или маленькой буквы.

Дочитал до конца, лицо побледнело. Мягко закрыл книгу, оставил в ней закладкой палец и не снял очков, точно отдаляя минуту, когда слушающие заговорят.

— Ну-те,— произносит он, отложив книгу и снимая обеими руками очки.— Ругайте!» (Л. П а с ы н к о в. Из встреч с Горьким. «Знамя», 1955, № 3, стр. 156).

Сказка «Девушка и Смерть» полемически направлена против реакционных мистических теорий в искусстве, в частности против эстетизации смерти, получившей широкое распространение в литературе 80-х — начала 90-х годов. Прославлению смерти, особенно характерному для поэзии декаданса, Горький противопоставил воинствующее утверждение жизни. В его сказке доминирует не пафос примирения, а пафос борьбы, причем любовь и даже смерть у Горького в конечном итоге служат прославлению жизни. Сила любви противостоит не только смерти, но и социальному гнету. Поведение девушки в столкновении с царем, а затем со смертью — это своего рода «безумство храбрых».

В произведении оригинально используются и интерпретируются элементы народной сказки про царей. Фантастика материалистична, образы близки к народным. Образ бога воскрешает традиции русской иконописи и апокрифа.

Впервые напечатанная накануне Октябрьской революции, сказка «Девушка и Смерть» прошла незамеченной и не вызвала никаких отзывов критики. Известно лишь одно письмо писателю Андрея Чагина (от 8 августа 1917 г.). Чагин благодарит автора за «Девушку и Смерть» и сообщает, что она подала ему мысль написать стихотворение о праве человека на жизнь (Архив А. М. Горького, КГ-рл-28-110-1).

В 1921 г. к сказке «Девушка и Смерть» обратился композитор А. Вендрик. Он писал Горькому: «Я остановился на Вашей сказке „Девушка и Смерть", но в том виде, в каком она напечатана в „Новой жизни", она представляет некоторые неудобства для звукового воплощения. Разумеется, я далек от мысли сделать из нее оперу или вообще какое-либо сценическое произведение. Я мыслю ее исключительно в плоскости симфонического исполнения...» (там же, КГ-дн-2-11-1).

В 1930-х годах «Девушка и Смерть» оказалась в центре внимания многих литературоведов благодаря отзыву о ней И. В. Сталина.

На материале сказки создана оратория Германа Галынина, насыщенная мелодиями русских народных песен (см. сб. «Советская музыка. Статьи и материалы», вып. 1, М., 1956, стр. 172—173).

ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ

(Стр. 34)

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1893, № 213, 5 августа.

В Архиве А. М. Горького хранится печатный текст $Зн_{10}$, правленный автором для $К$ (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту $К$ с исправлениями:

Стр. 44, строка 14: «больше всё» вместо «больше всего» (по $ПТ$, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 45, строка 34: «Емельян Павлыч» вместо «Емельян Никитич» (по $Гр_{1-2}$ и стр. 36 рассказа).

«Емельян Пиляй» написан в Нижнем Новгороде в 1892—93 годах. Это — первое произведение Горького, появившееся в центральной прессе. В июле 1893 г. друг Горького студент Н. З. Васильев, без ведома автора, передал рукопись «Емельяна Пиляя» в редакцию газеты «Русские ведомости» (*Архив Г*XI, стр. 365). Либерально-народнической редакцией рассказ был истолкован в пользу идеи о «сотрудничестве классов» и поэтому очень быстро напечатан.

При последующих перепечатках рассказа автор неоднократно редактировал его, добиваясь художественного совершенства (см. варианты). Готовя первое и второе издания $ДЧ$, автор внес несколько смысловых поправок, в частности выбросил резкий выпад Емельяна Пиляя против крестьян: «Я бы вам, дворяне от сохи, показал, как мы, мещане-голоштанники, почитаем вас!» На всех последующих стадиях работы, наряду со значительной стилистической правкой, Горький вносил ряд смысловых изменений в речи Емельяна Пиляя о мужике, тщательно редактируя те места в рассказе, где главный герой выражает свое отношение к крестьянину.

В Архиве А. М. Горького хранится доклад цензора А. А. Елагина и цензурный экземпляр книги $ДЧ_2$, т. II (приложение к делу СПб. цензурного комитета, № 180, 1899 г.). В нескольких местах текст рассказа «Емельян Пиляй» цензор отчеркнул черным карандашом на полях; правки и цензорских исключений в рассказе нет (ЦД-40859, ХПГ-42-30-1). Неудовольствие цензора вызвали, главным образом, рассуждения Емельяна Пиляя о нищете, о праве «сильного» и безвыходности положения бедняков.

Рассказ «Емельян Пиляй» вызвал разноречивые отклики писателей и критиков. По свидетельству Д. П. Маковицкого, Л. Н. Толстой указал на отсутствие цельности в рассказе: «Середину рассказа, где действие происходит в степи, среди чабанов,

Лев Николаевич похвалил: „Как художественно, хорошо". А про дальнейшее, как Емельян поджидал под мостом купца, чтобы его ограбить, и встретил девушку, которая пришла топиться, Лев Николаевич сказал: „Фальшиво"» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, 1891—1910. М., 1960, стр. 550—551). В одном из писем Горькому А. П. Чехов тоже сообщал о недовольстве Толстого тем, что в рассказе «попадаются 〈. . .〉 психологические выдумки...» (*Г и Чехов*, стр. 37).

«Емельян Пиляй», наряду с рассказом «Макар Чудра», послужил поводом для первой печатной оценки произведений Горького, появившейся в нижегородской газете «Волгарь» (см. выше, стр. 505).

После выхода в свет $ДЧ_{1-2}$ сочувствующий легальному марксизму критик А. И. Богданович причислил Емельяна Пиляя к тем героям Горького, которые увлечены свободой, «бредут туда, куда влечет их свободное сердце». Среди них Богданович назвал первыми Емельяна Пиляя, Мальву и Макара Чудру. «И самый тип босяка, с различных сторон вырисовывающийся в рассказах г. Горького,— писал он,— тоже искатель приволья, вечного движения, жизни, свободной от разных условностей и тягости, стесняющих проявление воли, что придает этому типу жизнерадостный и бодрый характер, несмотря на удручающие условия его жизни» («Мир божий», 1898, № 7, отд. II, стр. 12).

В том же плане рассматривал рассказ представитель либерально-академической критики Ф. Д. Батюшков. Образ Емельяна служил для него подтверждением мысли, что «босяк от времени до времени способен проявлять добрые чувства и даже почти геройское великодушие» («Космополис», 1898, т. XII, № 11, стр. 105).

О ненависти Пиляя к мужику писал В. А. Поссе, уверяя, что тоска Емельяна «более походит на злобу „бывших людей", чем на грусть Коновалова» («Образование», 1898, № 11, стр. 53).

«Емельян Пиляй,— уверял М. О. Меньшиков в статье „Красивый цинизм",— только теоретик насилия, спасовавший, когда дело дошло до убийства, и презирающий себя за это. Следующий герой — Челкаш — не размышляет, а злодействует без тени колебаний и держит себя необыкновенно гордо» («Книжки „Недели"», 1900, № 9, стр. 232).

Критик-марксист В. В. Воровский выступил против обвинения Горького в ницшеанстве и анархизме, назвав писателя «гуманистом до мозга костей». «С какой любовью,— писал Воровский,— отмечает он благородные, гуманные черты у своих отверженных. Возьмите, например, его отношение к Емельяну Пиляю» (*Воровский*, стр. 259). Раскрывая общий смысл «босяцких рассказов» Горького, Воровский заметил: «Видно, что-то неладное творится в самом обществе, если жемчужину его нравственного уклада надо искать на задворках, в навозных кучах. И наш автор выкопал такую жемчужину и показал ее обществу» (там же, стр. 66).

Перекликаясь с Воровским, А. В. Луначарский писал: «Босяк под влиянием реалистического электролиза Горького

распался на две составные части: на человека-зверя и на мягкого мечтателя» (*Луначарский*, т. 2, стр. 149).

Рассказ «Емельян Пиляй» волновал воображение молодежи, пытавшейся подражать его вольнолюбивому герою. Так, П. Х. Максимов вспоминал о своих настроениях в 1910 году, когда он работал грузчиком в Ростове: «Уйти бы и мне от этой постылой жизни, чтоб степной ветер дул навстречу и выдувал из души всяческую пыль, как говорит об этом горьковский Емельян Пиляй» (*В С*, стр. 310).

Сохранилось свидетельство С. Я. Маршака о том, как была воспринята первая книжка рассказов Горького:

«Рассказы эти читались нами вслух в каморках и на чердаках, где собирались мои сверстники 〈. . .〉 „Емельян Пиляй", „Макар Чудра", „Старуха Изергиль" — эти причудливые имена звучали для нас, как музыка.

Горький как бы открыл нам или напомнил, что есть где-то не за морями-океанами, а у нас в России 〈. . .〉 гордые, самобытные, вольнолюбивые люди» (там же, стр. 411).

С т р. 34. *Солона эта проклятущая работа...*— См. рассказ Горького «На соли», написанный в тот же период, что и «Емельян Пиляй».

С т р. 38. *Кишеня* — здесь: мешочек, кошелек.

О ЧИЖЕ, КОТОРЫЙ ЛГАЛ, И О ДЯТЛЕ — ЛЮБИТЕЛЕ ИСТИНЫ

(Стр. 46)

Впервые, с подзаголовком «История, к сожалению, правдивая», напечатано в газете «Волжский вестник» (Казань), 1893, № 226, 4 сентября.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Текст второго тома $ДЧ_1$ с авторской правкой (ХПГ-41-11-1) для $ДЧ_2$, куда рассказ не вошел (правка осталась не использованной и не учитывалась автором в дальнейшей работе над рассказом); 2. Текст рассказа из $Зн_{10}$ с небольшой авторской правкой чернилами для *К* (ХПГ-44-11-1).

Печатается по тексту *К* с восстановлением цензурных изъятий.

Рассказ написан, по-видимому, в конце 1892 г.: этим годом его датировал в первом издании «Знания» автор. 7 декабря 1926 г. Горький писал И. А. Груздеву: «Не помню, что я делал между „Макаром" и „Пиляем". Вероятно, за эти восемь месяцев написано „О Чиже", „Редька", „Месть"» (*Архив ГXI*, стр. 98).

Вместе с другими произведениями («Месть», «Разговор по душе», «Об одном поэте», «Мудрая редька», «Луна, поэт, собака и читатель», «Девушка и Смерть») Горький отправил рукопись рассказа «О Чиже...» в «Волжский вестник».

«Не имея работы,— вспоминал он позднее в очерке „В. Г. Короленко",— я написал несколько маленьких рассказов и послал их в „Волжский вестник" Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г. ⟨Короленко⟩.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г-ий, их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Лапина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу» (*1-30*, т. 15, стр. 32).

Узнав от Н. В. Рейнгардта, что автором рассказов является М. Горький, Короленко при встрече в 1893 г. сказал ему: «А мы только что читали ваш рассказ „О Чиже" — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, всё аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество» (там же, стр. 32—33).

В произведении улавливаются автобиографические мотивы. Впоследствии Горький признался, что в образе Чижа косвенно отразились его мысли о социальном переустройстве жизни и чувство отчаяния от сознания собственного бессилия. В очерке «Время Короленко» он писал: «...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-„радикалов", среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов» (там же, стр. 17).

Живя в Тифлисе, Горький познакомился с философией Ницше, с работами «Граф Джиакомо Леопарди» Вл. Штейна, «Пессимизм» Дж. Селли, «Пессимизм в XIX в.» Е. Каро и др. Немного раньше он прочел «Афоризмы и максимы» А. Шопенгауэра. Идеалистическая философская теория пессимизма явилась поводом для идейного спора, вокруг которого развивается действие рассказа «О Чиже, который лгал...» В противовес ей, Горький ратует за активное отношение к действительности, его герой мечтает о стране счастья, «где мы будем законодателями мира и владыками его».

С этой точки зрения «О Чиже...» связано и с эстетическими исканиями Горького. Впоследствии в «Беседах о ремесле» писатель рассказывал:

«Пассивную роль я считал недостойной литературы, мне известно было: если „рожа — крива, пеняют на зеркала", и я уже догадывался: „рожи кривы" не потому, что желают быть кривыми, а оттого, что в жизни действует некая всех и всё уродующая сила, и „отражать" нужно ее, а не искривленных ею. Но как это сделать, не показывая уродов, не находя красавцев?

Я писал различные весьма сумбурные вещи: „Читатель", „О писателе, который зазнался", „О Чиже, который лгал", „О чёрте",— писал очень много, а еще больше рвал и сжигал в печке. Известно, что в конце концов я нашел какую-то свою тропу» (там же, т. 25, стр. 351—352).

Аллегорическая форма произведения помогла Горькому скрыть его злободневное содержание. Однако и в таком виде оно привлекло внимание казанского цензора А. М. Осипова. Е. А. Колесникова обнаружила цензорский экземпляр «Волжского вестника», 1893, № 226, 4 сентября (хранится в библиотеке Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина). В этом экземпляре цензор вычеркнул следующие слова (выделены курсивом):

С т р. 46. «... все птицы, испуганные *и угнетенные* внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой...»; «... в них преобладали *тяжелые*, унылые и безнадежные ноты...»; «И *вот* вдруг зазвучали *свободные*, смелые песни...»

С т р. 48. «...птицы пели *свободные* и звучные гимны солнцу...»

С т р. 49. «Но тут один находчивый щегленок, *журналист по профессии*, спросил чижа...»; «...вы, так сказать, будите *общественное* сознание...»

С т р. 50. «...там мы, *великие*, *свободные*, *всё победившие птицы*, насладимся созерцанием нашей силы...»; «Туда — в страну счастья! *где ждет нас великая победа, где мы будем законодателями мира и владыками его, где мы будем владыками всего...*»

Включая рассказ в $ДЧ_1$, Горький внес большое число изменений и поправок, улучшивших стиль произведения, сократил длинноты и смысловые несоответствия (см. варианты).

Новый этап работы над текстом относится к 1899 г., когда готовилось $ДЧ_2$. Однако, кончив правку, Горький перечеркнул весь текст вместе с заглавием и надписал сверху: «Болесь. Это надо выбросить вон». В письме С. П. Дороватовскому (июнь 1899) он пояснил:

«Нет более скучного занятия, чем исправление своих грехов! И как это трудно! Сидел, сидел и — очень скверное впечатление получил от всей этой канители.

Пожалуйста — выбросьте „Чижа“,— он режет ухо. Порекомендуйте корректору отнестись повнимательнее к моей мазне. А вместо „Чижа“, чтобы публику не обижать,— суньте что-нибудь, если найдется: „Красоту“, „Девочку“ или малюсенький рассказик о проститутке, коя писала письма к воображаемому любовнику» (*Г-30*, т. 28, стр. 86).

Вместо рассказа «О Чиже...» Дороватовский поместил во втором издании «Болесь».

В 1900 г. было решено включить «О Чиже...» в первый том $Зн_2$. При этом текст был взят из $ДЧ_1$ и печатался без участия автора, о чем свидетельствует письмо К. П. Пятницкого от 11 ноября 1900 г. «В первый том нового издания,— писал он Горькому,— ввели, по Вашему желанию, рассказ „О Чиже“. Корректуру держит лучший из корректоров, каких мы знаем. Поправки делаются согласно с текстом прежнего издания, который Вами был просмотрен. Рассказ „О Чиже“ пришлось взять из издания Дороватовского» (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-11).

Следующий этап работы над произведением относится к 1901—1902 годам, когда Горький готовил $Зн_4$. Существенной

правке автор подверг текст произведения в 1922 г. для *К*. Общее направление ее сводится к тщательной стилистической работе над текстом. Несколько усилена ироническая характеристика Чижа в финале, подчеркнуты революционно-романтические мотивы в песнях Чижа и выделена мысль об ограниченности его революционных порывов.

Рассказ «О Чиже, который лгал...» вызвал оживленные толки критики. Об отношении к нему самого автора можно судить по письмам к Дороватовскому (июнь — август 1899 г.). Исключив рассказ из $ДЧ_2$ на том основании, что он «режет ухо», Горький писал: «Прочитал я на днях статью Протопопова в „Р⟨усской⟩ м⟨ысли⟩“. Курьезный у него вкус! Хвалит стихи в „Чиже“» (*Г-30*, т. 28, стр. 91).

Один из первых печатных отзывов о рассказе принадлежит Ф. Д. Батюшкову, который, увидев в нем произведение сатирико-автобиографического характера, отмечал, что оно «написано с большим юмором, причем автор заявляет себя сторонником „смелых песен“» («Космополис», 1898, т. XII, № 11, стр. 107).

Об автобиографичности произведения писал А. Басаргин (А. И. Введенский), полагая, что в нем «отразились думы и стремления самого автора „правдивой истории“; так что эта история с идейно-психологической стороны не лишена некоторого автобиографического интереса» («Московские ведомости», 1898, № 279, 10 октября).

На страницах журнала «Образование» В. А. Поссе рассматривал рассказ в числе программных произведений Горького. «Отважная песнь Чижа, „объявляющего богам за право первенства войну“,— писал он,— это песнь самого Горького» («Образование», 1898, № 11, стр. 57). Но и Поссе не нашел в «Чиже» (как и в «Песне о Соколе») определенной положительной цели писателя, а лишь «стремление к подвигу ради подвига, поклонение силе как силе».

Критик из народнического «Русского богатства» «узнал» в Чиже «босяка в качестве общественного деятеля», но оговорился: «Пусть порожний порыв Чижа и его переоценка со стороны Горького — чистый романтизм. Всё в порыве, вся суть в нем, вся красота в нем» («Русское богатство», 1898, № 7, стр. 36). Н. К. Михайловский уверял: «...кто читал статью Ницше „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“, тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье» (там же, № 10, стр. 86).

Очень резко отозвался о произведении (за исключением стихов) М. А. Протопопов: «Это столько же красиво написанная, сколько и плохо продуманная аллегория». По его мнению, Горький рассказал ее «неверно логически и неверно психологически. Вся его пессимистическая философия оказывается построенной на песке» («Русская мысль», 1899, № 5, стр. 149, 152).

Анализируя рассказ «О Чиже...», Л. Е. Оболенский заметил, что в нем «отразилась основная точка зрения Максима Горького, состоящая в необходимости для людей веры и именно *веры в*

определенный идеал лучшего» (Л. Е. Оболенский. М. Горький и причины его успеха... СПб., 1903, стр. 59). «Сказочка» Горького, по мнению критика, «изображает тогдашние споры нашей интеллигенции, хотя в ней, в сущности, повторена в миниатюре та же самая история, какая случилась и с Данко, но с тою разницею, что, когда люди измельчали и сильные характеры у них пропали, на сцену выступил вместо Данко мечтательный маленький поэт, пытающийся вдохновить и оживить толпу» (там же, стр. 60). Отрицая наличие ницшеанских идей в речах Чижа, Оболенский отмечал сильную сатирическую струю в произведении, направленную против философии Шопенгауэра.

Высокую оценку произведению дал В. В. Стасов, назвав его в ряду лучших творений Горького. «Это ли еще не вечная мечта о счастье и несравненной великой будущности человечества?» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272, 2 октября).

В. В. Воровский увидел в Горьком прежде всего писателя «правды», которая могла бы «озарить теплым светом пути исстрадавшихся масс» (*Воровский*, стр. 273). В словах Чижа «Я солгал...» Воровский находил аналогию с высказыванием Клеща из пьесы «На дне»: «Какая правда? Где правда?». Он писал: «Это бегство от неприглядной действительности: сильных — в небеса („Песня о Соколе"), слабых — в царство фантазии, и есть единственный выход и вместе с тем примирение с жизнью, какие дает М. Горький в первый период своей деятельности» (там же, стр. 262).

«Эта тема,— утверждал А. В. Луначарский,— чрезвычайно родная Горькому, он к ней возвращается много раз, между прочим и в „разговорах с чёртом"» (*Луначарский*, т. 2, стр. 145). По мнению Луначарского, в рассказе «О Чиже...» Горький высказал «вполне осознанную им внутреннюю боль, происходившую от противоречия двух живших в нем начал» (там же).

О популярности произведения «О Чиже...» в среде русских социал-демократов писал Н. Борисов в воспоминаниях «Немного о Горьком в Калуге» (Архив А. М. Горького, КГ-п-62-1-11), а также Феликс Кон («Литературная газета», 1932, № 43, 23 сентября).

В 1919 г. инсценировка «О Чиже...» шла на сцене Рабочей студии им. М. Горького (Архив А. М. Горького, МоГ-11-14-1).

Стр. 48. *Прочь... Здесь объявлена богам...* — Ср. в этом томе стихотворение на стр. 446—447.

Стр. 51. *...и в ней живет Гришка...*— В одном из вариантов рассказа — Гришка Челкаш. Здесь имеется в виду реальное лицо. В письме И. А. Груздеву от 15 августа 1926 г. Горький заметил: «Гришка Челкаш был птицелов в Канавине, в Нижнем Новгороде» (*Архив ГХI*, стр. 66).

ДЕД АРХИП И ЛЕНЬКА

(Стр. 54)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1894, №№ 35, 37, 39, 41, 43 — с 13 по 23 февраля.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зп_{10}$, правленный автором для $К$ (ХПГ-44-11-1).

Печатается по тексту $К$ со следующими исправлениями:

Стр. 56, строки 12—13: «за ногу прикручу» вместо «за ноги прикручу» (по $ПТ$, $ДЧ_{1-2}$, $Зп_{1-9}$).

Стр. 62, строка 15: «проулок» вместо «переулок» (по тем же источникам).

Стр. 62, строки 21—22: «Всё равно ведь не поедаем» вместо «Всё равно ведь не поедаешь» (по $ПТ$ и $ДЧ_{1-2}$).

Стр. 64, строка 28: «поводя плечиками» вместо «поводя плечами» (по тем же источникам).

Стр. 65, строка 36: «когда она уже скрывалась» вместо «когда она уже скрылась» (по $ПТ$, $ДЧ_{1-2}$, $Зп_{1-9}$).

Стр. 69, строка 28: «и закачался из стороны в сторону» вместо «и закачал из стороны в сторону» (по тем же источникам).

Стр. 71, строки 19—20: «колеблется, точно от ветра» вместо «колеблются точно от ветра» ($Гр_{1-2}$).

Рассказ написан в 1893 г., вероятно, осенью или в декабре. Датируя рассказ в $Зп_1$, Горький поставил: 1894, а в оригинале набора для издания $К$, уточняя время написания рассказа, исправил дату 1894 на 1893 г.

После первой публикации рассказа Горький неоднократно правил и редактировал его, шлифуя стиль и язык и производя более или менее значительные сокращения (см. варианты).

«Дед Архип и Ленька», в отличие от многих других рассказов Горького, после первой публикации не получил широкой оценки в критике. Единственным откликом долгое время оставался отзыв В. Г. Короленко. «Прочитал я в „Волгаре“ Вашего „Деда Архипа“,— сказал Горькому при встрече Короленко,— это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему Вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его?» И еще: «... пишете Вы много, торопливо, нередко в рассказах Ваших видишь недоработанность, неясность. В „Архипе“— там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо» (*Г-30*, т. 15, стр. 39, 40). В статье «О том, как я учился писать» Горький, рассказывая о своем былом пристрастии к ритмической прозе, вновь вспоминал:

«Ритмической прозой я написал огромную „поэму“ „Песнь старого дуба“. В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь ⟨. . .⟩ Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к „ритмической“ прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ „Дед Архип“, сказал, что напрасно я сдобрил рассказ „чем-то похожим на стихи“. Я ему не поверил,

но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница — описание ливня в степи — написана мною именно этой проклятой „ритмической". Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы» (там же, т. 24, стр. 489).

После выхода $ДЧ_{1-2}$ и даже $Зн_{1-10}$ критики также не обратили должного внимания на рассказ «Дед Архип и Ленька», хотя он был замечен читателями и нравился им. В 1898 г. В. А. Поссе сообщал Горькому:

«О Ваших „Очерках" начинают уже говорить, хотя еще не было объявлений о их выходе.

Особенно нравятся „Челкаш", „Супруги Орловы" и „Ленька"» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-22).

Один из первых обстоятельных критических анализов рассказа был дан Н. А. Саввиным в статье «Дети в произведениях М. Горького». Критик не относит рассказ к лучшим произведениям Горького, но высоко оценивает мастерство писателя в создании образа Леньки, отмечая своеобразие маленького героя, богатство его душевного мира. «Ленька,— пишет он,— не совсем обычный детский тип, и по своим психологическим особенностям он с большим трудом найдет себе эквивалент в галерее детских портретов русской литературы» («Вестник воспитания», 1907, № 1, стр. 200). Критик отмечает жизненность и правдивость героев рассказа, порожденных «социальными условиями современной России с ее бесправием и отсутствием просвещения» (там же, стр. 201).

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ

(Стр. 76)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, №№ 80, 86, 89 — с 16 по 27 апреля.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Печатные гранки начала рассказа для «Самарской газеты», 1895, № 80, апрель, с авторской нумерацией «2—9» (ХПГ-46-10-1); 2. Текст $Зн_{10}$, правленный автором для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 76, строка 9: «в голубой мгле» вместо «в глубокой мгле» (по *ПТ* и *Грж*).

Стр. 83, строки 19—20: «под Фальчи, на самом берегу Бырлада» вместо «под Фальми, на самом берегу Бырлата» (исправление написаний).

Стр. 86, строка 34: «красноречивый и холодный» вместо «красноречивый и голодный» (по *ПТ* и *Грж*).

Стр. 88, строка 39: «поползла я» вместо «подползла я» (по *ПТ*).

Стр. 89, строка 31: «горячими словами» вместо «горючими словами» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 89, строка 40: «не перестали петь» вместо «перестали петь» (по *ПТ*).

В рассказе «О первой любви» Горький заметил, что «Старуха Изергиль» написана им в одну ночь (*Г-30*, т. 15, стр. 113). В другой раз на вопрос о «примерной производительности» он ответил: «Бывали случаи, когда писал круглые сутки и больше, не вставая из-за стола. Так написаны: „Изергиль", „Двадцать шесть и одна"» (там же, т. 26, стр. 224).

Сам автор указывал разные даты написания рассказа (1893 и 1895 г.). В издании *Грж* рассказ помечен 1893 годом. В рассказе «О первой любви» (1923) написание «Старухи Изергиль» отнесено также к 1893 году, на что указывает заключающая воспоминания фраза: «Это было тридцать лет тому назад» (там же, т. 15, стр. 114).

Если 1895 год обоснован тем, что в этом году рассказ был впервые опубликован, то 1893 год Горьким, видимо, указывался ошибочно, вместо 1894. Это подтверждается письмом В. Г. Короленко от 4 октября 1894 г. члену редакции газеты «Русские ведомости» М. А. Саблину, в котором сообщалось: «Дня три назад я послал в редакцию рукопись Пешкова (псевд. Максим Горький), заглавие „Старуха Изергиль"» (*Г и Короленко*, стр. 203). В очерке «В. Г. Короленко» Горький, рассказывая о своей встрече с Владимиром Галактионовичем, после своего возвращения в Нижний Новгород писал:

«Провожая меня, он 〈. . .〉 пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный.— Ведь вы уже пишете, печатаетесь — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем. . .

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки. 〈. . .〉 Недели через две я принес Короленко рукописи сказки „О рыбаке и фее" и рассказа „Старуха Изергиль", только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: „Приходите вечером поговорить. Вл. Кор."» (*Г-30*, т. 15, стр. 35—36).

Сам Горький не датирует это свидание. В очерке он рассказывает о встречах с Короленко, относящихся как к ноябрю 1893 г., так и к лету — осени 1894. Но приведенное воспоминание может относиться к сентябрю 1894 г. А из донесений охранного отделения, следившего за Короленко, известно, что 13 сентября 1894 г. его посетил А. Пешков (*ЛЖТ*$_1$, стр. 104). Переписка Короленко с Саблиным свидетельствует о том, что 1 или 2 октября 1894 г. Короленко уже отослал рукопись рассказа в «Русские ведомости». Известно, с каким вниманием и заботой относился Короленко к начинающему писателю — Горькому. Поэтому трудно предположить, чтобы он, получив от писателя рукопись «Старухи Изергиль» осенью 1893 г. (если принять авторскую датировку), послал ее только через год в редакцию.

Таким образом, работу над рассказом следует датировать периодом между 12 сентября и 1 октября 1894 г.

В рассказе отразились воспоминания автора о том времени,

когда он, странствуя по Руси, летом 1891 г. был в Южной Бессарабии и на берегах Дуная: «Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу» — сказано в «Старухе Изергиль». В 1912 г. в статье, посвященной памяти Августа Стриндберга, Горький писал: «Стриндберг невольно сливается у меня с образом героя одной легенды, которую я слышал в юности на Дунае,— это герой и поэт Данко: чтобы осветить людям, заплутавшимся во тьме противоречий жизни, путь к свету и свободе, Данко вырвал из груди свое сердце, зажег его и пошел впереди людей» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 90).

Богатый и в большинстве новый материал о возможных литературных и фольклорных источниках «Старухи Изергиль» и в частности легенд о Данко и Ларре приведен и обобщен в книге: Г. Б о г а ч. Горький и молдавский фольклор. Кишинев, 1966.

В Архиве А. М. Горького сохранились гранки набора первой главы для «Самарской газеты» (1895, № 80), содержащие следующий текст из рассказа Изергиль о Ларре, не вошедший ни в одну из печатных редакций произведения:

«Он ⟨Ларра⟩ говорил „Свобода!", и это слово в его устах было остро, как нож, и горячо, как огонь.

— Так ты не хочешь ничему поклоняться? — спросил его мудрец.

— Да! я один... Каждый должен быть одиноким, и тогда все будут велики...

— Ну, а поклонишься ли ты Тем, что создали тебя? Великим творящим Силам ты поклонишься?

— Я не знаю их. Не видал и не вижу. Они создали меня? Я не знаю. И зачем создали?

Для того, чтоб я поклонялся им, которых я не вижу? Нет, я хочу быть свободным! Я не поклонюсь ничему в жизни... ибо первый в ней я!

Тогда все замолчали и в ужасе ждали, когда те, которых он оскорбил своей дикой гордостью, покарают его. Но они молчали... Им что! Им смешна гордость человека, каждый миг жизни которого в их твердой воле. Они никогда не унизят Себя до того, чтоб наказывать тех, которых они творят каждый миг тысячами и уничтожают также легко. Может быть, то, что Они делают, только проба. Человек на ином поле сеет разные злаки, пока не узнает, которому из них лучше на нем, которое больше любит земля... Они всё знают, но могут не знать Самих Себя...

Я, хотя и увлеченный легендой, перебил старуху:

— Подожди! О каких Силах ты говоришь? Разве ты не знаешь, что бог один?

Она посмотрела на меня тусклыми глазами так строго и сказала отрывисто:

— Молчи! Зачем ты перебиваешь? Я забуду... Бог — это бог. Он ничего не делает. Он когда-то сказал Силам: «Творите!». И Они творят с той поры. Он же в покое и не видит дел их. Но будет час, Он взглянет и, может быть, скажет: „Разрушьте! всё это не так!" И всё станет пылью. Понял ты?

— Кто тебя научил этому? — спросил я.

— Кто? Ты глуп... Я жила, думала и говорила со многими, которые мудры и читали все книги света. Кто?.. Ты слушай и молчи...»

Возможно, что эта часть текста была исключена цензурой. Однако сам автор впоследствии не пытался восстановить ее.

После первой публикации рассказ шесть раз редактировался Горьким для различных изданий: для *ДЧ*$_1$, *ДЧ*$_2$, *Зн*$_1$, *Зн*$_4$, *Гржс* и *К*. Анализ правки показывает, что Горький неустанно и последовательно совершенствовал стиль и язык произведения, устраняя длинноты, убирая излишнюю цветистость языка, добиваясь большей сжатости в характеристиках персонажей и т. п. (см. варианты).

Редактируя рассказ, Горький менял и разбивку на главы. В «Самарской газете», как и в последнем варианте,— три главы, но они больше по объему, и только первая глава начинается и заканчивается так же, как в окончательном тексте. Редактируя рассказ для *ДЧ*$_1$, Горький разбил его на четыре главы. Для *ДЧ*$_2$ автор снова уменьшил количество глав, соответственно укрупнив их: здесь три главы, так же как во всех последующих печатных вариантах, но с некоторыми перестановками текста по сравнению с окончательным.

«Старуху Изергиль» Горький относил к числу своих творческих удач. Поэтому он тяжело пережил равнодушное отношение к рассказу первой слушательницы его — О. Ю. Каминской и так вспоминал об этом в рассказе «О первой любви»:

«К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ „Старуха Изергиль“, она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался глядя на нее 〈. . .〉

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах 〈. . .〉 Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И — вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом,— спит!

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?» (*Г-30*, т. 15, стр. 113).

В августе 1899 г. Горький в письме к А. П. Чехову, выражая свое неудовлетворение повестью «Фома Гордеев», писал: «... много лишнего в этой повести. Видно, ничего не напишу я так стройно и красиво, как „Старуху Изергиль“ написал» (там же, т. 28, стр. 92).

Весной 1906 г. в Нью-Йорке Горький сказал корреспонденту газеты «Telegram», что считает «Старуху Изергиль» своим лучшим рассказом (см. *Г и революция 1905 г.*, стр. 390; ср. Н. Н. Х о д о т о в. Близкое — далекое. М.—Л., изд. Academia, 1932, стр. 315).

Горький охотно выступал с чтением рассказа на вечерах и заботился о его массовых изданиях. В августе 1900 г. в письме К. П. Пятницкому он писал: «Маленькими книжками, по-моему, следует издать „Изергиль“, „Хана“ и „Чудру“ в одной книжке, озаглавив ее „Сказки“. В нее же можно и „Сокола“» (*Архив Г*IV, стр. 14). В 1906 г. эта мысль писателя была реализована в *ДБЗ*.

Когда в 1900 г. к Горькому обратилась издательница М. Малых за разрешением включить ряд его рассказов (в том числе и «Старуху Изергиль») в массовую серию «Современной научно-образовательной библиотеки», Горький «с радостью дал 〈. . .〉 свое разрешение на издание его рассказов» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-18-1). В своих мемуарах Малых рассказывала:

«...я поехала в Нижний Новгород, где жил в то время А. М. Горький, специально, чтобы повидаться с ним и попросить у него разрешение выпустить в первых же номерах нашей серии 〈. . .〉 его ярко революционные рассказы 〈. . .〉 „Песнь о Соколе“, „Песнь о Буревестнике“, „Макар Чудра“, „Старуха Изергиль“. Алексей Максимович 〈. . .〉 дал мне свое разрешение на издание его рассказов. Но тогда же говорил, что он не верит, чтобы цензура разрешила мне издать их, особенно „Песнь о Соколе“ и „Песнь о Буревестнике“. Но я уверенно заявила, что добьюсь разрешения и издам их» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-18-1).

И действительно, в 1901 г. в серии «Современная библиотека» под № 4 был издан в Петербурге отдельным изданием рассказ «Старуха Изергиль» (цена 10 копеек). В 1903 г. было повторено это же издание под № 4а.

С тех пор «Старуха Изергиль» неоднократно издавалась отдельными изданиями, в том числе в различных сериях для массового читателя: в 1919 г. в Нижнем Новгороде в серии «Библиотека красноармейца», в 1933 — в серии «Библиотека начинающего читателя» (ГИХЛ).

В марте 1928 г. А. Н. Тихонов писал Горькому, что издательству «Федерация» хотелось бы выпустить несколько его «рассказов для детского возраста. Сюда могли бы войти: „Самовар“, легенда о Данко — горящем сердце, одна или две 〈из〉 итальянских сказок и легенда о матери и Тимур-ленге» (Архив А. М. Горького, КГ-п-77-1-2). 21 апреля 1928 г. Горький ответил Тихонову: «Для детей „Самовар“ рядом с „Данко“ и „Матерью“ — не нравится мне. Или Вы предполагаете выпустить это отдельными книжками? Тогда, кроме „Самовара“, следовало бы дать еще что-нибудь, напр〈имер〉, о мальчике, который удил рыбу 〈„Случай с Евсейкой“〉» (*Г Чтения*, 1959, стр. 59).

Вспоминая свою беседу с первым читателем и критиком «Старухи Изергиль» Короленко по поводу сказки «О рыбаке и фее» и названного рассказа, Горький приводил следующие слова собеседника:

«„Старуха“ написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным,— нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное» (*Г-30*, т. 15, стр. 37).

Вскоре после этой беседы В. Г. Короленко, вероятно, и переслал рукопись рассказа в редакцию газеты «Русские ведомости». В уже цитированном выше письме Саблину он замечал: «Я ее читал и послал потому, что нашел вполне литературной, местами красивой 〈. . .〉 Просьба: посмотреть и решить ее судьбу, буде возможно не в долгом времени» (*Г и Короленко*, стр. 203). 22 ноября 1894 года В. Г. Короленко снова писал об этом же редакторам «Русских ведомостей» А. С. Постникову и В. М. Соболевскому (см. там же, стр. 203—204). Однако, несмотря на хлопоты Короленко, рассказ в «Русских ведомостях» так и не появился.

С 1895 до 1898 г. в печати не зарегистрировано ни одного отзыва критики о «Старухе Изергиль». Первые отклики на нее появились только в рецензиях, связанных с $ДЧ_1$. Н. К. Михайловский в статье «О г. Максиме Горьком и его героях», говоря о нетипичности языка большинства героев Горького, сделал в этом отношении исключение лишь для Изергиль. Он писал: «Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражаться, например, так: „Однажды гроза грянула над лесом, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился". Эта цветистая речь, эти оригинально красивые поэтические образы, может быть, и уместны в устах старухи Изергиль, ввиду ее восточного происхождения» («Русское богатство», 1898, № 9, стр. 67). В другом месте, развивая положение о том, что герои Горького, «побуждаемые жаждою свободы», предпочитают бродячую жизнь, критик сослался на образ Ларры (там же, стр. 68—69). В статье «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» Михайловский останавливался на образе Данко, рассматривая его в свете идей Ницше (там же, № 10, стр. 79—84).

В статье «Певец протестующей тоски» В. А. Поссе писал: «Из 20 рассказов и очерков, входящих в два томика сочинений М. Горького, слабее всех, пожалуй, „Старуха Изергиль", но посмотрите, каким чудным описанием южной бессарабской ночи начинается рассказ!» («Образование», 1898, № 11, стр. 58).

Более внимательно подошел к рассказу Ф. Д. Батюшков. В статье «В мире босяков», отнеся это произведение к группе «очерков легендарно-фантастического характера», он писал: «Иногда г. Горький весьма близок к миросозерцанию Боккачио и, например, рассказ „Старуха Изергиль" представляется настоящей параллелью к новелле Боккачио об Алатьель (Декамерон, II, 7): такое же своеобразное, как бы непроизвольное сцепление

„авентюр"...» Но, сближая Изергиль с героиней Боккачио, критик говорил и о своеобразии горьковской героини: «В одном случае Изергиль возвышается над Алатьель: в своей „последней игре" с одним шляхтичем она доходит до героизма в любви» (Ф. Д. Батюшков. Критические очерки и заметки. СПб., 1900, стр. 163, 164).

В первых отзывах прессы образ Данко остался почти незамеченным. На героический характер Данко обратил внимание автор статьи «Современные кумиры», опубликованной в журнале «Антиквар» в 1902 г. и подписанной инициалами Н. С. В статье говорилось:

«Любопытно сопоставить две символические картины у Горького и Андреева — картины, на первый взгляд, имеющие много общего, но вместе с тем ярко характеризующие настроение обоих писателей. У Горького в рассказе „Старуха Изергиль" символическая картина пробуждения людей, появления в них энергии и силы в стремлении к добру, благодаря геройству одного, ценою своей гибели сумевшего вдохновить людей, дать силу и огонь их дряблым сердцам и вывести их на путь свободы и добра 〈. . .〉 А вот подобная картина у Андреева в заключении его рассказа „Стена". Если не здесь, на земле, то есть же где-то правда, где-то далеко в неизвестной, туманной дали, куда достичь можно лишь по трупам своих братьев, по лестнице их горя и страданий. Да и что там? — Неизвестно! Кто попадет туда? Разве один оставшийся в живых!

Какая глубокая разница! Там геройская смерть за идею одного для спасения всех, здесь грязное пассивное околевание всех; для сомнительного спасения одного!» («Антиквар. Библиографический листок», 1902, № 7, стр. 213—214).

«Старуха Изергиль» пользовалась и продолжает пользоваться большой любовью читателей. П. А. Заломов свидетельствовал о том, как этот рассказ, наряду с «Песней о Буревестнике», помогал в революционной борьбе (П. Заломов. Воспоминания. «Ленинская смена». 〈Горький〉, 1938, № 102, 28 марта). Об этом же вспоминал и Ф. В. Гладков: «Мы, идущие в массы и работавшие над собой, воспитывались на Вас,— писал он Горькому в 1927 г.— Те времена были связаны с Вашим именем. Не только интеллигенция, но и широчайшие массы жили Вашими образами. Это было неудержимое стремление живых сил к действию, к борьбе, к подвигу, к героизму 〈. . .〉 Страдания „Трех сестер" и „Самгиных" нас не трогали: мы жили страданиями Данко. Недаром эти буйные образы созданы Вами в те времена. Вы горели огнем своей эпохи» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 98).

В Архиве А. М. Горького хранится много читательских отзывов. В них выражено восхищение героями, зовущими на благородный подвиг во имя счастья людей. Вот, например, один из характерных отзывов. В письме Горькому от 21 марта 1928 г. поэт С. А. Обрадович рассказывает о своем тяжелом детстве и о том, как однажды в минуту отчаяния он пришел даже к мысли покончить жизнь самоубийством. Но, заметив на чердаке книги, взял одну из них и стал читать: «... читал до темноты, а когда

вышел, помню — мир был так тих, необычайно нов, красив, и люди были ⟨. . .⟩ хороши и сильны. И мне хотелось жить. Читал я тогда Вашу „Мальву“ и „Старуху Изергиль“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-54-14).

Сюжет «Старухи Изергиль» рано стал привлекать внимание музыкантов. В 1902 г. в газете «Нижегородский листок» появилась следующая заметка: «Композитор К. пишет музыкальную драму на сюжет известного рассказа Максима Горького „Старуха Изергиль“. Так как действие этого рассказа происходит в Бессарабии, то композитор выехал в м. Редину, Бессарабской губернии, с целью записать на месте молдавские народные мотивы» («Нижегородский листок», 1902, № 229, 22 августа).

С т р. 76. *Я слышал эти рассказы под Аккерманом...* — Горький работал под Аккерманом летом 1891 г. (*ЛЖТ*$_1$, стр. 80).

С т р. 83. *...гуцулы шайкой ходили по тем местам...* — Г. Богач, автор книги «Горький и молдавский фольклор» (стр. 129—130), по поводу употребления слова «гуцул» в рассказе «Старуха Изергиль», пишет: «В низовьях пограничной реки между Россией и Румынией, в низовьях Прута, „шайки“ гуцулов, австрийских подданных, никогда не водились! Корни этого „недоразумения“ следует искать в явном непонимании Горьким речи своей собеседницы (собеседника или „переводчика“). Последние рассказывали ему, безусловно, о шайках гайдуков, о разбойниках. По-молдавски разбойники называются *хоций* (единственное число *хоц*, с определенным артиклем — хóцул). В молдавском произношении начальное *х* — произносится *h* (заднеязычным), то есть точно так же, как и начальный звук в украинском слове *гуцýл* ⟨. . .⟩ Именно это новое для него молдавское слово, услышанное в живом произношении молдаванина, Горький воспринял как известное ему этническое наименование. Причина — случайная созвучность».

С т р. 87. *...бунтовать с вами, русскими.* — Видимо, речь идет о «холерных» бунтах 1831 г. См. Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.—Л., 1946, т. I, стр. 196—200.

С т р. 87. *...саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков.* — Вероятно, имеется в виду война 1828 г. за освобождение Греции.

С т р. 87. *А зачем вы ходили бить мадьяр?* — Речь, по-видимому, идет о венгерской революции 1848 г.

С т р. 88. *...ушел он биться с вами, русскими...* — Видимо, подразумевается известное восстание в Польше в 1863 г.

ОШИБКА

(Стр. 97)

Впервые, с подзаголовком «Эпизод», напечатано в журнале «Русская мысль», 1895, № 9, стр. 119—144.

В Архиве А. М. Горького хранится текст рассказа $Зи_{10}$ с авторской правкой для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 109, строка 21: «свободно и легко» вместо «свободно, легко» (по всем предыдущим источникам).

Стр. 110, строки 21—22: «брови всползли» вместо «брови всползали» (по *Пр Зн*).

Стр. 114, строка 41: «голубом полумраке» вместо «глубоком полумраке» (по *ПТ* и $ДЧ_{1-2}$).

Стр. 115, строка 1: «страшное» вместо «стройное» (по смыслу).

Стр. 119, строка 7: «с закрытыми глазами» вместо «с раскрытыми глазами» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 120, строка 22: «странно расширясь» вместо «странно расширяясь» (по тем же источникам).

Стр. 121, строка 17: «Д-да, знаете...» вместо «Да-да, знаете...» (по тем же источникам).

Рассказ написан в Нижнем Новгороде в 1894 г. Замысел рассказа относится к самому началу 1892 г., а события, изображенные в нем, происходили с 10 декабря 1891 г. по 8 января 1892 г. Именно в это время Горький дежурил у постели психически больного Гола (Григола Алексеевича) Читадзе (ок. 1863—1892), своего тифлисского знакомого.

С Гола Читадзе Горький познакомился в Тифлисе через М. Я. Началова. Талантливый юноша, «возмечтавший искоренить зло на земле», был исключен из Тифлисской духовной семинарии в 1885 г. («Бакинские известия», 1903, № 13, 16 января). За ним был установлен полицейский надзор. Читадзе безуспешно пытался поступить в Петербургский университет. После этого он пешком отправился в Томский университет, но и там не был принят. Вернувшись на родину, в Тифлис, Читадзе, по сведениям полиции, «собирал вокруг себя кружки воспитанников разных учебных заведений» и возглавил кружок народовольцев (Б. П и р а д о в. У истоков творчества М. Горького. Тбилиси, 1957, стр. 36). В декабре 1891 г. он тяжело заболел: нервное переутомление и материальные лишения вызвали психическое расстройство. Друзья организовали постоянное дежурство на квартире Читадзе, так как живший с ним младший брат-гимназист не мог справиться с больным.

Читадзе жил на Баронской улице, дом 2. Здесь после 10 декабря 1891 г. появился Максим Горький.

В воспоминаниях А. М. Калюжного есть следующее свидетельство: «Алексей Максимович писал „Ошибку" в комнате Читадзе, в часы мучительного дежурства у постели больного. Мне рассказывали, как Горький подряд несколько дней ухаживал за Читадзе и тут же быстро заносил на листки бумаги свои впечатления» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-9-1). Другой тифлисский друг Горького С. А. Вартаньянц, познакомившись с писателем около постели Читадзе, тоже сообщает, что Алексей Максимович во время дежурства «что-то записывал себе в тетрадь». Скорее всего это были записи речей Читадзе, в которых тот развивал утопические идеи. Вартаньянц пишет: «В минуты просветления

этот интеллигентный больной с жаром, с увлечением развивал целую теорию о спасении людей и их обновлении; в эти минуты он совершенно преображался и превращался в вдохновенного пророка; его поэтическое настроение передавалось окружающим; на время мы забывали, что с нами говорит сумасшедший...» («Бакинские известия», 1903, № 13, 16 января). Это же подтверждает в своих воспоминаниях Н. Кара-Мурза. Он пишет: «Мне приходилось дежурить с Алексеем Максимовичем, и за это время мы сблизились. По ночам, когда нам удавалось успокоить и усыпить больного Читадзе, Алексей Максимович садился за стол и при тусклом свете лампочки писал карандашом в толстой тетради своей долгие часы...» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-6-1; см. также Н. К а р а-М у р з а. Кавказские воспоминания о М. Горьком. «Новое обозрение», 1903, № 6559, 7 ноября).

Сохранилось несколько свидетельств самого Горького. 28 ноября 1926 г. он сообщил И. Б. Галанту: «А сумасшедший, которого я действительно знал и с которым маялся,— это герой моего рассказа „Ошибка" — Гиго Читадзе» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-10-3-14); («Гиго» вместо «Гола» — ошибочно).

Горький писал И. А. Груздеву:

«Гиго Читадзе, сын крестьянина, один из первых пропагандистов марксизма среди тифлисской молодежи и рабочих. Был весьма популярен именно среди рабочих, имел знакомства с революционерами-народовольцами, осужденными по процессу 50-ти.

От усиленной работы, занятий и голода сошел с ума — mania grandiosa. В течение трех недель его не принимали в больницу; сначала около него поочередно дежурили товарищи, потом они разбежались, утомленные, испуганные припадками его безумия, избитые им. Мне пришлось провести один на один с ним девять дней,— это было очень страшно.

Несколько раз он пытался убить меня. Он намазывал грудь себе ваксой, чистил ее щеткой, говорил, что у него горит сердце, и гасил его, прикладывая на грудь тряпку, смоченную в помойном ведре. Однажды чуть не убил квартирную хозяйку, женщину с бородой, другой раз сбросил с лестницы полицейского. Схватил в припадке безумия одного старика рабочего за щеки и содрал с них кожу,— старик глазом не моргнул, а Читадзе кричал мне: „Видишь, как любит меня народ мой?!"

Несколько раз мне приходилось связывать его, тогда он, с хитростью безумного, начинал плакать, жаловаться, что ему больно; я подходил развязать его — он плевал мне в лицо и хохотал, если удавалось попасть.

Он был очень силен; чтобы ослабить его, я дал ему лошадиный прием глауберовой соли, что облегчило мое положение.

Наконец его все-таки приняли в больницу. Когда он вошел в общий зал и увидел там князя Абашидзе, тоже больного душевно, он ударил его по лицу, крикнув: „Это за моего отца!" Абашидзе убил отца Читадзе, который был его крепостным, когда Гиго было только пять лет.

Через три дня Гиго Читадзе служители больницы сбросили с лестницы, осколком ребра ему поранило сердце, и он умер.

Его торжественно хоронили, было много молодежи и рабочих...» (*Г и его время*, стр. 674—675).

Таковы реальные факты, лежащие в основе рассказа «Ошибка». Прототипом Кравцова является Гола Читадзе. Образ Ярославцева сложнее. Можно предположить, что частично он «списан» с Вартаньянца (Вартанова), частично — с телеграфиста И. В. Ярославцева, работавшего на станции Крутая, который в 1889 г. вместе с Горьким учился в одном кружке самообразования. В образе Ярославцева отразились и некоторые черты самого писателя. Весной 1891 г. Горький, по его признанию, сам находился «в очень тяжелом нравственном состоянии, которое родилось на почве его одиночества и полной неприспособленности к культурным людям, понятиям и порядкам...» (Протокол допроса, снятого в мае 1898 г.— сб. *Рев путь Г*, стр. 33).

Героям «Ошибки» присущи донкихотские черты, роднящие их с Чижом, Соколом, Данко, с Иегудилом Хламидой. Мечты их о спасении людей, о светлом будущем не имеют опоры в настоящем. Но и Кравцов и Ярославцев мечтают о героической миссии. «Безумец» Кравцов охвачен порывом к свободе, творчеству и красоте. Впоследствии Горький писал в статье «О „праве на погоду"»: «Безумными всегда назывались идеи, которые вели человечество к развитию его разума. Безумными называются идеи, для практического осуществления которых не хватает силы воли и смелости разума» (*Г-30*, т. 26, стр. 240).

В рассказе «Ошибка» есть намеки на теории утопического социализма, заметна полемика со статьей Д. И. Писарева «Реалисты». Горький противопоставляет «статистику совести» чистой статистике, которую восхвалял Писарев. Рассуждения Кравцова о «будке спасения» как ячейке освободительной борьбы тоже имеют под собой реальную основу. Горький имеет в виду тифлисскую «коммуну» 1891—1892 гг. на Красногорской улице.

Изображение больного человека, страдающего манией величия, дается в «Ошибке» не натуралистически. Оно помогает писателю поставить вопросы о назначении человека, о смысле жизни, о будущем человечества. Психиатрия, таким образом, является лишь рамкой для социальной идеи рассказа. Название рассказа символично. «Ошибка» жизни в том, что она устроена неправильно. «Ведь так у вас все сумасшедшие,— восклицает в рассказе Ярославцев,— все, кто хочет счастья другим и кто простирает руки помощи, кто горячо жалеет и много любит бедных, загнанных жизнью и затравленных друг другом людей!»

В начале 1895 г. Горький через В. Г. Короленко отправил «Ошибку» в «Русское богатство». В марте того же года, не получив ответа из редакции, он спрашивал у Короленко: «А „Ошибка" моя? Вы уже отправили ее?» (*Г и Короленко*, стр. 27). Короленко сообщил 22 марта 1895 г.: «Ваш рассказ „Ошибка" отослан в редакцию, но ответа я еще не получил. Извещу, как только получится» (там же, стр. 30).

В начале апреля 1895 г. редакция журнала возвратила автору рукопись, а 12 или 13 апреля он писал Короленко:

«Мне кажется, что меня обидели, и я хочу пожаловаться Вам. Сегодня получил из „Русского богатства" „Ошибку".

Никаких объяснений, и, судя по отметкам карандашом на полях рукописи,— она не прочитана и на треть. Очевидно, тот, кто ее читал, обладает очень тонким литературным чутьем, если с нескольких страниц признал полную негодность рукописи к печати.

Я не верю в справедливость этого приговора, памятуя Ваш отзыв об „Ошибке" и будучи сам убежден в ее порядочности.

Мне кажется, это — недоразумение.

Вы не можете себе представить, как меня задел и огорчил этот отказ в такой суровой форме.

Неужели рукопись не заслуживает даже и пары слов в объяснение ее недостатков или негодности?» (там же, стр. 31).

Короленко ответил 15 апреля 1895 г.: «Желание Ваше исполняю, то есть пишу вместе с сим Н. К. Михайловскому, с просьбой сказать несколько слов о рассказе „Ошибка" и о причинах отказа. Должен сказать Вам, или, вернее, повторить (так как я говорил об этом и раньше), что, по-моему, рассказ написан сильно, но отказ редакции „Русского богатства" меня не удивляет в такой степени, как Вас. Я ведь и боялся такого исхода ввиду некоторой „мучительности" рассказа, недостаточно, так сказать, мотивированной, до известной степени бесцельной. Если Вы припомните,— я это Вам и говорил, когда мы шли по нашей площади. Я этого, конечно, не писал в редакцию, тем более что я все-таки бы рассказ напечатал. Но, зная взгляды Н. К. Михайловского в этой области, я боялся, что эта сторона Вашего произведения может помешать. Думаю, что он читал весь рассказ, и опасаюсь, что это Вы видели на полях мои пометки, так как я принимался за рассказ в два приема: раз с карандашом, другой — без карандаша, в постели. Во всяком случае, попрошу отзыва» (там же, стр. 32).

Одновременно Короленко написал письмо Михайловскому: «Пишет мне слезно наш А. М. Пешков, которого рассказ „Челкаш" уже принят. Он посылал „Море" — неудачно; потом я послал его р⟨ассказ⟩ „Ошибку". На днях он ее получил обратно и огорчен очень сильно. Я пишу ему по этому поводу свое мнение (гипотетическое) о причинах отказа, ⟨так⟩ как я сию „Ошибку" читал. Но его особенно ушибло то, что ему отослали без ответа ⟨. . .⟩ „Ошибку" я все-таки послал,— потому что она обличает дарование и написана на исключит⟨ельную⟩ тему хотя, но сильно. Итак — два-три словечка» (там же, стр. 204—205).

Объясняя Горькому «гипотетическую» причину отказа, Короленко писал об идейно-эстетических взглядах Михайловского:

«Если Вы читали Михайловского „Мучительный талант" (о Достоевском), то знаете, что он даже Достоевскому не мог простить „мучительности" его образов, не всегда оправдываемой логической и психологической необходимостью. У Вас есть в данном рассказе тот же элемент. Вы берете человека, начинающего сходить с ума, и помещаете его с человеком уже сумасшедшим.

Коллизия, отсюда вытекающая, представляется совершенно исключительной, поучение непропорционально мучительности урока, а образы и действие — толпятся в таком ужасном психологическом закоулке, в который не всякий решится заглянуть, потому что это какой-то тупик, а не широкая дорога. „Будка спасения" немного отзывается натяжкой и не входит как необходимое звено в психоз (именно „будка"), а всё в целом напоминает „Алый цветок" Гаршина, где эта форма настроения нарисована с необыкновенной рельефностию и силой. Всё это я в такой подробности пишу потому, что в моем устном отзыве Вы, по-видимому, не обратили внимания на эту сторону моих замечаний и, во-вторых, затем, чтобы объяснить (как я ее понимаю) причину неудачи. Она вытекает из взглядов Михайловского на задачи искусства и не может быть поставлена ему в вину. Затем, конечно, повторю и теперь, что рассказ написан сильно и выдержан лучше многих других Ваших рассказов. Думаю, что его примут, так как все-таки свою исключительную тему он развивает отчетливо и правдиво (в общем)» (там же, стр. 32—33).

Вскоре Короленко получил ответ от Михайловского и сообщил о нем Горькому 23 апреля 1895 г.: «В общем — его отзыв приблизительно совпадает с тем, что я уже Вам писал. Рассказ кажется ему бесцельным, а психология двух сумасшедших произвольной 〈. . .〉 „Автор несомненно талантлив,— пишет Михайловский,— сила есть, но в пустом пространстве размахивать руками, хотя бы и сильными — нет смысла". Он выражает желание, чтобы Вы избавились от некоторой искусственности, растянутости и „признаков декадентства" (как в „Море" и „Ошибке"). Таков ответ Михайловского,— он всегда несколько резок, но в нем много правды» (там же, стр. 34—35).

Горький послал рассказ в другой столичный журнал — «Русская мысль». А. А. Богодуров вспоминал: «В 1895 г. рассказ Горького „Ошибка" при содействии А. И. Ланина был помещен в журнале „Русская мысль" В. Лаврова» (Архив А. М. Горького, МоГ-2-1-1). Видимо, помогал напечатать рассказ и Короленко. 7—10 июля 1895 г. Горький, обращаясь к Короленко, писал: «...не спросите ли Вы „Русскую мысль" — пойдет моя „Ошибка" или нет? Спросите, если запомните об этом» (*Г и Короленко*, стр. 45).

При подготовке рассказа для $ДЧ_1$ и $ДЧ_2$ Горький внес в текст несколько изменений. Значительной правке и сокращениям рассказ подвергся при подготовке $Зн_4$, что отчасти было связано с критикой рассказа Михайловским и М. А. Протопоповым (см. варианты и ниже — стр. 535—536 — замечания Михайловского). Опуская, в частности, пространные описания друзей Ярославцева, Горький ограничил круг действия двумя характерами, сделав повествование более напряженным и динамичным.

Рассказ «Ошибка» был сразу же замечен критикой. В статье «Литературные заметки» М. Полтавский (М. И. Дубинский) писал: «Не могу не воспользоваться случаем, чтобы порекомендовать читателю прекрасный рассказ г. Горького, глубокий по мысли и удачный по исполнению» («Биржевые ведомости», 1895, № 322,

23 ноября). Критик «Литературного обозрения» утверждал, что «Ошибка» является подражанием «Палате № 6» Чехова: «Стремление доставить благо людям, печаль при виде общественной безурядицы послужили исходными пунктами помешательства в рассказах и у Чехова и у Горького» («Литературное обозрение», 1895, № 42, стр. 1134). О связи горьковского рассказа с «Палатой № 6» Чехова писал также Р. И. Сементковский в статье «Что нового в литературе?» («Нива», литературное приложение, 1895, № 11, стр. 562).

Социальный подтекст рассказа попытался раскрыть М. Оликов в статье «Выбитые из колеи». Однако, сведя содержание «Ошибки» к изображению «выбитых из колеи», он утверждал, что писатель будто бы «жалеет людей, но не любит их», как «Шопенгауэр выводил обязательность сострадания к ближним из чувства презрения к ним» («Русский листок», 1898, № 252, 11 сентября).

Резко отозвался о рассказе А. М. Скабичевский, поместивший рецензию в «Новостях и биржевой газете» (1895, № 274, 5 октября). Упоминая о ней, Горький писал жене 21 мая 1896 г.: «Скабичевский — это известный критик, ругавший меня за „Ошибку" в „Новостях"...» (*Архив Г*v, стр. 19).

Михайловский, отдав должное таланту молодого автора, писал: «Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но всё это может в будущем и расцвесть пышным цветком, и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 89). Одна фраза Ярославцева («Декаденты — тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное») дала Михайловскому повод обвинить Горького в декадентстве и вычурности. Рассуждая о «правде» героев Горького, Михайловский заметил, что Ярославцеву и Кравцову «приписаны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького». «Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам» (там же, стр. 89, 92).

Главную атаку на Горького Михайловский ведет, ложно толкуя «уравнение» Ярославцева: «сильно — морально и хорошо». С таким подзаголовком появился позднейший отклик критика на рассказ «Ошибка». Михайловский упрекнул Горького в слепом подражании Ницше, хотя и назвал его самородком-ницшеанцем. Одурманенные Ницше люди, по мнению Михайловского, «в действительности просто заменяют добро силой и зло слабостью» («Русское богатство», 1903, № 4, стр. 79). Михайловский заметил, что указанных им слов Ярославцева, на которых он строил всю свою концепцию, нет в четвертом издании «Знания» (1903). Тем не менее он, чтобы не отказываться от своей концепции, сделал парадоксальный ход, заявив, что уравнение «сильно — морально и хорошо» принадлежит самому Горькому. Вместе

с тем он писал: «Подобные выкидки свидетельствуют, мне кажется, о совершающемся в г. Горьком переломе. Устранение уравнения „сильно — морально и хорошо“ особенно тем интересно, что ведь это говорит человек накануне сумасшествия, которому, следовательно, можно было бы предоставить свободу говорить разные несообразности. Очевидно, уравнение представляло хотя отчасти собственную мысль автора, от которой он ныне отказался» (там же).

Для подобного вывода нет никаких оснований. В рассказе Кравцов говорит, что «из жизни изгнали весь романтизм». «Причина современного шатания мысли — в оскудении идеализма»,— заявляет он. Говоря об идеализме, Кравцов имеет в виду духовные запросы общества. Суть его рассуждений можно понять глубже, если учесть, что в статье «Поль Верлен и декаденты» (1896) Горький писал: «...создалась атмосфера душная и сырая, в которой, однако, очень хорошо дышалось Полю Астье и всем людям его типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко всему, что было идеально и призывало к переустройству жизни в смысле приближения к истине и справедливости в отношениях человека к человеку.

Создалась атмосфера преклонения пред действительностью и фактом, жизнь стала бедна духом и темна умом...» (*Г-30*, т. 23, стр. 127).

Комментируя рассуждения Кравцова, Д. Н. Овсянико-Куликовский нашел их типичными «для эпохи 80-х—90-х годов, когда старые догмы интеллигентской мысли разрушались, а новые еще были предметом споров, и когда „демонизм“, символизм, декадентство, ницшеанство ударили по распатанным или некрепким мозгам „с неведомою силою“. „Ненормальности“ вроде тех, какие мы видим у Кравцова, объявились тогда в большом количестве...» («Вестник воспитания», 1911, № 6, стр. 5). Кравцов говорит о том, что давно наболело в интеллигентских сердцах и умах, ждет Моисея, «который освободит многострадальную русскую интеллигенцию от египетского рабства русской жизни» (там же, стр. 9). Образ Ярославцева типичен для посетителя интеллигентских кружков, оторгнутых от жизни, проводящих время в бесплодной трате умственной и нравственной энергии. Столкнувшись с кружками интеллигентов, Горький, по мнению критика, свежими глазами увидел их «ненормальность»: «невольно приходила в голову мысль, что стоит только представить себе эти специфически интеллигентские мысли и чувства в несколько утрированном виде, и выйдет картина настоящей психопатии, от которой уже недалеко и до „Бедлама“» (там же, стр. 7).

Прочитав статью Овсянико-Куликовского, Горький написал ему письмо (16 декабря 1911 г.), где назвал меткой характеристику «таинственного свойства русской души, которым у нас принято хвастаться...» (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 135).

Близкий к марксистам М. М. Филиппов в статье о Горьком решительно возражал Михайловскому, обвинившему Горького в «декадентстве». Анализируя рассказ «Ошибка», он пришел к выводу, что Михайловский тенденциозен, когда «всюду выслe-

живает черты тумана и „вычурности" у Горького» («Научное обозрение», 1901, № 6, стр. 132).

Критик-марксист А. А. Дивильковский увидел в рассказе «Ошибка» картину «бегства слабой души в оазисы фантазии, но фантазии решительно больной» («Правда», М., 1905, март, стр. 91).

С т р. 111. ...*как Моисей из Египта*...— По библейскому преданию, пророк Моисей вывел евреев из египетского рабства и сделал их свободными.

С т р. 111. ...*из кастальского источника свободы*...— Источник в Дельфах у горы Парнас, посвященный богу Аполлону; его водам приписывали способность вызывать поэтическое вдохновение и мысли о свободе.

С т р. 111. ...*вы, как египтяне, погонитесь за нами и исчезнете*...— По библейскому преданию, египетский фараон бросился с войском в погоню за евреями, узнав, что Моисей увел их из Египта. Он нагнал их на берегу моря, но бог, помогая евреям спастись от погони, осушил дно моря, и они прошли по нему, как по суше. Египтяне бросились за ними. Однако, когда они были на середине пути, море снова вернулось в свои берега и потопило их.

С т р. 111. *Августин* Аврелий Блаженный (354—430) — епископ католической церкви. Из его сочинений наиболее известны «Исповедь» и «О граде божьем».

С т р. 111. *Златоуст* Иоанн (ок. 347—407) — церковный проповедник и писатель.

С т р. 117. *Юлиан* Апостат — Отступник (ум. 363) — римский император.

С т р. 117. *Иаков* — апостол, которому принадлежит «Соборное послание».

С т р. 117. *Паскаль* Блез (1623—1662) — знаменитый французский математик, физик, философ. Главный философский труд Паскаля — «Мысли» — о взаимоотношении сердца и разума, науки и веры.

МОЙ СПУТНИК

(Стр. 123)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в «Самарской газете», 1894, №№ 254, 257, 258, 264, 265, 267 — с 11 по 31 декабря.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$ со значительной правкой, сделанной автором для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 126, строка 29: «судить князя» вместо «судить князей» (по *ПТ*, $ДЧ_1$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 131, строки 12—13: «Я знал одного человэка, грузына» вместо «Я знал одного человэка» (по *ПТ*, $ДЧ_1$, $Зн_{1-10}$).

Стр. 132, строка 15: «какой тебэ» вместо «какай тебэ» (по *Пр Зн*).

Стр. 135, строка 13: «Волны пролива» вместо «Волны прилива» (по *ПТ*, $ДЧ_1$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 145, строки 39—40: «ритмичными ударами» вместо «ритмическими ударами» (по тем же источникам).

Стр. 148, строка 2: «В голубом блеске» вместо «В глубоком блеске» (по тем же источникам).

Стр. 150, строка 28: «краденую кисею» вместо «красную кисею» (по *ПТ*).

Стр. 152, строка 9: «Шакро насвистывает» вместо «Шакро насвистывал» (по *ПТ*, *ДЧ*$_1$, *Зн*$_{1-9}$).

Рассказ написан в 1894 г. в Нижнем Новгороде, где Горький поселился после возвращения из Тифлиса. Это — второй рассказ Горького, напечатанный в «Самарской газете». Сам писатель запамятовал время написания и публикации и датировал его 1896 г. Эту дату он назвал в письме к Д. Д. Протопопову (начало 1900 г.). Эта же дата стояла во всех публикациях рассказа в издании «Знания». Ее проставил сам Горький и под текстом, выправленным для *К* (Архив А. М. Горького, ХПГ-44-11).

В воспоминаниях О. Ф. Ивиной-Лошаковой рассказывается, как, где и когда был написан «Мой спутник». Однажды «за чайным столом» Горький вспоминал о своем путешествии в Тифлис, а «потом стал рассказывать, какой уже ближе к Тифлису попался ему спутник». По настоянию О. Ю. Каминской «Горький тотчас записал этот рассказ почти дословно» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-2-2).

Нижегородский знакомый Горького Ф. В. Смирнов в своих мемуарных записях также упоминает о «Моем спутнике», высказав предположение, что до «Самарской газеты» автор пытался напечатать его в «Русских ведомостях». «Как-то вечером,— рассказывает Смирнов,— я сидел у Пешкова и переписывал ему набело для отсылки в редакцию рукопись нового рассказа 〈. . .〉 „Мой спутник“, который Алексей Максимович отослал, кажется, в „Русские ведомости“ и который не был там напечатан» (Архив А. М. Горького, МоГ-12-39).

«Мой спутник» носит автобиографический характер. В апреле 1891 г., «почувствовав себя не на своем месте среди интеллигенции», будущий писатель отправился из Нижнего Новгорода в странствие по Руси. Отдельные эпизоды этого путешествия запечатлены в рассказах «Макар Чудра», «Емельян Пиляй», «Два босяка», «На соли», «Вывод», «Старуха Изергиль». Из Бессарабии — через Аккерман, Одессу, Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Тамань, Черноморье, Кубань, Терскую область — по Военно-Грузинской дороге Горький пришел в ноябре 1891 г. в Тифлис. Путь из Одессы до Тифлиса он прошел с неким Цулукидзе, который и послужил прототипом князя Шакро в рассказе «Мой спутник».

Старый друг писателя А. М. Калюжный вспоминал: «О спутнике своем, с которым прошел путь от Одессы до Тифлиса, Пешков подробно не рассказывал, это не занимало его. Мысль передать дорожные впечатления в рассказе „Мой спутник“, видимо, созрела позднее. Про эпизод с полицейским участком, где его

приняли за бродягу ⟨этот эпизод сохранился только в первой публикации⟩, рассказывал охотнее» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-9-1).

В воспоминаниях Н. Кара-Мурзы читаем: «В рассказах „Спутник" и „Ошибка" он воспроизводит свои переживания в Тифлисе» (там же, МоГ-5-6-1). Об этом же вспоминает И. А. Каспэ, передавая слова Горького, который отметил, что «этот приключенческий рассказ взят им из действительной его жизни» (там же, МоГ-6-17-1).

В письме к В. Ф. Боцяновскому (сентябрь 1900 г.) Горький писал: «Если Вас интересуют данные биографического характера — Вы можете почерпнуть их в таких рассказах, как „Мой спутник", „Однажды осенью", „Дело с застежками" и т. д.» (*Г-30*, т. 28, стр. 129). О том, что в «Моем спутнике» запечатлено одно из его «бесчисленных приключений», Горький писал И. Е. Репину еще в 1899 г. (там же, стр. 101). Об этом же говорит его сообщение И. А. Груздеву (*Архив ГХ*I, стр. 108).

Драгоценным свидетельством является письмо Горького К. П. Пятницкому от 26 октября 1903 г.:

«Посылаю очень интересный документ, полученный мною сегодня, 26-го октября, в день одиннадцатой годовщины моего писательства.

Пишет — Шакро, „Мой спутник". Сохраните это письмо — оно всё же подтверждает тот факт, что я не очень много вру» (*Г-30*, т. 28, стр. 292).

История письма, о котором говорит Горький, любопытна. В конце 1903 г. газета «Цнобис пурцели» («Вестник знания») напечатала в своем приложении грузинский перевод рассказа Горького «Мой спутник». Вскоре в редакцию явился «настоящий спутник» Горького, служивший кондуктором на Закавказской железной дороге. Подтвердив в основном правильность описанных событий в рассказе, он пытался реабилитировать себя в некоторых неблаговидных поступках. Его объяснения были опубликованы в той же газете 24 октября 1903 г. за подписью «С-дзе» (настоящая его фамилия Цулукидзе). 30 октября тифлисская газета «Новое обозрение», выходившая на русском языке, перепечатала материал «С-дзе» в фельетоне «Спутник Максима Горького». В фельетоне сообщалось, что «С-дзе» показалось обидным «то обстоятельство, что писатель Максим Горький, воспользовавшись обстоятельствами их путешествия как сюжетом для своего рассказа, нашел нужным отступить от истины и притом в сторону отрицательной обрисовки личности своего спутника. Как это Алексей Пешков мог позволить Максиму Горькому превратить своего товарища по тяжелому путешествию в существо бессердечное, наглое, несправедливое, жадное и неблагородное, каковым является в рассказе этот Шакро Птадзе?» И особенно показалось ему обидным обвинение в нарушении торжественного обещания заботиться о своем верном и внимательном друге, приютить его в Тифлисе («Новое обозрение», 1903, № 6551, 30 октября).

Письмо С-дзе было полностью перепечатано также в «Одесском листке» и заканчивалось так:

«На другой день направились в Тифлис: было еще рано, когда с Вэра спустились к Тифлису. Стыдно было мне в таком виде проходить по Тифлису: могли встретиться знакомые.

Подождали до вечера. Перешли через Вэрийский мост и направились к вокзалу. Здесь в железнодорожных мастерских служил мой дальний родственник слесарем. Направились к нему. Сначала меня не узнал: я и Пешков похожи были на настоящих чертей; давно мы не стриглись, да и лохмотья наши слишком истрепались.

Наконец меня узнали, и нас хорошо приняли: накормили и дали платье мне и Пешкову,— даже отправили нас в баню» («Одесский листок», 1903, № 282, 2 ноября).

Об этом «интересном документе» Горький и писал Пятницкому. Сопоставление объяснений С-дзе с рассказом Горького позволяет глубже раскрыть творческий замысел «Моего спутника», характер обобщений, принципы типизации не только в этом произведении, но и вообще в раннем творчестве Горького. Сам писатель настойчиво подчеркивал обобщающее значение образа Шакро. В 20-х годах он писал К. Чуковскому: «Князь Шакро — мой, *ваш*, *наш* спутник. Я не идеолог его, а враг» («Молодая гвардия», 1938, № 6, стр. 55).

Горький испытывал колебания относительно рассказа при включении его в собрание своих сочинений. В письме С. П. Дороватовскому от 12 февраля 1899 г. он спрашивал: «Что Вы скажете о „Моем спутнике“ — годится это? Я очень прошу Вас решить вопрос о III томе с Владимиром 〈Поссе〉, он гораздо лучше, чем я, может посоветовать Вам что-нибудь» (*Г-30*, т. 28, стр. 62). В мае того же года он писал своему издателю: «„Мой спутник“ — забраковали Вы? Ничего не имею против» (там же, стр. 79). Но в конце концов было все-таки решено включить рассказ в третий том «Очерков и рассказов» (там же, стр. 81).

После первой газетной публикации Горький неоднократно правил и редактировал «Мой спутник», усиливая идейное звучание, шлифуя стиль и язык рассказа (см. варианты).

В Архиве А. М. Горького хранится следующая запись писателя о рассказе «Мой спутник», датированная 1919 годом:

«[Этот рассказ был написан двадцать три года назад.] Много пережил я с той поры. И множество спутников, подобных Шакро, прошло рядом со мною по различным путям, сбивая меня иногда с моей [прямой] дороги. Я не жалуюсь на них, не осуждаю себя. Но каждый раз, когда на шею мне садился тот или иной человек, которого надо было куда-то вынести, я нес его, насколько хватало сил и охоты, нес [и] вспоминал Шакро — первого спутника моего — и повторял про себя старую думу о нем:

„Это — спутник мой. Я могу его бросить, но мне не уйти от него, ибо имя ему — легион. Это спутник всей жизни, он до гроба пойдет со мной...“» (Архив А. М. Горького, ХПГ-38-9-1).

Первые отклики на рассказ «Мой спутник», как и на большинство ранних произведений Горького, появились в печати после издания «Очерков и рассказов». Л. В. Средин в связи с выходом в свет III тома *ДЧ* писал автору 23 декабря 1899 г. из Ялты: «Пишите, как писали до сих пор в лучших своих вещах, и всё будет хорошо и полезно, и нужно. Но, ради Христа, не сбивайтесь на поучение ‹. . .› Из книжки очень одобрили „Спутника“ и „Дружков“, хорош и „Проходимец“...» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-10-22-1).

Высоко оценил «Моего спутника» А. П. Чехов в письме Горькому от 2 января 1900 г. (тоже из Ялты): «Писал ли я Вам, что мне очень понравился в Вашем третьем томе „Мой спутник“? Это такой же сплы, как „В степи“. Я бы на Вашем месте из трех томов выбрал лучшие вещи, издал бы их в одном рублевом томе — и это было бы нечто в самом деле замечательное по силе и стройности» (*Г и Чехов*, стр. 60). И ему же в письме от 3 февраля 1900 г.: «Вам надо больше видеть, больше знать, шире знать. Воображение у Вас цепкое, ухватистое, но оно у Вас как больная печка, которой не дают достаточно дров. Это чувствуется вообще да и в отдельности в рассказах; в рассказе Вы даете двстри фигуры, но эти фигуры стоят особнячком, вне массы; видно, что фигуры сии живут в Вашем воображении, но только фигуры, масса же не схвачена. Исключаю из сего Ваши крымские вещи (например, „Мой спутник“), где кроме фигур чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом, всё» (там же, стр. 66).

Не только самому Горькому Чехов так лестно писал о «Моем спутнике». Через несколько недель после цитированного выше письма Чехов писал М. О. Меньшикову: «Что Вы думаете о Горьком? Это очень талантливый человек. Сужу так не по „Фоме Гордееве“, а по небольшим повестям, например „В степи“, „Мой спутник“» (там же, стр. 185). Высокое мнение о «Моем спутнике» было у Чехова устойчивым. 26 февраля 1903 г. он писал А. И. Сумбатову-Южину: «Я согласен с тобой, о Горьком судить трудно, приходится разбираться в массе того, что пишется и говорится о нем. Пьесы его „На дне“ я не видел и плохо знаком с ней, но уже таких рассказов, как, например, „Мой спутник“ или „Челкаш“, для меня достаточно, чтобы считать его писателем далеко не маленьким» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-16-40-1).

В ответ на высокую оценку рассказа Чеховым Горький писал ему 5 января 1900 г.: «...решительно не согласен с тем, что „Спутник“ — хороший рассказ. Так ли нужно было написать на эту тему!» (*Г-30*, т. 28, стр. 113). Еще раньше, в письме к И. Е. Репину от 23 ноября 1899 г. он с сожалением заметил, что рассказ неудачен. «Это жаль,— писал он,— хорошая тема. Большой писатель мог бы сделать из нее классическую вещь» (там же, стр. 101). Письмо это интересно еще тем, что в нем автор объясняет замысел рассказа. Говоря о «Моем спутнике», «Однажды осенью», «Дружках», он пишет: «То, что должно бы звучать во всех этих вещах, есть только чувство возмущения и

обиды за человека. Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — всё. Он создал даже бога» (там же).

Со временем Горький изменил свое отношение к «Моему спутнику», включив его в 1919 г. в книгу избранных рассказов (*Грж*). Глубокая оценка рассказа была дана автором в 1913 г. В письме к И. И. Лебединову Горький, резко критикуя анархоиндивидуалистические настроения адресата, отрицающего государство, общество, общественное служение, утверждал:

«В свое время эти мысли я слышал в кабаках, ночлежных домах, но я никогда не был сторонником их, они всегда были органически противны мне.

Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелести эгоизма в очерке „Мой спутник". В соединении с жульнической философией „Проходимца", Луки и Маркуши в „Кожемякине" этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит, — снедающую нас болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-23-15).

Сущность и значение рассказа «Мой спутник» раскрыты самим Горьким также в очерке «Лев Толстой». Здесь приводится и оценка Толстого. Беседуя с Толстым в 1902 г., Горький сказал, что «любит людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием». На это Толстой, как вспоминал Горький, ответил: «А насилие — главное зло! 〈. . .〉 Вот у вас „Мой спутник" — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано» (*Г-30*, т. 14, стр. 295).

Толстому «Мой спутник» понравился, несмотря на то, что замысел и философское содержание произведения противоречили его воззрениям. Но когда Горький, обнажая идейный пафос рассказа, заметил: «...доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных „спутников" наших — всё строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде»,— Толстой, «усмехнувшись», нашел эти выводы «очень, очень опасными».

Современная Горькому буржуазная критика не смогла объективно оценить рассказ. Одним из примеров такой критики может служить статья М. О. Меньшикова «Красивый цинизм» (1900). Меньшиков хотя и признаёт рассказ «Мой спутник» интересным, не видит, однако, в его герое ничего нового по сравнению с босяками из других рассказов Горького. По утверждению критика, снова проповедуется «нравственный цинизм», «ницшеанский культ сильного человека», не признающего «новой морали», «заветов Христа». В «Моем спутнике», пишет Меньшиков, «опять выводится бессовестная натура — в лице князя Шакро». «Проведена тонкая параллель между альтруистом и эгоистом, причем первый — просвещенный и гуманный — оказывается в глупом положении работника у человека дикого и тупого, но твердо убежденного в своем праве быть барином». И далее: «Чему же, однако, научил автора этот грузинский барин? По-видимому, только тому, как глупо быть добрым, как глупо приносить жертвы ближнему. Это, видите ли,— „старая мораль", *мудрость жизни*, в противоположность „новой", записанной будто только в фолиантах, морали узкой и неглубокой. В противоположность писа-

телям-народникам шестидесятых годов, которые искали человека в звере, г. Горький тщательно ищет зверя в человеке и, найдя его, странно как-то и грустно торжествует. Если зверь красив, силен, молод, бесстрашен — все симпатии автора на его стороне. Видимо, сам г. Горький сердцем еще привязан к морали новой, к завстам Христа, но уже готов считать их заблуждением, книжным отрицанием закона, более жестокого, но действительного...» («Книжки „Недели“», 1900, № 9, стр. 232—234).

Если в изображении Меньшикова Горький выступает защитником жестокости, учащим «только тому, как глупо быть добрым, как глупо приносить жертвы ближнему», то другой критик, напротив, объявляет писателя «апостолом любви к ближнему». Так истолковал рассказ Иван Странник (псевдоним писательницы А. М. Аничкиной). В очерке о Горьком, написанном на французском языке в Париже, она убеждает: «Другой бродяга, который, без сомнения, представляет самого Горького, в одной из повестей возвышается до самой высшей точки любви к ближнему 〈. . .〉 В этой странной повести он 〈Горький〉 представляется нам как бы апостолом или мучеником любви к ближнему» (И в а н С т р а н н и к. Максим Горький. Критико-биографический этюд. Перевод с французского, 1903, стр. 37—38).

По существу в таком же плане писал о «Моем спутнике» и А. Басаргин (А. И. Введенский), рецензируя III том «Очерков и рассказов» («Московские ведомости», 1900, № 117, 29 апреля).

Дореволюционная марксистская и прогрессивная критика отвергала взгляд на Горького и как на певца «зверя в человеке» и как на «мученика любви к ближнему».

В. В. Воровский писал в 1910 г.: «Если вы распределите на две серии рассказы М. Горького: с одной стороны — те, в которых преобладает гордое, дерзкое, смелое, с другой — те, где изображено доброе, мягкое, человечное,— только тогда вы получите ясное впечатление о самом авторе. В авторской психологии явно преобладают эти гуманные черты, и если их так плохо подметила читающая интеллигенция, увлекшаяся „демоничностью“ босяков, то это потому, что они слишком близки и знакомы ей, а те, другие, слишком заманчиво новы и ярки. „Зачем же мне направлять человека по другому пути,— спрашивает чабан в рассказе „Мой спутник“,— уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, еще встретимся, так уже знакомы будем. Часом, помочь друг другу придется“.— „Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали“,— прибавляет от себя рассказчик, за которым чувствуется сам автор. Эта жизненная мораль гораздо роднее М. Горькому, чем та вычурная, полубутафорская, антиобщественная мораль Челкашей, которой так увлекались наши доморощенные сверхчеловеки и которую пытались они навязать автору» (*Воровский*, стр. 259).

II

О МАЛЕНЬКОЙ ФЕЕ И МОЛОДОМ ЧАБАНЕ

(Стр. 155)

Впервые с искажениями напечатано в «Самарской газете», 1895, №№ 98, 100, 105, 106, 107 — с 11 по 24 мая.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись произведения (ХПГ-40-5-1), а также часть гранок «Самарской газеты» (ХПГ-40-5-2), которая дала возможность исправить дефект газетного текста, повторявшийся во всех перепечатках сказки: при верстке была перепутана последовательность газетных полос, в результате чего текст искажен. В настоящем издании сказка впервые печатается в исправленном виде.

Печатается по тексту газеты.

Сказка написана в 1892 г., не позднее 21 сентября, в Тифлисе (*ЛЖТ*$_1$, стр. 87). «„Рыбак и фея“,— сообщал Горький И. А. Груздеву 23 марта 1927 г.,— очень юношеское произведение,— 90—91 гг., полагаю. Было показано Короленко и забраковано им „за нессимистический взгляд на любовь“» (*Архив Г* XI, стр. 108). В основе произведения лежит фольклорный материал: песни и легенды, которые слышал Горький от старой народной певицы в валашской деревне, куда он попал, скитаясь по Бессарабии в 1891 г. По материалу сказка тесно связана с рассказом «Старуха Изергиль».

Летом 1894 г. Горький показал оба эти произведения В. Г. Короленко. Прочитав их, Короленко послал Горькому записку: «Приходите вечером поговорить» (*Г и Короленко*, стр. 26). Вот как Горький пересказал впоследствии этот разговор:

«— Ну-с,— начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему,— прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской,— я бы сказал барышне: „Недурно, а все-таки выходите замуж!“ Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории 〈. . .〉

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны...» (*Г-30*, т. 15, стр. 36—37; см. также *Г и Короленко*, стр. 122).

Стихотворный отрывок «В лесу над рекой жила фея...» (стр. 162) в 1902 г. был выделен Горьким из сказки и переработан в «Легенду о Марко», выпущенную отдельным изданием в 1906 г. (*ДБЗ*, № 1). Перерабатывая песню, Горький существенно изменил текст и добавил последнее, широко известное четверостишие (см. в т. V настоящего издания примечания к «Легенде о Марко»).

Полностью сказку «О маленькой фее и молодом чабане» Горький никогда не перепечатывал и относился к ней довольно сурово. 29 ноября 1906 г. он писал И. П. Ладыжникову, намеревавшемуся включить произведение в один из томов собрания сочинений: «Сказку о фее прочитал — очень глупая вещь! Подождите, я, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, сумею переделать ее» (*Архив Г* VII, стр. 149).

Большинство дореволюционных критиков увидело в сказке «О маленькой фее...» только романтическую историю любви. Так, критик «Самарского вестника» Сфинкс писал: «„Она", трепеща (sic!), „простирает к нему уста, вся охваченная страстью, страдая от стыда, страха, боли" и пр. в том же сладкоелейном духе ⟨. . .⟩ „Самарская газета" давно славится своим „романтизмом" и склонностью ко всяким видам „пламенной любви" и вряд ли выбьется из этой „психолого-клубничной" философии на арену борьбы с общественным злом, о котором она некогда рассуждала. В заключение не могу не посоветовать свирепому Иегудиилу Хламиде принять участие в этом вакхическом канкане...» («Самарский вестник», 1895, № 166, 4 августа).

Сказка «О маленькой фее...» пользовалась довольно большой популярностью благодаря «Легенде о Марко».

В. В. Воровский писал, что герои типа Марко, чабана, Радды и Зобара пробуждали «те смелые, сильные, свободные чувства и мысли, которые неизбежно сопутствуют всякому революционному перевороту, без которых психологически немыслима сама революция» (*Воровский*, стр. 257—258).

В 1905 г. был запрещен царской цензурой сборник рассказов М. Горького в переводе на французский язык («L'annonciateur de la tempête». Traduit et précédé d'une étude sur Maxim Gorky, sa vie son oeuvre par E. Semenoff. Edition II, Paris, 1905). Среди других произведений («Песня о Буревестнике», «Весенние мелодии», «Хан и его сын») в сборник входила и «Валашская легенда». В накаленной обстановке революционных лет сказка о фее показалась «крамольной», ибо утверждала веру в человека и его разум, воспевала неистребимую жажду свободы.

НА СОЛИ

(Стр. 189)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 18, 22 января, и № 21, 26 января.

Печатается по тексту газеты с исправлением: «кучкам соли» *(стр. 193, строка 12)* вместо «кучкам сала».

Рассказ носит автобиографический характер: летом 1891 г. будущий писатель работал на соляных промыслах Днепровского лимана (около Очакова).

Написан в 1893 г. не позднее лета, примерно в то же время, что и «Емельян Пиляй», «Граф Нелепо и все тут»; в июне 1893 г. все три рассказа уже находились в редакции газеты «Русские ведомости». Из трех рассказов напечатан был один — «Емельян Пиляй».

После появления в газете «Емельяна Пиляя» Горький долго ждал опубликования двух других рассказов. Однако в газете они не появлялись. Тогда Горький прибег к содействию В. Г. Короленко.

«Голубчик Михаил Алексеевич,— писал Короленко 14 ноября 1893 г. члену редакции М. А. Саблину.— У вас в редакции „Русск⟨их⟩ вед⟨омостей⟩" имеются 2—3 рассказа Максима Горького. Один из них, „Пиляй", уже был напечатан, об остальных сказано, что пойдут тоже. Но вот уже несколько месяцев прошло, а рассказы не появляются, хотя, по-видимому, у вас не особенное богатство беллетристики. Автор — наш нижегородец,— и я буду тебе весьма благодарен за скорую справку и ответ: когда именно появятся эти рассказы. Пожалуйста» (*Г и Короленко*, стр. 201—202).

Саблин ответил: «Дорогой друг, из уважения к твоей просьбе я не поверил товарищам, утверждавшим, что два рассказа Горького невозможно напечатать. Прочитал, а теперь позволь тебе ответить, прочитай сам, в особенности рекомендую тебе рассказ „Граф Нелепо и все тут", а затем реши, можно ли напечатать ⟨. . .⟩ в этих рассказах я, по крайней мере, ничего не мог найти, даже логики нет. Сомневаюсь, чтобы Соболевский их принял. Тут какое-то недоразумение...» (там же, стр. 225—226).

25 ноября 1893 г., получив письмо от Саблина, Короленко писал своему брату И. Г. Короленко:

«Бедняга Пешков! Мне приходится его сильно огорчить. Я написал по его просьбе Саблину письмо с вопросом, почему так долго не печатают его рассказы, уже принятые редакцией, и в ответ получил, что рассказы не приняты и не могли быть приняты за негодностью. Самые рассказы мне возвращены — и Саблин требует, чтобы я прочел их, сдаваясь на мой суд. Один — „Граф Нелепо и все тут" (!) — произведение нелепое в высокой степени, хотя и задуманное оригинально [1]. Другой — „На соли"—

---

[1] Содержание этого, оставшегося неизвестным, рассказа передает в своих воспоминаниях Т. А. Богданович: «Героем его был бывший человек, закинутый превратностями своей судьбы в среду одесских босяков. Он жил с ними в пустом сарае за городом, ничего не рассказывал им о своей прошлой судьбе и вообще держался особняком. Несмотря на это, он пользовался неогра-

недурной очерк, пострадавший, очевидно, из-за нелепого графа. Как бы то ни было,— бедняга, кажется, писал тебе об исходатайствовании аванса, а тут такая неожиданность!.. Был он у меня — выглядит плохо, желт и бледен. Съест его очень скоро эта литература, тем более, что разные дамы и барышни уже успели напоить его ядом преувеличенных ожиданий и похвал 〈. . .〉 „Граф Нелепо" написан и с внешней и с внутренней стороны небрежно, неряшливо, так, как мог бы отправить в редакцию рассказ — человек, уверенный, что его всякая строка чуть не перл, не подлежащий сомнениям. Дня три назад у меня с ним был дружеский разговор — и я говорил с ним откровенно (еще не зная о неудаче в „Р. Вед."), указывая на то, что ему предстоит гораздо более еще труда, чем успехов и известности. Он, кажется, понял, но зло уже сделано, и теперь бедняге будет очень больно» (там же, стр. 202—203).

В тот же день, 25 ноября 1893 г., Короленко отправил Горькому следующую записку:

«Голубчик Алексей Максимович.

Неприятное известие из „Русских ведомостей". Забегите на досуге — потолкуем. Если еще не отослали в „Русское богатство",— то занесите рукопись ко мне, посоветуемся. Ум хорошо, а два лучше» (там же, стр. 25).

Видимо, после беседы с Короленко автор навсегда отказался от мысли печатать «Графа Нелепо». Что же касается рассказа «На соли», положительно оцененного Короленко, то он был опубликован и привлек к себе внимание читателей. Об этом вспоминала сотрудничавшая вместе с Горьким в «Самарской газете» учительница Е. А. Буланина (Архив А. М. Горького, МоГ-2-6-1).

ничным влиянием на них. Когда между ними возникала ссора или завязывалась драка, стоило „Графу" показаться в дверях сарая и посмотреть им в глаза, как самые неукротимые вмиг затихали, и драка прекращалась». «Чем кончался этот рассказ,— пишет Богданович,— я теперь не могу вспомнить. Очевидно, сам Горький не придавал ему значения, так как впоследствии нигде не печатал. Но на меня, я помню, он произвел большое впечатление» (*Г и Короленко*, стр. 226). Можно, однако, полагать, что этим рассказом или его вариацией была «презанятная история», рассказанная Горьким в кругу самарских друзей, о чем писал в своих воспоминаниях А. А. Смирнов (А. Треплев): «Он 〈Горький〉 и Ашешов,— вспоминал Смирнов,— на наших литературных вечерах состязались в остроумии. Алексей же Максимович был неисчерпаем в своих увлекательных рассказах о том, что видел в своих скитаниях, а может быть, и о том, чего он никогда и не видал 〈. . .〉 Так, однажды у Ашешова он покорил слушателей презанятной историей, героем которой был какой-то загадочный человек, именовавший себя: „Граф Никто и все тут". Я думаю, что таинственный граф Никто был сам рассказчик, и жалею, что не записал по свежей памяти этот интересный рассказ, быть может забытый потом и самим автором» (*В С*, стр. 103).

Тем не менее, рассказ «затерялся» в газете. Лишь в 1927 г. о нем вспомнил советский писатель и редактор библиотеки «Огонька» Е. Д. Зозуля. 28 марта 1927 г. он обратился к Горькому за разрешением переиздать как этот, так и некоторые другие ранние рассказы писателя (см. *Архив Гх*, кн. 2, стр. 114—115).

3 апреля того же года Горький ответил: «По вопросу об издании старых рассказов моих обратитесь, Ефим Давидович, к заведующему делишками моими Петру Петровичу Крючкову» (там же, стр. 115).

Рассказы напечатаны не были.

МЕСТЬ

(Стр. 202)

Впервые с цензурными изъятиями напечатано в газете «Волжский вестник» (Казань), 1893, №№ 211, 212, 214 — с 18 по 21 августа.

Печатается по тексту газеты с восстановлением цензурных изъятий.

В газете текст опубликован без трех следующих фраз (стр. 203): «Не мешай мне, господи!»; «Ты видел всё это и не мешал никому! Не мешай же и теперь мне, господи!» Цензорский экземпляр был обнаружен после смерти Горького в казанском архиве (см. Е. А. Колесникова. К вопросу об истории ранних произведений Горького. «Ученые записки Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина», 1951, т. III, кн. 3).

Как видно из письма Горького С. П. Дороватовскому от 18 октября 1898 г., первоначально предполагалось включить «Месть» в III том $ДЧ_1$. «Б⟨ыть⟩ м⟨ожет⟩, в третьей книжке,— писал Горький,— будет меньше „красот“ — в ней будет больше содержания. При сем посылаю Вам транспорт: „Варенька Олесова“, „Самоубийст⟨во⟩“, „Месть“...» (*Г-30*, т. 28, стр. 33). Позднее, в 1899 г., Горький, повторяя названия произведений, которые он хочет включить в III том, уже не упоминает «Месть» (см. там же, стр. 81). В вышедшем из печати в октябре 1899 г. III томе $ДЧ_1$ этого рассказа нет.

РАЗГОВОР ПО ДУШЕ

(Стр. 217)

Впервые, с цензурными исправлениями, напечатано в газете «Волжский вестник» (Казань), 1893, № 233, 12 сентября.

В Архиве А. М. Горького сохранилась черновая рукопись рассказа с большим количеством исправлений, вычерков, вставок и несколько вариантов концовки — спора между Пороком и Добродетелью (ХПГ-44-3-1).

Печатается по тексту «Волжского вестника» с полным восстановлением цензурных изъятий.

В мемуарном очерке «В. Г. Короленко» Горький вспоминал историю публикации рассказа в «Волжском вестнике» (см. примечания к рассказу «О Чиже...», стр. 516).

«Разговор по душе» относится к циклу произведений, в которых Горький решал волновавший его вопрос о назначении литературы и о которых позже отозвался как о «весьма сумбурных» (см. подробнее там же). В письме Н. В. Яковлеву от 25 октября 1934 г. он высказывался еще более резко: «„О Чиже", „О редько", „О добродетелях и пороках" ⟨так Горький называет „Разговор по душе"⟩ и еще какие-то штучки в этом роде я в 93—4 гг. писал охотно, написал их не мало, но литературного значения не придавал им, и почти все они потерялись» (*Г-30*, т. 30, стр. 363—364).

«Разговор по душе» — связующее звено между рассказами «О Чиже...» и «Читатель». Основная его идея выражена в конце рассказа. Обличая современную ему действительность и мелких, ничтожных, вырождающихся людей, писатель внушает читателю «необходимость для жизни поступков цельных, крупных и дело жизни оживляющих».

После смерти автора был найден цензурный экземпляр «Волжского вестника» (хранится в научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина).

В нем сделано 14 исправлений, в число которых входят исключение или замена как целых предложений, так и отдельных фраз и слов.

Стр. 217, строка 20. *Вместо слов:* под ними захлебывались — *цензор написал:* виднелись.

Стр. 217, строки 26—31. *Вычеркнуты слова:* созерцала и, *а также текст:* втихомолку искренно ∽ она незаметно.

Стр. 218, строка 8. *Вместо:* К чёрту — *цензор написал:* Что нам.

Стр. 219, строка 24. *Вычеркнуты слова:* немного уже ветхой.

Стр. 221, строки 8—9. *Вместо слов:* с ним произошло ∽ веско заговорил — *цензор написал:* и нетерпеливо перебил ее.

Стр. 221, строка 41. *Вычеркнут текст:* Вы хотите сострадания? Но ведь ∽ такое сострадание!..

Стр. 222, строки 7—9. *Вместо слов:* измельчали, утратились ∽ действительно существующее...— *цензор написал:* сделались не так рельефны.

Стр. 222, строки 37—39. *Вычеркнута фраза:* Где блаженный Августин ∽ свое страстное сердце?

Стр. 224, строка 24. *Вычеркнуты слова:* степенях и.

Стр. 224, строка 32. *Вычеркнуты слова:* а откровение.

Стр. 225, строки 15—16. *Вычеркнута фраза:* Весь земной шар обратится в один грандиозный свинятник и наконец успокоится!

Стр. 226, строки 4—5. *Вычеркнуты слова:* у вас классически глупо и шаблонно!..

Стр. 226, строка 37. *Вместо слов:* истязать и насиловать — *цензор написал:* поносить.

Стр. 227, строки 11—12. *Вычеркнуты слова:* и ее физиономия была гораздо глупее, чем когда-либо.

С т р. 222. *...где мой Нерон? Где Калигула? Где Борджиа?!! Где маркиз де Сад? — Нерон* (37—68), римский император (54—68); с его ведома были убиты его мать, брат, жена, воспитатель — римский философ и политический деятель Сенека. *Калигула* Гай Цезарь (12—41) — римский император (37—41); стремясь к неограниченной власти, требовал себе божеских почестей; прихоти его часто приобретали извращенные и нелепые формы (намеревался сделать консулом своего любимого коня). *Борджиа* — отец (Александр VI, 1431—1503, римский папа) и его сын (Чезаре, 1476—1507), стремясь к подчинению Италии своей власти, широко применяли подкуп, убийства, отравления. *Маркиз де Сад* (Донасьен Альфонс-Франсуа, граф де Сад, 1740 — 1814) — французский писатель, романам которого свойственно описание жестокости, соединенной с развратом. Это извращение — садизм — названо по его имени. Сам он неоднократно привлекался к суду за насилие, отравление, находился в тюремном заключении. Умер душевнобольным.

С т р. 222. *...где великий гражданин Брут? Где справедливый Аристид? Где блаженный Августин?..— Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — глава республиканского заговора в Риме против Юлия Цезаря и участник его убийства. Впоследствии образ Брута как борца за республику, против тирании, идеализировался. *Аристид* (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец умеренно демократического течения; в представлении греческих консервативных писателей — образец справедливого государственного деятеля. *Августин Аврелий* (354—430) — см. стр. 537.

НИЩЕНКА

(Стр. 228)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1893, №№ 259, 261, 263 — с 31 октября по 5 ноября. Этим рассказом начиналась печатавшаяся в «Волгаре» осенью — зимой 1893—1894 гг. серия «Маленькие истории». В этой же серии были помещены рассказы: «Исключительный факт», «Сон Коли», «Убежал», «Пробуждение».

Печатается по тексту газеты «Волгарь».

Рассказ «Нищенка» написан в 1893 г. и был первым, если не считать перепечатки «Макара Чудры» из газеты «Кавказ», выступлением Горького в нижегородской газете «Волгарь». В редакционном примечании при публикации рассказа «Макар Чудра» сообщалось: «Прибавим, что автор обещал нам свое сотрудничество» («Волгарь», 1893, № 254, 26 октября). Действительно, в день перепечатки «Макара Чудры» «Волгарем» Горький писал фактическому редактору газеты А. А. Дробыш-Дробышевскому:

«Посылаю Вам с Ф. В. ⟨Смирновым⟩ этот маленький рассказ и прошу Вас — если найдете возможным и удобным — напечатать его поскорее» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-30-1).

Очевидно, этим «маленьким рассказом» и была «Нищенка», через несколько дней появившаяся в «Волгаре».

«Нищенка», как и остальные рассказы из серии «Маленькие истории», развивает реалистическую линию раннего творчества Горького и противостоит фальшиво-сентиментальному изображению жизни «отверженных», которое было свойственно, например, святочным рассказам с их идиллическими концовками.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ

(Стр. 244)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1893, № 279, 24 ноября, и № 281, 26 ноября, в серии «Маленькие истории».

Печатается по тексту газеты.

Написано под впечатлением похорон писателя и общественного деятеля А. С. Гацисского (1838—1893). Похороны его состоялись 29 апреля 1893 г. Вспоминая об этом периоде своей жизни в Нижнем Новгороде, Горький рассказывал: «В этом году я начал печатать маленькие рассказы в газетах и однажды, под влиянием смерти крупного культурного деятеля, нижегородца А. С. Гацисского, написал какой-то фантазерский рассказ о том, что над могилой интеллигента мужики благодарно оценивают его жизнь». И далее Горький пишет об оценке рассказа, данной В. Г. Короленко: «Встретив меня на улице, В. Г. сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать!» (*Г-30*, т. 14, стр. 244).

«Рассказ — плохой»,— признавал и сам Горький в письме 25 февраля 1928 г. племяннику Гацисского, К. Д. Александрову («Горьковская коммуна», 1934, № 248, 27 октября). Из письма видно также, что Гацисского лично Горький не знал, а «знал только по его культурной работе».

Культурная работа Гацисского была очень многогранной и плодотворной. Начав литературную деятельность в «Искре» В. С. Курочкина («Из записок офицера», 1859), он на протяжении десятилетий активно совмещал работу в печати с работой на общественном поприще. Он принимал деятельное участие в «Нижегородских губернских ведомостях» (1862 г.), «Нижегородском ярмарочном листке» (с 1863 г.) и особенно в прогрессивной «Камско-Волжской газете» (с 1872 г.), заслужив за свою неустанную работу имя «пионера провинциальной печати». Особенно много занимался Гацисский изучением экономики, быта, археологии Нижегородского края, создав ряд ценных работ, большая часть которых помещена в издававшемся им «Нижегородском сборнике»

(10 томов, 1867—1891). Им же написаны книги: «Нижегородский театр 1798—1867 гг.» (1867); «Нижегородский летописец» (1886); «Люди нижегородского Поволжья. Биографические очерки» (1887).

СОН КОЛИ

(Стр. 255)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1893, №№ 290, 294, 297 — с 8 по 16 декабря, в серии «Маленькие истории».

Печатается по тексту газеты.

В Архиве А. М. Горького хранится газетная вырезка из «Волгаря» с авторскими пометами (ХПГ-46-8-1). Правки в тексте нет, к заглавию добавлено примечание: «Нет, да погибнет мораль!». Помимо того, на стр. 17 подчеркнуты слова «замучить за то, что имела терпение прожить с вами восемь лет, и теперь, подарив вам лучшие силы моего духа и тела, я люблю другого...», «В вас нет поэзии, силы, размаха, вы пятетичны и смешны!..» На стр. 18 отчеркнуты карандашом два абзаца — от слов: «Вы жалкий, жалкий!» до «Идите... Идите!..» Рядом, на полях, рукой Горького написано: «Ура!» Эти пометы свидетельствуют о том, что Горький косвенно отразил в рассказе свои личные переживания, относящиеся ко времени жизни с О. Ю. Каминской (1893 г.).

Рассказ автобиографичен. Он вырос из части «Изложения фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Там тоже говорится о мальчике, который видел сон, «один из тех ласкающих душу красивых снов, которые никогда не забываются». Мальчик этот — Алеша Пешков. Мать утром приказывает ему забыть сон; «...она сидит у моей кровати и покойна, сурова, как всегда. Я лежу и думаю, глядя на нее и вспоминая сон.

— Ну что, проснулся? — спрашивает мать. Я утвердительно и печально киваю головой. — Расскажи мне, что ты видел во сне? — спрашивает она и внимательно, строго смотрит мне в глаза. Я рассказываю.

— Ну вот что, Леня, этот сон не нужно говорить никому другому — ни бабушке, никому! Потому что видеть такие сны грех.

Я спрашиваю, почему грех. Она объясняет длинно и скучно. Я же, ничего не понимая, одеваюсь...» (см. в этом томе, стр. 454, 457).

«Сон Коли» кончается описанием семейной ссоры. Здесь повествование почти освобождено от личных элементов и служит развенчанию буржуазно-мещанских понятий о браке.

Рассказ написан в Нижнем Новгороде. Дату его создания помогает установить следующее сопоставление: «Изложение фактов и дум...» датировано 5 апреля 1893 г., а рассказ «Сон Коли» начал печататься в «Волгаре» 8 декабря 1893 г. Следовательно,

он был написан за время, истекшее между этими двумя числами, скорее всего осенью 1893 г.

Вспоминая свою «семейную» жизнь в «поповой бане», Горький писал впоследствии в рассказе «Вечер у Шамова»: «Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы и убежден, что печатать их — не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину. Но — печатаю. Надобно есть» (*Г-30*, т. 11, стр. 241).

Газету «Волгарь» издавал нижегородский купец С. И. Жуков — по определению Горького, «дрянненький и малограмотный человечек, во всем послушный губернатору Н. М. Баранову» (*Архив Г* XI, стр. 98). Все рассказы Горького, напечатанные в «Волгаре», носят следы спешной работы. Горький всегда отзывался о них очень сурово. 23 октября 1926 г. он писал Груздеву: «В 93-м г. я много печатал рассказов — плохих — в „Волгаре", дрянненькой газете, которую именовали „Волдырем"» (там же, стр. 365).

С т р. 263. *Лоти* — Пьер Лоти (1850—1923), французский беллетрист; Горькому принадлежит сочувственный отзыв о его романе «Мой брат Ив» (*Г-30*, т. 30, стр. 287).

УБЕЖАЛ

(Стр. 270)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1893, №№ 303, 307, 309 — с 23 по 31 декабря, в серии «Маленькие истории».

Печатается по тексту газеты.

ПРОБУЖДЕНИЕ

(Стр. 286)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1894, № 29, 6 февраля, в серии «Маленькие истории».

Печатается по тексту газеты.

Рассказ, по-видимому, был написан осенью 1893 г. и первоначально носил название «Булавка». 26 октября 1893 г. Горький писал редактору «Волгаря» А. А. Дробыш-Дробышевскому: «...что касается „Булавки" — так мне, видите ли, очень бы хотелось видеть ее напечатанной — несмотря на ее недостатки, которые я сознаю. Я думаю, что когда Вы дадите возможность мне познакомить с собой здешнюю публику — она примет от меня и булавку без гримас» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-30-1). Редактор внял просьбе автора: осенью 1893 г. в «Волгаре» печатались другие рассказы Горького, а в феврале 1894 г. дошла очередь до «Булавки», опубликованной под заглавием «Пробуждение».

В рассказе Горький по-своему использует образы и мотивы «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского. Герой Достоевского рисует перед проституткой Лизой такие же заманчивые сцены семейной жизни, как и герой рассказа Горького. Но если Достоевский, полемизируя с Н. А. Некрасовым, иронически обыгрывая его строки: «И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди», заставляет своего героя в душе издеваться над женщиной, вымещая на ней свою обиду, то Горького мало интересует вопрос об искренности героя, он даже делает его в какой-то мере порядочным человеком; его возмущает бессмысленность и жестокость сентиментальных разговоров о семейном счастье, не способных изменить положение продающейся в силу социальных условий женщины. Не смирение и кротость свойственны выброшенной «на улицу» женщине, а негодование, протест,— она мстит, как умеет, за свою загубленную жизнь.

Прекрасным комментарием к рассказу может служить высказывание самого Горького в лекциях, прочитанных в Каприйской школе:

«Большая часть наших писателей в своих произведениях касалась проституции 〈. . .〉 множество людей брали проститутку и, показывая нам ее милой, кроткой, чуткой девушкой, как бы говорили нам: „Смотрите-ка, продажная женщина, а сохранила в себе лучшие человеческие свойства!“ 〈. . .〉

И читатели восхищались:

— Браво, он и в проститутке человека открыл! 〈. . .〉

И всем казалось, что в жизни создалось некое новое лицо, что воплотились новые отношения.

Но — это иллюзия, это — самообман.

〈. . .〉 проститутка в массе своей существо не кроткое, не доброе и не чуткое — это существо грубое, злое и пьяное, изображать ее в ином виде — значит стараться скрыть от себя грязное и позорное дело, забросав его цветочками выдумок, бумажными цветочками» (*Архив Г*I, стр. 266).

ГОРЕМЫКА ПАВЕЛ

(Стр. 293)

Впервые напечатано в газете «Волгарь» (Н. Новгород), 1894, №№ 80, 82, 83, 85, 88, 90, 92, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 121, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152— с 8 апреля по 6 июля.

Печатается по тексту газеты со следующими исправлениями (по смыслу):

Стр. 294, строка 17: «под забором» вместо «над забором».

Стр. 309, строки 22—23: «вздел на голову» вместо «вдел на голову».

Стр. 354, строка 13: «прохожим» вместо «прихожим».

Стр. 374, строка 22: «жизнь проходить» вместо «жизнь проходит».

Стр. 381, строка 27: «Вы оправились» вместо «Вы отправились».

Стр. 391, строка 27: «...по мне» вместо «...но мне».

Стр. 413, строка 30: «по своей вине» вместо «по своей воле».

7 ноября 1910 г. старый знакомый Горького, врач и общественный деятель В. Н. Золотницкий (1853—1930) сообщил писателю, что в среде его нижегородских знакомых возникла мысль об издании с благотворительной целью сборника ранних произведений Горького. Говоря об этих произведениях, он писал: «Среди них много прекрасных, художественно написанных, остающихся совсем неизвестными для большинства публики. Нам пришла мысль попросить у Вас позволения собрать и издать их отдельной книжкой 〈. . .〉 А. А. Дробышевский указывал еще на большой Ваш рассказ или повесть „Горемыка Павел", тоже до сих пор Вами не использованный; между тем, по его мнению, он прекрасно написан и вполне заслуживает, при небольшой обработке, переиздания отдельной книжкой. Этого большого рассказа мы, конечно, не будем у Вас и просить...» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-14-1).

Отвечая Золотницкому, Горький писал:

«...я совершенно позабыл свои старые рассказы, и мне необходимо видеть их для того, чтобы я мог решить вопрос, поставленный Вами. Если Вы и другие, заинтересованные в издании этих рассказов члены общества, поможете мне собрать сии древности вавилонские — буду очень благодарен Вам за помощь.

Хорошо бы также достать и „Горемыку", если не ошибаюсь — он печатался в 93 году. Попросите С. И. Жукова дать комплект „Волгаря" того года и отдайте напечатать мой рассказ на машинке, может быть, он окажется более подходящим для цели, преследуемой обществом...» (там же, ПГ-рл-16-27-1).

В письме И. А. Груздеву Горький, говоря о своем сотрудничестве в газете «Волгарь», писал 23 октября 1926 г.: «Там была помещена даже повесть, которую редактор А. А. Дробыш-Дробышевский, человек не умный и сентиментальный, нелепо озаглавил — „Горемыка Павел"». На вопрос Груздева писатель в другой раз ответил: «Названия — моего названия — „Горемыки Павла" не помню» (*Архив ГХ*I, стр. 98 и 365).

В 1930 г. директор Нижегородского литературного музея им. А. М. Горького А. И. Елисеев в письме от 8 августа сообщал, что он работает над изучением повести «Горемыка Павел», и спрашивал: «Извините любопытство мое, но не мог ли бы я узнать Ваше мнение относительно этой Вашей первой крупной литературной работы и почему она для читателя Ваших произведений остается неизвестной, будучи не переиздаваемой. Только ли ее художественная слабость (а этого отрицать нельзя) послужила причиной Вашего отказа от включения ее в отдельные издания? Если это не затруднит Вас — ответьте» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-26-4).

Горький ответил 18 августа 1930 г.: «„Горемыка Павел" — вещь действительно очень плохая, писал я ее с голода и „наспех".

Затем ее портили в две руки: редактор „Волгаря" А. А. Дробыш-Дробышевский, человек тупой, самовлюбленный и упрямый, вычеркнул из повести фигуру повара, которая проходила с начала повести до конца, а затем черкал цензор. Включать эту вещь в мои книги — нет смысла» (там же, ПГ-рл-14-9-1).

В Архиве А. М. Горького сохранилась машинопись повести «Горемыка Павел» (ХПГ-7-3), представляющая собой перепечатку из «Волгаря», с надписью на первом листе рукой Золотницкого: «№№ „Волгаря" за 1894 г.» Первые 22 страницы (всего в машинописи 112 стр.) содержат авторскую правку чернилами и синим карандашом. И машинопись и горьковская правка сделаны по старой орфографии. Получив от Золотницкого машинопись, Горький, видимо, начал работу над ней (по свидетельству специалистов из Архива А. М. Горького, писатель переходит на новую орфографию с весны 1919 г.).

Изменения текста обильны на первых четырех страницах машинописи, в дальнейшем они распределяются неравномерно, но становятся более редкими, некоторые страницы не правились совсем. Последняя поправка сделана на стр. 22. Дальше никаких поправок и пометок в тексте нет.

Характер внесенных изменений дает основание предполагать, что Горького не удовлетворял стиль повести: многоречивая, обстоятельная манера изложения длинными фразами сложной конструкции и ироническая интонация, особенно четко выраженная в авторских отступлениях. Эти отступления содержат неверные и претенциозные рассуждения о жизни и людях. В смягченной форме ирония звучит и в сюжетном повествовании о героях — рассказ о подкинутом ребенке ведется в приподнятом тоне, причем «младенцу Павлу» приписываются переживания, явно несоответствующие его возрасту.

Отличие стиля повести от той формы повествования, которую автор предпочел бы через 15—20 лет, отчетливо выступает в изменении текста на первой странице: два больших начальных абзаца Горький заменил одной фразой, излагающей событие — завязку повести — предельно кратко и четко. На второй странице мы видим тоже большой вычерк — исключено ироническое рассуждение автора.

На следующих страницах правка не столь решительна. Сокращаются подробности, вычеркиваются повторы, лишние предлоги и союзы. Устраняются формулировки, придающие иронический «высокий стиль» повествованию — в частности, выражение «младенец Павел» теряет то первую, то вторую часть свою, а иногда полностью заменяется. В ряде случаев исключаются иностранные слова — «эпический тон», «маневр», наименование рваных пеленок костюмом, уподобление ребенка «истому фаталисту» (см. варианты).

«Горемыкой Павлом» Горький начал ряд своих «романов воспитания» — повествований о формировании человека в общественных условиях того времени. Павел — предшественник

Ильи Лунева, Наталья — Веры из романа «Трое». Главный герой повести так же, как Фома Гордеев и Илья Лунев,— человек «темной души», но интересный тем, что он упорно и беззаветно хочет понять, как надо «строить жизнь».

ОБ ОДНОМ ПОЭТЕ

(Стр. 421)

Впервые, с большими цензурными изъятиями, напечатано в «Волжском вестнике» (Казань), 1894, № 163, 29 июня.

В Архиве А. М. Горького хранится вырезанный из газеты текст с авторской правкой чернилами и синим карандашом (ХПГ-42-2-1). Правка, по-видимому, сделана для третьего тома $ДЧ_2$, однако рассказ в это издание не вошел.

Печатается по тексту газетной вырезки, правленной автором, с восстановлением цензурных изъятий.

Рассказ написан, вероятно, в 1893 г.: вместе с «Местью», «Разговором по душе», «Мудрой редькой» он был отправлен автором Н. В. Рейнгардту в редакцию «Волжского вестника». По содержанию он примыкает к этим произведениям (см. выше примечания к произведению «О Чиже...»).

Е. Г. Бушканец разыскал в казанском архиве цензорские гранки рассказа. Цензор А. М. Осипов, просматривая текст перед публикацией в «Волжском вестнике», заменил в первой фразе слова «от голода» словами «от нужды», а также сделал следующие изъятия (выделенное курсивом зачеркнуто цензором):

Стр. 421, строки 16—17: грязной, *животно* радующейся тому, что с неба так много падает на ее спину солнца.

Стр. 422, строки 5—6: потому что *жесток и сух* был этот шум.

Стр. 423, строки 5—7: цвета нежные, яркие, возбуждающие радость *святого духа жизни и увеличивающие мощь и славу его.*

Стр. 424, строка 11: И жажда жизни исчезает. *И нет святого подвига.*

Стр. 424, строки 14—19: жаждут пристать к чему-либо *Как коралловые острова — бесчувственны и сильны эти люди, хотя моллюски создали их, те моллюски, о которых они позабыли в гордыне своей силой. Я хочу обновить жизнь. Я хочу указать зависимость всех от каждого и родство всех со всеми.*

Стр. 425, строки 5—7: толкали вперед. *Пусть будет буря чувств и жажда истинной жизни дойдет до бешенства.*

Стр. 425, строки 19—32: как удары. *Их нужно бить; от этого у них будет тоньше кожа, тверже мускулы.* О, поверь, оскорбления они скорее поймут, чем ласки, они так изощряются, оскорбляя самих себя и друг друга!.. *Только страх погонит их вперед.* Но они, эти люди, имеют *проклятую* способность привыкать ко всему, и тот, кто любит их, не должен забывать об этом. *Да, они умеют привыкать ∽ но непременно иным.*

Стр. 425, строки 37—41: не будут бояться тебя. *Нет пощады*

тому, кто сам не знает пощады! Но можно простить его, когда он раскается.

— Это страшно! — сказал мой поэт. У него было нежное сердце.

Стр. 426, строки 1—2: — Это так. *Нужно бить рабов — может быть, они озлятся и будут гражданами.*

Стр. 426, строки 4—5: и все-таки остался *груб, грязен и глуп*, как и в детстве.

Стр. 426, строка 7: прогнать его сквозь *строй* огненных упреков.

Стр. 426, строки 26—40: потому, что они низки душой. *То, чему мы больше всего служим ∽ даже и тогда, когда ты честен.* («Вопросы советской литературы», т. III, М.—Л., 1956, стр. 529—530).

Горький, по-видимому, просматривал текст после правки цензора недостаточно внимательно. Так, в «Волжском вестнике» появилась опечатка: «прогнать его сквозь огненных упреков». Цензор выбросил слово «строй», а Горький ничем не заменил пробела. Лишь впоследствии, готовя текст рассказа для *ДЧ*, он вписал слово «терния». Купюры цензора Горький не имел возможности восстановить. Взяв за основу текст «Волжского вестника», он изменил лишь несколько мест. При этом была усилена ироническая интонация по отношению к поэту. После слов «он умер оттого, что был не по-человечески честен» (стр. 427, строки 18—19), Горький дописал: «и — сын своего века — слаб сердцем». Как и в позднейших редакциях рассказа «О Чиже, который лгал...», Горький в данном случае подчеркнул слабость утопических взглядов героя.

Радикальной переработке подвергся конец рассказа. Автор выбросил (после фразы: «А жизнь засорена и без его помощи» — там же, строка 29) следующее рассуждение, внутренне перекликающееся с теорией «морального самоусовершенствования»: «Он же, если он хочет очистить ее от хлама, прежде всего пусть очистит свою душу от честолюбия, пусть очистит свой ум от зависимости времени, которое зыблется и исчезает, тогда как идеалы незыблемы и вечны, пусть сознает себя и свой путь и только тогда уже пусть осмелится сказать свое слово. Оно должно быть кратко, просто, искренно и горячо, как огонь». Ниже, после следующей фразы, вычеркнуто: «Кто знает, где и в чем истина?»

Рассказ представляет собой развернутую декларацию идейно-эстетических принципов молодого Горького. В основе его лежит мысль о высоком назначении искусства и ответственности писателя перед людьми. Рассказ автобиографичен. Вспоминая период жизни в Нижнем Новгороде, Горький писал: «... я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения» (*Г-30*, т. 15, стр. 113). А в очерке «Время Короленко» пояснил: «Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта...» (там же, стр. 27). Под влиянием этих мыслей и написан рассказ «Об одном поэте».

С т р. 423. ...*великий Вольфганг*...— Гёте. В 1890-е годы возродился романтический культ Гёте, творчество которого зарождающееся направление символизма пыталось приспособить к своей поэтической программе.

С т р. 426. ...*трудно быть более сильным, чем Джонатан Свифт.* — Позднее в «Заметках о мещанстве» Горький писал: «Мещане — лилипуты, народ — Гулливер, но если его запутать всеми нитками лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, он должен будет потратить лишнее время для того, чтобы порвать эти нитки» (*Г-30*, т. 23, стр. 366).

III

СТИХОТВОРЕНИЯ М. ГОРЬКОГО

Стихи — неотъемлемая часть творческого наследия Горького. Им созданы такие шедевры мировой революционной поэзии XX столетия, как «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». Он написал много оригинальных произведений, в которых проза свободно и естественно переходит в стихи, а стихи в прозу («Макар Чудра», «О маленькой фее и молодом чабане», «О Чиже, который лгал...», «Человек»). Горький проявляет себя в различных поэтических формах: поэме («Девушка и Смерть»), балладе («Баллада о графине Эллен де Курси...»), песне. «...я пишу стихи каждый день»,— признавался он Вс. Иванову в 1933 г. (Вс. Иванов. Встречи с Горьким. М., 1947, стр. 74).

Многие прозаические и драматургические произведения писателя насыщены стихами. Их диапазон необычайно широк: от стихов фольклорного характера (например, сказки и былины бабушки Акулины Ивановны в «Детстве») до едких пародий на декадентскую поэзию (например, «поэзы» Евстигнея Закивакина-Смертяшкина в «Русских сказках»). Об этом оригинальном способе приложения своего поэтического таланта Горький писал в письме Г. А. Вяткину от 12 января 1935 г., отвечая на предложение об издании сборника своих стихов: «...верно, я — грешен, стихи писал, и не мало писал, и всегда очень дубовато. Понимая сие и будучи правоверным прозаиком, я уничтожал их, печатал же в молодости лет — по легкомыслию, а позднее — лишь в случаях крайней необходимости и когда мог оклеветать кого-либо из героев, будто бы это его, а не мои стихи. Но всё же написано их так много, что иногда они откуда-то выскакивают, а издатели меня убеждают напечатать то или иное» (*Г-30*, т. 30, стр. 369).

Стихами открывается творческая биография Горького. В повести «Детство» он вспоминает о своем раннем приобщении к поэзии и первых стихотворных опытах: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я и думал в формах

ее стихов» (там же, т. 13, стр. 266; см. также стр. 135). В повести «В людях» тоже встречаем свидетельство неослабевающей тяги Алеши Пешкова к поэзии: «...я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими» (там же, стр. 449).

Об «упражнениях» в стихосложении Алеши Пешкова рассказывал и друг его юности И. А. Картиковский, с которым будущий писатель встречался в 1882—1884 годах: «Все наши прогулки Максимыч воспевал в стихах. Таких поэм у меня было порядочное количество, но, к сожалению, вместе со всеми письмами Максимыча мне пришлось их сжечь уже в Казани, когда я, будучи студентом, ожидал у себя обыска» (сб. «М. Горький на родине». Горьковское областное издательство, 1937, стр. 24).

О том, что многие события своей жизни Горький в ту пору запечатлевал в стихах, говорит и он сам в «Моих университетах». Так, вызвало стихи посещение дома умалишенных, сильно взволновавшее Горького: «Ночью я писал стихи о маньяке, называя его „владыкой всех владык, другом и советником бога", и долго образ его жил со мною, мешая мне жить» (*Г-30*, т. 13, стр. 555). Нередко выливалось в стихи и глубоко переживаемое Пешковым чувство отчужденности от окружавших его интеллигентов-народников: «Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

„Вы — не то, чем хотите казаться"» (там же, стр. 563).

В очерке «О вреде философии» Горький рассказал интересный случай, связанный с его наклонностью к стихотворству. Адвокат А. И. Ланин, у которого он некоторое время служил письмоводителем, однажды в переписанных бумагах обнаружил стихи. «Я взял из его рук жалобу,— замечает в связи с этим Горький,— и прочитал в тексте ее четко написанное четверостишие 〈. . .〉 Для меня эти стихи были такой же неожиданностью, как и для патрона, я смотрел на них и почти не верил, что это написано мною» (там же, т. 15, стр. 61).

В 80-х годах и непосредственно накануне первого выступления в печати Горький не переставал писать стихи. «Себя лично я вижу в ту пору фантазером, стихотворцем...» — вспоминал Горький о начале 90-х годов (*Архив Г* XI, стр. 26).

В очерке «Время Короленко» упоминается о целой тетради стихов, очевидно, относившихся к концу 80-х годов: «...Вышел я из Царицына в мае 〈. . .〉 В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах „Песнь старого дуба"»

(*Г-30*, т. 15, стр. 5—6). В очерке «Н. Е. Каронин-Петропавловский» Горький сообщает, что стихи потерял «в дороге между Москвой и Нижним», но некоторые из них были прочитаны Каронину по памяти: «Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка: „Грозно реют огненные крылья...“

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— Прочитайте, у него лучше...

И почти шёпотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?» (там же, т. 10, стр. 294).

В «Беседах о ремесле» Горький рассказывает о тетради своих записок казанской поры, возвращенной ему в годы советской власти одним знакомым, бывшим студентом духовной академии: «Тетрадка неинтересная, сплошь наполнена выписками из разных книг, топорными попытками писать стихи и описанием — в прозе — рассвета на „Устье“, на берегу Волги, у слияния с нею реки Казанки» (там же, т. 25, стр. 350—351).

Наконец, сохранились сведения о тифлисском периоде поэтического творчества и целых тетрадях стихов Горького конца 1891 и 1892 годов (см. об этом подробнее ниже, в примечаниях к стихотворению «Живу я на Вере...»).

Рассказывая о себе в статье «О том, как я учился писать», Горький видит именно в стихах и устных рассказах первые формы проявления своего влечения к художественному творчеству:

«В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, „босяки“, плотники, железнодорожные рабочие, „странники по святым местам“ и вообще люди, среди которых я жил 〈. . .〉 Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить всё, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб „разгрузиться“ 〈. . .〉 Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где

работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда Предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи писал я легко, но видел, что они — отвратительны, и презирал себя за неуменье, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов» (там же, т. 24, стр. 487—488).

Суровые и авторитетные суждения В. Г. Короленко о юношеской поэме «Песнь старого дуба» и стихах заставили Горького по-новому отнестись к своим опытам:

«Короленко,— свидетельствует он,— первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело ⟨. . .⟩ Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи, карандашом, острым почерком написано:

„По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.“. ⟨. . .⟩ Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-голландку и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о „пережитом“?

Всё, написанное в поэме, я пережил...» (там же, т. 15, стр. 16).

При всем подчас явном несовершенстве первых стихотворных опытов Горького, они ценны именно как отражение «пережитого», фактов жизни и духовной биографии писателя. По собственному позднейшему признанию автора, он говорил в них «своими словами»: «Я чувствовал, что они ⟨стихи⟩ тяжелы, резки,

но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей» (там же, т. 13, стр. 556).

Значимость ранних, иногда случайно сохранившихся стихотворений определяется и тем, что они, находясь у самых первоначал творчества писателя, позволяют в известной степени проследить этапы вызревания основных идей и образов последующего творчества Горького.

Среди ранних стихов Горького — гражданские и интимные, сатирические и шутливые. Такие, как «Это дивная рамка была...», «Рассвет», написанные в иронической манере, свидетельствуют об учебе у Гейне. Увлечение поэзией Гейне, несомненно, помогало росту в Горьком «сопротивления окружающей среде», очищению его души от «свинцовых мерзостей жизни».

Первое напечатанное стихотворение Горького — ‹«Стихи на могиле Д. А. Латышевой»› («Волжский вестник», Казань, 1885, № 22, 26 января/7 февраля) — появилось вместе с другими, вызванными тем же событием, за общей подписью «Студент». Большинство же ранних стихотворений при жизни автора не печаталось.

Переписка Горького сохранила отдельные факты обращения писателя к своим более ранним поэтическим опытам в целях их творческого использования. Например, в речи одного из героев пьесы «Дачники» встречается строфа из раннего шуточного стихотворения «На страницы вашего альбома» (см. *Г-30*, т. 28, стр. 304). В «Рассказ Филиппа Васильевича» (т. VI наст. изд.) были введены несколько измененными две строфы из стихотворения «Прощай!», опубликованного в 1895 г. в «Самарской газете».

Неизменное обращение Горького к поэзии на разных этапах писательского пути, ее постоянное использование в образном строе как драматургических, так и прозаических произведений в форме особой стилизации под творчество героев-стихотворцев, несомненно, говорят о важном месте поэзии в творческой лаборатории писателя.

Первым изучение поэзии Горького начал Н. К. Пиксанов. В работах «Горький-стихотворец» («Новый мир», 1932, № 9), «Горький-поэт» (ГИХЛ, Л., 1940) он определил значение лучших образцов революционно-романтической поэзии Горького в русской поэзии начала XX века, поставил вопрос об эволюции поэзии Горького, пародиях и стилизациях, идейной и художественной значимости его поэм и баллад.

«ТОЛЬКО Я БЫЛО ИЗБАВИЛСЯ ОТ БЕД...»

(Стр. 431)

Впервые напечатано в книге: *Г и его время*, стр. 613.

Публикуемый текст — начало стихотворения, которое написано автором весной 1888 г. в ответ на постановление Казанской духовной консистории об отлучении его от церкви за попытку самоубийства (12 декабря 1887 г.) и «дерзкое» отношение к духовному попечительству церковников.

История стихотворения рассказана автором в письме к Груздеву (1929 г., не ранее августа):

«Постановление суда Духовной консистории было сообщено мне через полицию и был указан день, час, когда я должен явиться к протоиерею Малову для того, чтоб выслушать благопоучения, кои он мне благопожелает сделать. Я сказал околоточному надзирателю, что к Малову не пойду, и получил в ответ: „Приведем на веревочке". Эта угроза несколько рассердила меня и, будучи в ту пору настроен саркастически, я написал и послал Малову почтой стихи, которые начинались как-то так:

Попу ли рассуждать о пуле?

Через несколько дней студент Дух⟨овной⟩ академии диакон Карцев сообщил мне, что протопоп стихи мои получил, рассердился и направил их в Дух⟨овную⟩ консисторию и что, вероятно, мне „попадет за них". Но — не попало, и лишь весною, в селе Красновидове, урядник предъявил мне бумагу Дух⟨овной⟩ консистории, в которой значилось, что я отлучен от церкви на семь лет. М. А. Ромась снял с этой бумаги копию, а подлинник, подписанный мною, урядник оставил у себя. Вот после этого мною и написаны были стихиры, Вами присланные, но они у Вас „безначальны". Начало же, если не ошибаюсь, было, приблизительно, еще грубее, а именно таково...»

Затем Горький приводит текст публикуемого отрывка и пишет: «Далее идет характеристика Банарцева, с конца которой и начинается ветхий Ваш манускрипт, писанный, однако же, не моею, а как будто женской рукой. Акушерка, на которую донес поп, носила фамилию, кажется,— Гущина, а не Пущина. Сыроенко — курсистка ак⟨ушерских⟩ курсов. Латышева — дочь торговца колониальными товарами, застрелилась тотчас же после венца, приехав из церкви. Гусев — проф⟨ессор⟩ богослов⟨ия⟩, ректор Дух⟨овной⟩ академии. А Диковина потому с большой буквы, что это — жена домовладельца Дикова, Диковиной прозвали ее за пьянство и скандальное поведение. В доме Дикова

были арестованы Зобнин, Овсянкин» (*Архив Г*XI, стр. 208—209). Продолжение стихотворения, находившееся в письме Груздева к Горькому, не найдено. Груздев сообщает, что стихотворение было известно в среде казанской молодежи (*Г и его время*, стр. 613).

Печатается по автографу письма к Груздеву (ПГ-рл-12-1-66).

«НЕ ВЕЗЕТ ТЕБЕ, АЛЕША!»

(Стр. 432)

Впервые напечатано в книге: *Архив Г*VI, стр. 169.

Датируется предположительно 1888 годом на основании слов «Мне двадцать лет», имеющихся в написанном, по-видимому, одновременно наброске «Постыдно ныть в мои года...»

Печатается по автографу (ХПГ-51-36).

«ПОСТЫДНО НЫТЬ В МОИ ГОДА...»

(Стр. 433)

Впервые напечатано в книге: *Архив Г*VI, стр. 169.

Автограф — черновой набросок без названия, написанный на обрывке почтового листа черными чернилами. Каждая строчка наброска зачеркнута дважды. На обратной стороне листка — стихотворение «Не везет тебе, Алеша!» Датируется предположительно 1888 годом на основании слов: «Мне двадцать лет».

Печатается по автографу (ХПГ-51-36).

«НЕ БРАНИТЕ ВЫ МУЗУ МОЮ...»

(Стр. 434)

Впервые напечатано в книге: *Пиксанов*, стр. 51—52.

Сохранился черновой автограф, написанный на листке из блокнота. На первой странице листка стихотворение «Не браните вы музу мою...», на обороте — «Я плыву, за мною следом...»

Автограф содержит правку черными чернилами, которыми написано всё стихотворение, и синим карандашом. Почерк — молодого Пешкова. Зачеркивания карандашом графически четко отделяют законченный вариант третьей строфы от предварительной работы над ним. Все другие строфы пометок не имеют.

Пиксанов отнес стихотворение к периоду 1892—1895 годов, высказывая, однако, предположение о возможности его написания и в более раннее время.

По содержанию стихотворение может быть отнесено к концу 1880 — началу 1890 годов. Настроения одиночества и отчаяния были свойственны юноше Пешкову именно в этот период. Следует, однако, обратить внимание, что стихотворение, возможно, обращено не просто к читателю, а к старшему собрату по перу: «Не браните вы музу мою ⟨. . .⟩ Относитесь по-дружески к ней

И ко мне, самоучке-поэту». Это позволяет отнести стихотворение к 1889 г. Именно в этом году зимой во время службы на станции Борисоглебск Горький впервые близко познакомился с одним из писателей-современников — В. Я. Старостиным-Маненковым, о чем вспоминал впоследствии в очерке «Н. Е. Каронин-Петропавловский». Общение с писателем-народником не удовлетворяло молодого Горького. В рассказе «Сторож» он воспроизвел один из эпизодов бывшего между ними спора о стихах, который также дает некоторые основания сближать стихотворение «Не браните вы музу мою...» с данным периодом жизни будущего писателя:

«Вот — стихи пишешь ты,— говорил Старостин,— это глупо. Этого — не надо. Надсоном ты не будешь, у тебя не та закваска, у тебя — сердца нет, ты человек грубый. Помни: на стихах Пушкин погубил свой недюжинный талант. Проза — вот настоящая литература, святая, честная проза!» (*Г-30*, т. 15, стр. 78).

Печатается по автографу (ХПГ-51-34).

«Я ПЛЫВУ, ЗА МНОЮ СЛЕДОМ...»

(Стр. 435)

Впервые напечатано в книге: *Пиксанов*, стр. 81—82.

В Архиве А. М. Горького сохранился автограф стихотворения (см. примечание к предыдущему стихотворению). Оно написано на обратной стороне того листка из блокнота, на котором находится стихотворение «Не браните вы музу мою...», и автор пометил его цифрой 2.

Романтическая тема моря сближает стихотворение «Я плыву, за мною следом...» со стихотворением «Прощай!», опубликованным в 1895 г. в «Самарской газете». Это побудило Н. К. Пиксанова отнести его ко времени «около 1894 или 1895 года». Однако еще во многом ученическая разработка романтической темы, ее отвлеченность в стихотворении «Я плыву, за мною следом...», с одной стороны, и черты самостоятельности и оригинальности в стихотворении «Прощай!», с другой,— скорее разделяют, чем сближают их по времени написания.

Стихотворение «Я плыву, за мною следом...», имея общий рукописный источник со стихотворением «Не браните вы музу мою...», перекликается с ним и по содержанию. Это дает основание датировать стихотворение «Я плыву, за мною следом...», как и «Не браните вы музу мою...», 1889 годом.

Печатается по автографу (ХПГ-51-34).

«ЗВУК ЕЕ, ЛАСКАЮЩИЙ И МИЛЫЙ...»

(Стр. 436)

Черновой набросок. Нигде не печатался.

Автограф написан черными чернилами на таком же листке из блокнота, таким же почерком, как и стихотворения «Не

браните вы музу мою...» и «Я плыву, за мною следом...»; объединен с ними общей нумерацией — помечен цифрой 3.

Предположительно датируется 1889 годом.

Печатается по автографу (ХПГ-51-34).

«ТОМУ НА СВЕТЕ ТЯЖЕЛО...»

(Стр. 437)

Впервые напечатано в журнале «Новый мир», 1940, № 8, стр. 194, в статье И. К. Луппола «Горький-поэт».

Черновой автограф стихотворения написан под номером 4 на обратной стороне листка из блокнота, на лицевой стороне которого находится черновой набросок «Звук ее, ласкающий и милый...» Три строфы стихотворения соединены синим карандашом в единое целое.

Стихотворение «Тому на свете тяжело...» близко по содержанию и стилю к стихотворению «Не браните вы музу мою...» Это позволяет предполагать, что оно написано в 1889 г., когда создавалось и второе стихотворение.

Печатается по автографу (ХПГ-51-34).

«НЕТ! ТАМ БЕССИЛЬНА ГОЛОВА...»

(Стр. 438)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Стихотворения. М.—Л., 1963. Автограф представляет собой надпись, сделанную на обратной стороне фотографии, подаренной Горьким М. И. Метлиной, знакомой писателя по Нижнему Новгороду. Тут же — дата: 5 апреля 1891 г.; подпись: Максим⟨ыч⟩.

Печатается по автографу (ХПГ-51-38).

ЮЗГЛЯР

(Стр. 439)

Напечатано в журнале «Красная новь», 1928, № 6, стр. 173—174, в статье К. Злинченко «Из воспоминаний о М. Горьком». Текст не окончен, обрывается на полуфразе.

Печатается по журнальному тексту.

Как сообщал К. П. Злинченко, текст воспроизведен им по копии, снятой (по-видимому, в 1911 г.) с автографа, хранившегося у итальянского социалиста каменщика Луиджи Цапелли. Автограф был подарен Цапелли русской девушкой, имя которой осталось неизвестным. Злинченко рассказывал об автографе и его владельце:

«...Цапелли вынул свой старый засаленный бумажник из простой желтой кожи и, порывшись в нем, нашел грязную пожелтевшую четвертушку и протянул ее мне.

Заинтересованный и умиленный, я развернул бумажку.

Действительно, на изодранной от ветхости бумажке почерком Горького было написано стихотворение под заглавием „Юзгляр".

— Где же вы достали его?

— Дала одна добрая русская девушка... Это старые стихи... написанные еще тогда, когда Горький только начинал писать... с ошибками...

— А вы откуда знаете?.. Ведь они русские...

Оказалось, что уже многие переводили ему эти стихи и на французский и на итальянский языки.

И итальянский рабочий хранит эту большую для него драгоценность ⟨. . .⟩

Уверен, что Горький не рассердится на меня, если я позволю себе привести здесь эти наивные детские, нигде, конечно, не напечатанные стихи.

Всего лишь отрывок.

Цапелли дал мне на это *свое* право» («Красная новь», 1928, № 6, стр. 172—173).

Как пишет Злинченко, текст стихотворения задолго до публикации в журнале «Красная новь» был им напечатан в «одной большевистской газете», название и дату которой он не сообщает. Публикацию эту разыскать не удалось.

Исследователи датируют стихотворение концом 1880-х — началом 1890-х годов. Н. К. Пиксанов пишет: «Можно предполагать, что по объему стихотворение было обширно. Как поэма о „Старом дубе", как сказка о Девушке и Смерти, как баллада о графине, стихотворение о Юзгляре принадлежит к циклу полуэпических, полулирических крупных стихотворных опытов, создававшихся Горьким на грани 80-х и 90-х годов» (*Пиксанов*, стр. 149).

Позднее Горький вновь обратился к легенде о Юзгляре, создав ее прозаический вариант под названием «Немой. Башкирская легенда» (см. в т. III наст. изд.).

«ЖИВУ Я НА ВЕРЕ...»

(Стр. 441)

Двустишие «Живу я на Вере...» и последующие два четверостишия впервые напечатаны в газете «Известия», 1938, № 73, 28 марта, в статье И. А. Груздева «Эпизод».

Двустишие и четверостишия, сюжетно и тематически составляющие единый цикл, написаны все на одной странице тетради и датированы автором.

По словам лиц, знавших Горького, в Тифлисе у него были целые тетради, исписанные стихами. Секретарь редакции газеты «Новое обозрение» в своих воспоминаниях рассказывал со слов редактора газеты «Кавказ», что Горький нередко приносил в редакцию «Кавказа» два-три стихотворения, которые, однако, не печатались, а «складывались в ящик, где накопилась их целая груда» («Вечерняя Москва», 1928, № 77, 31 марта). Е. П. Пеш-

кова в замечаниях к воспоминаниям А. Д. Гриневицкой пишет, что в 1901 г. среди рукописей, возвращенных жандармами Горькому после освобождения из-под ареста, были тетради с его юношескими стихами, которые он хотел уничтожить. Одну тетрадь она спасла, вручив ее Горькому лишь много лет спустя (Архив А. М. Горького, МоГ-3-15-1). Это была именно тифлисская тетрадь. Найденную тетрадь стихов Горькому передали в 1933 году. Просмотрев, автор уничтожил ее, сохранив всего лишь несколько листков. По поводу этого эпизода В. А. Десницкий рассказывал в своих воспоминаниях: «Не любил он хранить и черновые рукописи своих художественных произведений 〈. . .〉 Еще незадолго до смерти он сжег неосторожно переданную ему Екатериной Павловной Пешковой сохранившуюся тетрадку с его юношескими стихами. Я упрекал его в „варварстве“ 〈. . .〉 Алексей Максимович терпеливо слушал „поучение“.

— Не стоит хранить то, что не нужно никому... Не хочу я, чтобы потом писали обо мне всякую чепуху. Обязательно найдется ученый любитель и напишет исследование о стихах М. Горького» (В. Десницкий. А. М. Горький. Очерки жизни и творчества. М., 1959, стр. 174).

Один из листков тифлисской тетради с данным циклом, уже надорванный, но затем склеенный, Горький в августе 1933 г. переслал Груздеву: «...куриоза ради,— писал он,— прилагаю неоспоримо подлинные и постыдные стишки Горького» (*Г-30*, т. 30, стр. 315).

Шутливое двустишие «Живу я на Вере...» связано с поселением Пешкова в Тифлисе на квартире у Я. А. Данько — политического ссыльного, жившего на Хлебной горке, составляющей часть склона горы Мтацминда. Этот район по имени маленькой речушки, впадающей в Куру, называли Вэрийским. Гора Вэра — это по сути дела Хлебная горка. Ради каламбура Горький название «Вэра» пишет через «е». Старая орфография позволяла ему подчеркнуть различный смысл слов, одинаково звучащих: «на Верѣ» и «без вѣры». Двустишие написано черными, а первое четверостишие лиловыми чернилами. О. Ю. Каминская в своих воспоминаниях, хранящихся в Архиве А. М. Горького (МоГ-5-5-1), пишет, что этим же четверостишием начиналось «интересное письмо» в стихах, написанное «всё лиловыми чернилами». Оно было прислано ей с дороги в Баку, куда Горький выехал из Тифлиса в конце сентября. Письмо это не сохранилось. Подъем настроения писателя, отразившийся в шутливой форме в этом четверостишии, вероятно, связан с напечатанием его первого рассказа «Макар Чудра» в газете «Кавказ» (сентябрь 1892 г.) и встречей с Каминской в Тифлисе.

Второе четверостишие, перекликающееся с двустишием по своему минорному звучанию, вновь, как и двустишие, написано черными чернилами. После него рукою Горького написано: «Это хорошо».

Печатается по автографу (ХПГ-52-29).

РАССВЕТ

(Стр. 442)

Впервые напечатано в журнале «Октябрь», 1941, № 6, стр. 17—18.

Стихотворение написано на листке из тетради, точно таком же по качеству и формату, как и листок со стихами «Живу я на Вере...» Это обстоятельство и посвящение стихотворения Н. А. Патаркалашвили позволяют датировать его 1892 годом.

Печатается по беловому автографу, правленному автором (ХПГ-52-7).

«КАК СТРАННИКИ ПО БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ...»

(Стр. 443)

Впервые напечатано в газете «Известия», 1938, № 73, 28 марта, в статье И. А. Груздева «Эпизод».

По предположению Груздева, стихотворение написано Горьким в Тифлисе в 1892 г. и отразило настроения той поры: «... не свои ли двухгодичные странствия вспоминает он в нем, странствия, которые сопровождались тяжкими лишениями и требовали огромного напряжения воли» (*Г и его время*, стр. 693).

Печатается по авторской рукописной копии, вложенной в письмо к Груздеву от начала августа 1933 г. (ПГ-рл-12-1-112). Ранний автограф стихотворения не найден.

«ЭТО ДИВНАЯ РАМКА БЫЛА...»

(Стр. 444)

Впервые напечатано в газете «Известия», 1938, № 73, 28 марта, в статье И. А. Груздева «Эпизод».

Стихотворение из тифлисской тетради писателя. Оно написано на обороте страницы с двустишием «Живу я на Вере...», что позволяет датировать его 1892 годом. Автограф произведения хранится в Архиве А. М. Горького.

В 1933 г. Горький заклеил это стихотворение листком бумаги, восстанавливая разорванную страничку с двустишием «Живу я на Вере...», и оно читалось только на свет. В настоящее время наклеенный лист с автографа снят.

Последние 4 строки стихотворения зачеркнуты синим карандашом — по всей вероятности, самим Горьким.

Стихотворение печатается по автографу (ХПГ-52-29).

«НА СТРАНИЦЫ ВАШЕГО АЛЬБОМА...»

(Стр. 445)

Впервые напечатано в книге: *Архив Г*VI, стр. 170.

Условно стихотворение можно датировать периодом между 1892—1904 гг.

25 или 26 февраля 1904 г. Горький писал Е. П. Пешковой:

«Прошу тебя — возьми из стола тетрадку моих стихов, вырви оттуда листы, на которых написано стихотворение:

На страницы Вашего альбома
Я смотрел в смущении немом...—

и со всеми поправками пришли мне заказным письмом.

Пожалуйста, скорее — мне нужно это для пьесы. Я ее кончил и — начинаю всю писать сначала, с первой до последней строки. Теперь в ней куча стихов» (*Г-30*, т. 28, стр. 304).

Листок из тетради не найден. Сохранилась беловая рукопись, сделанная на половине листа писчей бумаги с частью водяного знака «Original».

В третьем действии пьесы «Дачники» Двоеточие пересказывает первые две строфы этого стихотворения как стихотворения Власа: «А там сейчас господин Чернов всех потешал... славный паренек! 〈. . .〉 Стихи свои всё читал. Попросила его какая-то барыня стихи в альбом ей написать; он, понимаете, и написал. Вы, говорит, смеясь, в глаза мне поглядели, но попал, говорит, мне в сердце этот взор и, увы, вот слишком две недели я, говорит, не сплю, сударыня, с тех пор... понимаете! А дальше...» Его прерывает Марья Львовна: «Не надо, Семен Семенович, дальше... Я знаю эти стихи...» (там же, т. 6, стр. 245).

Печатается по беловому автографу (ХПГ-51-31).

«...ОТВАЖНО ЛЯЖЕТ...»

(Стр. 446)

Впервые напечатано в книге: М. Горький. Стихотворения. М.—Л., 1963, стр. 273.

Печатается по автографу (ХПГ-51-3).

Стихотворение написано в Тифлисе, по-видимому, в 1892 г. Оно содержалось в тифлисской тетради, найденной в 1933 г. (см. примечание к стихотворению «Живу я на Вере...»). Кроме страницы, посланной И. А. Груздеву, из той же тетради сохранился обрывок еще одного листа, содержащий публикуемый текст. Он представляет собой часть стихотворения или поэмы, уничтоженной Горьким.

Строки из публикуемого отрывка в переработанном виде включены автором в аллегорическую сказку «О Чиже, который лгал...» (см. стр. 49 наст. тома). В первоначальном газетном тексте сказки было больше соответствий с публикуемым стихотворением (см. варианты).

〈«И ПРОЧЕЕ ТАКОЕ...»〉. «ВО МРАКЕ ТАИНСТВЕННОЙ НОЧИ...»

(Стр. 448 и 450)

Копии этих стихотворений сделаны рукой Г. М. Туманишвили. Они хранятся в Институте рукописей Академии наук Грузинской ССР. Там же находится черновой экземпляр его письма Горькому. Как видно из письма, стихотворения были получены редакцией «Нового обозрения» еще в 1892 году и предназначались для публикации в газете. Поскольку стихотворения подписаны литературным псевдонимом «Максим Горький», можно полагать, что они написаны и переданы в редакцию не позднее сентября 1892 г., ибо, как известно, впервые под этим псевдонимом Горький выступил с рассказом «Макар Чудра», а в конце сентября 1892 г. покинул Тбилиси (*ЛЖТ*$_1$, стр. 93—94).

В 1903 году Туманишвили, характеризуя первое выступление Горького на литературном поприще, писал:

«Его потянуло к литературе, он стал писать; писал рассказы и даже стихотворения.

Стихотворения он отнес в редакцию „Нового обозрения“, а рассказы в редакцию „Кавказ“. Из всех этих произведений появились в печати только два рассказа, из которых один — знаменитый „Макар Чудра“» («Новое обозрение», 1903, № 6553, 1 ноября).

Стихотворения Горького в «Новом обозрении» не были напечатаны. В 1901 году опубликовать их в той же газете попытался Туманишвили. Он обратился за разрешением к автору.

«Многоуважаемый Алексей Максимович [1],— писал Туманишвили,— позвольте от редакции „Нового обозрения“ и от своего имени выразить Вам глубокое сожаление, во-1-х, по случаю Вашей болезни (если бы Вы приехали на Кавказ, где имеется много прекрасных клинических станций для слабогрудных, то, я уверен, Вы скоро могли бы поправиться); во-2-х, по случаю закрытия „Жизни“, где Вы принимали такое деятельное участие [2].

Теперь позвольте рассказать Вам историю двух Ваших стихотворений, которые при этом посылаю.

Они были переданы в нашу редакцию несколько лет тому назад одним из Ваших знакомых (а может быть, и Вами лично) и по оплошности нашего секретаря не были напечатаны. Разбирая на днях архив редакции, я нашел эти стихотворения. Они

---

[1] В подлиннике описка: «Васильевич».

[2] Туманишвили имел в виду обострение болезни, вызванное арестом Горького и заключением его в тюрьму с 17 апреля по 17 мая 1901 г. Журнал «Жизнь» сначала был приостановлен («Вчерашняя телеграмма,— писал Горький 24—25 мая того же года по этому поводу К. П. Пятницкому,— взбесила до чёртиков». *Архив Г*IV, стр. 21), а затем, 8 июня 1901 г., закрыт постановлением четырех министров.

мне хоть и понравились очень, но не решился я напечатать их без Вашего нового разрешения.

Ввиду того, что Вы были любезны обещать мне прислать что-нибудь для „Нового обозрения“ (это было $1^1/_2$ года назад, в редакции журнала „Жизнь“, где я имел случай познакомиться с Вами), не разрешите ли теперь воспользоваться найденными мною стихотворениями [1]. Гонорар за них редакция может заплатить в размере 50 коп. за строку, или всего 48 рублей. Сумму эту редакция переведет Вам немедленно по получении от Вас ответа.

Ответ Вы можете написать или прямо мне в редакцию „Новое обозрение“, или через г. Калюжного, Вашего хорошего знакомого.

Утвердительным ответом премного обяжете.

Искренне уважающий Вас Г. Туманишвили» (Институт рукописей Академии наук Грузинской ССР. Фонд Г. М. Туманишвили, оп. 243).

Получил ли Горький это письмо — неизвестно. Стихотворения и после этого письма в «Новом обозрении» не публиковались.

Однако, если даже предположить, что Горький получил и письмо Туманишвили и тексты своих стихотворений,— он едва ли дал бы согласие на их публикацию в то время. Такое предположение тем более правомерно, что вариант второго из них был использован в аллегории «О Чиже, который лгал, и о Дятле— любителе истины».

Об этих стихотворениях говорится и в воспоминаниях С. С. Симонова, который был в 1901—1904 гг. секретарем редакции «Нового обозрения», а затем редактором одной из бакинских газет. Симонов утверждал, что в редакции «Нового обозрения» он видел стихотворения Горького (см. «Вечерняя Москва», 1928, № 77, 31 марта).

Печатаются по копиям, сделанным рукою Г. М. Туманишвили (Институт рукописей Академии наук Грузинской ССР. Фонд Г. М. Туманишвили, оп. 243).

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ И ДУМ, ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ОТСОХЛИ ЛУЧШИЕ КУСКИ МОЕГО СЕРДЦА

(Стр. 451)

Впервые напечатано в книге: *Г Чтения*, 1940, стр. 15—28. Печатается по автографу (ХПГ-10-5-2).

[1] «Если, конечно, они еще не попали в полное собрание Ваших сочинений. 3-й том первого издания Ваших сочинений, где помещены Ваши стихотворения, не имеется здесь в продаже. Очевидно, он весь вышел». 〈Г. Туманишвили, по всей вероятности, имеет в виду первое издание «Знания».〉

Хранящаяся в Архиве А. М. Горького беловая рукопись представляет собой тетрадь, из которой вырвано несколько листов, следующих за заглавием. Эпиграфы написаны на обороте заглавного листа. Последняя часть произведения после слова «Стоп!» тематически не связана с повествованием. Она является обращением к некоей Адели, которой автор посвящает свое «Изложение...».

Помимо беловой рукописи, сохранились разрозненные листы черновой редакции, позволяющие судить об истории создания произведения (см. варианты).

«Изложение...» можно считать первой известной автобиографией Горького. Мысль взяться за автобиографию подала писателю Ольга Каминская. Познакомившись с ней в Нижнем Новгороде, будущий писатель стал часто бывать в ее доме.

Он пишет об этом в рассказе «О первой любви»:

«Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя,— предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите!

Я и сам понимаю, что всё, о чем я говорил, еще — не я, а нечто, в чем я слепо заплутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что — я? Меня очень смущал этот вопрос» (*Г-30*, т. 15, стр. 98).

Под влиянием таких мыслей Горький начал писать «Изложение...», взяв одним из эпиграфов к нему фразу из немецкого романа с обращением к Адели. Повествование прерывается словом «*Cmon!*», после которого идет большое рассуждение о жизни, опять-таки адресованное Адели. Здесь Горький иронизирует над мещанскими романами, которые во множестве переводила с немецкого Ольга Каминская. В одном из них была фраза, запомнившаяся Горькому. В «Заметках из дневника» («Учитель чистописания») он писал:

«Прочитал в немецком романе глупую фразу: профессор спрашивает свою невесту:

— Адель, почему вы всегда переговариваете всё, что я вам ни скажу» (там же, стр. 260). Вместе с тем Адель — любимая женщина, к которой обращен рассказ автора о своей жизни. Косвенно в полемике с ней отразились споры Горького с Ольгой Каминской.

Второй эпиграф, видимо, взятый Горьким у Лермонтова («Мцыри»), относится к повествованию о жизни автора. Он выражает те мысли и настроения Горького, которые в 1887 г. привели его к попытке самоубийства. Позднее, в очерке «Жалобы» (1911) Горький писал о самоубийце-адвокате: «Знаете, какие записки должны были бы оставлять самоубийцы? „Вкушая, вкусих мало меда, и се — аз умираю“ — вот простая правда, и так красиво сказана!» (там же, т. 10, стр. 252).

«Изложение...» представляет собой первый эскиз к автобио-

графической повести «Детство». По словам И. П. Ладыжникова, приступая к работе над «Детством» (1912—1913), Горький просил его разыскать тетрадку «давних лет» с первым опытом своей автобиографии. «Тогда эта тетрадка не была найдена,— пишет В. А. Десницкий,— так как хранилась она у К. П. Пятницкого, с которым в те годы у М. Горького отношения были порваны. Найдена она была только после смерти Алексея Максимовича...» (*Г, Материалы*, т. IV, стр. 18).

В работе над повестью «Детство», таким образом, Горький не пользовался «Изложением...». Этим объясняются несовпадения многих эпизодов и их последовательности в произведениях.

В «Изложении...» на первый план выдвинуто личное отношение Горького к событиям. Много внимания уделено раздумьям мальчика о матери, подчеркнуто чувство обиды на нее. Правда, в последних словах рассказа, обращенных к Адели, Горький пишет: «И важны, Адель, не отцы и матери, важны люди, все люди». Здесь пунктиром уже намечена идея повести «Детство», в центре которой — изображение характеров и событий действительности.

«Изложение...» создавалось под впечатлением от чтения «Книги ле Гран» Гейне, которой увлекался Горький в тот период. Этим отчасти объясняется ироническая интонация повествования.

С т р. 451. «*Вкушая, вкусих мало меда, и се — аз умираю*».— Горький ошибочно указывает источник цитаты: «Бытие II». Она содержится в I «Книге царств», гл. XIV, стих 43.

С т р. 451. *1868 года, марта 14-го дня...*— Документально установлено, что Горький родился не 14, а 16 (28) марта 1868 г.

С т р. 451. *...природа, по свойственной ей любви к злым шуткам...*— В начале «Изложения...» чувствуется влияние произведений Помяловского, в частности его «Поречан» и «Очерков бурсы».

С т р. 455. *В комнате много лунного света ∽ когда тебя ласкают.*— Ср. аналогичную картину выше, стр. 255.

С т р. 462. *Там, за баней, была яма...*— Ср. аналогичный текст выше, стр. 351.

БИОГРАФ⟨ИЯ⟩

(Стр. 468)

Впервые напечатано в издании *Г-30*, т. I, стр. 78.

Печатается по черновому автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-3-4-1).

Автограф — черновой, с целым рядом авторских поправок. Заглавия: на л. 1 «I. Биограф», на л. 2 «Био II» — написаны рукой Горького. Текст обрывается на середине фразы: «Я задумался и вышел в сени, разделявшие...» Произведение записано на узких длинных полосках бумаги. В углу каждого листа напечатано: «Сер. Тр. № 48-а». Часть второго листа не сохранилась.

«Биография» написана, по-видимому, в 1893 г. в Нижнем Новгороде, так как непосредственно продолжает «Изложение фактов и дум...», датированное 5 апреля 1893 г. Такая датировка подтверждается воспоминаниями О. Ф. Ивиной-Лошаковой, относящимися к нижегородскому периоду жизни Горького: «Писал тогда Алексей Максимович на узких длинных листках, резал для этого большой лист бумаги пополам в длину и исписывал сплошь, без полей. Нарежет, например, с вечера (я помогала иногда ему делать это) целую груду, высотой сантиметров в десять, и к утру всё испишет» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-2-2). «Биография» написана именно на таких узких полосках бумаги.

«Биография» представляет собой первый набросок повести «В людях», но трактовка событий и их последовательность здесь иные. Это позволяет считать «Биографию» самостоятельным произведением. Изложение событий начинается с возвращения Алеши Пешкова в семью чертежника Сергеева — после больницы. Далее следует описание его службы на пароходе — учеником повара Смурого. По сравнению с повестью, в «Биографии» иначе рассказано о поступлении мальчика на пароход «Добрый».

В «Биографии» совсем не говорится о работе в обувном магазине, о ловле певчих птиц, королеве Марго и т. д. Служба на втором пароходе — «Пермь» — отнесена ко времени после работы в иконописной мастерской Салабанова. Иначе говоря, с повестью «В людях» совпадают только эпизоды жизни на пароходе и в иконописной мастерской. Другие важные этапы пути Горького в «Биографии» не освещаются.

Произведение не окончено. Повествование обрывается на полуфразе. Можно предположить, что дальше, по замыслу автора, должно было следовать описание встречи с «маленькой закройщицей». Об этом свидетельствует фраза, конец которой зачеркнут Горьким: «Я рассчитался и с неделю жил уже у деда, ища места, как однажды, придя из леса, увидел, что в комнату против нашей...»

Портрет очаровательной «маленькой женщины» дан Горьким в начале «Биографии». Возможно, что он тоже является первым описанием «маленькой закройщицы», о встрече с которой автор рассказывает своей собеседнице.

Как и первая часть автобиографии («Изложение фактов и дум...»), «Биография» имеет два плана: рассказ о жизни Горького сменяется лирической исповедью. В «Изложении фактов и дум...» эта исповедь обращена к Адели. Вероятно, она же является собеседницей автора и в «Биографии». Прототипом этого образа частично является О. Ю. Каминская, с которой Горький познакомился в Нижнем Новгороде (см. рассказ «О первой любви»). По просьбе Каминской, Горький много рассказывал о себе, о своей жизни, «как бы исповедуясь» (*Г-30*, т. 15, стр. 104). Эти беседы, по-видимому, натолкнули его на мысль написать свою автобиографию.

Работая над повестью «В людях», в 1913—1914 годах, Горький не имел под руками рукописи «Биографии» (см. примеч. к

«Изложению фактов и дум...»), но в тексте произведений есть сюжетные и даже текстуальные совпадения. Например, повторяется фраза: «Дед торопил меня слезть с его шеи», сходны характеристики мастеровых у Салабанова и т. д.

С т р. 470. *...старый гренадер Потап Андреев...*— Под этим именем выведен старший повар парохода «Добрый» — гвардии отставной унтер-офицер Михаил Антонович Смурый. Горький нанялся на пароход «посудником» весной 1880 г.

С т р. 472. *Ферула* — строгое обращение, тяжелый режим.

С т р. 473. *...приказчик С. Ш. ...*— Подробнее о нем см. в повести «В людях» (*Г-30*, т. 13, стр. 381).

С т р. 473. *...романы Салиаса...*— Салиас де Турнемир Е. А. (1841—1908) — очеркист и писатель, автор исторических романов «Пугачевцы», «Принцесса Володимирская», «Петербургское действо» и др.

С т р. 473. *Мордовцев* Д. Л. (1830—1905) — плодовитый беллетрист; из его романов наиболее известны «Знамения времени» и «Царь и гетман».

С т р. 473. *Генри де Трайль* (1842—1900) — журналист и писатель, автор многотомной «Общественной жизни Англии».

С т р. 473. *... с благородными поступками господ Атоса, Портоса, Арамиса...*— Герои известного романа «Три мушкетера» А. Дюма-отца (1807—1870).

С т р. 473. *...короля Генриха IV...*— В повести «В людях» Горький пишет: «Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот
И вышить сам любил;
Да — если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу...» (там же, т. 13, стр. 378—379).

〈МУДРАЯ РЕДЬКА〉

(Стр. 477)

Впервые напечатано в «Литературной газете», 1946, № 25, 15 июня.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф, без заглавия, со значительной авторской правкой чернилами. Беловая рукопись «Мудрой редьки» не сохранилась.

Публикуется по черновому автографу (ХПГ-38-8-1).

Замысел произведения относится к 1892—1894 годам. Об этом свидетельствуют воспоминания О. Ф. Ивиной-Лошаковой. Рассказывая о жизни Горького в Нижнем Новгороде, она пишет:

«Однажды из какой-то редакции написали, что начало рассказа оригинально, но против идеи рассказа возражают, посоветовали переделать в обратном направлении и, вообще, предложили написать иначе. Алексей Максимович возмутился предложением „написать иначе“ до того, что даже встал во весь рост с письмом в руке и, побледнев до самых губ, сказал с ненавистью и угрозой:

— Я напишу! Я им напишу! Они меня прочитают!

Человек негодовал, но молодой писатель в нем на несколько часов упал духом — кто же, мол, прочтет, если не будут печатать? — и это настроение выразилось у него оригинально; из обложки какого-то журнала он вырезал изображение редьки с пучком зелени, наклеил его, посмеиваясь, на лист плотной бумаги слева, а справа крупно написал стихи, которые тут же сложились:

Мой друг! Не пяль напрасно глаз
На персик и на ананас.
Он не про нас!..
Вот редька пышно разрослась,
Ее бери, она про нас!..

И повесил у своей постели.

На этом и кончилось дурное настроение, и дня не прошло, как он уже с увлечением снова писал» (Архив А. М. Горького, МоГ-5-2-2).

Эти стихи, по-видимому, являются первым наброском к «Мудрой редьке», замысел которой возник у Горького тогда же. 30 сентября 1934 г. Горький сообщил Н. В. Яковлеву: «Первую „сказку“ — „О мудрой редьке“ — написал я в 93 или 4 году, одновременно со сказкой „О Чиже“. Кажется, сказка „О редьке“ не была напечатана по условиям цензурным» (*Г-30*, т. 30, стр. 360).

В ответном письме Яковлев поблагодарил Горького за сведения о сказке. «Было бы крайне важно найти ее рукопись,— писал он,— или корректуру, если она была в наборе. Не хранятся ли они в какой-либо из частей Вашего архива? Если же нет, то не дадите ли Вы указаний, где и при каких обстоятельствах она была задержана цензурой? А впредь до ее нахождения было бы крайне интересно иметь хотя бы ее пересказ» (Архив А. М. Горького, КГ-п-91-5-2).

Отвечая Яковлеву 25 октября 1934 г., Горький попытался вспомнить судьбу произведения. Он писал: «...судьбу сказки „О мудрой редьке“ я плохо помню и даже не уверен: цензура ли запретила ее, или же отказался напечатать редактор „Волжского вестника“ Рейнгардт? А теперь вот смутно вспоминается, что приятель мой Гурий Плетнев писал мне в Самару, что сказка эта будто бы была напечатана. Так как Гурий был корректором в газете Ильяшенко „Каз⟨анские⟩ вести“, возможно, что он, Гурий,— напечатал ее в своей газете,—рукописи я посылал ему. Насколько помню — вещь это ничтожная, а содержание ее приблизительно таково: редька, которой было несколько тесно в грядке,

неосторожно и преждевременно высунулась из земли. Это повело к тому, что она загнила и одновременно у нее явились мысли о тщете всего земного. Затем она отправилась путешествовать по огороду, но — не обрела *в своем огороде* ничего интересного и — кажется — ее съел козел» (*Г-30*, т. 30, стр. 363).

«Мудрую редьку» Горький действительно послал в казанскую газету «Волжский вестник», но напечатана она не была. Горький вспомнил о ней только в 1926 г., по настоятельной просьбе Груздева. 15 октября 1926 г. Груздев писал Горькому: «Вы упоминали в „Былом" о рассказе „Мудрая редька". Я такого рассказа в газетах не нашел. Где он был помещен?» Горький ответил 23 октября: «„Редька", „Месть", „О рыбаке и фее" — потеряны мною вместе с ненапечатанной „поэмой" „Луна, поэт, собака и читатель". Поэму — жалко» (*Архив Г* XI, стр. 87, 365).

Дошедшая до нас черновая рукопись сказки изобилует большим числом поправок. Ее начало не сохранилось. Характер правки свидетельствует о тщательной работе Горького над текстом.

Бóльшая часть изменений касается философских рассуждений редьки. Так, Горький вначале назвал «труд», который собиралась написать редька: «Мир как ошибка и нелепость», сопоставив его с известным трактатом Шопенгауэра «Мир как воля и представление». В других случаях Горький меняет характер рассуждений редьки, иногда уточняя их, иногда дополняя витиевато-туманными философскими терминами. Он стремится передать своеобразие ложно напыщенной высокопарной речи редьки, пародируя фразеологию идеалистических философских сочинений.

Иногда Горький усиливает ироническое звучание фраз, высменивая «мудрую» редьку. Наряду с этим он устраняет то, что имеет личностный оттенок, добиваясь обобщающего смысла. Существенно переработан конец произведения (см. варианты).

«Мудрая редька» представляет собой сатиру на идеалистические философские системы, в частности на книги Ницше, Шопенгауэра, Гартмана. Замысел сказки относится, по-видимому, к 1893 г., когда Горький изучал сочинения «Пессимизм в XIX веке» Е. Каро и «Пессимизм» Сёлли. Их теория сводилась к тому, что пессимизм, как «вывод из размышлений», не типичен для Западной Европы. Горький, полемизируя с Каро, испещрил его книгу пометками (см. «Новый мир», 1938, № 8).

В начале 90-х годов писатель очень внимательно присматривался к модным идеалистическим течениям в философии. А. Е. Богданович вспоминал, как Горький в Нижнем Новгороде показывал ему свою библиотеку. «Затем он достал целый набор сочинений Шопенгауэра: „Мир как воля и представление", „О четверояком корне достаточного основания", „Афоризмы и максимы", 2 тома, в переводе Черниговца. В разговоре выяснилось, что всё это он читал, не исключая и трактата по логике» (А. Богданович. Страницы из жизни М. Горького. Минск, 1965, стр. 20).

В «Беседах о ремесле» есть оценка пресловутой «морали господ», проповедуемой Ницше. «Эта философия человека, который кончил безумием, была подлинной философией „хозяев“,— замечает Горький — <. . .> Я познакомился с нею в 93 году от студентов ярославского лицея, исключенных из него» (*Г-30*, т. 25, стр. 320).

Активная неприязнь к философии пессимизма и страданию послужили толчком для создания сатиры «Мудрая редька». Родной «огород» дает редьке «истину истин» — убеждение в том, что «ценность существования равна нулю». Она видит символ жизни в мрачной картине: дынная корка и около этой корки несколько объевшихся мух. Наблюдая за ними, редька философствует: «деятельность природы бесцельна», «смерть — удел всего живого». Здесь гротескно разоблачено ницшеанство, высмеивается его идейная несостоятельность.

В другом рассуждении редьки («О жизнь! Окруженная тысячами ежемгновенных угроз и опасностей со стороны судьбы...» и т. д.) пародируется известное высказывание Шопенгауэра: «Человек окружен опасностями и всё же существует... Сама жизнь есть море, исполненное скал и водоворотов, которых человек избегает с величайшей осторожностью и заботой, хотя и знает, что если ему и удается, при всем напряжении и искусстве, проскользнуть, он именно тем самым с каждым шагом приближается к величайшему, окончательному, неизбежному и непоправимому кораблекрушению — смерти».

Название «ученого» сочинения, которое собирается писать редька,— «Мир как ошибка и нелепость» — является сатирическим перифразом названия книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Редька признает окружающую действительность непознаваемой, не может установить критерий истинности существующего. Она заявляет, что «жизнь — это только ряд миражей, пллюзий...» Здесь Горький выступает против субъективного идеализма немецких философов, высмеивает агностицизм. Редька, которую он иронически называет «мудрой», обречена на гибель. У нее гнилой корень, а в финале рассказа она попадает под колесо, символизирующее колесо истории.

Борьба Горького с реакционными философскими теориями, утверждавшими идеи социального пессимизма, была очень актуальна. В статье «Разрушение личности», вспоминая конец 80-х годов, он писал: «...все учения находили прозелитов и с поразительною быстротою раскалывали людей на враждебные кружки <. . .> Так же, как и теперь, развивался пессимизм; гимназисты так же искренно сомневались в смысле бытия вселенной, было много самоубийств по случаю „мировой тоски“...» (*Г-30*, т. 24, стр. 55, 56).

От рассуждений «мудрой» редьки тянутся нити к рассказам Горького о мещанах-интеллигентах, к персонажам пьес «Мещане», «Дачники», «На дне» (философия Луки), а также к «Исповеди», «Заметкам о мещанстве», «Русским сказкам», «Жизни Клима Самгина».

О КОМАРАХ

(Стр. 486)

Впервые напечатано в книге: *Архив ГПИ*, стр. 43—44.

Печатается по черновому автографу, хранящемуся в Архиве А. М. Горького (ХПГ-44-3-1).

Автограф — с многочисленными авторскими исправлениями, вычерками, вставками (см. варианты). Текст написан черными чернилами на двух последних листах рукописи, состоящей из 10 двойных листов. На предыдущих листах — черновой автограф рассказа Горького «Разговор по душе» и произведение неустановленного автора, переписанное рукой О. Ю. Каминской. Листы большого формата, линованные, без авторской пагинации, по-видимому, вырванные из конторской книги.

Текст сказки «О комарах» расположен на двух правых половинах двойных листов: на лицевой и оборотной сторонах одного из них и лицевой второго, т. е. на 3 страницах. Текст первой страницы и верхней половины второй, занимаемых сказкой «О комарах», и текст последней, третьей страницы (со слов: «Ароматы гниения мутно-желтым облаком нависли над ним...») как по характеру записи, так и по своему содержанию непосредственно друг к другу не примыкают. Внешне они разделены не имеющей отношения к этому произведению записью, расположенной в конце второй страницы. По содержанию отрывок текста, записанный на третьей странице, также, очевидно, не должен был непосредственно следовать за тем, который записан на второй странице. Об этом говорит употребление местоимения вместо существительного во фразе, начинающей третью страницу: «Ароматы гниения мутно-желтым облаком нависли над *ним*...», в то время как подразумеваемого слова «болото» на предыдущей странице нет.

Текст сказки «О комарах», таким образом, не представляет собой единого целого: он явно делится на две части.

Первые две страницы текста перечеркнуты по диагонали простым карандашом.

На основании даты публикации «Разговора по душе», а также по почерку и бумаге сказку можно отнести к 1893 г.

По содержанию и стилю сказка «О комарах» примыкает к ряду произведений аллегорического характера, написанных Горьким в 1893 г.: «О Чиже, который лгал...», «Мудрая редька», «Разговор по душе».

Сказка направлена против литературного распада: как раз в 1893 г. Д. Мережковский выпустил манифест русских декадентов: «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе». В произведениях Горького встречается и открытое сопоставление декадентщины с назойливым жужжанием комаров. Так, в одной из корреспонденций о Всероссийской выставке говорится, что комары «кружатся около ‹. . .› носа, лезут ‹. . .› в глаза и поют в уши стихи, скучно поют, раздражающе

скучно, монотонно, как настоящие русские декаденты» («Нижегородский листок», 1896, № 160, 12 июня).

Отмечаемое исследователями влияние на Горького сатирических сказок Салтыкова-Щедрина, особенно отчетливое во фрагменте «О комарах», подтверждается свидетельством самого Горького: «Полагаю, что влияние Салтыкова в моих сказках вполне ощутимо...» (*Г-30*, т. 30, стр. 360).

IV

DUBIA

⟨СТИХИ НА МОГИЛЕ Д. А. ЛАТЫШЕВОЙ⟩

(Стр. 491)

Впервые напечатано в газете «Волжский вестник» (Казань), 1885, № 22, 26 января, среди вызванных тем же событием других стихотворений под общим заголовком: «Стихи на могиле Д. А. Латышевой» и с общей подписью «Студент». Это первое из появившихся в печати произведений писателя. В газете датировано 23 января 1885 г.

Текст стихотворения был впервые воспроизведен по памяти А. С. Деренковым во время беседы с сотрудниками казанского Музея А. М. Горького в 1946 г. и до сих пор печатался с его слов.

В настоящем издании печатается по тексту «Волжского вестника».

О самоубийстве Д. А. Латышевой М. Горький писал в «Моих университетах»: «Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам, в подвал, доносятся возбужденные голоса, резкие слова» (*Г-30*, т. 13, стр. 553).

«В МИР НОВЫЙ, МИР ИНОЙ...»

(Стр. 492)

Впервые напечатано в газете «Бакинские известия», 1903, № 13, 16 января, в статье С. А. Вартаньянца «Горький в Тифлисе».

По словам Вартаньянца, пятистишие это — отрывок из монолога, написанного Горьким в то время (1892), когда будущий писатель увлекался поэзией Байрона. «Не раз он (Пешков) звал меня к себе в комнату и с особенным увлечением читал мне „Манфреда“ и „Каина“. Байрон поддерживал в нем уже тлевшийся в груди его дух недовольства настоящим».

Печатается по тексту газеты «Бакинские известия».

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

(Стр. 493—496)

Публикуемые в настоящем томе четыре песни были записаны Горьким в начале 90-х годов в Нижегородской губернии. Познакомившись с исполнительницей народных песен И. П. Яунзем, Горький писал ей 15 июля 1935 г.: «Вот, Ирма Петровна, посылаю Вам обещанные песни. Если понравятся — могу прислать и еще.

Очень хочется, чтоб Вы украсили Ваш богатейший репертуар и русскими старыми песнями...» (*Г-30*, т. 30, стр. 392).

Все песни впервые напечатаны в журнале «Советская музыка», 1947, № 7, стр. 52—53, в воспоминаниях Яунзем. Печатаются по авторизованной машинописи, приложенной Горьким к письму Яунзем от 15 июля 1935 г. (ПГ-рл-58-22-1).

1. «*Середи мово двора...*» В автографе незначительное исправление: Очень [грозный] грозен сам собой.

Записана, как указал Горький на полях автографа, в Самарской губернии в 1895 г. и «явилась, вероятно, до 61 года или вскоре после „освобождения" крестьян». Вариант этой песни см. в «Сборнике песен Самарского края», составленном В. Варенцовым. СПб., 1862, стр. 144.

2. «*Баю, баюшки-баю...*».

Записана в Лукояновском уезде Нижегородской губернии (*ЛЖТ*I, стр. 97—98).

В заметке, предпосланной записи, М. Горький пишет: «Записана в 1893 году, после голода». Мотив песни встречается в фольклоре, отражающем невыносимо тяжелую судьбу народных масс в дореволюционной России. Известна, например, песня «Баю, баю да люли...», записанная в Пермской губернии (см. «Великорус в своих песнях, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном», т. I. СПб., 1900, стр. 10).

3. «*Ой, да брат сестренку ласкает...*» По словам Горького, «самарская колыбельная» — «записана в Николаевском уезде у кустарей, производящих нагайки. Несмотря на ее мрачную иронию, песня эта пелась очень мягко, задумчиво». Варианты песни см. в «Сборнике песен Самарского края», составленном В. Варенцовым. На полях книги, хранящейся в личной библиотеке Горького, есть пометы. В книгу вложен также листок с записью вариантов этой песни рукою М. Шолохова и, вероятно, А. Фадеева.

4. «*Эх, да по утренней по заре*». В этой записи имеются два горьковских исправления. *Вместо:* «Богатырску его грудь» — *первоначально* — «Богатырский его стан», *а вместо:* «Когда будет в море погибать» — «Когда будет в Каспии тонуть».

Песня записана Горьким в Сергачском уезде Нижегородской губернии в 1893—94 годах. Среди опубликованных записей народных песен аналогичных не обнаружено. По всей вероятности, относится к позднейшим образцам фольклора, бытовавшим среди рабочих рыбных промыслов.

Печатается по авторизованной машинописи с исправлением: «не говорила» *(стр. 496, строка 8)* вместо «я говорила».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Москва, 1934 г. Фото М. Оцуркова. Фронтиспис

А. М. Горький. Нижний Новгород, 1889 г. Фото Д. Лейбовского 32

«Макар Чудра». Страница рассказа с правкой М. Горького для издания «Книга» 19

«Ошибка». Страница из чернового наброска к рассказу . . 101

«Разговор по душе». Страница чернового автографа . . . 223

«Горемыка Павел». Машинописная страница повести с правкой М. Горького 297

«Биограф⟨ия⟩». Часть первой страницы автографа . . . 471

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
Предисловие к изданию	5	
I		
Макар Чудра	13	503
Девушка и Смерть. *Сказка*	27	512
Емельян Пиляй	34	514
О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины	46	516
Дед Архип и Ленька	54	521
Старуха Изергиль	76	522
Ошибка	97	529
Мой спутник	123	537
II		
О маленькой фее и молодом чабане. *Валашская сказка*	155	544
На соли	189	545
Месть. *Параллели*	202	548
Разговор по душе. *История маловероятная, но вполне возможная*	217	548
Нищенка	228	550
Исключительный факт	244	551
Сон Коли	255	552
Убежал	270	553
Пробуждение	286	553
Горемыка Павел. *Повесть*	293	554
Об одном поэте	421	557

III

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ АВТОРОМ. НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

	Текст	Примечания
«Только я было избавился от бед...»	431	565
«Не везет тебе, Алеша!»	432	566
«Постыдно быть в мои года...»	433	566
«Не браните вы музу мою...»	434	566
«Я плыву, за мною следом...»	435	567
«Звук ее, ласкающий и милый...»	436	567
«Тому на свете тяжело...»	437	568
«Нет! Там бессильна голова...»	438	568
Юзгляр (Рассказ киргизца)	439	568
«Живу я на Вере...»	441	569
Рассвет	442	571
«Как странники по большой дороге...»	443	571
«Это дивная рамка была...»	444	571
«На страницы вашего альбома...»	445	571
«...отважно лжет...»	446	572
⟨«И прочее такое...»⟩	448	573
«Во мраке таинственной ночи...»	450	573
Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца	451	574
Биограф⟨ия⟩	468	576
⟨Мудрая редька⟩	477	578
О комарах	486	582

IV

DUBIA

⟨Стихи на могиле Д. А. Латышевой⟩	491	584
«В мир новый, мир иной...»	492	584

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАПИСИ

«Середи мово двора...»	493	585
«Баю, баюшки-баю...»	494	585
«Ой, да брат сестренку ласкает...»	495	585
«Эх, да по утренней по заре...»	496	585

ПРИМЕЧАНИЯ

	Текст
Условные сокращения	499
Вступительная заметка	501
Стихотворения М. Горького	560
Список иллюстраций	587

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. С. РЮРИКОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
П. П. Вайнберг, Г. Д. Гвенетадзе, Л. А. Евстигнеева,
В. Н. Лапина, В. А. Максимова, Ф. Н. Пицкель
И. А. Резанова, Е. А. Тенишева, В. Ю. Троицкий

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор первого тома *А. И. Метченко*

*

Редактор Издательства *А. П. Корчагин*
Оформление художника *И. А. Седельникова*
Технические редакторы *А. П. Гусева, О. М. Гуськова*
Корректор *В. Г. Богословский*

*

Сдано в набор 15/VII 1968. Подписано к печати 3/XI 1968 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 31,957.
Уч.-изд. л. 28,1. Тираж 300 000 экз.
Изд. № 3117/68. Тип. зак. № 2013.
Цена 1 р. 50 к.

Издательство „Наука"
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28